



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

2 vols

2.50

Slav. 4354.1.820

Harvard College Library



BOUGHT WITH MONEY
RECEIVED FROM THE
SALE OF DUPLICATES



Константинъ Фамиль
ОДНЕСОВСКИЙ

231

2 vols

2.50

Slav. 7354.1.820

Harvard College Library



BOUGHT WITH MONEY
RECEIVED FROM THE
SALE OF DUPLICATES

Константинъ Фамиль
Сидоровский

211

Константинополь
СТАВРОВСКИЙ

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Гр. А. К. ТОЛСТОГО.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ первый.

Цена 1 руб.

МОСКВА.

ИЗДАНИЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.

Покровка, Дялинь переулокъ, советъ. домъ.

1907.

Slav 4354.1.820

✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
BOUGHT FROM
DUPLICATE MONEY

April 29, 1938

2



ПОСТАВЦ, ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ,



Г-но СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ
МАМОНОВСКИЙ ПЕР., СОБ. Д.



Предисловіе.

«Критическая литература о произведеніяхъ гр. А. Толстого» собрана мною для тѣхъ же цѣлей, которыя я преслѣдовалъ, давая сводку статей о Щедринѣ и Островскомъ.

Отсутствіе въ нашей библиографической литературѣ полныхъ, достаточно исчерпывающихъ критическій матеріалъ сборниковъ побуждаетъ меня къ выпуску третьей моей работы, на этотъ разъ посвященной выдающемуся русскому поэту. Изъ немногочисленной литературы объ А. Толстомъ я выбралъ все, что заслуживаетъ вниманія современнаго читателя и представляетъ литературную цѣнность съ объективной точки зрѣнія.

Къ критическому матеріалу я прибавилъ біографическій очеркъ, между прочимъ потому, что до сихъ поръ русская литература не удосужилась дать болѣе или менѣе сносную біографію писателя, по праву занявшаго видную страницу въ исторіи нашей художественной литературы.

Н. Денисюкъ.

О Г Л А В Л Е Н І Е

перваго выпуска.

	Стр.
✓ А. Б. Толстой (биографическій очеркъ). Н. Денисюкъ	1—48
✓ А. Б. Толстой. Характеристика произведений. Изъ „Исторіи новой- шей литературы“. А. М. Скабичевского	49—53
„Драма въ Европѣ и у насъ“. А. М. Скабичевскій. („Отечественныя Записки“, 1873 г., № 5)	54—61
✓ Гр. А. К. Толстой какъ лирическій поэтъ. Орестъ Миллеръ	62—78
✓ „Грѣшница“, поэма А. Толстого. Н. М. Соколовъ	79—90
„Садко“, былина А. Толстого. Н. М. Соколовъ	91—103
✓ „Василій Шибановъ“, баллада А. Толстого. Н. М. Соколовъ	104—107
✓ „Іоаннъ Дамаскинъ“, поэма А. Толстого. Н. М. Соколовъ	108—116
✓ „Донъ-Жуанъ“, драмат. поэма А. Толстого. Н. М. Соколовъ	117—123
✓ Міросозерцаніе А. Толстого. Н. М. Соколовъ	124—128
Гр. А. Толстой какъ сатирикъ. Н. Котляревскій („Вѣстникъ Европы“, 1906 г., № 7.)	129—175

О Г Л А В Л Е Н І Е

перваго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

	Стр.
„Донъ-Жуанъ“. Статьи:	
А. Скабичевского	53
Н. Соколова	117
„Смерть Іоанна Грознаго“. Статьи:	
А. Скабичевского	54
„Слѣпой“. Статьи:	
О. Миллера	65
„Драконъ“. Статьи:	
О. Миллера	66
„Грѣшница“. Статьи:	
О. Миллера	99
Н. Соколова	126

	Стр.
„Іоаннъ Дамаскинъ“. Статьи:	
О. Миллера	67
Н. Соколова	108
„Садко“. Статьи:	
Н. Соколова	91
„Василій Шибановъ“. Статьи:	
Н. Соколова	104
„Порой веселой мая“. Статьи:	
Н. Котляревскаго	139
„Потокъ-богатырь“. Статьи:	
Н. Котляревскаго	139
„Противъ теченія“. Статьи:	
Н. Котляревскаго	140
„Сонъ Попова“. Статьи:	
Н. Котляревскаго	146
„Русская исторія отъ Гостомысла“. Статьи:	
Н. Котляревскаго	148
„Деларю“. Статьи:	
Н. Котляревскаго	149
„Бунтъ въ Ватиканѣ“. Статьи:	
Н. Котляревскаго	152
„Кузьма Прутковъ“. Статьи:	
Н. Котляревскаго	153



Графъ А. К. Толстой.

Гр. Алексѣй Константиновичъ Толстой.

(1817—1875 гг.)

ВВЕДЕНІЕ.

Въ нашу добрую старую Русь, управляемую православными набожными царями, въ Русь съ ея важною торжественною внѣшностью, съ ея сознаніемъ, глубоко проникнутымъ патріархальнымъ, полу-религіознымъ характеромъ, врывается человѣкъ совершенно другого закала и, по выраженію Мекензи Уоллеса, подобно быку въ фарфоровой лавкѣ, безъ жалости разбиваетъ всѣ идолы московской благопристойности, приличія и общественности. Для того чтобы окончательно удалить пылъ отъ разбитыхъ куколъ, затхлый воздухъ лавки и впустить въ нее свѣтъ, онъ прорубаетъ окно съ западной стороны... Онъ уже не проводитъ всѣ дни за нескончаемыми церковными службами и на совѣтахъ со своими боярами; вмѣсто посѣщенія монастырей и пилигримства къ святымъ мощамъ, онъ ѣдетъ въ Голландію; вмѣсто назидательныхъ бесѣдъ съ патріархами и уважаемыми подвижниками, онъ учится строить корабли и организуетъ армію; вмѣсто житія святыхъ, онъ вводитъ свѣтскую литературу и свѣтское знаніе. Съ рвеніемъ христіанскаго монарха, жестокостью восточнаго деспота Петръ все передѣлываетъ, перестраиваетъ, перекрашиваетъ и разрушаетъ. Результатомъ этой работы гиганта-реформатора было то, что съ момента петровскихъ реформъ Россія стала составною частью европейской политической системы и связала себя навсегда интеллектуальными узами съ европейскою исторіей и просвѣщеніемъ. Правда, реформы Петра коснулись только высшаго дворянскаго класса, но, такъ или иначе, сѣмена были брошены, и, несмотря на то, что народъ упорно цѣплялся за старые обычаи и вѣрованія, дворяне стали смотрѣть на архаическіе пред-

меты народнаго благоговѣнія, какъ на остатокъ варварскаго прошлаго, котораго должна стыдиться цивилизованная нація.

Хотя Петръ былъ космополитомъ и бралъ то, что годилось для его реформаторскихъ плановъ, изъ рукъ тѣхъ народовъ, у которыхъ онъ находилъ свое добро, но близость Германіи, присоединеніе Балтійскихъ провинцій съ ихъ нѣмецкою культурой, а также семейные союзы нашей царской фамиліи съ нѣмецкими дворами—сдѣлали нѣмецкое вліяніе въ Россіи преобладающимъ.

При императрицѣ Аннѣ въ царствованіе Бирона это вліяніе еще болѣе усилилось: дворъ, весь офіціальный міръ, армія и школа были германизированы.

По выраженію А. Толстого, при Биронѣ мы сидѣли какъ въ ваннѣ и притомъ въ ваннѣ съ такой температурой, которую не назначить ни одинъ врачъ ни больному ни здоровому. Въ отвѣтъ на грубое, жестокое тираническое господство Бирона послѣдовалъ переворотъ, и на мѣсто Анны воцарилась Елизавета. Отъ нея ожидали, что она прекратитъ господство иностранцевъ, и дѣйствительно она сдѣлала въ этомъ смыслѣ кое-что, но, уменьшивъ гнѣтъ нѣмецкихъ чиновниковъ, она не могла разрушить вліянія и господства западной цивилизаціи. Русское образованное общество, проникшись ненавистью ко всему нѣмецкому, вытолкало за дверь все, что пахло нѣмецкимъ духомъ, и все, что шло съ маркой нѣмечины, но это еще не значитъ, что наше общество отъ этого стало умственно самостоятельнымъ и независимымъ. Разставшись съ господиномъ нѣмецкаго происхожденія, оно тотчасъ почувствовало необходимость посторонняго руководства. Какихъ же теперь призовутъ варяговъ? Изъ какого источника будутъ утолять жажду людей, у которыхъ стали уже расти потребности цивилизованнаго народа? Конечно, Франція имѣла всѣ шансы замѣнить нѣмецкихъ цивилизаторовъ. Дворъ французскихъ королей былъ самымъ блестящимъ. Парижъ и Версаль вмѣщали въ своихъ салонахъ столько людей тонкаго ума и вкуса, какъ нигдѣ въ цѣломъ мірѣ. Французское искусство и литература достигли большаго совершенства. Наконецъ сама Германія изъ всѣхъ силъ старалась подражать Франціи. Не было ни одной владѣтельной особы въ Германіи, ни одного аристократа или придворнаго, который бы не дѣлалъ усилій усвоить до послѣднихъ мелочей французскія моды и французскій языкъ. Понятно,

почему галломанія овладѣла и русскимъ дворомъ и русскимъ дворянствомъ: 28-го іюня 1762 г. на россійскій престолъ вступила Екатерина II.

«Madame, при васъ на диво

Порядокъ зацвѣтетъ»,—

Писали ей учтиво

Вольтеръ и Дидеротъ.

И въ самомъ дѣлѣ, вліяніе французской образованности и французской литературы при Екатеринѣ достигаетъ высшихъ предѣловъ. Съ Вольтеромъ государыня дружна; энциклопедисты—ея наставники; трагедіи Корнеля и Расина и комедіи Мольера идутъ на придворномъ театрѣ, здѣсь же присутствуетъ сама императрица, и ея восхищеніе французскими писателями подхватывается придворными, аристократіей, переходитъ въ широкіе слои дворянства. Для тѣхъ, кого не умудрилъ Господь, творенія Вольтера, Руссо, Лесажа, Мармонтеля и другихъ французскихъ авторовъ переводятъ на русскій языкъ. Наконецъ, россійскіе Лафонтены и Расины начинаютъ робко пытаться надѣтъ на чело литературные лавры. Разумѣется, подражаніе французамъ въ этой литературѣ такъ велико, что было бы напраснымъ трудомъ искать въ ней оригинальныхъ чертъ, національнаго характера и творчества. Это еще «разыгранный Фрейшицъ перстами робкихъ ученицъ». Хотя во всѣхъ этихъ одахъ, псевдо-классическихъ трагедіяхъ, сатирическихъ комедіяхъ, эпическихъ поэмахъ и элегіяхъ виденъ гибкій умъ, а иногда и замѣчательный комическій талантъ и умѣнье владѣть литературною формой и роднымъ языкомъ, но все же это не національная и не оригинальная литература, а искусное подражаніе и заимствованіе.

Когда французскіе писатели псевдо-классической школы брали себѣ образцами Гомера, Демосоеена, Цицерона, Virgilія, Ariosto, эти имена и въ Россіи окружались безграничнымъ поклоненіемъ и уваженіемъ; когда же Руссо подорвалъ литературное довѣріе и несмѣняемость литературнаго авторитета мужей древности, тогда и у насъ стали переводить Руссо, Стерна, Ричардсона, Флоріана, Бернарда-де-сенъ-Пьеръ и изо всѣхъ творческихъ силъ подражать имъ. Во Франціи псевдо-классики смѣнились такъ-называемой сентиментальною школой, и у насъ какъ эхо повторилось то же.

Среди изнѣженнаго, блестящаго, образованнаго французскаго общества Руссо сталъ проповѣдывать простоту природы и величія первобытной буржуазной добродѣтели, согрѣтой влеченіями и потребностями сердца, и у насъ тотчасъ же объявились трогательныя души, способныя стенать и мечтать о тѣхъ первобытныхъ кроткихъ временахъ, когда всѣ люди были пастухи и братья.

Разумѣется, сентиментальная литература, имѣвшая у насъ такого представителя, какъ Карамзинъ, была такъ же фальшива, чисто подражательна, какъ чувства того круга нашего общества, въ которомъ она расходилась. Изъ подражанія французамъ, наши дѣды носили камзолы, парики, фижмы; изъ подражанія писали сентиментальныя романы; изъ подражанія юноши и молодыя дѣвушки посѣщали мѣста, описанныя сентиментальными писателями, и бродили вдоль прудовъ, въ которыхъ такъ красиво и трогательно утопились чувствительныя героини; изъ подражанія въ московскихъ и петербургскихъ салонахъ проповѣдывали модную французскую философію.

Грянулъ политическій громъ первой французской революціи; французскій народъ показалъ, что литература—не пустякъ, не забава, что литературныя произведенія способны произвести революцію въ умахъ, а отъ послѣдней—одинъ шагъ до уличной, и въ Петербургѣ всѣ руководящіе, правящіе, преобладающіе и владѣющіе слои общества забили тревогу. Одно дѣло читать французскій романъ, говорить о всеобщей любви и мысленно жаждалъ жениться на крестьянкѣ, а другое—освободить крестьянъ, лишиться преобладающаго экономическаго и политическаго положенія и провести въ жизнь тѣ либеральныя принципы, которыми такъ было удобно щеголять въ своихъ салонныхъ бесѣдахъ.

У русскаго дворянства тотчасъ же пропалъ вкусъ къ французской философіи и литературѣ и замѣнился оптимистическимъ патріотизмомъ. Подъ вліяніемъ французской литературы и культуры россияне совершенно, было, забыли о собственной исторіи, собственной національности и національныхъ основахъ. Когда же революціонный терроръ поставилъ практически вопросъ о рабахъ и рабствѣ, тогда наши просвѣщенные россияне сразу потеряли вкусъ къ французской философіи и вернулись къ національнымъ осно-

вамъ, восхищаясь и русскимъ національнымъ духомъ, и русскимъ квасомъ, и русскимъ добрымъ народомъ, и всѣмъ, что хотя и «кисло, солоно, мове», но зато «ме се Рюсю—э ву саве».

Царственная ученица и другъ энциклопедистовъ велѣла придворнымъ лакеямъ снести бюстъ Вольтера въ подвалъ. Велѣдъ за этимъ начинается Наполеоновская эпопея и 1812 г. Всѣ державные властители почувствовали, что ихъ троны шатаются, и направили всю энергію на приведеніе дѣла въ первоначальное состояніе. Все иноземное, а въ особенности французское подверглось изгнанію и осужденію.

Однако, когда наполеоновскій кошмаръ разсѣялся, народы сообразили, что иноземный владыка былъ не хуже и не лучше своего законнаго. Западные государи, запрягавъ «маленькаго капрала» на островъ св. Елены, спокойно вздохнули и снова крѣпко усѣлись на своихъ тронахъ. Они забыли обѣщанія, которыя надавали своимъ народамъ насчетъ свободныхъ государственныхъ учреждений, и стали снова править при посредствѣ жестокихъ полицейско-бюрократическихъ мѣръ и вооруженной силы. Народамъ ничего не оставалось больше дѣлать, какъ начать борьбу съ правительствами подпольнымъ способомъ. Вездѣ возникли тайныя общества: въ Германіи—*Burschenschaften*, во Франціи—*l'Union* и *l'Aide-toi, le Ciel t'aidra*, въ Испаніи—Орденъ Молотка, въ Италіи—карбонаріи, въ Греціи—гетеріи, въ Россіи—декабристы.

Въ декабрѣ 1825 г. была сдѣлана попытка революціоннымъ путемъ измѣнить политическій строй Россіи, но картечь смела не только горсть возставшихъ, но и тѣ прекрасныя романтическія грезы, которыми питалась нѣкоторая часть русской интеллигенціи. Общество струсило и присмирѣло. «Среди радости и торжества зажиганія фейерверка оно жестоко обожгло себѣ пальцы».

Наступило мрачное суровое царствованіе Николая I. Мечты о братствѣ и равенствѣ, о политической свободѣ и соціальной справедливости улетучились такъ же быстро, какъ и возникли, и «свѣтскій міръ, отказавшись отъ своихъ старыхъ привычекъ, предался безобиднымъ занятіямъ: карточной игрѣ, увеселеніямъ, чтенію легкой французской литературы. Французская кадрили заняла мѣсто Адама Смита».

Казалось, прогрессъ былъ запечатанъ семью казенными печатами и сданъ на вѣчныя времена въ архивъ. Объ обще-

ственныхъ философскихъ вопросахъ и политикѣ никто не говорилъ. Всѣ умственные силы сконцентрировались на изящной литературѣ и поэзіи. Сначала начальство недовѣрчиво смотрѣло на дѣятельность служителей музъ, но потомъ разрѣшило, даже благословило работу питомцевъ Парнасса. Жуковский и его сотоварищи-романтики такъ рѣшительно и брезгливо отвернулись отъ всего настоящаго и прозаическаго, такъ далеко ушли въ своихъ «Двѣнадцать спящихъ дѣвкахъ», «Свѣтланахъ», «Ундинахъ» «Сафиновыхъ одахъ» и «Диѳирамбахъ на безсмертіе души» отъ министерства внутреннихъ дѣлъ и «Правительственнаго Вѣстника», что самый придирчивый цензоръ, самый бодрствующій жандармскій глазъ не могли усмотрѣть ничего въ ихъ твореніяхъ противнаго существующему порядку вещей. Дворъ, такъ же какъ и помѣщики, цензора, духовенство и жандармы, съ неослабнымъ удовольствіемъ читалъ, поощрялъ, одобрялъ чувствительныхъ Кассандръ, Эрминій и «Плачь араба надъ могилою коня». Эти ходульные произведенія, перемѣшанные съ легкими сатирическими опытами, историческими очерками, забавными анекдотами и соответствующею литературной критикой вполне удовлетворяли тогдашнюю читающую публику. Повѣсти Загоскина или Марлинскаго вызывали гораздо больше толковъ, чѣмъ новый законъ и міровыя событія въ области политики или общественной жизни. Политическая система Николая Павловича, направленная противъ безпочвенности, философской болтовни, вредной мечтательности и интеллектуальной распущенности, какъ разъ вызвала въ интеллигентныхъ классахъ къ жизни всѣ эти качества. Загородивъ дорогу къ настоящему общественному дѣлу, она деморализировала массы и вызвала вкусъ къ трансцендентальной философіи, столь родственной романтической литературѣ. Русскіе профессора и студенты отъ сочиненій Шиллера и Гофмана перешли къ увлеченію Шеллингомъ, затѣмъ и Гегелемъ. Умы интеллигентной молодежи, казалось, навсегда утонули въ заоблачныхъ метафорахъ Шеллинга и его величественной и туманной картинѣ вселенной. Въ своемъ увлеченіи нѣмецкими философами русскіе перешагивали самихъ нѣмцевъ.

Однако, Западная Европа не долго увлекалась романтизмомъ и трансцендентальною философіей. Нужды повседневной прозаической жизни взяли свое. «Образованная публика—

какъ говорить Уоллесъ—утомилась романтическими писателями, которые постоянно вздыхали, какъ доменная печь, услаждаясь въ безмолвіи холодной вѣчности, свѣтомъ луны, наводняя міръ изліяніями ихъ сердца и требуя отъ неба и земли, чтобы они въ ужасѣ присутствовали при ихъ Прометеевской агоніи или при ихъ Вертеровскомъ отчаяніи».

У насъ также здоровые вкусы стали брать верхъ надъ таинственными глубинами романтизма. Сначала явился Пушкинъ, а за нимъ Гоголь.

Живая обыденная русская дѣйствительность, наконецъ, наполнила салоны русской художественной литературы. Подъ дружный здоровый смѣхъ читающей публики типы «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» заставили исчезнуть философскую шумиху, блѣдные лики и высокія чувства романтическихъ героинь и героевъ.

Цензура и администрація забили тревогу. Смѣхъ надъ городничимъ и чиновными лицами хотя бы и захохотѣли не предвѣщая ничего хорошаго для существующаго порядка вещей. Но императоръ Николай былъ вполне увѣренъ въ непогрѣшимости своей политической системы, въ несокрушимости своей абсолютной власти, въ могуществѣ своей имперіи. Онъ былъ увѣренъ, что новая школа окажетъ вліяніе только лишь чисто литературное и дастъ возможность самому государю, большому любителю театра, провести въ немъ нѣсколько лишнихъ веселыхъ вечеровъ.

Императоръ оказался неправымъ. Критика, которая требовала прежде красоты формъ и изящества выраженія, со времени «Онѣгина» и «Ревизора» стала уже требовать точности описанія, художественной правды. Это еще, конечно, требованія чисто эстетическія и не грозятъ умаленіемъ авторитета предержащимъ властямъ, но вслѣдъ за художественнымъ изображеніемъ родной дѣйствительности начинаетъ выступать нравственная оцѣнка описываемаго. Художникъ не можетъ быть фотографомъ, а потому критика требуетъ, чтобы въ своемъ произведеніи онъ показалъ читателю, какъ лично онъ относится къ своимъ героямъ. Авторы, описывая русскую дѣйствительность, уже не могли не высказывать своего нравственнаго одобренія или осужденія. Такимъ образомъ, наша литература прикрѣпляется къ родной почвѣ и становится національною и жизнеспособною, а съ другой стороны теряетъ характеръ «улыбательный», перестаетъ служить сред-

ствомъ развлеченія и улады и превращается въ народную школу и трибуну. Форма и фабула уже не являлись всёмъ, а прикрывали лишь тотъ или другой нравственный принципъ.

Для грубаго полицейскаго глаза Николаевской администраціи истинное различіе между старою до-пушкинскою литературой и новою было несущественно. Цензура, конечно, всячески опекала русскую литературу и оберегала отъ «излишествъ», но истребить ея моральнаго значенія не могла. Все, что могли сдѣлать охранители, это оберечь государственную власть и ея агентовъ отъ непосредственнаго литературнаго воспроизведенія и опороченія. Но идея не такъ проста и не такъ легко уловима. Нельзя было прямо указывать на административныя безобразія, чинимыя городовымъ, нумеръ бляхи такой-то, губернаторомъ такой-то губерніи, исправникомъ, министромъ; но, развѣ, вызывая состраданіе къ бѣдствіямъ Сидора или Петра, не надѣленныхъ никакимъ мундиромъ и никакой нумерованною бляхой, вы не заставляете читателя уже самого разбираться въ вопросѣ, почему они не благоденствуютъ, а бѣдствуютъ? На помощь художественной литературѣ пришла литературная критика. Эти вожди новаго движенія стали вѣдрять въ сознаніе своихъ читателей, что пороки и преступленія происходятъ не отъ недостатковъ, врожденныхъ человѣческой природѣ, но отъ обстоятельствъ внѣшнихъ, отъ искусственныхъ препятствій, которыя безъ пользы, но съ несомнѣннымъ вредомъ противятся свободному и полному удовлетворенію нашихъ инстинктовъ и естественныхъ желаній.

«Дѣло совершенно неправдоподобное—говорить Чернышевскій по поводу «Губернскихъ очерковъ» Щедрина—для тѣхъ поверхностныхъ наблюдателей, которые не знаютъ, какъ много остатковъ и зародышей добра и благородства таится въ душѣ самаго дурного изъ дурныхъ людей, которые забываютъ, что самый закоснѣлый злодѣй—все-таки человѣкъ, т.-е. существо, по натурѣ своей наклонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всёмъ дурнымъ, существо, могущее нарушать законы добра и правды только по незнанію, заблужденію или по вліянію обстоятельствъ сильнѣйшихъ, нежели его характеръ и разумъ, но никогда не могущее, добровольно и свободно, предпочесть зло добру. Отстраните пагубныя обстоятельства, и быстро просвѣтитъ умъ человѣка и облагородится его характеръ».

Какъ, на первый взглядъ, просто, наивно и безобидно и совсѣмъ неантиправительственно: «отстраните пагубныя обстоятельства» и Россія переродится, потому что «просвѣтлѣетъ умъ человѣка». Но попробуйте это «отстраните» перевести на языкъ конкретныхъ примѣровъ, что получится?.. Получится выводъ, что нравственный прогрессъ долженъ совершиться не черезъ постъ, молитву и убіеніе въ себѣ духа Любомудрія и Любоначалія, а черезъ преобразование общественнаго устройства. А такъ какъ всѣ государственные «жорни и нити» были въ рукахъ самодержавной бюрократіи, то отсюда выводъ ясенъ.

Было у насъ въ литературѣ того времени и другое теченіе, занесенное изъ Франціи. Оно полагало, что политическая революція и измѣненіе политическаго строя ничего не дастъ и что истинный прогрессъ можетъ быть достигнутъ только при посредствѣ радикальной реформы существующаго соціальнаго строя.

Вторая идея въ 40-хъ годахъ наиболѣе признана и распространена. Распространена!.. Это звучитъ необыкновенно странно для русскаго уха. Въ Россіи за распространеніе идей всегда слѣдовала кара. Во времена могильнаго благополучія и самаго дикаго произвола правительственной власти допускается литературная пропаганда идей, разрушающихъ старый соціальный строй и проповѣдующихъ радикальныя реформы въ области соціальной организаціи!.. И здѣсь мы сталкиваемся съ высокимъ невѣжествомъ правящихъ сферъ, не умѣвшихъ распознать серьезности и революціонной сущности новой идеи.

Императоръ Николай желалъ, чтобы его вѣрноподданные не занимались философіей и политикой, а работали бы надъ улучшеніемъ своего матеріальнаго благополучія. Это, во-первыхъ, хорошо для казны, при взиманіи податей и, во-вторыхъ, отвлекаетъ мысль отъ бессмысленныхъ мечтаній о конституціи. Если вѣрноподданные будутъ придумывать такіе способы хозяйственной и общественной жизни, при которыхъ производство товаровъ возрастетъ, количество денегъ въ странѣ увеличится, торговля разовьется, то отъ этого, кромѣ прибытка властямъ всѣхъ ранговъ, ничего не будетъ. Главное—чтобы писатели не подмигивали въ сторону древнихъ римскихъ республиканскихъ учреждений, не пытались контрабандой повести мысль о конституціонной монархіи, не показывали

бы за спиной у начальства декабристовъ и французскихъ террористовъ. И дѣйствительно, новыя идеи въ этомъ смыслѣ вели себя вполне благонадежно. Однако, пролетарская революція 1848 г. показала, что русское правительство со своею охранной политикой сыграло комическую роль спящихъ дѣвъ. Но оно быстро спохватилось и воспрянуло. Послана была армія для подавленія возстанія въ Венгріи, а внутри усиленъ надзоръ за печатью и обществомъ. Всѣмъ приказано было мыслить и писать съ точки зрѣнія шефа жандармовъ гр. Бенкендорфа: «Прошедшее (Россіи) было удивительно, настоящее болѣе чѣмъ великолѣпно, а будущее превзойдетъ все то, что можетъ представить человѣческое воображеніе».

Казалось, что на огромномъ пространствѣ, занятомъ русскимъ народомъ, все смолкло и всякій прогрессъ въ области идей и общественной жизни прекратился навсегда. Исторія народа остановила свое теченіе, и даже лучшіе умы готовы были вторить пророчеству шефа жандармовъ. «Мы не должны отнимать у Европы нашей о ней заботливости—писалъ Чаадаевъ.—Ея враждебность не должна отклонять насъ отъ нашего высокаго призванія спасать порядокъ и давать покой народамъ».

Но правительство и поверхностные наблюдатели обманывались насчетъ истиннаго порядка вещей. Идеи западной цивилизаціи уже прочно пустили корни въ русскую землю, но только умы, которые имъ сочувствовали, были доведены до насильственного молчанія. Начали образовываться общества, внимательно слѣдившія за перипетіями соціальной борьбы на Западѣ, и внимательно изучать экономическіе, политическіе и соціальные вопросы. Все больше и больше выяснялось глухое броженіе умовъ, и зрѣла ненависть къ политическому самодержавному режиму.

Вспыхнула Крымская война, и могущество Россіи оказалось призрачнымъ. Кончилась кампанія, и взамѣнъ началась внутренняя война. Точно по мановенію волшебнаго жезла все, что было мыслящаго въ странѣ, со страстнымъ энтузіазмомъ заговорило о политическихъ и соціальныхъ реформахъ.

Отъ края и до края раздался вопль: «Свобода!». Россія приведена на край гибели самодержавно-бюрократическимъ строемъ! Такъ жить дальше нельзя!

И здѣсь въ первыхъ рядахъ борющихся оказалась литература. И славянофилы и западники требовали свободы и только въ свободныхъ формахъ общественной и государственной жизни видѣли спасеніе опозоренной родины. Но въ то время какъ славянофилы съ недовѣріемъ относились къ западной цивилизаціи и требовали возвращенія «къ себѣ домой», въ до-петровскую Русь, западники призывали завершить дѣло Петра: вмѣсто южна, прорубленнаго великимъ реформаторомъ, разрушить вовсе стѣну, отдѣляющую насъ отъ Европы. На этой почвѣ между литературными лагерями завязалась упорная борьба въ острыхъ формахъ.

Въ этотъ моментъ начинается свою литературную дѣятельность гр. А. Толстой.

Куда же онъ примкнетъ? Въ ряды какой партіи станетъ? Кого станетъ поддерживать его художественный талантъ? Примкнетъ ли онъ къ романтикамъ-націоналистамъ, выступившимъ подъ кличкой славянофиловъ, или подастъ руку прогрессистамъ-западникамъ? Ополчится ли онъ противъ закосной цивилизаціи и космополитизма или признаетъ славянофильство слѣпымъ патріотизмомъ и продолженіемъ моды, явившейся какъ реакція противъ владычества Наполеоновской имперіи? Отринетъ ли онъ Петра съ его новшествами, оставшимися чуждыми для народныхъ массъ, или признаетъ необходимымъ завершить политическое строеніе въ духѣ великаго преобразователя введеніемъ европейскихъ либеральныхъ учреждений.

Прочтите внимательно произведенія нашего поэта, и вамъ прежде всего бросится въ глаза основное свойство его дарованія—художественность, совершенство формы, красочность, пластичность, музыкальность стиха, изобразительная способность. Это прежде всего художникъ. Ближе всего для него искусство и художественное воспроизведеніе дѣйствительности.

Что же онъ увидѣлъ среди писателей лѣваго лагеря?

Во главѣ литературной критики стоитъ Добролюбовъ. Что же онъ требуетъ отъ художника? Прежде всего отзывчивости на злобу дня. «Всѣ колебанія общественной мысли» должны, по его мнѣнію, встрѣчать чуткій отголосокъ въ душѣ художника. Отъ художника онъ требуетъ «живого отношенія къ современности». Критикъ требуетъ прежде всего общественно цѣнной идеи, а эстетическая сторона произве-

денія его нисколько не занимаетъ, ибо «ею могутъ интересоваться развѣ только чувствительныя провинціальныя барышни». Теперь не время заниматься красотой, формами. Въ то время, когда все мыслящее занято борьбой съ отживающимъ строемъ, надо дружно сплотиться всѣмъ и ударить на врага. Художественная литература должна поэтому взять на себя служебную роль и стать публицистической. За Добролюбовымъ то же повторяетъ Чернышевскій, а вслѣдъ за ними идутъ связанные партійною дисциплиною всѣ другіе западники—соціалисты и конституціоналисты. На крайней лѣвой ораторствуетъ Писаревъ. Этотъ уже вовсе разрушаетъ эстетику. Онъ знать ничего не желаетъ, кромѣ естествознанія. Онъ прежде всего спрашиваетъ писателя, знаетъ ли тотъ фізіологію и читалъ ли онъ матеріалистовъ. Если беллетристъ или художникъ не знакомъ съ Молепшотомъ и Бюхнеромъ, то онъ имъ совѣтуетъ внимательно прочесть ихъ сочиненія, а затѣмъ популяризировать ихъ въ стихахъ и прозѣ по принадлежности. «Надо—говоритъ Писаревъ—проникнуться глубочайшимъ уваженіемъ и пламенною любовью къ распластанной лягушкѣ. Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ и заключается спасеніе и обновленіе русскаго народа».

Могъ ли гр. А. Толстой съ его тонко-художественною натурой «проникнуться глубочайшимъ признаніемъ и пламенною любовью къ распластанной лягушкѣ»? Онъ, не могшій мыслить иначе какъ образами, и образами, чарующими своею внѣшнею красотой, долженъ былъ въ своихъ чудныхъ стихахъ воспѣвать мускулы, связки, костякъ, нервную систему и разнообразныя фізіологическія отправления организма спасительницы и обновительницы русскаго народа. Гр. А. Толстой долженъ былъ, если бы захотѣлъ слѣдовать за Писаревымъ, предать анаѣмѣ Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова и даже Крылова, какъ «зародышей» поэтовъ. Но этого мало. Самъ Пушкинъ, краса и гордость русской художественной литературы, оказывается явленіемъ отрицательнымъ, ибо онъ, какъ оказывается, «поддерживаетъ своимъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли. Онъ подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ тѣ общественныя предразсудки, которые всякій мыслящій человѣкъ обязанъ разрушать всѣми силами своего ума и всѣмъ запасомъ своихъ знаній». Да и вообще, по мнѣнію литературной крайней лѣвой,

поэзія можетъ быть допущена только въ томъ случаѣ, когда она дополняетъ для насъ газету или журналъ, т.-е. даетъ фактическій матеріалъ извѣстнаго прогрессивно-общественнаго качества. Поэтовъ и прозаиковъ мы можемъ «пробѣгать», такъ какъ «мы пробѣгаемъ отдѣлы иностранныхъ извѣстій въ газетѣ». Словомъ, «нигилисты» съ Писаревымъ, Зайцевымъ, Н. В. Соколовымъ, Шелгуновымъ и Шаповымъ рѣшили основательно покончить съ наслѣдіемъ прошлаго и уничтожить все, что существовало до 60-хъ годовъ въ области литературной и общественной жизни.

Могъ ли гр. А. Толстой примкнуть къ этому лагерю? Могъ ли онъ вмѣшаться со своею сладкозвучною лирой въ эту свалку, когда онъ весь—изящество, поэзія, его взоръ вѣчно устремленъ въ небеса или лелѣетъ картины идиллическаго прошлаго? Его слухъ часто ласкаютъ неземные звуки, «онъ слышитъ райскіе напѣвы», «что жизни мелочные сны», что вопли, социальныя и политическія программы утопистовъ-соціалистовъ, народниковъ-коммунистовъ и реальныхъ политиковъ «для гостя райской стороны». Въ своемъ стихотвореніи «И. С. Аксакову» гр. А. Толстой говорить:

...Жизнью смертнаго дыша,
Гляжу съ любовью на землю,
Но выше просится душа.

По самой природѣ своей онъ неспособенъ къ той борьбѣ, которая лежитъ въ основаніи социальной политики. Для этого у нашего поэта нѣтъ ни достаточной ненависти къ старому, ни достаточнаго вооруженія для борьбы съ ортодоксальнымъ новымъ. Но, быть-можетъ, славянофилы привлекутъ въ свой лагерь чуткую душу поэта? Они враждебны той землѣ и тѣмъ порядкамъ, которые созданы и раціонализмомъ и социализмомъ. Они плѣняются сердце проповѣдью любви и братства, построенныхъ на завѣтахъ восточной православной церкви. Они призываютъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Руси вернуться къ чистымъ струямъ христіанской общины и жизни христіанскихъ мучениковъ. Они, наконецъ, имѣютъ въ запасъ для поэтическаго воображенія цѣлый арсеналъ приманокъ: они зовутъ въ старую Москву, въ ту Москву, которая выстроила Кремль съ древними церквами, съ гробницами великихъ князей и святыхъ мучениковъ. Снова возсіяютъ дворцы, въ которыхъ жили богобоязненные и

патріархальныя московскіе цари, сильныя въ бою съ басурманами, грозныя врагамъ народа и еретикамъ и смиренно выслушивавшіе въ боярской думѣ совѣты сѣдовласыхъ умудренныхъ житейскимъ опытомъ старцевъ. Тамъ чтимыя народомъ чудотворныя иконы, не разъ спасавшія народъ отъ надвигавшихся бѣдствій, а вотъ Лобное мѣсто... Съ него снова раздадутся въ торжественныхъ случаяхъ рѣчи царей и патріарховъ...

Неужели романтическая душа поэта не откликнется на призывъ славянофиловъ, также насквозь пропитанныхъ романтическимъ духомъ? Здѣсь ли нѣтъ мѣста для творческой фантазіи? Здѣсь ли недостаточно колорита? Здѣсь ли не полная гамма красокъ? Здѣсь ли нѣтъ простора для вымысла? Здѣсь ли не мѣсто широкой славянской натурѣ?

Да, дѣйствительно въ Московскомъ царствѣ есть все, что родственно натурѣ А. Толстого, кромѣ самаго главнаго—свободы личности. Московскій періодъ нашей исторіи для А. Толстого тѣсно связанъ съ рабствомъ и грубымъ деспотизмомъ. «Моя ненависть—пишетъ онъ въ 1869 г.—къ московскому періоду есть идіосинкразія, и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что говорю. Это не тенденція,—это я самъ. Откуда взяли, что мы антиподы Европы? Туча прошла надъ нами, облако монгольское, но это была лишь туча, и чортъ долженъ поскорѣе убрать ее».

Онъ не желаетъ калифа, будетъ ли этотъ послѣдній называться императоромъ Николаемъ I, Иваномъ Грознымъ, славянофильствомъ, шовинизмомъ или матеріализмомъ.

Откуда бы ни исходилъ абсолютизмъ—съ высоты ли престола или изъ кабинета ученаго, кѣмъ бы онъ ни осуществлялся—приказными московской Руси, чиновниками министерства внутреннихъ дѣлъ или журналистами, онъ былъ ненавистенъ свободолубивому А. Толстому. И среди вельможъ, гдѣ ему принадлежало далеко не послѣднее мѣсто, и среди оппозиціонныхъ славянофиловъ, превозносившихъ все русское и порицавшихъ все иноземное, и среди прогрессистовъ, порицавшихъ все русское и превозносившихъ все иноземное, нашъ поэтъ чувствовалъ себя «полнымъ мученія и скуки».

Какъ художникъ по духу, по крови, А. Толстой не выносилъ литературныхъ произведеній, напоминавшихъ «вывѣску съ нарисованнымъ указательнымъ перстомъ». Въ его

произведеніяхъ нѣтъ тенденціи, но это не значить, чтобы въ нихъ не было руководящаго начала, красной нити, и эта нить дѣйствительно красная: ненависть къ деспотизму.

Въ 1868 г. А. Толстой пишетъ: «Вы знаете, насколько я ненавижу все красное, и чортъ меня побери, если я въ той или другой изъ моихъ трагедій хотѣлъ что-либо доказать. Я презираю всякую тенденцію въ литературномъ трудѣ; я ее презираю какъ пустой патронъ... Я это говорилъ и повторялъ и перевысказывалъ! Но не моя вина, если изъ написаннаго мною ради любви къ искусству само-собою вытекаетъ, что деспотизмъ никуда не годится. Тѣмъ хуже для деспотизма! Онъ вездѣ выскажется, во всякомъ художественномъ трудѣ; онъ выскажется даже въ Бетховенской симфоніи. Я ненавижу деспотизмъ такъ же, какъ я ненавижу Сень-Жюста и Робеспьера»... Отсюда понятно, почему Толстого порою бранили всѣ литературныя партіи, а порою хвалили. Одни не прощали ему ненависти къ Сень-Жюсту и Робеспьеру; другіе считали его краснымъ, потому что онъ не мирился съ Иваномъ Грознымъ, преобладаніемъ православія и русской народности; третьи считали его крамольникомъ, потому что онъ не пѣлъ диеирамбонъ полицейско-бюрократическому правительству. А. Толстой со своими оригинальными взглядами остался внѣ существовавшихъ литературныхъ и политическихъ партій и за это претерпѣвалъ неоднократную хулу, уничтоженіе, а порою и литературныя поврежденія. Въ то время какъ цензура запрещала его стихи и пьесы, обвиняя въ потрясеніи основъ, оппозиціонный лагерь не могъ забыть того, что поэтъ принятъ при дворѣ и даже личный другъ царя. Одни кричали, что онъ врагъ прогресса, другіе, что онъ противъ «исконныхъ началъ» русской народности. Иногда его считали «своимъ» реакціонеры и славянофилы, иногда—западники и прогрессисты.

Своеобразная натура А. Толстого была во всѣхъ лагеряхъ «случайнымъ гостемъ», не заключая ни съ однимъ постояннаго союза. Не укладываясь ни въ одну партійную программу, не становясь всецѣло на сторону ни одного «стана», онъ вездѣ былъ чужакомъ. Не приобрѣтая ни въ одной литературной партіи друга, онъ постоянно подвергался нещадному обстрѣлу то справа, то слѣва. Въ силу индивидуальных особенностей мышленія онъ не могъ умѣститься въ ту или другую литературно-общественную ячейку и посему давалъ поводъ

къ обвиненію въ безпринципности, безыдейности и переметчивости. Общество и литература вели жестокий бой съ архаическими формами политическаго и соціального строя. Врагъ народа былъ слишкомъ силенъ, а потому требовалась со стороны бойцовъ большая напряженность силъ, недостижимая безъ концентраціи и суровой дисциплины. Дробленіе силъ не могло быть допущено ни подъ какимъ видомъ. Или становись въ ряды партій безусловно, или ты—врагъ. Въ такой историческій моментъ индивидуальное міросозерцаніе и условное участіе въ общей работѣ такъ же не допускается, какъ самыя разумныя разсужденія со стороны бойцовъ на полѣ брани. Главнокомандующій объявляетъ диспозицію, въ которой точно указано расположеніе войскъ на полѣ брани, время и направленія движенія во время боя, и никакой военачальникъ или солдатъ не могутъ отступать отъ начертаннаго плана.

Правда, муза Толстого пѣла о любви, братствѣ и свободѣ, но это въ то время было мало. Всѣ требовали отъ писателя переведенія этихъ отвлеченныхъ понятій на конкретную почву. Мало сказать: с в о б о д а, надо еще указать, что ты подъ этимъ подразумѣваешь: какую свободу, въ какихъ конкретныхъ формахъ ты полагаешь необходимою для страны и общества. Славянофилы предлагали свободу отъ заморскихъ порядковъ, учреждений, идей и нравовъ подъ патріархальной, православно-московской твердой державой царей; лѣвые представляли себѣ свободу въ формѣ социализма и конституціонной, на западный образецъ, монархіи.

Алексѣй Толстой былъ слишкомъ европеецъ, чтобы примкнуть къ наивнымъ, эксцентричнымъ мечтателямъ славянофиламъ, но въ то же время онъ не становился и на сторону социалистовъ-парламентаріевъ. Онъ не былъ зараженъ археологическимъ патріотизмомъ славянофиловъ и полагалъ, въ то же время, что пересадить къ намъ цѣликомъ либеральныя учрежденія и утопіи социализма по образцамъ Запада и научныхъ теорій—мечта.

Такова его отрицательная программа. Положительная часть его политической программы не совпадаетъ съ отрицательной и не вырастаетъ на ея принципахъ.

Гр. А. Толстой желалъ бы тоже измѣненія существующаго порядка вещей въ сторону свободы, но ищетъ ее не въ Петровскомъ періодѣ нашей исторіи и не въ Московскомъ, а

въ древнѣйшемъ. Въ древне-вѣчевой укладѣ Новгородской и Кіевской Руси, по убѣжденію нашего поэта, были тѣ нравы и формы общественной, семейной и индивидуальной жизни, которыя шли рука-объ-руку съ дѣйствительною свободой, человѣческимъ достоинствомъ и истинной нравственностью.

Для западниковъ настоящая Россія начиналась послѣ Петра, для славянофиловъ—послѣ Ивана Калиты, а для А. Толстого—послѣ Рюрика. Такимъ образомъ, нашъ поэтъ въ сильной степени является, въ концѣ-концовъ, политическимъ сторонникомъ славянофиловъ. Какъ и они, онъ идеализируетъ русскую старину, хотя и не Московскаго, а Удѣльнаго періода; онъ смягчаетъ свое тяготѣніе къ политическому абсолютизму, желаніемъ вѣчевой, княжеской старины; онъ политическій романтикъ, такъ же какъ и славянофилы, потому что его общественные и политическіе взгляды носятъ въ себѣ всѣ отличительныя свойства фантастичности, необычайности и практической наивности. Правда, А. Толстому кажется, что княжеская Русь имѣла живое общеніе съ Западомъ и въ ней не были извѣстны деспотизмъ и косность Московской Руси.

Не находя отрадныхъ моментовъ въ настоящемъ общественномъ укладѣ русской жизни, не признавая ихъ и въ объединенной Московской Руси, нашъ идеалистъ-поэтъ самъ создалъ, при посредствѣ богатой фантазіи и поэтическаго творчества, обѣтованную землю. Это—Русь Ярославъ, Изяслава, Владимира, Ильи Муромца и Садко.

Вольнолюбивая душа поэта, не видя вокругъ себя «правды святой», ушла въ міръ золотыхъ грезъ и въ историческихъ драмахъ, романахъ, балладахъ, поэмахъ и былинахъ ретаврировала и воспѣла дивный край, гдѣ младенчески чистый русскій народъ жилъ, мыслилъ и чувствовалъ такъ, какъ того жаждалъ самъ поэтъ.

Въ его время складывались уже политическія партіи и переходы отъ литературной программы къ практической. Вопросъ о необходимости свободы сталъ трюизмомъ. Оппозиціонныя партіи исповѣдывали европейскій политическій символъ вѣры и твердо были убѣждены, что спасеніе Россіи,—а она нуждалась въ спасеніи,—въ осуществленіи политическихъ реформъ по образцу западныхъ конституціонныхъ странъ. Разумѣется, среди этого лагеря до фана-

тизма воодушевленныхъ людей, связанныхъ между собою желѣзною дисциплиной политической необходимости, фигура мечтательнаго поэта съ дѣтски наивною программой общественной свободы могла вызвать только смѣхъ или рѣзкое осужденіе.

Вотъ почему борьба за общественные идеалы помѣшала нашей критикѣ по достоинству оцѣнить крупное дарованіе гр. А. Толстого.

Его лирика, его дивный даръ пѣснопѣній остался въ тѣни, и только время внесло поправки въ приговоръ современниковъ поэта. Общество, которое признавало, что «поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ» смягчило, мало-по-малу, свой слишкомъ рѣзкій приговоръ и признало, что лирика нашего поэта должна пережить односторонній приговоръ современниковъ. Въ такой переходный періодъ, какъ время А. Толстого, въ періодъ, когда частаясь представляется глубоко-отвратительнымъ, общество раскалывается на двѣ протестующія половины. И та и другая часть общественныхъ силъ стремится уничтожить существующій порядокъ вещей, но дѣлаетъ это по-разному. Одни видятъ улучшеніе въ стремленіи впередъ, другіе къ возврату назадъ. Согласно съ этимъ выдаются и два типа умовъ: люди, гордо и смѣло идущіе къ загорающемуся вдали свѣту новой жизни; они, какъ говоритъ Грановскій, обладаютъ «чуткимъ слухомъ и зоркимъ окомъ», не дающимъ «спотыкаться о развалины прошлаго», и люди, въ душѣ и умѣ которыхъ воплощена вся красота, благородство, достоинство и нравственная сила отошедшаго въ историческое бытіе прошлаго; за первыми побѣда, за вторыми—честная доблестная защита. Толстой одинъ изъ лучшихъ виднѣйшихъ представителей второго типа.

I.

Въ 1816 г. Анна Алексѣевна Перовская была обвинена съ гр. Константиномъ Петровичемъ Толстымъ, а 24-го августа 1817 г. у нихъ родился сынъ Алексѣй, ставшій впоследствии знаменитымъ поэтомъ.

Мать нашего поэта происходитъ изъ исторически-извѣстнаго малороссійскаго рода Разумовскихъ. Какъ извѣстно, у украинскаго казака Разума былъ сынъ Алексѣй Гри-

горьевичъ, занимавшій въ своемъ селѣ невысокое положеніе пастуха. Какъ это часто встрѣчается на Украинѣ, у Алексѣя Григорьевича былъ красивый голосъ, благодаря которому онъ попалъ въ придворные пѣвчіе, а красивая внѣшность сдѣлала его фаворитомъ императрицы Елизаветы Петровны и подняла на высшія ступени богатства, общественнаго положенія и служебной карьеры.

У брата Алексѣя Григорьевича Разумовскаго, Кирилла Григорьевича, человѣка умнаго и блестяще образованнаго за границей, былъ сынъ Алексѣй Кирилловичъ. Алексѣй Кирилловичъ былъ видный вельможа Александровскаго времени. Отъ такъ-называемаго незаконнаго брака графа Алексѣя Кирилловича съ дѣвицей Маріей Михайловной Соболевской родились одиннадцать дѣтей; для насъ представляютъ интересъ только Алексѣй и Анна. Имъ дали фамилію Перовскихъ, узаконили и даровали дворянское званіе. Анна Алексѣевна и была матерью нашего поэта.

Говорятъ, что всѣ великіе люди имѣли выдающихся по уму и душевнымъ качествамъ матерей. Если судить объ этой теоріи наслѣдственности по А. Толстомъ, то она вполне справедлива. Въ то время какъ его отецъ былъ человѣкъ вполне ничтожный и даже ограниченный, мать славилась въ Петербургѣ и своей красотой и своимъ выдающимся умомъ.

Родители А. Толстого недолго прожили вмѣстѣ. Алешѣ еще не исполнилось и двухъ мѣсяцевъ, какъ онъ уже покинулъ съ матерью Петербургъ и поселился у своего дяди и брата своей матери Алексѣя Алексѣевича Перовскаго, въ Черниговской губ., Мглинскаго уѣзда, имѣніи Красный Рогъ.

Дядя нашего поэта оказался не менѣе своей сестры человѣкомъ большого ума, хорошаго образованія и добраго сердца. Онъ вполне замѣнилъ для Алеши отца и сумѣлъ воспитать въ немъ чуткую душу и острый умъ. Всѣ дѣти гр. А. К. Разумовскаго, бывшаго при Александрѣ I министромъ народнаго просвѣщенія, получили тщательное образованіе, а благодаря связямъ отца сдѣлали хорошую служебную карьеру.

Дядя нашего поэта въ 1825 г. былъ назначенъ попечителемъ харьковскаго учебнаго округа, но служба, видимо, занимала его мало. Онъ предпочиталъ ей занятіе литературой и искусствомъ. Видимо, художественныя склонности родоначальника-пастуха не умирали въ семьѣ Разумовскихъ.

Самъ графъ Алексѣй Кирилловичъ принималъ активное участіе въ извѣстномъ литературномъ обществѣ Шишкова, извѣстномъ подъ именемъ «Бесѣды любителей россійскаго слова».

А. А. Перовскій писалъ подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. Замѣчательно, что въ его многочисленныхъ разсказахъ отсутствуетъ совершенно тенденція. Быть-можетъ, чисто художественная натура Перовскаго была склонна съ этой же точки зрѣнія разсматривать дѣятельность беллетриста и поэта, и въ этомъ же духѣ дядя воспитывалъ, надо полагать, и нашего поэта.

Мѣсто, гдѣ Алеппа провелъ свое раннее дѣтство и «вкусилъ первыя радости бытія», было самымъ подходящимъ для воспитанія будущаго поэта. Помимо связей, гр. А. К. Разумовскій оставилъ дѣтямъ большія средства, которыя достались ему въ видѣ обширныхъ помѣстій его отца, Кирилла Разумовскаго, послѣдняго гетмана Малороссіи. Главное изъ этихъ имѣній было мѣстечко Почепъ, Мглинскаго уѣзда, гдѣ до своей смерти, которая послѣдовала въ 1822 г., жилъ самъ гр. Алексѣй Кирилловичъ; по сосѣдству были расположены помѣстья его дѣтей: Погорѣльцы, въ которыхъ поселился А. А. Перовскій, и Красный-Рогъ, гдѣ въ старой гетманской усадьбѣ, въ красивомъ охотничьемъ домѣ, построенномъ знаменитымъ архитекторомъ Растрелли, жила графиня Анна Алексѣевна Толстая.

Дворецъ этотъ, какъ и всѣ загородные дома гетмана, былъ деревянный, но отличался красотой фасада и удобствомъ расположенія комнатъ. Онъ стоялъ вдали отъ крестьянскихъ хатъ, и широкія липовыя аллеи вели къ его главному подъѣзду; съ другой стороны къ дому примыкалъ обширный садъ, спускавшійся къ красивой рѣкѣ. Средину зданія занимала большая столовая, надъ которой былъ устроенъ бельведеръ, откуда открывался прекрасный видъ на всю усадьбу, рѣку и безграничныя лѣсныя дали. Не было здѣсь лишней роскоши, но весь домъ производилъ впечатлѣніе барской усадьбы, въ которой все красиво, просто и удобно. Проживъ шесть лѣтъ въ деревнѣ, графиня снова вернулась на берега Невы. Зимой 1826 г. салоны Петербурга снова широко открыли двери молодой красавицѣ.

Василій Алексѣевичъ Перовскій былъ хорошо знакомъ съ нашимъ поэтомъ и воспитателемъ наслѣдника престола

Жуковскимъ. Благодаря этому, маленькій Алеша былъ допущенъ въ число дѣтей, составлявшихъ общество будущаго царя-Освободителя, и дѣтскія игры навсегда соединили сердца Александра Николаевича и нашего поэта.

Въ Петербургѣ гр. Толстая пробыла недолго и въ слѣдующемъ 1827 г. выѣхала съ братомъ и Алешей за границу.

Знатныхъ русскихъ путешественниковъ вездѣ принимали радушно, и двери всѣхъ дворцовъ широко раскрывались для петербургскихъ гостей. Въ своей автобіографіи А. Толстой говоритъ, что они были приняты въ Веймарнѣ, при дворѣ великаго герцога Карла-Августа. Здѣсь же доживалъ свои послѣдніе дни великій старецъ и величайшій поэтъ Гете. Къ творцу «Фауста» все еще, несмотря на свои годы, не перестававшему увлекаться и заключать «браки на совѣсть» и передъ алтаремъ, стекались поклонники со всего міра. Наши путешественники также отдали дань времени и генію нѣмецкаго народа. 80-тилѣтній поэтъ принялъ ихъ ласково, а будущаго собрата по перу обласкалъ и посадилъ къ себѣ на колѣни.

Умственное развитіе дяди поэта и его матери совершенно объясняетъ, почему имъ Западъ съ его культурой пришелся по сердцу и почему первая поѣздка повлекла за собой цѣлый рядъ путешествій за границу. Судя по рассказамъ самого поэта, ему больше всего понравилась Италія. Это само-собою понятно. Страна, представляющая собою богатѣйшій музей искусства, тысячелѣтія создававшійся великимъ народомъ; страна, изобилующая великолѣпными картинами природы, не могла не понравиться поэту-художнику. Разумѣется, «чудный край, гдѣ такъ чистъ неба сводъ, гдѣ средъ темной листвы померанцы желтѣютъ, пальмы гордо растутъ, птица звонче поетъ, розы пышно цвѣтутъ и мирты зеленѣютъ», не могъ не произвести сильнаго впечатлѣнія на душу того, кто самъ былъ сотканъ изъ красоты и поэзіи.

Когда Алеша съ дядей и матерью путешествовали по Италіи, желѣзныхъ дорогъ еще не было, и имъ приходилось все время свершать путь въ каретѣ.

Такой способъ передвиженія, конечно, проигрываетъ въ быстротѣ, но зато сильно выигрываетъ въ смыслѣ возможности ознакомленія со страной. Дѣловой человѣкъ предпочтетъ первое, путешественникъ-туристъ—второе. Не даромъ пу-

тешествіе, сдѣланное въ дѣтствѣ А. Толстымъ, рельефно врѣзалось въ его память, а воспоминанія о немъ изобилуютъ массой интересныхъ подробностей, возможныхъ только при добромъ старомъ примитивномъ способѣ передвиженія.

Наши путешественники посѣтили городъ гондолъ и каналовъ—Венецію; торговую и нѣкогда могучую, блистательную Геную; Лукку съ его извѣстнымъ соборомъ Санъ-Мартино и знаменитой капеллой, гдѣ хранится высокочтимое изображеніе распятаго Христа; древній Миланъ съ его картинною галлереей, дворцами, знаменитымъ опернымъ театромъ, безчисленными соборами и научно-художественными учрежденіями; нѣкогда столичную могущественную Флоренцію съ ея великолѣпной площадью, памятниками, статуями, дворцами, знаменитыми картинными и скульптурными галлереями и безчисленными театрами; Пизу съ ея падающей башней и сѣрными источниками; Верону съ поэтическими развалинами гробницы Ромео и Джульетты и знаменитымъ древнимъ амфитеатромъ съ ареной на 22 тысячи человѣкъ; наконецъ, Фолинью, Civita Castellana и черезъ Piazza del Popolo въѣхали въ знаменитый, многострадальный, изъ пепла возрождавшійся и повелѣвавшій нѣкогда всѣмъ міромъ Римъ. Изъ Рима черезъ Гаэту проѣхали въ «кусокъ неба, упавшій на землю», т.-е. Неаполь, а изъ Неаполя моремъ вернулись въ Геную.

Помимо безчисленныхъ впечатлѣній отъ природы, нравовъ, культуры и искусства Италіи, наши путешественники сдѣлали много интересныхъ знакомствъ, по преимуществу въ мірѣ художниковъ. Между прочимъ, они познакомились съ нашимъ знаменитымъ художникомъ К. П. Брюлловымъ, какъ извѣстно, большую часть своей сознательной жизни проводившимъ въ Италіи. Красивый Алеша очень понравился художнику, и «русскій Рафаэль» нарисовалъ будущему поэту картинку въ его альбомъ.

Со времени этого путешествія Италія навсегда осталась для Толстого духовною родиной, и онъ охотно возвращался въ Римъ. Надо полагать, что многочисленныя и глубокія впечатлѣнія итальянскаго искусства не остались безъ вліянія на художественную натуру А. Толстого и усилили въ немъ склонность къ эстетизму. Античное искусство итальянскихъ художниковъ заложило въ душу поэта любовь къ пластичности, внѣшней красотѣ, гармоніи формы и мысли. Итальянское искусство выработало въ Толстомъ то, что въ живописи

называютъ рисункомъ. А. Толстой, такъ же какъ и Брюлловъ, не могли въ своихъ произведеніяхъ отдѣлить эти два элемента. «Мысль и рисунокъ, говоритъ Брюлловъ, это мужъ и жена. Чувство съѣтъ въ художникѣ мысль, рисунокъ рождаетъ ее; одно безъ другого нѣмо и бесплодно».

Въ 1834 году мы застаемъ всю семью въ Москвѣ. А. А. Перовскій жилъ здѣсь бариномъ и меценатомъ. Онъ даже залучилъ къ себѣ въ домъ К. П. Брюллова, написавшаго уже свою знаменитую картину «Послѣдній день Помпеи» и приглашеннаго профессоромъ въ академію художествъ. Перовскій пригласилъ ставшаго міровою извѣстностью художника къ себѣ, надѣясь заставить его работать и написать за крупный гонораръ семейные портреты. Но своеобразная натура художника, неудачная женитьба и аневризмъ взяли свое. Брюлловъ закутилъ и, къ великому огорченію мецената, чуть не тайкомъ убѣжалъ изъ его дома. Въ это время все же были написаны К. П. Брюлловымъ портреты А. А. Перовскаго и гр. А. К. Толстого, но портрета графини Анны Алексѣевны Брюлловъ даже не начиналъ. Графъ А. К. Толстой изображенъ стройнымъ юношей, въ охотничьемъ костюмѣ, съ ружьемъ и легавой собакой. По мнѣнію А. В. Мещерскаго, портретъ этотъ вполне удался художнику, который «достигъ разительнаго сходства и опозитизировалъ тѣ черты, которыя заслуживали художественной отдѣлки». Не даромъ все семейство было отъ этого портрета въ восторгѣ.

Въ это время Толстой поступилъ на службу въ московскій архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ. Судьба точно нарочно толкаетъ будущаго сторонника вѣчевой Руси къ хранящимся въ архивѣ древнимъ договорамъ Новгорода съ русскими князьями и грамотами московскихъ и другихъ удѣльныхъ князей. Здѣсь же и переписка русскихъ государей XVII вѣка. Служба въ архивѣ, такъ же какъ и во всѣхъ нашихъ казенныхъ учрежденіяхъ, едва ли была утомительная, потому что А. Толстой одновременно числился студентомъ университета. Черезъ годъ, по Высочайшему повелѣнію, онъ получилъ отпускъ за границу, вернулся 4-го ноября 1835 г. и почти тотчасъ же подалъ прошеніе о допущеніи его къ экзаменамъ. Экзаменъ онъ выдержалъ и получилъ аттестатъ отъ совѣта университета (4-е января 1836 г.). Этотъ аттестатъ давалъ право на вступленіе въ первый разрядъ чиновниковъ государственной службы. Когда идетъ вопросъ о нашихъ уни-

верситетахъ 30-хъ годовъ, то надо просить читателя не смѣшивать ихъ съ высшими учебными заведеніями того типа, который мы привыкли связывать съ представленіемъ о высшемъ образованіи и болѣе или менѣе порядочной научной подготовкѣ. Грановскій также въ эти годы былъ въ университетѣ и при всей своей снисходительности затруднялся указать въ послѣдствіи на какія бы то ни было научныя достоинства своихъ профессоровъ. Въ 1856 г. товарищъ Грановскаго по университету В. В. Григорьевъ пишетъ: «Многихъ тогдашнихъ профессоровъ, отчасти даже знаменитостей, не сдѣлали бы теперь учителями въ порядочныхъ гимназіяхъ». При учрежденіи въ 1755 г. московскаго университета въ указѣ Елизаветы Петровны сказано, что университетъ долженъ замѣнить неучей-педагоговъ. «Великое число въ Москвѣ у помѣщиковъ на дорогомъ содержаніи учителей, изъ которыхъ большая часть не только учить науки не могутъ, но и сами къ тому никакого начала не имѣютъ, и только черезъ то младыя лѣта учениковъ и лучшее время къ ученю пропадаютъ». То же самое можно было сказать и о московскомъ университетѣ во времена юности Толстого. Профессора замѣнили собой педагоговъ доуниверситетскаго періода и такъ же какъ и послѣдніе не только «учить науки» не могли, но и сами не отставали въ невѣжествѣ отъ своихъ предшественниковъ.

Вотъ почему громкой фразѣ объ удачномъ университетскомъ экзаменѣ А. Толстого и полученіи «искомой степени» не слѣдуетъ придавать большого значенія.

О Толстомъ того времени мы имѣемъ характеристику извѣстнаго общественнаго дѣятеля и автора интересныхъ воспоминаній кн. Алекс. Васильев. Мещерскаго. Мещерскій въ молодости былъ очень друженъ съ нашимъ поэтомъ и восторженно отзывался объ его нравственныхъ качествахъ. «Подобной ясной и свѣтлой души, пишетъ князь, такого отзывчиваго и нѣжнаго сердца, такого вѣчно присущаго въ человѣкѣ высокаго нравственнаго идеала, какъ у Толстого, я въ жизни ни у кого не видалъ». Объ умственныхъ достоинствахъ своего друга Мещерскій тоже лестнаго мнѣнія. Онъ особенно отмѣчаетъ его необыкновенную память. Толстой могъ, бѣгло прочтя большую страницу прозы, повторить ее на память безъ единой ошибки.

Вскорѣ послѣ университетскихъ экзаменовъ Толстой долженъ былъ снова покинуть Россію. Заболѣлъ А. А. Пе-

ровскій и по совѣту врачей долженъ былъ ѣхать на знаменитый итальянскій курортъ—Ницу. А. Толстой рѣшилъ сопровождать больного и, получивъ 13-го іюня отпускъ на четыре мѣсяца, выѣхалъ изъ Москвы. Путешествіе на этотъ разъ оказалось нерадостнымъ. Болѣзнь дяди неожиданно въ дорогѣ обострилась, и поѣздка прервалась въ Варшавѣ. Были приглашены врачи, но ихъ искусство оказалось безсильно... 9-го іюля 1836 г. духовный отецъ, другъ и воспитатель нашего поэта скончался на рукахъ своего Алеши.

Перовскій оставилъ А. Толстому все свое большое состояніе.

II.

Похоронивъ дядю, Толстой dospѣшилъ съ печальною вѣстью къ матери, жившей въ Петербургѣ. Вѣроятно и графиня была потрясена смертью близкаго и дорогого человека. Чтобы не разставаться съ одинокою матерью, Толстой рѣшилъ бросить Москву. И дѣйствительно, онъ больше въ нее не возвращается и переводится на службу въ Петербургъ въ департаментъ хозяйственныхъ и счетныхъ дѣлъ. Департаментскую службу онъ мѣняетъ временно на дипломатическую: ѣдетъ во Франкфуртъ-на-Майнѣ въ нашу миссію, а вернувшись оттуда, поступаетъ во II отдѣленіе Собственной Его Величества канцеляріи.

Параллельно съ его чиновничьею карьерой движется и его офиціальное положеніе при дворѣ. Сначала Толстой получаетъ придворное званіе, столь низко цѣнимое при Петрѣ I и повышенное при Аннѣ Іоанновнѣ—камеръ-юнкера, а затѣмъ, въ 1851 г., мы видимъ уже нашего поэта въ придворномъ званіи 5-го класса, т.-е. церемоніймейстеромъ двора. Однако, офиціальное положеніе Толстого значительно уступало его дѣйствительному положенію при дворѣ. Будучи церемоніймейстеромъ, онъ былъ избавленъ отъ всякихъ церемоній при своихъ сношеніяхъ съ Наслѣдникомъ. Онъ пользовался правомъ во всякое время входить къ нему безъ доклада.

Въ свои молодые годы А. Толстой ничѣмъ не отличался отъ своихъ сверстниковъ, принадлежащихъ къ такъ-называемой золотой молодежи.

По словамъ В. Д. Давыдова, Толстой въ 40-хъ годахъ жилъ общео всѣмъ молодымъ людямъ свѣтскою жизнью, влюблялся съ увлеченіемъ, волочился съ настойчивостью, плясалъ на балахъ, билъ на охотѣ медвѣдей и лосей,—словомъ, участвовалъ во всѣхъ развлеченіяхъ богатой праздной дворянской молодежи. Свѣтская жизнь, впрочемъ, несмотря на свою привлекательность и, такъ-сказать, узаконенность для людей извѣстнаго круга, не наполняла духовный міръ нашего поэта; онъ часто убѣгалъ отъ нея, чтобы по цѣлымъ недѣлямъ пропадать въ лѣсахъ, иногда съ товарищемъ, но обыкновенно—одинъ.

Внѣшность его въ значительной степени содѣйствовала его свѣтскимъ успѣхамъ. В. А. Инсарскій, хорошо извѣстный въ нашей литературѣ своими мемуарами изъ жизни нашихъ дворянъ-помѣщиковъ 40—50-хъ годовъ и встрѣчавшій нерѣдко у кн. Барятинскаго молодого поэта, описываетъ его наружность слѣдующимъ образомъ: «Графъ Толстой былъ красивый молодой человекъ съ бѣлокурыми волосами и румянцемъ во всю щеку». Нѣжность и деликатность настолько проникали всю его фигуру, что онъ похожъ былъ на красную дѣвицу». Но въ то же время Толстой славился среди товарищей своею силой: онъ «свертывалъ въ трубку столовыя ложки и вилки, вгонялъ пальцемъ въ стѣну гвозди и разгибалъ подковы».

Однако, несмотря на веселую свѣтскую жизнь, Толстой въ 40-хъ годахъ принялся уже серьезно за литературный трудъ. Въ своей автобіографіи Толстой сообщаетъ, что онъ «съ шести лѣтъ маралъ бумагу и писалъ стихи, а затѣмъ въ теченіе многихъ лѣтъ продолжалъ упражняться и совершенствоваться въ версификаціи». Тѣмъ не менѣе, первымъ его опытомъ была повѣсть «Упырь», написанная прозой. Это фантастическій разсказъ въ стилѣ Гофмана, фантастико-романтическіе разсказы котораго имѣли тогда у насъ большой успѣхъ. Толстой выбираетъ, подражая своему дядѣ, псевдонимъ по его примѣру. Перовскій извѣстенъ въ литературѣ подъ именемъ Погорѣльскаго, такъ какъ свою фамилію онъ замѣнилъ названіемъ своего имѣнія «Погорѣльцы»; а Толстой, идя той же дорогой, назвался «Краснорогскимъ», въ честь своего любимаго имѣнія Красный-Рогъ.

«Упырь» благосклонно былъ принятъ критикой, а Бѣлинскій, со свойственною этому гениальному критику про-

нительностью, указаль на талантливость автора и сказали, что «отъ него можно въ будущемъ надѣяться многого».

Въ это же время двоюродные братья Толстого А. М. Жемчужниковъ и Владимиръ Михайловичъ начали службу въ Петербургѣ. Алексѣй Михайловичъ въ 1841 г. поступилъ въ сенатъ, а Владимиръ былъ въ петербургскомъ университетѣ. Надо полагать, что юношескія шалости троихъ братьевъ, сдѣлавшихъ ихъ извѣстными всему Петербургу, положили основаніе мѣткой характеристикѣ и банальной философіи русскаго бюрократа, изданной впоследствии подъ названіемъ «Сочиненій Кузьмы Пруткова».

Въ 1849 году мы находимъ Толстого въ Калугѣ; онъ былъ командированъ туда въ качествѣ чиновника при сенаторѣ кн. Давыдовѣ, которому было поручено ревизовать Калужскую губернію. Здѣсь онъ близко сошелся съ семейю мѣстнаго губернатора Смирнова; его жена Александра Іосифовна, урожденная Росетти, была женщина выдающагося ума и хорошо извѣстна въ нашей литературѣ по своимъ отношеніямъ къ Пушкину, Гоголю, Вяземскому и И. С. Аксакову.

Толстому, повидимому, очень понравилосъ въ Калугѣ; онъ гостилъ въ имѣніи Смирновыхъ Бѣгичевѣ, охотился вмѣстѣ съ хозяиномъ, читаль хозяйкѣ своей стихи и бесѣдоваль съ ея друзьями. Зимѣ 1850 г. Толстой цѣликомъ провелъ въ Калугѣ, послѣ того какъ онъ съѣздилъ въ Почепъ провѣдать больного дядю, Василія Алексѣевича Перовскаго. Исполняя разныя порученія для кн. Давыдова, Толстой находилъ время заниматься литературой и много работаль надъ «Княземъ Серебрянымъ». Въ 1850 г. онъ читаль лицамъ избраннаго калужскаго общества первыя главы этого романа, а также рядъ своихъ стихотвореній, былинь и даже планъ «Трилогіи».

Въ числѣ лицъ, гостившихъ у Смирновыхъ, былъ и Гоголь, который очень полюбилъ молодого поэта. Съ нимъ Толстой встрѣтился впервые въ концѣ 30-хъ годовъ, но только въ Калугѣ у Смирновой они познакомились и оцѣнили другъ-друга.

Такъ протекала молодость поэта. Жизнь улыбалась ему; фортуна, такъ же какъ и фатумъ, покровительствовали счастливцу; служба такъ же удавалась, какъ и литературная карьера; борьба за существованіе не портила характеръ и не искажала его душу; погоня за общественнымъ положеніемъ

не вырабатывала низкопоклонства, холопства и неискренности. Жизнь закрѣпощенной страны съ ея николаевскимъ режимомъ и безграничнымъ административнымъ произволомъ, казалось, не возмущала душевный покой поэта. Все предшествующее воспитаніе и общественное положеніе А. Толстого высокою стѣной отдѣляли его отъ «проклятыхъ вопросовъ».

Но проклятые вопросы русской дѣйствительности росли какъ комъ снѣга, стремящійся въ бездну. Государственное устройство Россіи влекло за собою полное гнилостное зараженіе всего организма, и страшная болѣзнь таилась только до поры до времени.

Грянула Крымская война, и болячки вскрылись. Началась безпримѣрная война героическаго народа, плохо вооруженнаго, предводительствуемаго невѣжественными и неспособными военачальниками, обворованнаго чиновниками и посланнаго въ бессмысленную бойню глупыми дипломатами и ослѣпленнымъ, самоувѣреннымъ правительствомъ.

Толстой въ годину несчастія не остался празднымъ наблюдателемъ гибели славной арміи и позора родины. Сначала онъ хотѣлъ на вербовать и вооружить на свои средства отрядъ добровольцевъ. Это ему не удалось. Тогда онъ строить другой планъ: хотеть купить корабль и вести каперскую войну противъ Англіи. Этотъ планъ также отличается практической несостоятельностью. Воображеніе поэта было плѣнено славными морскими разбойниками XVI вѣка, такъ удачно дѣйствовавшими во время войны Нидерландовъ съ Испаніей за освобожденіе. Онъ забылъ лишь, что международное право сильно измѣнило съ тѣхъ поръ взгляды какъ на войну вообще, такъ и на каперство въ частности. Оно все болѣе и болѣе приходило къ выводу, что война ведется между государствами посредствомъ ихъ армій, а не между отдѣльными подданными враждующихъ державъ. Къ началу Крымской войны каперство совершенно уже уничтожилось между большинствомъ европейскихъ державъ, и правительства обязались не выдавать каперскихъ патентовъ.

Два неудачныхъ плана были замѣнены третьимъ, на сей разъ вполне достижимымъ. А. Толстой бросаетъ гражданскую службу и вступаетъ въ ряды арміи съ чиномъ майора. То же дѣлаетъ сотоварищъ по перу и сотрудникъ по изданію сочиненій гипотетическаго Кузьмы Пруткова Владимиръ Жемчуж-

никовъ. И тотъ и другой попадаютъ въ стрѣлковый полкъ Императорской Фамиліи. Обстановка военной жизни и война настраиваютъ лиру поэта на новый ладъ, и онъ пишетъ двѣ патріотическія пѣсни: «Слава» и «Чарочка». Пѣсни понравились государю и были приняты на предметъ исполненія пѣсельниками въ войскахъ.

Въ сентябрѣ 1855 г. беззаботный, избалованный и преуспѣвающій поэтъ бросаетъ шумную столицу, свѣтскія развлеченія и улады богатой жизни и выступаетъ съ полкомъ на роковой полуостровъ, гдѣ самодержавный, чиновничій, дореформенный строй давалъ послѣднее неудачное сраженіе европейской цивилизаціи.

Впрочемъ, полкъ Толстого оказался назначеннымъ не въ Крымъ, а для защиты Одессы. Всѣмъ хорошо извѣстно санитарное состояніе нашей арміи въ Крымскую войну. Въ эту войну въ сраженіяхъ мы потеряли менѣе ста тысячъ, а умершихъ отъ ранъ и болѣзней болѣе четырехсотъ тысячъ. Войска во всемъ терпѣли крайнюю нужду; «они не имѣли ни крова ни теплой одежды и подвергались вредному дѣйствію непогоды», пишетъ генераль Дубровинъ. Очень понятно отсюда, почему въ полку А. Толстого развился тифъ и въ нѣсколько мѣсяцевъ скосилъ половину полка. Заразился тифомъ и поэтъ. Но и на этотъ разъ судьба была милостива къ питомцу музъ. Несмотря на тяжелую форму болѣзни, крѣпкій организмъ справился съ нею и выздоровѣлъ. Правда, уходъ за Толстымъ былъ исключительный, не потому, конечно, что начальство заботилось о сохраненіи жизни даровитаго человѣка, а потому, что государь интересовался ходомъ болѣзни, и командиръ полка долженъ былъ ежедневно доносить по телеграфу о состояніи больного.

За нѣсколько лѣтъ до начала Крымской войны гр. Толстой встрѣтился въ петербургскомъ обществѣ съ женой полковника Софьей Андреевной Миллеръ, урожденной Бахметьевой. По тому стихотворенію, которое было вызвано этой встрѣчей, мы можемъ судить о впечатлѣніи, которое сдѣлала Софья Андреевна на нашего поэта. Всѣ мы хорошо знаемъ эти граціозные, полные тихой грусти стихи, а несравненный талантъ Чайковского заставилъ ихъ звучать во всѣхъ концертныхъ залахъ Европы.

Средь шумнаго бала случайно,
Въ тревогѣ мірской суеты,

Тебя я увидѣлъ, но тайна
Твои покрывала черты...

Описавъ дивный голосъ, гибкій станъ, печальныя очи, поэтъ заканчиваетъ сомнѣвающимся тономъ, въ которомъ явно скрыто утвержденіе: «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мнѣ, что люблю»... Поэтъ не ошибся: съ первой, видимо, встрѣчи въ немъ вспыхнула любовь къ Софѣѣ Андреевнѣ. Судя по письмамъ, которыя они писали другъ-другу въ 1852 и послѣдующіе годы, между ними установились отношенія, которыя должны были рано или поздно привести къ браку.

Когда поэтъ заболѣлъ тифомъ, Софья Андреевна, не справляясь со свѣтскими приличіями и опасностью заразы, бросаетъ Петербургъ и ѣдетъ въ городъ, надъ которымъ повисла страшная эпидемія. Здѣсь она самоотверженно ухаживаетъ за дорогимъ больнымъ. Когда болѣзнь Толстого минула и мы заключили позорный Парижскій договоръ о мирѣ, поэтъ, вмѣстѣ съ болѣвшимъ также тифомъ Владимиромъ Жемчужниковымъ, отправился для возстановленія силъ въ Крымъ. Съ нимъ вмѣстѣ поѣхала и Софья Андреевна.

На кого благотворно не дѣйствовалъ воздухъ, море, солнце и пейзажи Крыма? Кто подъ обаяніемъ этой дивной природы не становился въ душѣ поэтомъ? Неудивительно поэтому, что всѣ поэты, бывшіе въ Крыму, отдали стихотворную дань его «шумящему морю», его прозрачной дали, его волшебнымъ ночамъ... Мы знаемъ, какъ «Подъ сѣнью горъ Тавриды отдаленной пѣвецъ Литвы въ размѣрѣ его стѣсненный свои мечты мгновенно заключалъ». Такъ же какъ Мицкевича, Крымъ вдохновилъ и А. Толстого. Крыму мы обязаны «Крымскими очерками». Въ нихъ съ поразительной картинностью Толстой рисуетъ картины южной природы.

Изъ Крыма черезъ Кіевъ А. Толстой съ Львомъ Жемчужниковымъ уѣхалъ къ матери въ Красный-Рогъ.

Конечно, поэтъ, кромѣ желанія вновь свидѣться съ горячо любимой матерью, имѣлъ въ виду сообщить ей о своихъ намѣреніяхъ въ отношеніи Софьи Андреевны.

Несмотря на радость свиданія послѣ долгой разлуки и миновавшей опасности, между Анной Алексѣевной и ея сыномъ произошли рѣзкія объясненія: «она не только не сочувствовала тѣмъ отношеніямъ, которыя установились между ея Алешей и Софьей Андреевной, но была прямо возмущена

ими и относилась съ полнымъ недовѣріемъ къ искренности его невѣсты. Не разъ между ней и Львомъ Жемчужниковымъ¹⁾, тайно отъ сына, шли бесѣды. Графиня была до того взволнована, что во время рѣчи слезы такъ и капали изъ ея глазъ». Съ другой стороны, у сына сердце разрывалось на части. Толстой обожалъ свою мать, но и любилъ Софью Андреевну самымъ искреннимъ образомъ. Однажды у него завязалось горячее объясненіе съ Львомъ Жемчужниковымъ... Забравшись въ березникъ, они усѣлись на травѣ, и Толстой сталъ говорить о томъ, что наболѣло у него на душѣ. «Сколько въ его глазахъ и словахъ выражалось любви къ Софьѣ Андреевнѣ, которую онъ называлъ умной, милой, талантливой, доброй, образованной и—прекрасной души! Его глубоко огорчало, что мать безконечно груститъ, ревнуетъ и предубѣждена противъ Софьи Андреевны, несправедливо обвиняя ее въ лживости и расчетахъ. Такое обвиненіе должно было перевернуть все существо такого добраго, честнаго и рыцарски-благороднаго человѣка, какимъ былъ Толстой»...

Упорство, съ какимъ графиня не соглашалась на бракъ сына съ Софьей Андреевной, и голословныя обвиненія ея въ корыстныхъ расчетахъ, заставляютъ предположить, что мы имѣемъ дѣло съ ревнивымъ чувствомъ матери, жаждущей удержать возлѣ себя единственное дорогое и горячо-любимое существо. Князь А. В. Мещерскій рассказываетъ въ своихъ извѣстныхъ воспоминаніяхъ, что А. Толстой одно время сильно увлекался его сестрой и хотѣлъ было сдѣлать ей предложеніе, но гр. Анна Алексѣевна сильно воспротивилась этому безъ всякой видимой уважительной причины. Сынъ тогда подчинился ея волѣ и остался холостымъ, какъ мы видимъ, почти до сорока лѣтъ. Софья Андреевна была во второй разъ причиной упорства графини въ отношеніи матримоніальныхъ плановъ сына. Однако, на этотъ разъ побѣда осталась за А. Толстымъ.

Въ 1857 г. Софья Андреевна получаетъ разводъ отъ своего мужа и дѣлается женой гр. А. К. Толстого.

Скептики говорятъ, что «бракъ—могила любви». Если бы о справедливости этого афоризма судить по брачной жизни А. Толстого, то надобно было бы признать это изреченіе ложнымъ.

¹⁾ Воспоминанія Жемчужникова („Вѣстникъ Европы“, 1899 г., № 11).

III.

Наступило царствованіе Александра II. Нечего говорить о томъ, что товарищъ дѣтства не былъ забытъ. Его при дворѣ ждали распростертія объятія самого государя. Въ коронацію 26-го августа Толстой былъ назначенъ флигель-адъютантомъ. Реформаторскіе планы новаго государя требовали и новыхъ людей; кромѣ того, Толстой былъ приближенъ къ особѣ царя, а потому понятно, что на него возлагались административныя надежды. Поэтъ, помимо личныхъ усилій, превратился въ чиновника, исполняющаго различныя порученія и, наконецъ, попавшаго въ члены комиссіи о сектантахъ.

Всѣмъ хорошо извѣстно, что наша церковь, рука-объ-руку съ правительствомъ, жестоко преслѣдовала всѣхъ несогласно мыслящихъ съ ней по вопросамъ вѣры и ритуала. При этомъ законы не отдѣляли старообрядцевъ, крѣпко державшихся традицій древне-православной дониконовской Руси, отъ раціоналистовъ-сектантовъ, клавшихъ въ основу своего вѣроученія Евангеліе, а иногда Ветхій Заветъ. Законы карали и тѣхъ и другихъ строго, а иногда и жестоко. Мы имѣемъ цѣлые томы законодательныхъ постановленій, но всѣ они отличаются характеромъ случайнымъ. Это произошло потому, что законы издавались по поводу религіознаго движенія въ томъ или другомъ районѣ, а иногда касались отдѣльныхъ лицъ. Для приведенія въ порядокъ и изданія общихъ законовъ была основана комиссія. Работы ея привели къ закону о сектантахъ, по которому почти всѣ религіозныя секты признаны были особо вредными. Положеніе нашего поэта, сказавшаго устами Донъ-Жуана: «Святые братья глупы. Человѣкъ молиться воленъ, какъ ему угодно. Не влѣзешь силой въ совѣсть никому и никого не вгонишь въ рай дубиной», было среди членовъ комитета положеніемъ altera pars.

Представить себѣ положеніе нашего поэта въ роли чиновника нетрудно. Безъ специальной теоретической и практической подготовки, прямой, неспособный къ интригѣ, щепетильно-честный Толстой былъ какъ нельзя болѣе не на мѣстѣ въ роли вершителя судебъ. Реформы новаго государя намѣтили иной путь для жизни страны, но правительственные агенты николаевской школы остались на мѣстахъ. Привыкшіе

къ казнокрадству, взяточничеству и произволу, они не могли, конечно, вдругъ измѣнить свою природу, а отсюда понятно, почему новое вино реформъ попало въ старыя мѣхи помпадуровъ. «Государь всѣмъ желаетъ добра, пишетъ А. Толстой въ одномъ изъ своихъ писемъ, но ему такъ дурно служить». Если Толстой раньше не бросилъ службу, то только потому, что этого не хотѣли его мать и старшіе родственники. Но среда чиновничьяго бездѣльничанья и нездоровая атмосфера чиновнаго міра были ему глубоко отвратительны. Въ одномъ изъ своихъ писемъ въ 1851 г. онъ говоритъ, что ему «противны люди, которые, подъ предлогомъ, что они служатъ, живутъ интригами, одна грязнѣе другой». Въ томъ же письмѣ онъ пишетъ: «Съ ранняго дѣтства я чувствовалъ влеченіе къ художеству и отвращеніе къ чиновничеству и каприализму».

1-го іюня 1857 г. умираетъ Анна Алексѣевна, а вмѣстѣ съ нею отпадаетъ единственная причина, заставлявшая А. Толстого принадлежать къ «право-правящимъ». Поэтъ пишетъ государю письмо, гдѣ выясняетъ мотивы, побуждающіе его подать прошеніе объ отставкѣ. «Я сознаю,—пишетъ государю Толстой,—что всякій, по мѣрѣ силъ, долженъ быть полезенъ своему отечеству, но есть разные способы быть полезнымъ. Способъ, указанный мнѣ Провидѣніемъ,—мое литературное дарованіе, и всякій другой путь для меня невозможенъ. Я всегда буду плохимъ администраторомъ, плохимъ чиновникомъ, но думаю, что безъ самообольщенія могу сказать, что я хорошій писатель».

Вся послѣдующая литературная дѣятельность Толстого подтвердила правоту его словъ. Но государь, видимо, не соглашался со взглядомъ поэта на его призваніе, и отставка была принята холодно. Впрочемъ, придворное званіе было оставлено, дабы не лишать государя общества его друга дѣтства. Толстой былъ назначенъ, какъ страстный охотникъ, егермейстеромъ. Завѣдываніе егерями царской охоты, видимо, не затрудняло нашего поэта, потому что онъ до гробовой доски оставался въ этомъ званіи.

Итакъ, нашъ поэтъ «на волѣ». Его не связываютъ officialныя обязанности, не угнетаетъ канцелярская обстановка, не отнимаетъ времени чиновничье творчество, онъ можетъ не трогать жизнь на разысканіе «корней и нитей» во вѣренномъ ему стадѣ и положеніи онымъ въ его гражданскихъ стремле-

ніяхъ препонъ и административныхъ преградъ. Теперь для него

Звонче жаворонка пѣнье,
Ярче вѣсніе цвѣты,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.
Разорвавъ тоски оковы,
Цѣпи пошлыя разбивъ,
Набѣгаетъ жизни новой
Торжествующій приливъ.

Неудовольствіе государя въ моментъ приѣма отставки оказалось не мимолетнымъ. Считая его честнымъ, достойнымъ уваженія человѣкомъ, Александръ II охладѣлъ къ поэту. Зато потерявъ въ одномъ мѣстѣ, Толстой нашелъ въ другомъ. Государыня Марія Александровна, какъ извѣстно, была умная, образованная и прогрессивная женщина. Она принимала дѣятельное участіе въ вопросахъ женскаго образованія; при ней началось открытіе всесловныхъ и открытыхъ женскихъ гимназій, реформированъ затворнической строй институтовъ и т. д. Марія Александровна оцѣнила талантъ А. Толстого, а его живая, остроумная рѣчь сдѣлала общество нашего поэта всегда желательнымъ для государыни. Онъ часто и подолгу гостилъ у нея въ Ливадіи, на Швальбахскомъ курортѣ, въ Сорренто и зимней климатической станціи на берегу Генуэзскаго залива—Санъ-Ремо.

Говорять, государыня была не только большая любительница художественной литературы, но и остроумный тонкій цѣнитель. Вотъ почему Толстой всегда охотно читалъ ей всѣ свои новыя произведенія, даже и такія, которыя не имѣли ни малѣйшихъ шансовъ получить одобреніе цензуры. Иногда государыня приходила въ такой восторгъ отъ произведеній А. Толстого, что выражала желаніе не допустить цензуру до цивической казни твореній поэта.

А. Толстой также искренно цѣнилъ и уважалъ умъ и сердце своей высокой покровительницы, какъ она его талантъ.

«Какое удовольствіе, пишетъ Толстой, имѣть государыню своей слушательницей! Изъ всѣхъ слушателей, находящихся и прошедшихъ, я ей читаю съ наибольшимъ удовольствіемъ. Ничего отъ нея не ускользаетъ. Она все пони-

маеть, все отгадываетъ, и ея подвижное лицо отражаетъ всѣ отѣнки и подбодряетъ чтеца вносить выраженіе въ его чтеніе.

Выйдя въ отставку, гр. А. К. Толстой поселился въ деревнѣ и только временами заглядывалъ въ столицу. Ему достались отъ дяди два имѣнія: Пустынка, близъ Любани, и большое помѣстье Красный-Рогъ въ Мглинскомъ уѣздѣ, т.-е. въ сѣверномъ углу Малороссіи.

Пустынка имѣла ту прелесть, что она находилась вблизи Петербурга и давала возможность столичнымъ жителямъ воспользоваться на короткій срокъ гостепріимствомъ любезныхъ хозяевъ. По словамъ извѣстнаго цензора и автора дневника съ цѣнными воспоминаніями А. Никитенки, который гостилъ тамъ въ маѣ 1876 г., «барскій домъ былъ построенъ на берегу рѣки Тосны въ родѣ роскошнаго замка. Все въ домѣ было изящно, удобно и просто. Самая мѣстность усадьбы интересна. Ёдешь къ ней по гнусному ингерманландскому болоту и вдругъ неожиданно натыкаешься на рѣку Тосну, окаймленную высокими и живописными берегами. На противоположномъ ей берегу стоитъ домъ, который, такимъ образомъ, представляетъ красивое и поэтическое убѣжище». Здѣсь гостили нерѣдко многіе изъ петербургскихъ литераторовъ и ученыхъ, Гончаровъ, Полонскій, Маркевичъ, Костомаровъ, Благовѣщенскій; здѣсь Каролина Павлова переводила «Трилогію», и сюда въ 1867 г. Толстой привезъ актера Васильева, чтобы онъ «вдали отъ шумнаго свѣта» могъ заняться изученіемъ роли Грознаго. Въ 1865 г. въ Пустынку пріѣзжали великіе князья Александръ Александровичъ, впоследствии государь Александръ III, и Владимиръ Александровичъ. Болеславъ Маркевичъ, который имѣлъ репутацію прекраснаго декламатора, читалъ имъ только-что оконченную трагедію «Смерть Іоанна Грознаго».

Кромѣ государыни, у Толстого былъ еще одинъ дѣльный и тонкій критикъ, это его жена Софья Андреевна, какъ говорятъ, недюжинная женщина. Она принимала самое горячее участіе въ литературныхъ планахъ и работахъ своего мужа, а иногда даже собирала матеріалъ для его историческихъ произведеній. Жили они, что называется, душа-въ-душу, и графиня была для нашего поэта не только любящею женой, но и товарищемъ-другомъ, а зачастую даже помощникомъ и совѣтникомъ.

Своихъ дѣтей у нихъ не было, но графъ и графиня взяли на воспитаніе племянниковъ графини и привязались къ нимъ всей душой. Выдержка изъ одного изъ писемъ поэта достаточно ярко можетъ характеризовать его отношеніе къ воспитанникамъ:

«Дѣти чувствуютъ, что я ихъ люблю; какъ только я вхожу въ комнату, всѣ кричатъ и бросаются мнѣ на шею. Андрейка первый. Они всѣ на меня садятся и дергаютъ во всѣ стороны. Андрейка мнѣ рассказываетъ длинныя исторіи о звѣряхъ. Онъ видитъ во снѣ, что я ему привожу ихъ и что мы вмѣстѣ путешествуемъ по Америкѣ... Я общалъ ему вскорѣ, что я его во снѣ поведу въ пальмовый лѣсъ, въ которомъ на всякомъ деревѣ будетъ сидѣть обезьяна и играть на скрипкѣ... и онъ ждетъ этого путешествія съ большимъ нетерпѣніемъ»... Необходимо добавить, что Андрейка, о которомъ идетъ рѣчь, былъ племянникомъ Софьи Андреевны. Когда онъ подросъ, то сдѣлался товарищемъ по охотѣ и партнеромъ по шахматной игрѣ А. Толстому.

Поселившись въ деревнѣ и привязавшись къ ней всею душой поэта-пейзажиста, Толстой не порывалъ связей съ городомъ. Во-первыхъ, какъ было сказано, онъ часто гостилъ у государыни въ Крыму, а потомъ ежегодно ѣздилъ за границу. За границей Толстой не велъ жизни записного туриста, наблюдающаго жизнь страны изъ окна вагона желѣзной дороги и осматривая тѣ достопримѣчательности, которыя рекомендуетъ Бедкеръ. Толстой заводилъ знакомства съ выдающимися людьми Европы, а съ нѣкоторыми изъ нихъ даже завязывалъ близкія отношенія. Любя Римъ и его искусство, Толстой познакомился съ выдающимся знатокомъ Италіи и однимъ изъ самыхъ основательныхъ историковъ Рима во времена папства и среднихъ вѣковъ, т.-е. съ Фердинандомъ Грегоровіусомъ. Познакомиться съ Грегоровіусомъ, значить, познакомиться и съ его пріятелями Сабатье и Гильдебрантомъ. Въ концѣ 60-хъ годовъ Толстой вновь посѣтилъ Веймаръ. Великій поэтъ уже спалъ могильнымъ сномъ; отошелъ также въ лучшій міръ и покровитель литературы и искусства великій герцогъ Карлъ - Августъ.

Великій герцогъ Карлъ - Александръ радушно, чисто по родственному встрѣтилъ нашего поэта. Ихъ соединяли воспоминанія прошлаго далекаго дѣтства, когда веймарскій дворцовый паркъ оглашался ихъ дѣтскими голосами.

Великій герцогъ пожелалъ по достоинству почтить своего друга. Онъ приказалъ поставить у себя на сценѣ «Смерть Іоанна Грознаго». Переводъ былъ сдѣланъ г-жей Павловой, и въ 1868 г. нѣмецкая публика ознакомилась съ однимъ изъ произведеній русскаго поэта.

Въ это время въ Веймарѣ жила княгиня Витгенштейнъ. Между Толстымъ и этой интересной женщиной установились самыя теплыя отношенія, а черезъ княгиню и со знаменитымъ Францемъ Листомъ. Родоначальнику нѣмецкой живописной программной музыки чрезвычайно нравились стихи Толстого, съ которыми онъ знакомился въ переводѣ Павловой. Баллада «Слѣпой» такъ заинтересовала знаменитаго піаниста, что онъ написалъ на нее музыку. Листъ, съ его сравнительно бѣдною мелодическою изобрѣтательностью, былъ неподражаемъ въ области фантазіи, музыкальнаго колорита, настроенія и, вообще, всего того, что нужно для внѣшней стороны композиціи. Такимъ образомъ, въ балладѣ «Слѣпой» сошлись два крупныхъ и почти однородныхъ таланта.

IV.

Часто бросая деревню для города или заграничныхъ путешествій, Толстой и среди мирныхъ утѣхъ Краснаго-Рога не прерывалъ сношеній со своими друзьями. Наши литературные лагеря всегда были на положеніи военного времени. Государственная и общественная жизнь страны была такова, что требовала отъ всѣхъ наличныхъ интеллигентныхъ силъ одного и того же: оппозиціоннаго настроенія. Всецѣло отдаться искусству было невозможно. Политика властно ворвалась, во имя интересовъ народа, въ станъ жрецовъ Аполлона и раздѣлила ихъ на враждующія партіи. Славянская натура, и безъ того не особенно склонная къ согласованности и уступчивости, въ лицѣ «внутренней политики» получила новую пищу для раздоровъ, разногласій, пререканій и конфликтовъ.

Толстой не принадлежалъ ни къ одной изъ литературныхъ партій и не участвовалъ въ журнальной работѣ. Среди литераторовъ онъ нашелъ людей родственныхъ ему по взглядамъ на задачи искусства и очень дорожилъ отношеніями къ этимъ лицамъ.

Конечно, близкими людьми поэта были тѣ писатели, которыхъ можно было считать художниками по преимуществу, людьми, ставившими на первый планъ красоту, какъ основу всякаго искусства. Въ числѣ друзей нашего поэта мы встрѣчаемъ, напримѣръ, Гончарова — художника съ головы до ногъ, чуждаго вопросамъ общественности, спокойнаго, уравновѣшеннаго, большого мастера по части пластическаго изображенія; поэта Я. П. Полонскаго, изъ школы чистаго искусства создаващаго истинные перлы лирики.

Но истиннымъ наперсникомъ и близкимъ Толстому человѣкомъ былъ романистъ Б. М. Маркевичъ. Трудно психологически объяснить эту пріязнь нашего поэта къ пустому, тщеславному, холопствующему передъ аристократами романисту. Почему Толстой этого фальшиваго романиста, вѣчно рисовавшаго аристократическіе салоны и необыкновенно благородныхъ дѣвицъ, дамъ, графовъ и дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, считалъ тонкимъ цѣнителемъ своихъ произведеній — трудно объяснить. Впрочемъ, въ вопросахъ политики нашъ поэтъ сильно расходился съ духовнымъ питомцемъ Каткова. Правда, красавецъ романистъ, видимо, искренно любилъ Толстого и мастерски читалъ въ столичныхъ салонахъ его стихи, благодаря чему проникъ въ интимный кружокъ государыни, и, кромѣ того, онъ благоговѣлъ такъ же, какъ и Толстой, передъ Пушкинымъ и увлекался Шиллеромъ. Маркевичъ часто и подолгу гостилъ у Толстого въ Красномъ-Рогѣ, а одна изъ его повѣстей, имѣвшихъ тогда въ обществѣ такой успѣхъ, «Марина изъ Алаго-Рога», описываетъ семью Толстыхъ. Говорятъ, что пейзажъ Краснаго-Рога, а также въ главныхъ чертахъ Толстой (въ повѣсти Завальскій) и графиня изображены Маркевичемъ. Собственно, какъ романистъ, а Маркевичъ не лишенъ таланта.

Къ мнѣнію Гончарова Толстой часто и внимательно прислушивался и очень дорожилъ его похвалою.

Очень усиленно Толстой поддерживалъ переписку съ своей веймарской знакомой, княгиней Витгенштейнъ. Если вы просмотрите ея письма къ поэту, то согласитесь, что другъ Листа и извѣстный изслѣдователь Африки Гергардъ Ролфсъ былъ вполне правъ, когда говорилъ, что самая интересная въ интеллектуальномъ смыслѣ, самая умная и

самая остроумная женщина, которую онъ когда-либо встрѣчалъ, была княгиня. Княгиня жила въ Римѣ, и въ ея небольшой квартирѣ всегда толпились лучшіе представители художественнаго и ученаго міра, пріѣзжавшіе въ вѣчный городъ изъ всѣхъ странъ.

Этотъ небольшой интимный кружокъ близкихъ Толстому лицъ своимъ доброжелательнымъ, теплымъ участіемъ и отношеніемъ къ работѣ поэта поддерживалъ его на трудномъ, тернистомъ пути русскаго писателя, а въ особенности такого писателя, на голову котораго изо-дня-въ-день сыпалась неистощимая критическая брань изъ различныхъ лагерей и журналовъ. Прямолинейно чистая натура Толстого, имѣвшаго гражданское мужество мыслить и чувствовать по-своему, а не идти за господствующимъ теченіемъ, поставила его въ положеніе отщепенца, и дѣйствительно—его или замалчивали или ругали. Зола въ одной изъ своихъ публицистическихъ статей говоритъ, что начинающему писателю необходимо каждое утро проглатывать живую жабу, чтобы приучить себя, такимъ образомъ, къ будущимъ рецензіямъ свихъ критиковъ. Писателя, не подготовившаго себя такимъ путемъ, ждутъ ежедневныя страданія. Толстой не могъ прочесть этого совѣта французскаго собрата по перу и потому въ теченіе своей литературной дѣятельности не могъ хладнокровно относиться къ терніямъ и скорпіонамъ, обильно преподносимымъ ему изъ либеральнаго и консервативнаго лагерей.

Цензоръ Никитенко, стоявшій въ сторонѣ отъ литературныхъ распрей и сшибокъ бойкихъ и тупыхъ, талантливыхъ и просто злобныхъ перьевъ, пишетъ въ своемъ дневникѣ: «Нынѣшніе крайніе либералы, со своимъ повальнымъ отрицаніемъ и деспотизмомъ, просто страшны. Они, въ сущности, тѣ же деспоты, только наизуворотъ. Въ нихъ тотъ же эгоизмъ и та же нетерпимость, какъ и въ ультраконсерваторахъ... Они не допускаютъ свободу мнѣній».

Понятно, почему Толстой съ его общественною программой и взглядомъ на искусство очутился въ положеніи того бѣднаго Макара, на котораго сыпались и реакціонныя и либеральныя шишки. Подъ вліяніемъ ежедневныхъ воздѣйствій своихъ цѣнителей и судей, у Толстого образовалось желчное настроеніе. Онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ говоритъ, что сталъ «посмѣшищемъ критики». Однако, быть

пассивнымъ страдальцемъ онъ не могъ и въ отвѣтъ на жестокія нападки писарствующихъ радикаловъ и закоренѣлыхъ разрушителей эстетики написалъ свои полемическія вещи: «Потокъ-Богатырь», «Порой веселой мая» и «Противъ теченія». Всѣ эти три стихотворенія Толстой послалъ въ «Русскій Вѣстникъ» Каткова.

Разумѣется, что содержаніе стихотвореній и мѣсто ихъ напечатанія вызвали дѣльную бурю въ либеральномъ лагерѣ. Полемическіе приемы Толстого и мнѣніе поэта, слишкомъ, правда, односторонне рисовавшего символъ вѣры своихъ соперниковъ, утвердили ихъ во мнѣніи, что въ лицѣ Толстого просвѣщеніе и всяческій прогрессъ имѣютъ убѣжденнаго врага. Они не пожелали принять сатирическихъ стрѣлъ поэта на счетъ тѣхъ «вислоухихъ» и юродствующихъ, которые слѣпо, чисто по-бараньи, примкнули, или, какъ выражается Щедринъ, «прикомандировали себя» къ либеральному дѣлу.

«Гр. А. Толстой—пишетъ одинъ изъ критиковъ—врагъ просвѣщенія, поклонникъ и проповѣдникъ беззавѣтнаго холопства, а какъ поэтъ—посредственно даровитый дилетантъ, вымучивающій риемованныя строки и склонный ради баюшества сочинять бессмысленныя баллады».

Въ препирательствахъ со своими критиками бросается въ глаза разница въ приемахъ и тонѣ той и другой стороны. Поэтъ все время шутитъ надъ своими врагами, а его критики съ пѣной у рта набрасываются на отважнаго пловца, готоваго плыть противъ теченія. Въ то время, какъ у Толстого остроуміе зачастую сплетается съ добродушіемъ, у его литературныхъ враговъ статьи переполнены каннибализмомъ и рѣзкостями, граничащими съ неприличіемъ. Такъ, напри- мѣръ, въ разгарѣ полемики съ «нигилистами» Толстой пишетъ въ письмѣ къ кн. Цертелеву:

Боюсь людей передовыхъ,
 Страшуся милыхъ нигилистовъ,
 Ихъ судъ правдивъ, ихъ натискъ лихъ,
 Ихъ гнѣвъ губительно неистовъ.
 Но все жъ подчасъ бываетъ мнѣ
 Пріятно, въ званѣхъ ретрограда,
 Когда ихъ хлещетъ по спинѣ
 Моя былина иль баллада.

Но, занимаясь литературнымъ «хлестаньемъ по спинѣ» «милыхъ нигилистовъ», Толстой никогда не превращалъ, на манеръ Каткова и К°, литературу въ охранное отдѣленіе. Въ 1868 г. онъ пишетъ Полонскому: «Мы съ вами не послѣдніе могиканы искусства; оно не умретъ и не можетъ умереть, какъ бы тамъ ни старались разные Чернышевскіе, Писаревы, Стасовы, Корфы и т. п., кто прямо, кто косвенно. Убить искусство такъ же легко, какъ отнять дыханіе у человѣка подъ тѣмъ предлогомъ, что оно роскошь и отымаетъ время даромъ, не вертитъ мельничныхъ колесъ и не раздуваетъ мѣховъ».

А въ то же самое время улучшаетъ удобную минуту и проситъ государя за сосланнаго Чернышевскаго. И проситъ не помилованія преступнику, впавшему въ литературныя «излишества», а исправленія судебной ошибки, допущенной судомъ,—то-есть безъ лести и низкопоклоннаго призыва къ монаршей милости падшему. Толстой смѣло защищаетъ свободаго человѣка, имѣвшаго мужество сказать свободное слово, не справляясь съ указами официальной правды, благоправія и политической благонадежности.

Зимой 1864—65 г. Толстой былъ приглашенъ на царскую охоту въ Новгородской губерніи. Случай и распоряженіе оберъ-егермейстера помѣстили нашего поэта и государя рядомъ. Чтобы скоротать время ожиданія, пока собаки и загонщики подымутъ медвѣдя, государь сталъ тихо, съ-глаза-на-глазъ бесѣдовать со своимъ давнишнимъ другомъ. Конечно, бесѣда не могла не коснуться литературы. Государь спросилъ своего бывшаго церемоніймейстера, не написалъ ли онъ чего новаго.

«Русская литература надѣла трауръ по поводу несправедливаго осужденія Чернышевскаго!» смѣло отвѣчалъ Толстой государю. Государь не далъ договорить фразы и прервалъ рыцарски-благороднаго поэта: «Прошу тебя, Толстой, мнѣ никогда не напоминать о Чернышевскомъ».

Такъ грустно окончилась, вѣроятно, первая и единственная попытка въ лѣтописяхъ двора сказать въ лицо государю открыто и честно то, что думала лучшая передовая часть русскаго общества. Здѣсь какъ нельзя болѣе рельефно сказалось основное качество натуры А. Толстого — прямота, искренность и благородство.

Какъ бы ни опредѣлять художественную и общественную цѣнность поэзіи Толстого, но при внимательномъ знакомствѣ съ его личною жизнью нельзя не оцѣнить высоко его нравственныхъ качествъ. А это обстоятельство имѣетъ не одинъ только біографическій интересъ. Еще Гете сказалъ, что

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst... ¹⁾

Прирожденное доброжелательство Толстого сказывалось, между прочимъ, въ томъ, что онъ часто хлопоталъ и выручалъ своихъ знакомыхъ изъ различныхъ непріятныхъ положеній.

Такъ, напримѣръ, извѣстная уже намъ писательница Каролина Павлова, по примѣру большинства русскихъ писателей, сильно нуждалась въ деньгахъ. Толстой пускаетъ въ ходъ свои связи и положеніе при дворѣ и добивается для Павловой пенсіи отъ государя и покровительницы искусства и его представителей великой княгини Елены Павловны. Пришлось также Толстому выручать изъ бѣды нашего знаменитаго художника И. С. Тургенева. Послѣ смерти Гоголя нашъ знаменитый романистъ назвалъ его въ некрологѣ «великимъ». При томъ взглядѣ на литературу, который былъ свойственъ николаевскому правительству, полагавшему, что на признательность исторіи имѣютъ право только лица, осѣненные генеральскимъ чиномъ и отмѣченныя перстомъ сверху, некрологъ Гоголя былъ дерзкимъ посягательствомъ на неотъемлемую правительственную регалію. Кромѣ того, Тургеневъ, вообще, былъ у начальства на дурномъ счету, во-первыхъ, какъ литераторъ, а во-вторыхъ, какъ авторъ «Записокъ охотника», въ которыхъ довольно ощутительно припахивала и сквозила освободительная тенденція; Тургеневъ же велъ вдобавокъ знакомство съ Бѣлинскимъ, ѣздилъ за границу, словомъ—занимался дѣлами, предосудительными для русскаго дворянина.

Всесильный шефъ жандармовъ Дубельтъ посадилъ автора гимна въ честь знаменитаго умершаго писателя въ кутузку. Толстой былъ возмущенъ такою грубой и открыто-циничной расправой съ виднымъ представителемъ русской

¹⁾ Добрый человѣкъ и въ неясномъ своемъ стремленіи всегда имѣетъ сознаніе прямого пути.

литературы и сталъ хлопотать за Тургенева. Просидѣвъ три недѣли въ части, Тургеневъ былъ сосланъ въ деревню, но Толстой добился его освобожденія и возврата въ столицу, Вскорѣ Толстой снова долженъ былъ пускаться въ ходъ свои связи. На этотъ разъ приходилось выручать знаменитаго славянофила Ив. Серг. Аксакова, котораго хотѣли заставить прокатиться на собакахъ и оленяхъ въ край, куда еще не ступало ни одно копыто телятъ, гоняемыхъ пресловутымъ Макаромъ. Какъ извѣстно, Иванъ Сергѣевичъ былъ сторонникомъ православія, самодержавія и народности, т.-е., казалось бы, публицистомъ вполне благонадежнымъ. Но дѣло въ томъ, что бюрократическое правительство прикрывалось церковью, государствомъ, абсолютизмомъ государя и народностью; въ дѣйствительности, оно преслѣдовало исключительно свои личные, своекорыстные интересы. Церковь должна была проповѣдывать то, что выгодно кучкѣ сановниковъ; государь являлся точно такъ же простымъ орудіемъ, которымъ бюрократія владѣла хитро и ловко, то прячась за спину короны, то выступая какъ исполнительница «непреклонной» воли монарха. Въ этомъ же направленіи работала и консервативная печать, во главѣ съ Катковымъ. Честная натура Аксакова не выносила двуличія и лжи. «Что видимъ мы... хоть въ нашей литературѣ?—пишетъ знаменитый публицистъ, подмигивая многоточіемъ въ сторону недоступныхъ открытому уязвленію различныхъ «персонъ».—Какія теоріи? Съ одной стороны пустое, голое отрицаніе, волненіе безъ содержанія и безъ цѣли, какой-то призракъ жизни и движенія,—а въ сущности, нѣтъ ни жизни ни движенія, все полумертво и гнило и заимствуетъ силу только отъ силы враждебнаго напора; съ другой—грубая, тупая, бессмысленная сила, только въ насиліи и бездушномъ механизмѣ полагающая спасеніе! Съ одной стороны—ложь разрушенія, съ другой—ложь созиданія; съ одной стороны—невѣріе, поклоняющееся, какъ богамъ, людскимъ, временнымъ кумирамъ; съ другой—мнимая вѣра, поклоняющаяся и Богу, какъ кумиру, и силою Божьяго имени служащая своимъ корыстнымъ цѣлямъ и выгодамъ!»

Таковъ былъ И. С. Аксаковъ. Въ 1859 г. ему разрѣшили издавать газету «Парусъ», полагая, что онъ будетъ плыть согласно офиціальному вѣтру. Оказалось, что Аксаковъ понималъ разницу между принципомъ «чего изво-

лите?» и личными безкорыстными побужденіями. «Парусъ» на второмъ номерѣ прекратилъ свое существованіе, а рулевого было рѣшено сослать въ тотъ городъ, который посѣтили въ свое время Герценъ и Щедринъ, т.-е. въ Вятку. Толстой пустилъ въ ходъ все свое вліяніе и знакомства. Дѣло увѣнчалось половиннымъ успѣхомъ: журналъ отошелъ въ міръ литературныхъ тѣней, а издатель, до поры до времени, оставленъ въ предѣлахъ русской цивилизаціи. Толстому, говорятъ, эта исторія стоила утраты расположенія Александра II.

Здѣсь опять Толстой вступился за поправныя права свободы слова, ибо никогда не принадлежалъ къ лику славянофиловъ, хотя они усиленно манили талантливаго поэта въ свой станъ. Сходясь съ А. С. Хомяковымъ, Черкасскимъ, Самаринымъ и И. С. Аксаковымъ въ религіозныхъ воззрѣніяхъ и любви къ родинѣ, онъ шелъ безостановочно по пути свободы. Онъ не допускалъ также угнетенія русскаго народа петербургскимъ правительствомъ, какъ и угнетенія, подъ предлогомъ руссификаціи, русскимъ элементомъ народностей, находящихся подъ властью Россіи.

Правда, онъ былъ убѣжденнымъ монархистомъ, что въ глазахъ всякаго русскаго просвѣщеннаго человѣка связывалось съ представленіемъ объ угнетеніи, охранномъ отдѣленіи, разстрѣляніи, административномъ расселеніи по холоднымъ, угрюмымъ окраинамъ и другихъ формахъ дѣйствія государственной власти.

Какъ мы уже говорили, политическіе идеалы Толстого были нѣсколько сбивчивы и не продуманы до конца. Онъ, очевидно, представлялъ себѣ наиболѣе совершеннымъ тотъ политическій строй, который рекомендовали славянофилы: правительству—сила власти, народу—сила мнѣнія. Будучи миролюбивою, идиллической натурой, Толстой инстинктивно отталкивалъ отъ себя мысль о борьбѣ, своекорыстіи правящихъ классовъ и сладости безграничной власти. Онъ хотѣлъ бы видѣть гармонію интересовъ: царь вмѣстѣ съ народомъ живутъ душа-въ-душу. Народные выборные стоятъ у подножія трона съ правомъ совѣщательнаго голоса. Царь внимательно выслушиваетъ ихъ мудрые совѣты и черезъ своихъ слугъ выполняетъ желанія старѣйшинъ на благо народа и династіи.

V.

Судя по богатырской фигурѣ А. Толстого, ему былъ предназначенъ маусайловъ вѣкъ, но онъ, видимо, не всегда считалъ нужнымъ соблюдать равновѣсіе въ приходахъ и расходахъ жизненныхъ средствъ своего организма. Въ результатѣ, даровитый поэтъ лишилъ насъ своихъ пѣсень раньше, чѣмъ это считается естественнымъ.

Уже въ 50-хъ годахъ Толстой сталъ жаловаться на боль въ ногѣ. Надо полагать, что врачи не установили по этому сбивчивому симптому истинную природу болѣзни. Боли въ ногахъ такого характера, какой наблюдался у Толстого, появляются какъ предвѣстники или сѣдалищной невралгіи или болѣе серьезной болѣзни—сухотки спинного мозга. Въ 1863 г. мы видимъ Толстого на знаменитыхъ водахъ Карлсбада, на которыхъ, какъ извѣстно, получили облегченіе большинство изъ тѣхъ людей, которыхъ исторія занесла на свои страницы. Гете, начавшій лѣчиться въ Карлсбадѣ въ 1758 г., возвращался къ его источникамъ тринадцать разъ и неоднократно заявлялъ, что онъ «совершенно переродился благодаря этому источнику».

При сухоткѣ спинного мозга у больныхъ часто наблюдаются желудочные кризисы, выражающіеся сильнѣйшими болями въ желудкѣ, тошнотой и рвотами. Врачи очень часто принимаютъ это за тяжелыя пораженія желудка. Видимо, врачи, пользовавшіе Толстого, тоже впали въ это же ложное толкованіе страданій своего пациента и отправили его на воды, употребляющіяся при болѣзняхъ желудка и кишекъ.

Въ Карлсбадѣ Толстой лѣчился у извѣстнаго тогда профессора Зеегена. Насколько мнѣ извѣстно, Юсифъ Зеегенъ былъ хорошимъ, по тому времени, бальнеологомъ и работалъ надъ вопросами сахарнаго изнуренія (діабетъ), а потому врядъ ли могъ доправить ошибку діагноза своихъ коллегъ, пославшихъ на знаменитый курортъ нашего поэта.

Кромѣ того, Толстой началъ страдать припадками удушья, что и до сихъ поръ даетъ поводъ біографамъ Толстого утверждать, что онъ болѣлъ астмой. Это, надо полагать, тоже слѣдуетъ отнести къ слабому развитію медицинской науки того времени. У страдающихъ табесомъ, т.е. сухоткой спинного мозга, часто наблюдаются приступы су-

дорожного кашля и тяжелой одышки. Эти страданія сплошь и рядомъ даютъ полную картину грудной жабы. Къ этому прибавились боли въ области сердца, что тоже является типичнымъ признакомъ табеса.

Теперь медицина сравнительно успѣшно справляется съ этой болѣзнью, но во времена Толстого она была въ этихъ случаяхъ безсильна. Къ несчастью для русской литературы и больного, табесъ принялъ у него тяжелыя формы. По его собственнымъ словамъ, физическія и духовныя силы быстро падали, и уже въ 1874—75 гг. литературныя занятія были для больного Толстого почти невозможны. Иногда наступали свѣтлыя минуты облегченія, и онъ хватался за перо. Къ этому періоду относятся, напримѣръ, баллады: «Илья Муромецъ», «Сватовство», «Алеша Поповичъ», «Садко», «Канутъ», а также «Портретъ», «Драконъ» и неоконченная драма «Посадникъ». Этою послѣдней пьесой гр. Алексѣй Константиновичъ очень интересовался. Ея сюжетъ не историческій, а взятъ изъ нравовъ Новгорода эпохи XIII вѣка; создавъ по источникамъ историческій фонъ, авторъ надѣялся достичь большой свободы творчества и написать драму по всѣмъ правиламъ искусства, съ градаціей сценическихъ эффектовъ. Канву этой драмы гр. Толстой формулировалъ въ двухъ словахъ: «благородный человѣкъ по какой-либо причинѣ беретъ на себя кажущуюся подлость». Такимъ лицомъ является у него посадникъ Глѣбъ, который ради спасенія города принимаетъ на себя отвѣтственность за неосторожность воеводы Чермного. Къ сожалѣнію, драма доведена была только до 3-го акта и осталась неоконченною. Лишь послѣ смерти автора она появилась на сценѣ.

Какъ ни велики были страданія больного, но никто не ожидалъ быстрой его кончины. Весной 1875 г. онъ уѣхалъ въ Италію, гдѣ находится зимняя климатическая станція Санъ-Ремо; здѣсь проживала государыня. Такимъ образомъ, Толстой попалъ случайно въ тѣ условія, которыя рекомендуются въ качествѣ психическаго и физическаго средства при его болѣзни: югъ, морской берегъ, душевное спокойствіе. Оттуда онъ писалъ домой, что онъ «много лѣтъ не чувствовалъ себя такъ хорошо, такимъ свѣжимъ, такимъ бодрымъ». Лѣтомъ онъ переѣхалъ въ Карлсбадъ. Тамъ, въ августѣ мѣсяцѣ, его навѣстили И. С. Тургеневъ и М. М. Стасюлевичъ и нашли его удивительно бодрымъ и веселымъ.

По его же инициативѣ, въ пользу погорѣльцевъ гор. Моршанска былъ устроенъ литературный вечеръ, въ которомъ Тургеневъ принялъ участіе. Самъ Толстой съ большимъ успѣхомъ читалъ свою поэму «Грѣшница».

Между тѣмъ, здоровье его было очень плохо. Профессоръ Зеегенъ въ послѣдствіи говорилъ знакомымъ, что, прощаясь, въ этомъ году съ гр. Алексѣемъ Константиновичемъ, онъ былъ увѣренъ, что его больше не увидитъ. Покончивъ курсъ лѣченія въ Карлсбадѣ, гр. Толстой торопился къ себѣ въ Красный-Рогъ, гдѣ его ждала жена и куда онъ пригласилъ близкихъ своихъ друзей, Маркевича и кн. Цертелева. Этотъ послѣдній и описалъ намъ послѣднія минуты умирающаго поэта.

По его словамъ, мысль о смерти не пугала гр. Толстого, а возбуждала въ немъ только тихую грусть. За нѣсколько дней до кончины, въ садъ залетѣлъ глухарь. «Это моя птица,—замѣтилъ больной,—это за мной». Онъ, видимо, совершенно спокойно относился къ чувствуемому переходу въ лучший міръ, не ощущая страха передъ моментомъ смерти, ни сожалѣнія передъ разлукой съ жизнью. Напримѣръ, однажды больной, указывая на дверь, которая вела въ уборную, а изъ уборной на балконъ, но была заперта, замѣтилъ: «Я думаю, вамъ придется отпереть эту дверь, коридоръ слишкомъ узокъ». Въ послѣдніе дни жизни Толстой сталъ галлюцинировать. Но, несмотря на серьезность положенія, никто, въ томъ числѣ и врачи, не ожидали близкой смерти. Они даже совѣтовали везти его за границу, и докторъ В., согласившійся сопровождать туда больного, за какія-нибудь сутки до его смерти уѣхалъ въ Почепъ за своимъ багажомъ.

Какъ это часто бываетъ, больной, за нѣсколько часовъ до полной ликвидаціи, почувствовалъ себя настолько хорошо, что окружавшее его общество собралось на прогулку въ лѣсъ. Лошади были поданы, и кн. Цертелевъ запелъ къ больному. Онъ увидѣлъ Толстого дремлющимъ въ креслѣ. Однако, дремота своей продолжительностью показалаь подозрительною. Послали за графиней. Убѣдившись, что это не сонъ, а глубокій обморокъ, стали дѣлать искусственное дыханіе. Сознаніе, однако, не возвращалось; на одну минуту больной открылъ глаза и снова впалъ въ забытѣе. Къ вечеру его не стало. 25-е сентября 1875 г. было послѣднимъ днемъ жизни А. Толстого. Онъ умеръ на 58 году отъ рожденія.

Такъ жилъ и работалъ одинъ изъ яркихъ представителей нашей литературы 40-хъ годовъ.

Можно по-разному оцѣнивать его общественное значеніе, но нельзя отказать этому честному, благородному и талантливому писателю въ полномъ уваженіи.

Если А. Толстой не примкнулъ къ лѣвымъ, не сталъ на сторону оппозиціоннаго демократизма и революціоннаго романтизма, то нельзя и считать его сторонникомъ официальнаго либерализма, апологетомъ самовластия и произвола. Его свобода не была свободой высочайше пожалованною. Мы не говоримъ уже о крайнихъ правыхъ и, вообще, реставраторахъ дореформенной крѣпостнической Руси. Врагъ радикальнаго утопизма, Толстой не былъ также и другомъ черносотенныхъ вождедѣній.

Можетъ-быть, его общественныя убѣжденія страдали идеализаціей, тѣмъ, что носить кличку романтизма, можетъ-быть, они были практически несостоятельны, но, во-первыхъ, политическая платформа—не дѣло поэзіи, а во-вторыхъ, взглядамъ Толстого нельзя отказать въ благородствѣ, безкорыстной любви къ родинѣ и необыкновенной искренности.

Любя больше всего искусство, А. Толстой никогда не понималъ подъ этимъ исключительную любовь только къ формѣ. Его произведенія, помимо своей изящной оболочки, имѣютъ тотъ ароматъ, колоритъ и вкусъ, которые даются поэту только тогда, когда произведеніе заключаетъ въ себѣ идею, образъ или чувство.

Въ произведеніяхъ А. Толстого бьется живое, горячее сердце, и это предохраняетъ его произведенія отъ вырожденія въ тотъ видъ поэзіи, который проповѣдуетъ теорію искусства для искусства.

Н. Денисюкъ.

А. К. Толстой *).

Школа поэтовъ чистаго искусства. Характеристика произведений А. К. Толстого.

Между тѣмъ какъ поэзія, созданная эпохой сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ, отражала горе народное или выражала хандру и покаянія дворянскія,—писатели завѣщали намъ особенную школу поэтовъ чистаго искусства, имѣющую въ своихъ рядахъ нѣсколько недюжинныхъ талантовъ, но, къ сожалѣнію, представлявшую собою пустоцвѣтъ. Поэты этой школы считали себя прямыми послѣдователями Пушкина, претендовали на то, что они одни только являются вѣрными хранителями пушкинскихъ традицій. Но въ этомъ они жестоко ошибались. Пушкинъ хотя и завѣщалъ имъ въ извѣстномъ своемъ стихотвореніи «Подите прочь, какое дѣло» заповѣдь чистаго искусства, но самъ въ своей поэзіи былъ поэтомъ, черпавшимъ свои прекрасные образы непосредственно изъ жизни. Поэты же сороковыхъ годовъ, по-нявъ въ буквальномъ смыслѣ, что они рождены «не для житейскаго волненія, не для корысти, не для битвъ, а для

*) Эта статья принадлежитъ перу извѣстнаго критика А. М. Скабичевскаго. Напечатана она въ его „Исторіи новѣйшей литературы“.

Наша литературная критика создана Бѣлинскимъ. Не отрицая необходимости идеи во всякомъ художественномъ произведеніи, Бѣлинскій придавалъ большое значеніе и формѣ. Красота въ искусствѣ была для него существеннымъ элементомъ. Второй періодъ русской критики начинается собою Добролюбовъ. Онъ придаетъ значеніе, по преимуществу, обществу идее. Добролюбовъ требуетъ отъ всякаго художественнаго произведенія протеста противъ язвъ общественной жизни нашего отечества. Къ его школѣ принадлежитъ и г. Скабичевскій. А. М. Скабичевскій склоненъ стать на сторону тенденціозныхъ произведений. Вотъ почему А. Толстой, какъ художникъ по преимуществу, вызываетъ со стороны нашего критика отрицательное отношеніе къ своимъ произведеніямъ.

Н. Денисюкъ.

вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ», замкнулись въ эстетическія созерцанія прекрасныхъ образовъ классическаго искусства древнѣйшихъ и новѣйшихъ временъ, при чемъ изолировались не отъ однѣхъ только злобъ дня и такъ-называемыхъ «гражданскихъ мотивовъ», но и отъ жизни вообще, въ обширномъ смыслѣ этого слова. Путемъ замкнутости въ эстетическихъ созерцаніяхъ они создали поэзію отвлеченную, кабинетную, искусственно-галантерейную, изысканно-риторичную. Главный недостатокъ этой поэзіи заключается въ ея безличности, отсутствіи такихъ красокъ, колорита, звуковъ, мотивовъ, въ которыхъ выражался бы букетъ русской народности и жизни. вмѣстѣ съ тѣмъ, поэты этой школы страдаютъ отсутствіемъ индивидуальности: все различіе ихъ одного отъ другого заключается лишь въ томъ, что одни эпичнѣе и объективнѣе, другіе—субъективнѣе и лиричнѣе, третьи имѣютъ пристрастіе къ изображеніямъ изъ древне-классической жизни, четвертые предпочитаютъ воспѣвать любовь и пр. Но тщетно вы будете искать въ ихъ поэзіи рѣзко выраженныхъ чертъ ихъ духовныхъ фیزیомій.

Они все сливаются въ одинъ безразличный хаосъ изысканно стереотипныхъ образовъ и звуковъ. Поэзія ихъ имѣетъ совершенно такой же искусственно-школьный, отвлеченный характеръ, какой имѣла академическая живопись, черпавшая свое содержаніе не прямо изъ жизни, а изъ такъ-называемыхъ «великихъ образцовъ», полагая всю суть искусства въ подражаніи имъ.

Во главѣ этой школы слѣдуетъ поставить графа Алексѣя Константиновича Толстого.

Дебютировалъ Толстой въ 1842 году нѣсколькими рассказами въ прозѣ. Въ 1855 году онъ отдалъ въ первый разъ свои лирическія и эпическія стихотворенія въ различные журналы, а позже помѣщалъ ихъ ежегодно въ «Вѣстникъ Европы» или «Русскомъ Вѣстникѣ».

Въ произведеніяхъ гр. А. Толстого, при всей ихъ внѣшней красотѣ и живописной пластикѣ, напрасно вы будете искать такихъ особенностей, которыя рѣзко выдѣляли бы этого поэта и составляли бы его фیزیомію. Онъ напоминаетъ собою Жуковскаго въ томъ отношеніи, что самыми лучшими его произведеніями являются навѣянные иностранными или русскими поэтами: таковы, напримѣръ, стихотво-

ренія, навѣянные Лермонтовымъ: «Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ», «Въ совѣсти искалъ я долго обвиненья», «Въ странѣ, незримой нашимъ взорамъ», «Горними тихо летѣла душа небесами». Другія напоминаютъ Гейне: «Змѣя, что по скаламъ влечетъ свои извивы», и многіе крымскіе очерки, напр.: «Вы все любуетесь на скалы», или «Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты». Драматическая поэма Донъ-Жуанъ, очевидно, внушена изученіемъ «Фауста» Гете, а Драконъ, итальянскій разсказъ XII вѣка, носитъ на себѣ несомнѣнные слѣды изученія Данте.

Къ числу подобныхъ же подражательныхъ стихотвореній Толстого слѣдуетъ причислить и всѣ поддѣлки его подъ народныя пѣсни и былинны, въ родѣ: Ходить спесь надуваючись, Кабы знала я, кабы вѣдала, Колокольчики мои, цвѣтики степные, Не Божьимъ громомъ горе ударило, Алеша Поповичъ, Илья Муромецъ, Садко, Змѣй Тугаринъ и пр. Они красивы, какъ и все написанное Толстымъ, но въ нихъ и слѣда не найдете искренняго, неподдѣльнаго чувства, живой горящей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ—того, что составляетъ прелесть и силу истинной и естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ такъ и вѣетъ холодомъ искусственнаго вымысла, тяжелыми усиліями кропотливой художественной отдѣлки. Но стихотворенія, навѣянные разными поэтами и написанныя въ духѣ различныхъ народностей, представляются все-таки лучшими и наиболѣе удачными: въ нихъ отражалась, по крайней мѣрѣ, та поэзія, подъ вліяніемъ которой онъ создавалъ. Что же касается до вполне самостоятельныхъ произведеній, то всѣ они безхарактерны, безжизненны и риторичны. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое характерное явленіе. Гр. А. Толстой былъ большой любитель природы, особенно малороссійской, среди которой провелъ всю жизнь. Въ одномъ мѣстѣ автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить недѣли въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, по обыкновенію въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его поютъ, по большей части, въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась

из его поэзии почти столько же, какъ и чувство пластической красоты.

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ А. Толстой очень часто обращается къ природѣ и отличается щедростью въ описаніяхъ ея красотъ. Но всѣ эти описанія составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая ихъ, вы не чувствуете обаянія природы, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашей литературы въ этомъ родѣ. Изъ описаній А. Толстого вы не въ силахъ бываете представить собоѣ даже того ландшафта, о которомъ идетъ рѣчь. Передъ вами не живыя, художественныя картины, а перечень предметовъ вразсыпную, при чемъ воображенію вашему предлагается самому слагать эти предметы во что-либо цѣльное и связное. Такъ, напримѣръ, казалось бы, какой же природѣ, какъ не малороссійской слѣдовало бы отражаться въ произведеніяхъ гр. А. Толстого. А между тѣмъ, именно она-то вы у него и не найдете, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи, а лишь проѣзжалъ и видѣлъ ее мелькомъ изъ окна вагона. Для доказательства прочтите, напримѣръ, стихотвореніе: Ты знаешь край. Что здѣсь изображается Малороссія, можно судить лишь по тому, что упоминаются названія, относящіеся къ этой странѣ, въ родѣ парубковъ, Маруши, Грицька, чубовъ, казачекъ или историческихъ именъ, въ родѣ Кочубея, Мазепы, Палѣя, Сагайдачнаго. Что же касается колорита и характерныхъ особенностей мѣстности, она быта и нравовъ, то вмѣсто всего этого, вы найдете рядъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, могущихъ относиться къ какой-нибудь мѣстности Европы, лежащей подъ одною широтой съ Малороссіей.

Но писатель, обитый живыми и яркими образами, можетъ жить сознаніемъ внутренней жизни, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ рядъ личностныхъ и личностныхъ психическихъ явленій или философскихъ идей. Но и этого мы не можемъ сказать о Толстомъ. По мировосприятию онъ стоитъ въ уродливѣмъ несообразномъ противуположеніи тому, которому принадлежалъ. Уродливый его миръ, въ которомъ вы видите формальную систему, лишнюю вамъ, слезно выжидаетъ васъ, какъ вы видите въ немъ отсутствіе самостоятельной мысли. Это не есть мистицизмъ, который оторвалъ бы отъ насъ и отъ фактической жизни, а это лиризмъ

своеобразной прелести, а тотъ, который, ради подобострастной вѣрности традиціямъ, лишаетъ иные образы присущей имъ поэтичности, если поэтичность эта какъ-либо не согласуется съ буквою догмата. Это мы можемъ наглядно видѣть въ драматической поэмѣ А. Толстого *Донъ-Жуанъ*, въ которой поэтъ превратилъ обольстительнаго своимъ дерзкимъ протестомъ *Донъ-Жуана* въ сентиментальнаго святошу, слезно оплакивающаго грѣхи молодости въ севильскомъ монастырѣ при набожныхъ хорахъ монаховъ.

О дѣятельности гр. Толстого въ области исторической драматургіи и беллетристики мы имѣли уже случай говорить въ соотвѣтствующихъ главахъ.

А. Скабичевскій.

Драма въ Европѣ и у насъ *).

На Западѣ, гдѣ общественная жизнь развита весьма сильно и масса постоянно вліяетъ на настроеніе поэта, не только лучшія драматическія произведенія, но и чисто эпическія—романы, повѣсти, поэмы—являются проникнутыми богатымъ драматическимъ элементомъ, при чемъ главное вниманіе романистовъ устремляется не столько на обрисовку мелочей обыденной жизни, сколько на развитіе различныхъ драматическихъ положеній, имѣющихъ общечеловѣческое и соціальное значеніе. Даже народный эпосъ—каковы пѣснь о Нибелунгахъ или о Роландѣ—представляетъ въ себѣ прекрасные сюжеты для потрясающихъ трагедій. Съ другой стороны, и лирика на Западѣ подъ обаяніемъ толпы постоянно принимаетъ общественный характеръ.

Совершенно въ иномъ положеніи находится русскій писатель. Гдѣ вы найдете въ нашей жизни такія міровныя идеи, которыя двигали бы массами, каковы были идеи эпохи Возрожденія или философскаго движенія XVIII вѣка? Гдѣ у насъ такое настроеніе, которое можно было бы назвать общимъ, которое не было бы частнымъ настроеніемъ того или другого кружка? При однообразной монотонности нашей жизни, при одуряющей замкнутости, направленіе творчества нашихъ писателей неудержимо стремится къ созерцанію различныхъ подробностей, мелочей жизни. Преобладающимъ родомъ поэзіи при такихъ условіяхъ долженъ быть эпосъ, который и дѣйствительно является господствующею формою нашей литературы. Всѣ наши писатели воспитаны натуральною школою, которая именно учила изображать жизнь такъ, какъ она представляется нашимъ взорамъ во всѣхъ ея обыденныхъ мелочахъ и подробностяхъ. Подобное требованіе писатели

*) „Отечественныя Записки“, 1873 г., № 5. Статья А. Скабичевского объ исторической драмѣ „Смерть Іоанна Грознаго“.

наши вносятъ, къ величайшему сожалѣнію, и въ драму. Прежде всего поражаетъ васъ въ нашихъ отечественныхъ драмахъ отсутствіе всякаго страстнаго увлеченія какою-либо идеей. Въ нѣкоторыхъ вы найдете, пожалуй, блѣдную тѣнь драматической коллизіи, но именно блѣдную тѣнь: вмѣсто того, чтобы особенно напереть на развитіе драматическихъ положеній и выставить ихъ на первый планъ, авторы намѣчаютъ ихъ обыкновенно самыми общими блѣдными чертами. Очень часто при этомъ ихъ преслѣдуетъ тотъ убійственный и мертвящій натурализмъ, подъ влияніемъ котораго имъ вдругъ иногда покажется, что какой-нибудь герой, при совершеніи даннаго дѣйствія, не можетъ изливать свои чувства. И вотъ, вмѣсто того чтобы нѣсколькими страстными монологами обрисовать психическое состояніе героя и настроить зрителей къ ожиданію катастрофы, подобно тому какъ, напримѣръ, Шекспиръ, задолго до убійства Дездемоны, заставляетъ зрителей, при одномъ видѣ бѣшенства Отелло, трепетать за бѣдную жертву, наши драматурги, желая остаться вѣрными дѣйствительности до смѣшного педантизма, заставляютъ героя проговорить нѣсколько отрывочныхъ словъ, и холодный читатель смотритъ на валяющіеся по сценѣ трупы въ концѣ драмы съ тѣмъ же хладнокровіемъ, съ какимъ слушаетъ объясненія въ любви въ первомъ дѣйствіи. Но отодвигая драматическія положенія на послѣдній планъ и обрисовывая ихъ самыми блѣдными чертами, въ то же время драматурги всю драму наполняютъ обыкновенно рядомъ бытовыхъ сценъ вполне эпическаго характера. Чего только вы тутъ не найдете: и хороводы, и уличныя сцены, и дѣвичьи терема, и боярскія думы, и пирушки, и приемы пословъ; такъ что, прочитавъ драму, вы видите, что пѣль ея заключается вовсе не въ томъ, чтобы тронуть васъ изображеніемъ какихъ-нибудь трагическихъ судебъ человѣческой жизни, а просто познакомить васъ съ бытомъ такого-то вѣка. Передъ вами не живое, страстное увлеченіе поэта, а сухой, холодный историческій трудъ, при чемъ нѣкоторые драматурги, каковы, напримѣръ, Чаевъ или Аверкіевъ, доходятъ до такихъ тонкостей, что даже стараются по лѣтописямъ и всевозможнымъ актамъ воспроизводить въ устахъ героевъ языкъ какого-нибудь XVI вѣка. Боже мой, но, вѣдь, это не живое поэтическое творчество, а мертвечина, схоластика! Вѣдь, это не драмы, а археологическія выставки живыхъ картинъ! Вѣдь, это хорошо

Совершенно въ иномъ видѣ представляется намъ гр. А. Толстой. Это писатель, очевидно, мѣтящій въ русскіе Шекспиры, никакъ не менѣе. Уже по одному тому, какими многорѣчивыми совѣтами относительно постановки своихъ пьесъ на сцену разражался онъ неоднократно, можно судить, какъ высоко ставить онъ свои пьесы, и притомъ совѣты эти произносились не за кулисами во время репетицій, гдѣ бы имъ было надлежащее мѣсто, а печатно, во всеуслышаніе передъ публикою на страницахъ различныхъ журналовъ, такъ что, очевидно, они предназначались не для однихъ современныхъ актеровъ, а въ назиданіе потомству, въ свѣдѣніе будущимъ Кинамъ и Олфриджамъ. Что касается до содержанія пьесъ гр. А. Толстого, то онѣ преисполнены не меньшими претензіями. Возьмемъ, для примѣра, наиболѣе извѣстную его пьесу Смерть Іоанна Грознаго.

Въ самомъ заглавіи пьесы есть уже претензія: гр. А. Толстой не довольствовался скромнымъ наименованіемъ своей пьесы драматическою хроникой, хотя она прямо принадлежитъ по своему характеру къ этому роду,—нѣтъ, передъ нами трагедія. Но, судя по содержанію пьесы, видно, что гр. А. Толстой имѣетъ весьма смутныя понятія о томъ, что такое трагедія.

Личность Іоанна Грознаго представляетъ безспорное богатство драматическихъ положеній, какъ по складу своего характера, такъ и по всѣмъ обстоятельствамъ своей жизни. Но вы подумайте, какой моментъ поставилъ бы истинный драматургъ въ центрѣ драмы, если бы, избравъ Іоанна главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, онъ захотѣлъ бы освѣтить эту личность, какъ трагическій характеръ? Очевидно, онъ избралъ бы для этого исторію того загадочнаго психическаго переворота, который сдѣлалъ изъ энергическаго юноши, полнаго жажды плодотворной дѣятельности, мрачнаго, безумнаго тирана. Какъ бы объяснилъ поэтъ этотъ переворотъ—это было бы дѣло его личныхъ взглядовъ и побужденій, но уже тотъ фактъ, что переворотъ этотъ можетъ возбуждать различныя объясненія, доказываетъ намъ, какъ богатъ этотъ сюжетъ для трагедіи. Графъ же А. Толстой избралъ для своей трагедіи смерть Іоанна Грознаго. Но что же трагическаго представляютъ въ себѣ послѣдніе дни жизни Іоанна? Ознаменовались ли они какимъ-нибудь особеннымъ нравственнымъ переломомъ или борьбою съ виѣшними обстоятель-

ствами? и что такое смерть его? есть ли это смерть героя, мученика или злодѣя, въ родѣ Макбета или Дункана? Ничего этого не было: если Іоанна терзала совѣсть въ послѣдніе дни его существованія, при воспоминаніи о всѣхъ своихъ злодѣйствахъ, то не менѣе, чѣмъ это было и прежде во всѣ годы его тиранства; если онъ продолжалъ неистовствовать и дурить, то, опять-таки, не только не болѣе прежняго, но, конечно, менѣе, вслѣдствіе старческой слабости; по крайней мѣрѣ, самодурства его не имѣли уже такого яркаго характера звѣрской необузданности и фантастичности, какъ годы наибольшей энергіи его. Однимъ словомъ, прожилъ человѣкъ до глубокой старости, не измѣнивъ ни въ чемъ своего нрава, и умеръ внезапно, въ минуту праздної потѣхи, играя въ шахматы. Подумаешь, какой поразительный, высокій трагизмъ! Только русскому драматургу можетъ прійти въ голову создать трагедію изъ апоплексическаго удара! Мы не говоримъ, чтобы изображеніе послѣднихъ дней жизни Іоанна въ драматической формѣ было бы совершенно дѣломъ излишнимъ и суетнымъ и чтобы въ пьесѣ гр. Толстого не было художественныхъ сценъ, прекрасно обрисовывающихъ личность Іоанна Грознаго. Но назовите какъ хотите эти сцены, эпическимъ сказаніемъ въ драматической формѣ, хроникой, но не воображайте, что это трагедія, и не ставьте на сцену этого утомительнаго ряда живыхъ картинъ. Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, что трагическаго во всей пьесѣ? Переберите всѣ ея главные моменты. Или, можетъ-быть, вы видите трагедію въ томъ фактѣ, что Іоаннъ, глядя въ гробъ, намѣревался развестись съ своей седьмой женою и жениться на восьмой? Правда, это могло бы послужить драматическою коллизіей, если бы соединялось съ какою-нибудь нравственною борьбой въ Іоаннѣ, прямымъ результатомъ котораго была бы смерть его, или же если бы результатомъ этого была бы трагическая катастрофа съ царицею Маріею, но ничего подобнаго мы не видимъ въ драмѣ: Іоаннъ помышляетъ о восьмомъ бракѣ съ такимъ хладнокровіемъ, какъ-будто дѣло шло о перемѣнѣ квартиры, а царица Марія хотя и горюетъ, но остается царицею до внезапнаго паденія Іоанна со стула, и драма кончается совершенно независимо отъ обстоятельствъ этого семейнаго раздора. Или, быть-можетъ, намъ слѣдуетъ видѣть трагическую коллизію въ томъ ослѣпленіи, въ какомъ находился Іоаннъ относительно внутреннихъ и вѣншихъ дѣлъ своего

государства, ослѣпленіи, причиною котораго было тиранство Іоанна, побуждавшее обезумѣвшихъ отъ страха царедворцевъ скрывать отъ него истину. Но и это могло бы служить драматическою коллизіей только въ такомъ случаѣ, если бы изъ этого прямо вытекала трагическая катастрофа, т.-е. смерть Грознаго; и этого мы не видимъ въ драмѣ: правда, Іоаннъ погорячился немного послѣ унижительной сцены съ Гарабурдою, какъ случалось ему, конечно, ежедневно горячиться во все время его царствованія, а потомъ и ничего: вѣсти о новыхъ побѣдахъ заставили его успокоиться и просіять.

Недостатокъ драматизма въ главномъ героѣ трагедіи поневолѣ заставилъ гр. Толстого искать драматической коллизіи въ побочныхъ дѣйствующихъ лицахъ, преимущественно въ Борисѣ Годуновѣ. Бѣдный Борисъ Годуновъ! Ты одинъ отшучиваешься за всѣхъ твоихъ историческихъ собратій и несешь на себѣ тяготу убожества драматической фантазіи нашихъ писателей, благо имъ мозолить глаза Макбетъ, по готовой выкройкѣ котораго тебя очень легко скраивать, и кто только не скраивалъ, начиная съ Пушкина и кончая гр. А. Толстымъ? Въ обрисовкѣ личности Бориса Годунова наиболѣе выражается претензія гр. Толстого подняться на шекспировскія ходули. Борисъ Годуновъ соединяетъ въ себѣ черты Ричарда и Макбета: онъ ведетъ хитрую интригу, съ цѣлью низвергнуть враждебную ему партію Нагихъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ уже при Іоаннѣ Грозномъ мечтаетъ о царствѣ, подстрекаемый къ этому предсказаніемъ волхвовъ, представляющихъ грубый переводъ на русскіе нравы шекспировскихъ вѣдьмъ.

Но и въ личности Бориса Годунова, при всемъ усилии подняться до Шекспира, гр. А. Толстому не удалось состряпать никакой драматической коллизіи. Что касается до борьбы Бориса Годунова съ Нагими, занимающей обширную часть пьесы, то здѣсь мы видимъ недостатокъ весьма крупнаго свойства и притомъ общій всѣмъ нашимъ драматургамъ. Дѣло въ томъ, что драма, стремясь возбудить въ насъ чувства жалости, скорби къ человѣческимъ бѣдствіямъ, должна употреблять для этого всѣ средства, и однимъ изъ самыхъ могущественныхъ средствъ является обаятельность героевъ. Для того, чтобы мы могли жалѣть героя, скорбѣть о немъ, даже если онъ является передъ нами преступникомъ, злодѣемъ, надо, чтобы онъ стоилъ сожалѣнія, чтобы онъ возбуждалъ въ насъ сочувствіе къ лучшимъ силамъ человѣческой при-

роды, гибнущимъ отъ жизненной дисгармоніи. Шекспиръ такъ всегда и дѣлалъ: съ одной стороны, въ драмахъ его является рядъ личностей, которыя тѣмъ болѣе раздираютъ наши сердца своею гибелью, чѣмъ обаятельнѣе они чарующею прелестью своихъ душевныхъ качествъ: таковы Корделія, Офелія, Де-здемона, Джульета и пр.; съ другой стороны, предстаютъ передъ нами титаническія натуры, въ родѣ Отелло, Яго, леди Макбетъ, Ричарда III, натуры мрачныя, ужасающія и въ то же время заставляющія насъ удивляться ихъ могучимъ силамъ и возбуждающія въ насъ грустное раздумье о томъ, какъ хорошо могли бы люди эти употребить ихъ непреклонную волю, желѣзное хладнокровіе, эту гибкость ума, — и на что они все это употребили. Какъ только этихъ условій не соблюдено, и на сценѣ являются передъ вами обыденные, безцвѣтные люди, — и драматическая иллюзія слабѣетъ, холодно смотримъ мы на всѣ страданія и влѣдѣйства героевъ, при всемъ желаніи сочувствовать, негодовать или скорбѣть. Вотъ этихъ условій и не соблюлъ гр. Толстой. Съ одной стороны, онъ не сумѣлъ очертить личность Бориса такими чертами, чтобы она пора-жала насъ или приводила въ ужасъ: при всѣхъ своихъ замыслахъ и козняхъ — онъ рисуется передъ вами чрезвычайно блѣдно обыденнымъ царедворцемъ, устраивающимъ кривыми путями свою карьеру. Съ другой стороны, и Нагіе не возбуждаютъ въ васъ никакого сочувствія, которое могло бы заставить васъ трепетать за ихъ участь, какъ вы, напримѣръ, трепещете за участь Корделіи, Глостера, Кента — въ шекспировской трагедіи, основанной, въ свою очередь, на борьбѣ партій. Вслѣдствіе всего этого и выходитъ, что холодно смотрите вы на разыгрывающуюся передъ вами борьбу, и для васъ рѣшительно все равно, Нагіе ли побѣдятъ Бориса, или онъ ихъ низвергнетъ. Но откуда же происходитъ подобное неумѣнье автора обрисовывать характеры и развивать дѣйствіе такъ, чтобы читатель былъ пораженъ или тронутъ результатомъ борьбы? Очень понятно откуда: можетъ ли авторъ возбудить въ зрителяхъ участіе къ героямъ, къ которымъ онъ самъ относится съ полнымъ безучастіемъ археолога? Чтó ему Борисъ, Нагіе и чтó онъ Нагимъ? Другое было бы дѣло, если бы онъ могъ на историческія личности перенести идеалы, страсти, страданія своего вѣка, подобно тому, какъ Шиллеръ въ маркизѣ Позѣ или Гете въ Фаустѣ — воплотили все, чѣмъ только жили ихъ современники. Ну, а если у современниковъ

нѣтъ ни идеаловъ, ни страстей, ни страданій, а есть въ личности одна безпробудная спячка и пассивная созерцательность пасущагося стада, откуда же взяться въ такомъ случаѣ огню, для того, чтобы авторъ могъ воспламениться имъ: самовоспламененій же не бываетъ тамъ, гдѣ все сковано холодомъ и льдомъ.

Я не знаю, нужно ли много распространяться относительно мечтаній Бориса о царствѣ и предсказаній волхвовъ. Единственно только недостаткомъ драматическихъ элементовъ въ жизни и творчествѣ писателя можно объяснить это грубое, чисто школьническое подражаніе Шекспиру. Замѣтимъ только, что гр. А. Толстой, въ своемъ подражаніи, упустилъ изъ виду одно и самое главное: именно ту чарующую художественность, которою проникнуты у Шекспира всѣ его фантастическіе образы; сверхъестественное является у Шекспира постоянно или какъ народный мифъ, или какъ галлюцинація, греза; вы видите передъ собою какой-то туманный призракъ и недоумѣваете, что это такое: реальное ли это явленіе изъ какого-то таинственнаго міра, или это просто олицетвореніе того или другого психическаго движенія. Графъ же А. Толстой, какъ истинный россіянинъ, не терпящій ничего туманнаго, неопредѣленнаго и въ то же время не любящій, чтобы его дергали за фалды, когда онъ расходится, вывелъ на сцену, въ видѣ волхвовъ, кореловъ, какъ есть во плоти и крови настоящихъ кореловъ, и заставилъ ихъ предсказать мѣсяцъ и день кончины Іоанна съ точностью астрономовъ, вычисляющихъ будущія затменія небесныхъ свѣтилъ! Прелестно!..

А. Скабичевскій.

Графъ А. К. Толстой какъ лирическій поэтъ ¹⁾).

Немногочисленная семья современныхъ нашихъ поэтовъ недавно лишилась одного изъ лучшихъ своихъ сочленовъ. Русское общество въ правѣ теперь ожидать полнаго собранія сочиненій покойнаго, написавшаго далеко не мало послѣ книжки стихотвореній 1867 г. Такое изданіе вызоветъ въ свое время и обстоятельную критику. Моя же задача пока—только высказать нѣсколько поминальныхъ мыслей передъ свѣжею еще могилой.

Что произведенія гр. А. К. Толстого выливались непосредственно изъ души, какъ совершенно свободный актъ его поэтическаго творчества, что онъ настоящій поэтъ—это, я думаю, не подлежитъ сомнѣнію. Но время наше таково (можетъ-быть, это одна изъ его односторонностей), что даже и величайшее совершенство «художественной формы» цѣнится, главнымъ образомъ, потому, что при такомъ совершенствѣ сильнѣе дѣйствуетъ «содержаніе». Въ чемъ заключается это послѣднее—вотъ къ чему сводится для насъ все. Что же отвѣтить на этотъ вопросъ, имѣя въ виду поэтическія произведенія гр. А. К. Толстого?

Въ своемъ посланіи къ другому поэту, но поэту и вмѣстѣ съ тѣмъ публицисту, растворявшему огнемъ вдохновенія даже свои всѣмъ памятные передовыя статьи, къ И. С. Аксакову,—гр. А. К. Толстой старается отклонить отъ себя упрекъ въ нѣкоторой отрѣшенности отъ текущихъ явленій: Я, говорить онъ,

...Не чуждъ и здѣшней жизни;
Служа таинственной отчизнѣ,
Я и въ пылу душевныхъ силъ
О томъ, что близко, не забывъ...

И всѣ мнѣ дороги явленья,
Тобой описанныя, другъ,
Твои гражданскія стремленья
И честной рѣчи трезвый звукъ.

¹⁾ Читано въ общемъ собраніи Литературнаго фонда, 26-го октября 1875 г.

Но онъ прямо сознается, что не можетъ остановиться на одномъ этомъ; онъ замѣчаетъ про самыя выдающіяся явленія дѣйствительности:

Я въ нихъ иному гласу внимлю
И, жизнью смертнаго дыша,
Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа;

И чтó ее, всегда чаруя,
Зоветь и манить вдалекѣ,
О томъ повѣдать не могу я
На ежедневномъ языкѣ!

А между тѣмъ, поэтический языкъ гр. Толстого никогда не является языкомъ «приподнятымъ»; стихи его никакъ нельзя упрекнуть, собственно, въ такъ-называемой «торжественности» и «недостаткѣ простоты» (хотя объ этихъ упрекахъ и говорится въ томъ же оправдательномъ посланіи къ И. С. Аксакову). Напротивъ, по своему языку Толстой совершенно близокъ къ дѣйствительной жизни; въ этомъ смыслѣ и онъ вполнѣ захваченъ теченіемъ современнаго «реализма». Дѣло вовсе не въ языкѣ, а въ содержаніи,—въ томъ, что его поэзія не является вполнѣ поглощенной «злостью дня». Она, какъ и у Пушкина, еще далеко не чужда «отвлеченно-идеальныхъ» стремленій уединяться порою для «сладостныхъ звуковъ» и для «молитвъ»

На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы,

или даже «приподнимать ту завѣсу», которою, по выраженію Жуковского, «задержать отъ насъ горній міръ». Даже тѣ наслажденія чувствомъ художественной любви къ красотѣ, воплощенной въ женщинѣ, тѣ поэтически-страстные наслажденія, которыя, подобно Пушкину, воспѣваются А. К. Толстымъ въ цѣломъ рядѣ глубоко-задушевныхъ элегій, проникаются у него своего рода мистическою возвышенностью, рѣшительно напоминающею выпрєнный пошибъ Жуковского. Вспомнимъ, напримѣръ, слѣдующіе стихи Толстого:

О, не спѣши туда, гдѣ жизнь свѣтлѣй и чище
Среди міровъ иныхъ,
Помеди здѣсь со мной, на этомъ пепелищѣ
Твоихъ надеждъ земныхъ...

Сліясь въ одну любовь, мы—цѣпи безконечной
 Единое звено,
 И выше восходить, въ сіянье правды вѣчной,
 Намъ врозь не суждено.

Но тутъ же невольно припоминается и слѣдующее, также небольшое стихотвореніе, составляющее своеобразный pendant къ лермонтовскому: «По небу полуночи...» И тутъ представляется проносящаяся по небесамъ, безъ сомнѣнія, женская, глубоко любящая душа, только она тутъ не на землю летитъ, а съ земли улетаетъ...

Встрѣчныя тихо ее вопрошали свѣтила:
 «Что ты грустна и о чемъ эти слезы во взорѣ?»
 Имъ отвѣчала она: «Я земли не забыла,
 Много оставила тамъ я страданья и горя.

Здѣсь я лишь ликамъ блаженства и радости внемлю:
 Праведныхъ души не знаютъ ни скорби, ни злобы.
 О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
 Было бъ о комъ пожалѣть и утѣшить кого бы.

У Толстого не было уже и малѣйшихъ отзвуковъ той «идеализаціи чувственной красоты и чувственной любви», которая иногда сказывалась у Пушкина, какъ наслѣдіе французской эротической поэзіи XVIII ст., имѣвшей на него такое вліяніе въ его молодости. Женскіе образы А. К. Толстого постоянно оказываются обладающими «душевною красотой», и онъ лишь съ тѣмъ болѣе правомъ позволялъ себѣ отдыхать, созерцая ее, своею поэтическою душой—отъ міра дѣйствительности со всѣми его тревоженіями:

Меня, во мракѣ и въ пыли
 Досель влачившаго оковы,
 Любви крылья вознесли
 Въ отчизну пламени и слова.

И съ горней выси я сошелъ,
 Проникнуть весь ея лучами,
 И на волнующійся долъ
 Взирая новыми очами...

Съ одной стороны, любовь въ этомъ возвышающемъ, облагораживающемъ значеніи, съ другой—природа съ ея вѣчными красотою, поэтически-надѣляемая сочувственною человѣку душой, постоянно побуждали Толстого (употребляя выраже-

ніе Пушкина) къ «поэтическимъ побѣгамъ» изъ міра дѣйствительности.

Но къ этимъ двумъ вѣчнымъ источникамъ поэтическихъ наслажденій, къ идеальной любви и идеализированной природѣ, у Толстого, какъ и у Пушкина, присоединяется еще одинъ—самый актъ творчества—независимо отъ какихъ бы то ни было цѣлей и примѣненій. Вспомнимъ стихотвореніе уже послѣднихъ годовъ—«Слѣпой», въ которомъ выведенъ пѣвецъ, не замѣчающій, что слушатели разошлись отъ него въ то время, какъ онъ весь отдался порыву своего вдохновенія; узнавая объ этомъ, пѣвецъ говоритъ:

Я пѣлъ одинокъ, но тужить и роптать
Мнѣ, старому, было бѣ грѣшно и нестать—
Наградъ мое сердце не ждало.

Убогому пѣть не тяжелый былъ трудъ,
А пѣсня ему не въ хвалу и не въ судъ,
Занѣ онъ надъ нею не воленъ.
Не вѣдаетъ горный источникъ, когда
Потокомъ онъ въ степи стремится,
И бьетъ и кипитъ его, пѣнясь, вода,
Придутъ ли къ нему пастухи и стада
Струями его освѣжиться!

Этотъ поэтическій образъ независимости и произвольности творчества соотвѣтствуетъ тому, которымъ воспользовался Пушкинъ въ своемъ стихотвореніи «Эхо»; только Пушкинъ, кромѣ произвольности поэтическихъ отзвуковъ, указываетъ еще на то, что они вызываются рѣшительно «всѣмъ» въ природѣ. Но и эта сторона пушкинскаго опредѣленія поэзіи вполне оправдывается А. К. Толстымъ. И его поэтическое участіе вызывалось даже скучной обителью такого, повидимому, непоэтическаго лица, какъ какой-нибудь станціонный смотритель, захрапѣвшій подъ сонный звукъ маятника, или запущеннымъ видомъ покинутого барскаго дома, или, наконецъ, унылою картиной деревни въ сѣрый и пасмурный день, съ какимъ-нибудь оборваннымъ евреемъ—въ видѣ мало утѣшительнаго дополненія къ этому незатѣйливому ландшафту. Поэтъ нашъ находилъ одинаковый художническій интересъ и въ заоблачномъ мірѣ свѣтлыхъ и темныхъ духовъ, спорящихъ изъ-за души гениальнаго Донъ-Жуана, въ которой возвышенная жажда свободы должна была переродиться въ разнузданность страсти, и въ нравственномъ одиночествѣ

русскаго мальчика, который подрастаетъ въ пустынь роскошныхъ палатъ, при гувернеръ-педантѣ, и силою неизбѣжно разыгрывающагося при такихъ условіяхъ воображенія создать себѣ любящее и любимое существо въ оживающемъ для него «Портретѣ». На самомъ вѣкатѣ своей художнической жизни поэтъ, перенесаясь въ средневѣковую Италію, заставилъ и насъ невольно участвовать вмѣстѣ съ нимъ въ суевѣрно-окрашившемся тамъ предчувствіи приближающагося напора нѣмцевъ, отчего и мерещился итальянцамъ залегшій все небо ужасный Драконъ. И мы невольно повѣрили нашему поэту, что это переводъ съ итальянскаго (тогда какъ оказывается, что поэма эта вполнѣ оригинальна), до такой степени проникся онъ тутъ духомъ старо-итальянской поэзіи. Муза Толстого (если еще позволительно употребить это выраженіе, ни разу не попадающееся въ его стихахъ, совершенно отрѣшившихся отъ той псевдо-классической закваски, которая еще сказывалась порою у Пушкина),—муза Толстого то заводила его въ сумрачный міръ шотландскихъ или скандинавскихъ преданій, нерѣдко связывая эти послѣднія съ древне-русскими ²⁾, то, зайдя съ нимъ къ балтійскимъ славянамъ, рисовала ему картину ихъ ожесточенной борьбы съ насильно навязываемымъ имъ христіанствомъ ³⁾, или же, перейдя въ древнюю Русь, заглядывала въ душу князю Владимиру, слѣдя въ ней за тою внутреннею борьбой, которая разрѣшилась, наконецъ, полнѣйшей готовностью смиренно склониться главою подъ благое иго христіанской вѣры ⁴⁾. Одна и та же отзывчивая душа поэта и живо увлекалась перерожденіемъ Грѣшницы подъ благостнымъ взоромъ Спасителя, и сочувственно вторила ратованью «язычника» Гете (какъ онъ самъ себя называлъ) во имя правъ чувственности, безпощадно приносившихся въ жертву христіанской идеѣ «духа» («Вѣстн. Евр.», мартъ, 1868 г.).

Коснувшись поэмы «Грѣшница», нельзя не замѣтить, что поэтъ нашъ совершенно проникся въ ней чисто-религіозною идеей «личнаго» обращенія къ Богу грѣшной души. Нимало не затронута имъ «соціальная» сторона вопроса,

²⁾ Въ стихотвореніи: «Пѣсня о трехъ побойщахъ». «Вѣстн. Европы», 1869 г., май.

³⁾ «Вѣстникъ Европы», 1871 г., май.—«Бесѣда», 1871 г., январь.

⁴⁾ «Вѣстникъ Европы», 1869 г., сентябрь.

а ея не трудно бы было коснуться, если бы онъ прямо держался прекрасной евангельской повѣсти съ многосодержательными словами Спасителя: «Кто изъ васъ безъ грѣха, пусть тотъ первый бросить въ нее камень». Уже и на основаніи этихъ словъ, которыми вовсе не воспользовался нашъ поэтъ, можно бы было выставить грѣхъ этой женщины грѣхомъ всего общества, естественнымъ слѣдствіемъ установившихся въ немъ порядковъ, а такая постановка дѣла придала бы разсказу старины отдаленной живой интересъ современности, прямо бы связала его со «злобою дня».

Зато нашъ поэтъ въ полномъ смыслѣ связалъ такой связью и съ нашимъ и съ будущими вѣками другое свое произведеніе религіознаго содержанія,—свое поэтическое житіе Іоанна Дамаскина. Изъ отдаленнаго прошлаго, изъ міра отшельническихъ легендъ христіанскаго Востока заимствованы тутъ черты нестарѣющаго мірового характера. Дамаскинъ, считающій себя невольникомъ среди того блеска, которымъ его окружилъ калифъ, и на высотѣ той власти, которую онъ ему передалъ, служить своеобразнымъ воплощеніемъ того стремленія къ художественной независимости, которымъ былъ до такой степени преисполненъ и самъ поэтъ⁵⁾. Вспомнимъ слова Іоанна:

Инымъ призваніемъ влекомъ,
Я не могу народомъ править:
Простымъ рожденъ я былъ пѣвцомъ,
Глаголомъ вольнымъ Бога славить.
Въ толпѣ вельможъ всегда одинъ,
Мученья полонъ я и скуки;
Среди шировъ, въ главѣ дружинъ,
Иные слышатся мнѣ звуки.
Неодолимый ихъ призывъ
Къ себѣ влечетъ меня все болѣ,—
О, отпусти меня, калифъ,
Дозволь дышать и пѣть на волѣ.

Отъ пустыни придворныхъ палатъ перейдя къ другой—къ той «матери-пустынѣ», которая такъ сочувственно воспрѣвается въ нашихъ народныхъ «стихахъ»,—Дамаскинъ поетъ гимнъ,

⁵⁾ Со временемъ, когда сдѣлается возможною полная біографія А. К. Толстого, должна будетъ обнаружиться непосредственная связь «Іоанна Дамаскина» съ обстоятельствами жизни поэта, принадлежавшаго къ числу тѣхъ рѣдкихъ натуръ, у которыхъ слово не расходится съ дѣломъ.

проникнутый живѣйшей радостью, что пришлось, наконецъ, очутиться съ глаза-на-глазъ съ самой природой. Такое поэтическое чувство, несомнѣнно, существовало у нѣкоторыхъ отшельниковъ первыхъ вѣковъ христіанства; съ этой именно стороны оно понятно и такъ ярко выставлено пламеннымъ перомъ Златоуста. Такою-то поэтически-отшельническою натурой является и Іоаннъ Дамаскинъ, устами котораго нашему поэту можно было опять высказывать и собственныя свои душевныя мысли:

Благословляю васъ, дѣса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю я свободу
И голубыя небеса!

О, если бъ могъ всю жизнь смѣшать я,
Всю душу вмѣстѣ съ вами слить;
О, если бъ могъ въ мои объятья
Я васъ, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!

Но живая любовь къ людямъ требуетъ постоянного общенія съ ними со всѣми. Брезгливое устраненіе себя отъ «злобы дня» съ ея обычными житейскими дразгами, бѣгство отъ нихъ въ незараженную высь созерцательной жизни—сопряжено съ опасностью всецѣло уйти въ самого себя, заживо умереть въ этой нравственной могилѣ. Такого рода опасность воплощается для Іоанна Дамаскина въ лицѣ того суроваго отшельника, которому отданъ онъ подѣ начало. Но этотъ непреклонный старикъ является только выполнѣ логическимъ представителемъ отшельническаго направленія. Онъ требуетъ, чтобы новый житель пустыни выполнѣ отложилъ

Ненужныхъ думъ безплодное броженье,

требуется, чтобы онъ отдался выполнѣ религіозно-практической заботѣ о соблюденіи себя отъ міра. Пусть онъ откажется отъ того, что, вѣдь, и нужно лишь для общенія съ другими,— не только отъ своихъ пѣсенъ, но и отъ самаго дара слова. И Дамаскинъ увлеченъ на время непреклонною логикой старика; не даромъ онъ восклицаетъ:

Такъ вотъ гдѣ ты, таилось, отреченье,
Что я не разъ въ молитвахъ общалъ!
Моей отрадой было пѣснопѣнье,
И въ жертву Ты, Господь, его избралъ!

И точно, если пѣснопѣнье—только «его собственная отрада», если онъ существуетъ исключительно для «него самого», а его убѣждаютъ, что ради «себя», ради «своей души», ему надобно отъ него отречься,—то какъ же не повиноваться подобному убѣжденію? Но Дамаскину приходится, наконецъ, сознать, что пѣснопѣнья его «нужны ближнему»; къ нему приходитъ другой, такой же отшельникъ, какъ онъ, но еще не порвавшій всѣхъ своихъ связей съ міромъ, а потому и изнывающій отъ скорби по своему умершемъ братѣ. А скорбь эта такъ велика, что даже не знаетъ слезъ; но источникъ ихъ можетъ открыться отъ пѣсни Дамаскина. И вотъ, невольно исторгнутая мольбами скорбящаго, эта пѣсня опять пролилась неудержимымъ потокомъ, а съ ней полились и слезы изъ глазъ, такъ упорно ихъ не дававшихъ:

Надъ вольной мыслью Богу не угодны
Насиліе и гнѣтъ:
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умретъ.

Сказано ли это отъ лица Іоанна, сказано ли поэтотъ прямо отъ себя,—но въ этомъ, очевидно, выражается мысль поэмы; она развивается далѣе въ слѣдующихъ вопросахъ:

Ужели вправду мнишь ты, близорукій,
Сковать свои мечты?
Ужель пограть въ себѣ живые звуки
Насильно думалъ ты?

Но самымъ ходомъ поэмы сказано несравненно болѣе; изъ нея невольно вытекаютъ еще и такіе вопросы: «Ужели могъ ты видѣть въ твоемъ дарѣ пѣсенъ только «свою отраду»? Кто далъ тебѣ право утаить этотъ животворный даръ отъ живыхъ людей? Не на то ли этому чудному дару и подобаетъ «свобода», чтобы онъ смѣло вторгался въ самую «злобу дня» и звучалъ, по выраженію Лермонтова,

Какъ колоколь на башнѣ вѣчевой
Во дни торжествъ и бѣдъ народныхъ!

Не ясно ли послѣ этого, что Толстой своимъ «Дамаскинымъ» приведенъ былъ къ такому же взгляду на «общественное служеніе поэта», къ какому послѣ долгихъ отъ него отклоненій пришелъ и Пушкинъ въ заключительныхъ словахъ Бога къ Пророку:

... Обходя моря и земли,
Глагономъ жги сердца людей!

«Іоаннъ Дамаскинъ», эта лучшая изъ поэмъ Толстого по красотамъ изложенія, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая сочувственная и живая по своей основной мысли.

Извѣстно, что поэма эта первая появилась въ литературномъ органѣ такъ-называемыхъ «славянофиловъ», «Русской Бесѣдѣ», служа, по этой основной мысли, вполне подходящимъ выраженіемъ того, что составляетъ одну изъ основныхъ сторонъ славянофильскаго ученія. Но мысль о неотъемлемой свободѣ слова, этого существеннѣйшаго признака, по которому отличается человѣкъ отъ прочихъ созданій,—мысль въ равной мѣрѣ сочувственная и людямъ другихъ направленій. Отозвавшись въ ученіи славянофиловъ, собственно, на такую мысль, поэтъ нашъ никогда и не думалъ отдаваться ихъ направленію вполне, какъ не могъ отдаться вполне и противоположному направленію. Своей «идеѣ полнѣйшей поэтической независимости» оставался онъ вѣренъ и въ жизни, хотя и глубоко сознавалъ всю трудность неизбѣжно вытекавшаго изъ такой независимости одиночества:

Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный
За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ;
Но споръ съ обоими — досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;
Союза полного не будетъ между нами:
Не купленный никѣмъ, подъ чье бѣ ни сталъ я знамя,
Пристрастной ревности друзей не въ силахъ снести,
Я знамени врага отстаивалъ бы честь.

Однажды, правда, поэтъ нашъ подалъ поводъ думать, не рѣшится ли онъ окончательно стать въ славянофильскій станъ, откликнувшись, повидимому, сочувственно на одну изъ самыхъ спорныхъ сторонъ его историческаго ученія извѣстными своими стихами: Государь ты нашъ батюшка, государь Петръ Алексѣевичъ⁶⁾. Но цѣлый рядъ другихъ произведеній изъ русской исторіи нимало не оправдалъ такихъ—съ одной стороны, «надеждъ», съ другой—«опасеній».

Здѣсь не мѣсто входить въ оцѣнку того пониманія отечественной исторіи, которое, каково бы ни выходило оно у

⁶⁾ Напечатаны въ газетѣ «День».

нашего поэта, оставалось вполне независимымъ отъ какой-либо историко-политической школы.

Къ числу его произведеній изъ русской исторіи принадлежить, какъ извѣстно, и его драматическая трилогія, которая ждетъ еще обстоятельнаго разбора. Я же теперь касаюсь ея, какъ и другихъ его произведеній изъ отечественной исторіи, собственно, съ цѣлью напомнить о томъ, что поэтъ нашъ является и тутъ, какъ во всемъ, не принесшимъ, по его собственному выраженію, стѣснительной клятвы никакому стану. Онъ постоянно старался подходить, такъ-сказать, лицомъ къ лицу къ своему народу, отстраняя чье-либо наставительное посредничество и исключительно опираясь на свое живое художническое чутье. И что же? Несмотря на помѣхи, неизбѣжно вытекавшія изъ самыхъ свойствъ воспитанія и образованія въ той искусственной средѣ, которой принадлежалъ поэтъ, ему нерѣдко удавалось достигать въ столь высокой мѣрѣ непосредственнаго общенія съ народомъ, что въ его художественные стихи вторгались живьемъ народныя думы, или же задушевные мысли поэта облекались въ первобытный народный стихъ и въ стародавніе образы и обороты народного творчества. Въ этомъ именно отношеніи Толстой сдѣлалъ шагъ впередъ послѣ Пушкина, которому народность, какъ извѣстно, не сразу далась, да и до конца, можетъ-быть, не далась въ такой мѣрѣ. Не самъ ли народъ, на примѣръ, говорить въ слѣдующихъ стихахъ Толстого:

Ой, кабы Волга матушка да вспять побѣжала!

Кабы можно, братцы, начать жить сначала!

Ой, кабы зимой цвѣты расцвѣтали!

Кабы мы любили да не разлюблили!

Кабы всегда чарка доходила до рта!

Да кабы приказныхъ по боку да къ чорту!

Да кабы звенѣли завсегда карманы!

Да кабы намъ, братцы, да свои кафтаны!

Да кабы голодный всякій день обѣдал!

Да батюшка-царь нашъ всю правду бы вѣдал!

Что, какъ не чисто народная иронія, сказывается въ слѣдующей ярко своеобразной картинѣ:

Ходить Спесь надуваясь,

Съ боку на бокъ переваливаясь.

Ростомъ-то Спесь аршинъ съ четвертью,

Шапка-то на немъ во цѣлу сажень...

А и зашелъ бы Спесь къ отцу къ матери,
 Да ворота не крашены!
 А и помолился бѣ Спесь во церкви Божіей,
 Да полѣ не метѣнъ!
 Идетъ Спесь, видитъ: на небѣ радуга;
 Повернулъ Спесь во другую сторону:
 Не пригожеде мнѣ нагибаться.

Не чисто ли русская «широта» воззрѣнія, никакъ не уживающаяся съ тѣмъ, что называется «середкой на половинкѣ», поражаетъ васъ въ слѣдующихъ стихахъ Толстого:

Коль любить, такъ безъ разсудку,
 Коль грозить, такъ не на шутку,
 Коль ругнуть, такъ сгоряча,
 Коль рубнуть, такъ ужъ сплеча!

Коли спорить, такъ ужъ смѣло,
 Коль карать, такъ ужъ за дѣло,
 Коль простить, такъ всей душой,
 Коли пиръ, такъ пиръ горой!

Извѣстно, что въ стихотвореніяхъ поэта нашего нерѣдко сказывается грусть-тоска. Пораженный однажды классическимъ образомъ Милона Кротонскаго, обносившаго каждый день вокругъ города маленькаго теленка, который все росъ и росъ и, наконецъ, обратился въ быка, тѣмъ не менѣе, въ силу привычки, приходившагося ему по силамъ,—поэтъ сейчасъ же воспользовался этимъ образомъ для такого сравненія:

Въ дни юности моей, съ судьбой въ отважномъ спорѣ,
 Я, какъ Милонъ, взвалилъ себѣ на плечи горе,
 Не замѣчая самъ, что бремя тяжело;
 Но съ каждымъ днемъ оно невидимо росло,
 И голова моя подъ нимъ ужъ посѣдѣла,—
 Оно же все растетъ безъ мѣры и предѣла.

Но какъ было именно въ этомъ случаѣ не найти подходящихъ красокъ и въ нашихъ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ, когда онѣ съ такимъ глубокимъ чувствомъ выносливости рисуютъ не менѣе художественные, въ своемъ родѣ, образы «горе-гореванья»? Толстой и воспользовался и на этотъ разъ готовыми чертами народной поэзіи не въ одномъ изъ своихъ стихотвореній; но я приведу лишь слѣдующій поразительно вѣрный образъ для той же идеи, задуманный и выполненный нашимъ поэтомъ въ совершенно народномъ духѣ:

Не Божимъ громомъ горе ударило,
 Не тяжелой скалой навалилося,—
 Собиралось оно малыми тучками,
 Затаили тучки небо ясное,
 Посыпало горе мелкимъ дождичкомъ,
 Мелкимъ дождичкомъ - осеннимъ.
 А и съеть оно давнымъ - давно
 И съчетъ оно безъ умолку...

Но такъ медленно изводиться станеть невоготу и при величайшей выносливости,—и у поэта невольно тутъ вырывается пожеланье въ томъ же чисто народномъ вкусѣ:

А и бывало жъ другимъ счастьеце:
 Налетало горе вихремъ-бурею,
 Ворочало горе дубы съ корнемъ вонъ.

Но, кромѣ злодѣя-горя, къ человѣку бываетъ приставлено еще и другое безобразное существо, приходящееся сродни первому. Поэтъ намъ рисуеть и это новое чудище тѣми же, взятыми у народа, красками:

Нѣтъ, ужъ не вѣдать мнѣ, братцы, ни сна, ни покою!
 Съ жизнью бороться приходится, съ бабой-ягою!
 Старая крѣпко меня за бока ухватила,
 Сломится, такъ и гляжу, молодецкая сила!
 Пусть бы хоть молча, а то, вѣдь, накинудась съ бранью,
 Слухъ утомляетъ мнѣ, сплетница, всякою дрянью.
 Охъ, насолили мнѣ дразги й мелочи эти!
 Баба, постой, погоди, не одна ты на свѣтѣ!
 Сила и воля нужны мнѣ для боя иного —
 Послѣ, пожалуй, съ тобою мы схватимся снова.

Но сила и воля подкашиваются не оттого только, что имъ приходится постоянно разгребать передъ вами наваливаемый на вашу дорогу житейскій соръ: онѣ нерѣдко остаются безъ дѣла и отъ избытка внутренняго содержанія, отъ нехотѣнья-неумѣнья вставить его въ какія-либо опредѣленные рамки, такъ какъ все эти рамки неизбѣжно стѣсняють вашу свободу. Дорожа всего болѣе безграничной независимостью духа, поэтъ нашъ вполнѣ сознавалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что она въ состояніи доводить до (въ своемъ родѣ) гамлетовскихъ безвыходныхъ колебаній. Свое откровенное признаніе въ этомъ облекъ онъ опять въ оборотъ народной поэзіи, и облекъ совершенно удачно—потому, надо думать, что въ самомъ нашемъ народномъ характерѣ въ сильнѣйшей степени развита та ширь, которая не позволяетъ уставиться разъ навсегда

подъ какой-либо одинъ уголъ зрѣнія или отдать себя, такъ сказать, въ кабалу одному какому-нибудь «толку». А жутко приходится иногда отъ этой черты характера, и невольно завидуется тому, въ комъ нѣтъ ея непокладистой шири. Вотъ народная дума о томъ Толстого:

Хорошо, братцы, тому на свѣтѣ жить,
У кого въ головѣ добра не много есть,
А сидитъ тамъ одно-одинешенько,
А и сидитъ оно крѣпко-накрѣпко,
Словно гвоздь, обухомъ вколоченный.

А хорошо оно потому, что такой человѣкъ всегда знаетъ, куда ему надо.

...Знай претъ впередъ, напроломъ идеть,
Давить встрѣчнаго-поперечнаго.
А бѣда тому, братцы, на свѣтѣ жить,
Кому Богъ далъ очи зоркія,
Кому видѣть далъ во всѣ стороны.
И тѣ очи у него разбѣгаются...
И дойдетъ онъ до распутица,
Не одну видить въ полѣ дороженьку,
И онъ станетъ — призадумается,
И пойдетъ впередъ, воротится,
Начинаетъ итти сызнова...
И всѣ люди его корятъ-бранятъ:
«Ишь, идеть, молъ, озирается,
Ишь, стоитъ, молъ, призадумался,
Ему бѣ мѣрить все да взвѣшивать,
На всѣ боки бы поворачивать»...

А время, между тѣмъ, идеть себѣ да идеть, жизнь не терпитъ, не дожидается, и обладающій подобнымъ избыткомъ душевныхъ силъ, тяготящимъ его самого, какъ богатыря Святогора, такъ же точно ихъ бесплодно носившаго, — обладающій подобнымъ ненужнымъ избыткомъ силъ оканчиваетъ, наконецъ, тѣмъ, что «найдетъ себѣ гору, да на ней и заляжетъ», подобно тому же Святогору-богатырю, этому первому изъ нашихъ «Обломовыхъ». Но поэтъ нашъ схватилъ и эту сторону народного типа, при помощи опять же народныхъ красокъ:

Ты, невѣдомое, незнамое,
Безъ виду, безъ обрава,
Безъ имени-прозвища, —
Подно гнуть меня ко сырой землѣ,
Донимать меня, добра молодца!
Какъ съ утра-то встану здоровешенекъ,

Здоровешенекъ, кажись, гору сдвинулъ бы,
 А къ полудню уже руки опускаются,
 Ноги словно ко землѣ приросли.

А новое, особое чудище, стоящее и безобразной бабищи
 съ ея соромъ-дразгомъ и гореваньица-горя, наваливающегося
 на плечи молодцу,—новое чудище сидить себѣ да сидить
 у его изголовьица, да надъ нимъ же и насмѣхается:

«Ой, удалъ-силенъ добрый молодецъ,
 Еще много ли на боку полежано,
 Силы-удали понакоплено,
 Отговорокъ-то понахожено?
 А и много ли богатырскихъ дѣлъ,
 На печи сидючи, понадумано,
 Вахлаками другихъ поругано,
 Себѣ спину почесано?»

Но если такъ легко въ переходъ отъ колебательнаго стоянія
 на распутѣ къ спокойному сидѣнію на печи, то тутъ зато не
 рискуешь попасть въ положеніе тѣхъ братьевъ, которые въ
 извѣстной притчѣ Толстого «о правдѣ», перебились изъ-за
 нея до смерти, а все оттого, что каждый смотрѣлъ на нее съ
 «одного» своего конца и не допускалъ возможности посмотрѣть
 и съ какого-нибудь «другого». Спасая отъ такого пагубнаго
 задора, стоянье внѣ всякаго опредѣленнаго стана представля-
 лось нашему поэту особенно привлекательнымъ потому, что
 ограждало его независимый духъ отъ всякаго рода соблаз-
 новъ—даже отъ соблазновъ «похвалъ и хулы» своихъ же
 сторонниковъ. И поэтъ нашъ до конца оставался вѣренъ тому
 идеалу, который начертанъ имъ, между прочимъ, въ слѣдую-
 щихъ давнишнихъ его стихахъ:

Ни предъ какой земною властью,
 Своей онъ мысли не таитъ,
 Не льститъ неправому пристрастью,
 Враждѣ неправой не кадитъ.
 Ни предъ вѣнчанными царями,
 Ни предъ судилищемъ молвы
 Онъ не торгуется словами,
 Не клонитъ рабски головы.
 Друзьямъ въ угодность, боязливо
 Онъ никому не шлетъ укоръ;
 Когда жъ толпа несправедливо
 Свой постановитъ приговоръ,
 Одинъ, не слѣдуя за нею,
 Предъ тѣмъ, что чисто и свѣтло,

Дерзаетъ онъ, благоговѣя,
Склонить свободное чело.

Эта-то смѣлая рѣшимость плыть и «противъ теченія» привела нашего поэта къ тѣмъ стихотвореніямъ позднѣйшаго времени, въ которыхъ онъ, какъ памятно всѣмъ намъ, враждебно затронулъ нѣкоторыя, бывшія тогда самоновѣйшими, а теперь, пожалуй, уже и постершіяся угловатости. При этомъ поэтъ нашъ могъ въ значительной мѣрѣ руководиться своимъ чувствомъ художника, оскорбившагося прежде всего за свое божество — красоту; этимъ, по крайней мѣрѣ, отъзывается у него слѣдующая характеристика:

Они звона не терпятъ гусярнаго,
Подавай имъ товара базарнаго!
Все, чего имъ не взвѣсить, не смѣрять,
Все, кричать они, надо похерить!..

И приемы у нихъ дубоватые,
И ученіе - то ихъ грязноватое... ⁷⁾

Во всякомъ случаѣ, на явленія этого рода поэтъ нашъ взглянулъ съ той же отвлеченно-художнической точки зрѣнія, которая сказала у него и въ поэмѣ «Грѣшница». Какъ тамъ онъ усмотрѣлъ исключительно вину самѣй «личности» въ томъ, что должно быть отнесено и на счетъ всего общества, такъ и тутъ—въ этихъ «дубоватыхъ приемахъ» и въ этомъ «грязноватомъ ученіи»—ему видѣлась только какая-то странная прихоть извѣстнаго рода людей, тогда какъ направленіе ихъ непосредственно вытекало изъ цѣлаго ряда предшествовавшихъ явленій...

Но я ограничусь однимъ указаніемъ на то, какъ могли появиться у нашего поэта и приняты такой склонъ эти его сатирическія произведенія, во всякомъ случаѣ остающіяся столько же «искренними», какъ и все, что выливалось изъ-подъ его пера. Боясь отдаться въ полонъ «злѣбъ дня», онъ, какъ живой человѣкъ, нерѣдко касался ея, не измѣняя при этомъ той «вѣчной правдѣ и вѣчной красотѣ», которой по преимуществу служить художникъ; но постоянное опасеніе этой «злѣбы» держало его нѣсколько въ сторонѣ отъ дѣйствительной жизни, а это-то и помѣшало ему, невольнѣ отозвав-

⁷⁾ Стихотвореніе «Пантелей - цѣлитель».

пись и на упомянутыя явленія недавней поры, постановить о нихъ такой приговоръ, который выполнѣ бы удовлетворялъ неумытнѣй правдѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и чувству художнической мѣры и безпристрастія.

Тяжело бы было теперь, когда мы, какъ я выразился вначалѣ, стоимъ еще «передъ свѣжей могилой» перебирать, одно за другимъ, тѣ произведенія, въ которыхъ нашему поэту пришлось волею-неволею, за свое излишнее опасеніе «злобы дня», поплатиться принесеніемъ ей же такой щедрой дани, которая вышла въ ущербъ и его поэтическому дару и его чувству самостоятельности, такъ какъ дань эта на время придвинула его очень близко къ одному изъ весьма выдававшихся становъ. Надо думать, что онъ самъ почувствовалъ это и, остановившись вовремя, сберегъ и свой честный характеръ и свой чистый поэтический даръ... Во всякомъ случаѣ, вѣрно то, что Толстой былъ искрененъ всегда, оставался искреннимъ и въ самыхъ своихъ одностороннихъ увлеченіяхъ; его натура была цѣльная, и, какъ всѣ подобныя натуры, онъ не былъ преднамѣренъ, а потому иногда не былъ и послѣдователенъ; мы теперь еще не можемъ имѣть правильнаго понятія о его уклоненіяхъ, такъ какъ въ печать попали пока уклоненія его только въ одну сторону; въ рукописной литературѣ найдется, конечно, немало уклоненій его и въ другую сторону—еще болѣе рѣзкихъ и уже не имѣющихъ ничего общаго съ тѣмъ станомъ, которому нравились первыя.

Въ заключеніе этой поминальной замѣтки приведу стихи, вылившіеся у гр. Толстого уже давно и обличающіе, какъ это часто бываетъ у лириковъ, въ душѣ самого поэта то, что, вмѣстѣ съ тѣмъ, подлежитъ обличенію и въ цѣломъ обществѣ. Стихи эти затрагиваютъ тотъ нашъ недугъ, который долженъ бы былъ возбуждать опасенія пуще всякихъ другихъ недуговъ. Въ самомъ дѣлѣ, по какимъ бы ложнымъ путямъ ни направлялись живыя силы,—и самое блужданіе ихъ должно быть предпочтено тому мертвенному застою, о которомъ съ такимъ нравственнымъ ужасомъ говорилъ поэтъ:

Я задремалъ, главу понуря,
И прежнихъ силъ не узнаю;
Дохни, Господь, живящей бурей
На душу сонную мою!
Какъ гласъ упрека, надо мною
Свой громъ призывный прокати,

И выжги ржавчину покоя,
И прахъ бездѣйствія смети!
Да вспряну я, Тобой подъятый,
И, внявъ карающимъ словамъ,
Какъ камень отъ удара млата,
Огонь таившійся издамъ!

Многіе ли могутъ сказать, что имъ не понадобится такая,
вылившаяся устами поэта, возбуждательная молитва?

Ор. Миллеръ.

«Грѣшница», поэма А. Толстого ¹⁾.

Нетрудно угадать причины той широкой популярности, которою пользуется поэма гр. А. Толстого Грѣшница; но въ высшей степени удивителенъ тотъ фактъ, что профессиональная критика ни разу не захотѣла справиться, насколько событие, въ ней рассказанное, согласно съ данными исторіи. Дѣло въ томъ, что вся фабула поэмы, отъ начала и до конца, съ точки зрѣнія исторіи, въ высшей степени вѣроятна. Въ дѣйствительности и не было и не могло быть ничего подобнаго. Въ предѣлахъ Палестины, въ данный періодъ времени, богатые и знатные евреи не могли на глазахъ у всѣхъ собраться въ домъ блудницы. Фарисеи, гордые показною святостью, строгіе ревнители обряда, не осмѣлились бы сразу потерять все свое вліяніе на народъ посѣщеніемъ чертоговъ «падшей дѣвы». Они считали себя оскверненными, если рука блудницы прикасалась къ воскриліямъ ихъ одеждъ, и, несомнѣнно, не они оставили своихъ возницъ и коней на дворѣ грѣшницы. Саддукеи, правда, слыли эпикурейцами еврейства: но ихъ эпикуреизмъ опирался на свободное толкованіе закона ужичества и формы земной жизни пытался поставить въ связь со стройностью загробнаго существованія. Кромѣ того, это была могучая партія, которая оспаривала у фарисеевъ вліяніе на народъ, давала изъ своей среды вліятельнѣйшихъ представителей священнической власти и явнымъ оскорбленіемъ цѣломудрія, конечно, побоялась бы дать фарисеямъ сильное орудіе противъ себя. Ессеямъ,—этимъ аскетамъ-пустынниками,—конечно, совсѣмъ уже не мѣсто въ чертогахъ, убранныхъ богато ²⁾. Правда, у Ирода на берегу Геннисаретскаго озера былъ роскошный дворецъ съ мраморными

¹⁾ Н. М. Соколовъ: «Иллюзіи поэтического творчества».

²⁾ Ессеи — еврейское религиозное аскетическое общество, основанное во времена Маккавея Ионафана (150 лѣтъ до Р. Х.). Ессеи стремились, какъ глубоковѣрующіе евреи, вернуться къ древнему ученію Моисея пророковъ. Въ противоположность фарисеямъ и саддукеямъ, двумъ политическимъ партіямъ, смущавшимъ своими распрями государственную и обще-

львами и колоннадами, гдѣ тетрархъ давалъ пиры римлянамъ и гдѣ гости развлекались пляскою Иродіады. Но не въ Иродѣ типы и нормы еврейства. Кто же былъ на пиру у блудницы? Римляне? Но они не стали бы говорить «о ненавистномъ игѣ Рима». Греки? Да, гетеры—явленіе ихъ жизни, а «грѣшница» во многихъ чертахъ напоминаетъ аѳинскихъ гетеръ. Если бы поэтъ перенесъ мѣсто дѣйствія въ Аѳины, назвалъ грѣшницу гетерою и посадилъ за ея трапезой Перикла съ друзьями,—и пиръ, и чертоги, и все стало бы понятно; тогда было бы можно повѣрить, что гости свободно говорили «о торговлѣ, и мирѣ и войнѣ». Но это—не темы для разговора между вліятельными евреями. Самъ пресмыкающийся тетрархъ не посмѣлъ бы заикнуться о войнѣ и мирѣ; всѣ вопросы внутренней и внѣшней политики были въ суровыхъ рукахъ прокураторовъ, и самое ничтожное проявленіе призрачнаго самоуправленія получало силу только послѣ римской санкціи. Поэту можно было бы повѣрить, если бы онъ заставилъ гостей говорить о великихъ диспутахъ Гиллела и Шамайи ³⁾, но тогда ему пришлось бы удалить блудницу. Онъ могъ бы оставить и блудницу, если бы только онъ уничтожилъ богатые чертоги и удалилъ именитыхъ гостей. Итакъ, такихъ гостей не могло быть за трапезой блудницы, и еврейскіе гости не могли «свободно» вести политической застольной бесѣды въ ея салонѣ.

Что же такое эта «падшая дѣва»,—грѣшница или блудница? Конечно, блудница; и жаль, что поэтъ иногда называетъ ее «грѣшницей»; это приводитъ на память совсѣмъ инныя явленія еврейской жизни, которыя къ данной фавулѣ

ственную жизнь страны, ессеи были чужды духа нетерпимости и политиканства. Своимъ взаимнымъ дружелюбіемъ, трудомъ, воздержаніемъ и отчужденіемъ отъ свѣтской суеты ессеи достигли высшей священнической святости.

Н. Д.

³⁾ Гиллель—знаменитый еврейскій ученый и глава Верховнаго Совѣта во времена Р. Хр. Гиллель учился подъ руководствомъ ученаго Шамайи и впослѣдствіи на ряду со своимъ учителемъ сталъ главнымъ авторитетомъ раввинской школьной учености. Но въ то время, какъ Гиллель толковалъ законъ въ духѣ кротости и смиренія, Шамайа склоненъ былъ смотрѣть на этотъ вопросъ болѣе узко, сурово и формально. Это вызывало постоянныя пререканія между этими учеными, бывшими также и членами Верховнаго Совѣта.

Н. Д.

не имѣють ровно никакого отношенія. Блудницы у евреевъ, конечно, были, но такихъ блудницъ, какую представляетъ намъ поэтъ, не было. Мало того, что блудница Толстого сидитъ среди почетныхъ гостей на почетномъ мѣстѣ; мало того, что ней жемчугъ, алмазы и золото,—она стоитъ «выще» мужей и старцевъ, рядомъ съ нею осушающихъ чашу, она не боится ничьей власти, она имѣетъ свое «ученіе», т.-е. является убѣжденною жрицей чувственности. Съ исторической точки зрѣнія все это просто смѣшно. До «ученія» ли ей, если говорить съ нею считается позоромъ и преступленіемъ?

Исторіи въ поэмѣ нѣтъ; у евреевъ не было такихъ блудницъ; подробности обстановки событія—продуктъ одного воображенія поэта; Великій Учитель никогда не прибѣгалъ къ чуду для обращенія блудницъ; смыслъ аналогичныхъ событій, сохраненныхъ въ исторіи и преданіяхъ, былъ совершенно не тотъ. И характеры и фабула поэмы слагаются внѣ условій даннаго времени; это—мечта поэта, сверху дѣнизу открытая эстетической критикѣ. Мы признаемъ право поэта не подчиняться рабски даннымъ исторіи, когда онъ имѣетъ въ виду созданіе законченнаго типа, возможнаго при всякихъ историческихъ условіяхъ. Во имя чего же гр. А. Толстой совершенно отказался отъ «мѣстнаго колорита», освободилъ событіе отъ всѣхъ этнографическихъ и бытовыхъ особенностей? Какой общечеловѣческій типъ заслонилъ отъ его вниманія историческій типъ еврейской блудницы? Отмѣтимъ главные моменты поэмы.

Богато убранные чертоги, блескъ золота и хрустала, дворъ, полный возницъ и коней, зелень и цвѣты кругомъ зданія

И межъ столбовъ, у входа дома,
Парчи тяжелой переломы
Тесьмой узорной подняты.

Но это не пьяная и безпорядочная оргія: за пышною трапезой идетъ вполне приличный и очень серьезный разговоръ; для собранія не новость и слухъ о необыкновенномъ мужѣ; дѣла и ученіе этого мужа передаются подробно и точно. По достовѣрному свидѣтельству исторіи, тѣ люди, которые могли сходиться въ богатыхъ чертогахъ, всегда злобно и завистливо говорили объ этомъ другѣ грѣшниковъ и мытарей, не вѣрили его чудесамъ, отвергали его ученіе. Если бы среди собранія былъ хоть одинъ книжникъ, онъ не перенесъ бы спокойно

того замѣчанія, что всѣ законы Моисея подчинены одному закону любви. Любой фарисей съ злымъ торжествомъ упомянулъ бы о нарушеніи законоположеній о субботахъ. Каждый, кто только осмѣлился бы признать новаго учителя, подвергся бы укорамъ и подозрѣніямъ. Но мы уже говорили, что это не обыкновенные гости: они въ высшей степени сдержанны и приличны; они очень далеки отъ еврейскихъ воззрѣній и не по-еврейски благодушны. Въ поэмѣ историческія роли переимѣнились. Признаніе новаго учителя встрѣтило протестъ не у блюстителей еврейскаго вѣроученія, а у блудницы, у которой было свое специальное «начало». Драматизмъ, намѣченный въ исторіи, переносится на новую почву. Что же представляетъ изъ себя эта грѣшница?

Ея причудливый нарядъ
Невольно привлекаетъ взоры:
Ея нескромныя уборы
О грѣшной жизни говорятъ...
Глаза насмѣшливы и смѣлы,
Какъ снѣгъ Ливана зубы бѣлы,
Какъ зной улыбка горяча;
Вкругъ стана падая широко,
Сквозныя ткани дразнить око,
Съ нагого спущены плеча.
Ея и серьги и запястья,
Звены, къ восторгамъ сладострастья,
Къ утѣхамъ пламеннымъ зовутъ;
Алмазы блещутъ тамъ и тутъ,
И, тѣнь бросая на ланиты,
Во всемъ обиліи красы,
Жемчужной нитью перевиты,
Падутъ (?) роскошныя власы.

Пока, это—языкъ «причудливаго убора», по-своему, конечно, краснорѣчивый; но онъ больше говорить о богатствѣ и, въ особенности, о красотѣ блудницы, чѣмъ о нескромности. Съ современной точки зрѣнія, нескромности въ костюмѣ такъ мало, что она, пожалуй, и не отмѣтила бы слѣдовъ грѣшной жизни, если бы поэтъ не подчеркнул этого. Впрочемъ, всѣ подробности костюма говорятъ о вполне приличномъ грѣхѣ; въ немъ такъ много и тонкаго вкуса и своеобразной красоты, что сквозящая чрезъ него грѣшная жизнь едва ли можетъ шокировать кого-нибудь. Поэтъ и самъ чувствовалъ, что нескромныя уборы нуждаются въ комментаріи. Оставивъ языкъ образовъ, онъ дѣлаетъ суровую подпись подъ картиною:

Въ ней совѣсть сердца не тревожить,
 Стыдливо не вспыхаетъ (?) кровь,
 Купить за злато всякій можетъ
 Ея продажную любовь.

Эффектъ красоты уничтоженъ; это—только блудница, и ей не подняться ни на одну ступень выше; это «злато» и этотъ «всякій» сразу уничтожаютъ иллюзію и возможность дальнѣйшаго драматизма. Это «ученіе» всякой блудницы и вызовъ во имя его едва ли докажетъ что-нибудь, кромѣ безстыдства и глупости. Тѣмъ не менѣе, вызовъ былъ сдѣланъ и повторенъ:

«Я власти не страшусь ничьей!
 Закладъ со мной держать хотите ль?
 Пускай предстанетъ вашъ Учитель,
 Онъ не смутитъ моихъ очей!»

Если бы вызовъ ограничился только этими отрицательными чертами, блудница, конечно, не вышла бы изъ предѣловъ своей профессіи. Не бояться ничьей власти, не смущаться ни передъ чьимъ взоромъ—вполнѣ опредѣленная особенность совѣсти; слишкомъ великъ былъ бы рискъ того, кто принялъ бы такой оригинальный закладъ. Но блудница идетъ дальше:

«Ты тотъ, что учить (?) отреченію?
 Не вѣрю твоему ученію,
 Мое надежнѣй и вѣрнѣй.
 Лишь наслажденіемъ я влекома,
 Съ постомъ, съ молитвой незнакома,
 Я вѣрю только красотѣ,
 Служу вину и поцѣлуютъ...»

Это уже новыя рѣчи. Кромѣ золота, въ счетъ идутъ и наслажденіе, и красота, и вино, и поцѣлуи. Изъ этихъ, во всякомъ случаѣ, неодинаковыхъ элементовъ создано и ученіе, и вѣра, и служеніе блудницы; пропорціи смѣси намъ не даны и поэтому типъ блудницы, именно какъ блудницы, не установленъ достаточно ясно. Но одно то обстоятельство, что и въ этомъ вызовѣ есть ученіе о красотѣ и наслажденіи, невольно напоминаетъ намъ другіе вызовы, основанные на подобныхъ же данныхъ. Вспоминается и Клеопатра изъ «Египетскихъ ночей» и Тамара въ черной башнѣ Дарьяльскаго ущелья.

Обѣ царицы-вакханки служатъ наслажденію и обѣ своему. Клеопатра утомлена, пресыщена властью; нѣтъ и

тѣни сомнѣнія во всемогуществѣ ея обаянія; но ей кажется, что не сдѣлано одного, послѣдняго опыта, не приведено послѣдняго доказательства всепобѣждающихъ чаръ Киприды; есть еще выборъ между наслажденіемъ и смертью. Страшный вызовъ брошенъ, и нужно мужество, чтобы принять его; не даромъ сѣдой Фланій идетъ на этотъ призывъ, какъ ходилъ когда-то въ бой. И для самой Клеопатры есть въ этомъ вызовѣ что-то мучительно-серьезное. Не даромъ въ ея молитвѣ рядомъ съ Кипридой призываются подземные цари и боги мрачнаго Аида! Не даромъ послѣ клятвы, послѣ самобичующаго признанія «простой наемницы», въ ея словахъ снова звучитъ беспощадная жестокость! Не месть ли это жизни и людямъ за то, что власть исчерпана, что дальше нѣтъ ничего, что сердце не ждетъ уже неизвѣданныхъ и сильныхъ волнений! Отрывокъ Пушкина даетъ болѣе законченный и цѣлостный образъ, чѣмъ лермонтовская «Тамара». Надъ дарьяльской башней много тайны; поэтъ уронилъ только нѣсколько отдѣльныхъ штриховъ, полныхъ суровой мощи и непроницаемой тайны. Тамара коварна и зла, какъ демонъ: но голосъ коварной царицы—весь страсть и желаніе, въ немъ всеисильныя чары, въ немъ непонятная власть. Царица зла, но на призывъ ея желанія идутъ и воины, и пастухъ, и купецъ; она зла, но, когда безгласное тѣло уносится Терекомъ, въ окнѣ что-то бѣлѣетъ, и оттуда звучитъ «прости».

И было такъ нѣжно прощанье,
Такъ сладко тотъ голосъ звучалъ,
Какъ-будто восторги свиданья
И ласки любви общалъ...

Да, и здѣсь «всякій», и здѣсь «страстный торгъ». Но развѣ одно презрѣніе будятъ эти образы, такъ высоко поднимающіеся надъ плоскостью будничныхъ типовъ? Развѣ можно покончить съ царственными вакханками высокомернымъ, добродѣтельнымъ и лаконичнымъ изреченіемъ прописной морали: «Въ нихъ совѣсть сердца не тревожить». У нихъ свое сердце, и судить это сердце будетъ не та совѣсть, которой такъ много на человѣческомъ языкѣ.

Да, грѣшница гр. Толстого напоминаетъ и эти поэтическіе образы; очевидно, что и свою блудницу поэтъ хотѣлъ облечь величіемъ и властью красоты и наслажденія; и его воображенію снилась убѣжденная жрица Киприды, обольститель-

ная рабыня и царица чувственности. Но... образъ не удался; ему, прежде всего, недоставало той обстановки, которая могла бы подчеркнуть чары красоты; за пышною трапезой сидѣли какіе-то низкіе и презрѣнные гости, которые за любовь платили «только» золотомъ; и не имъ былъ брошенъ вызовъ; они были нужны для начала фабулы, и поэтъ поторопился позабыть ихъ безличное стадо, какъ только они сослужили свою службу. Образъ не удался и потому, что у поэта дрогнула рука и внесла въ образъ черты дѣйствительно блудницы, во всемъ грубо-циничномъ смыслѣ этого слова, внѣ смягчающихъ тоновъ метафоры. Грѣшница продажна и безстыдна. Правда, она красива, но и здѣсь, — конечно, это мелочь, — слово поэта было сдержано какимъ-то внутреннимъ сомнѣніемъ и колебаніемъ; предъ нею «наврядъ» устоятъ мужи и старцы, т.-е., можетъ-быть, они еще и устоятъ, — вѣдь, не обращали же они на нее вниманія въ началѣ поэмы, вѣдь, до своего вызова она не стояла въ центрѣ событій. Во имя чего же она считаетъ себя способною спорить съ чѣмъ-угодно величіемъ? Что же даетъ ей силу не опустить глазъ предъ каждымъ честнымъ и чистымъ взоромъ? По ходу поэмы мы узнаемъ только, что она еще не видала величія, не знала чистоты и свободы отъ рабства сладострастія. Это придаетъ ея вызову хвастливый и, несомнѣнно, легкомысленный характеръ. Но попробуемъ посмотрѣть на нее только какъ на глубоко-испорченную и легкомысленную женщину, отнимемъ отъ нея картонное величіе, а отъ ея ученія всякое подобіе серьезности и искренности. Одно это предположеніе сразу уничтожаетъ весь смыслъ поэмы. Неужели хвастливыя и неразумныя слова стоили чуда? Неужели противъ этого страннаго «ученія» блудницы надо было ставить то ученіе, выше котораго не имѣетъ человѣчество? Тогда не останется и намекъ на возможность антитезы, и серьезный тонъ первой половины поэмы сразу потеряетъ всякое основаніе. Что же противопоставилъ поэтъ такой грѣшницѣ?

Къ толпѣ, шумящей праздно (?),
Подходитъ мужъ благообразный (!).
Его чудесныя черты,
Осанка, поступь и движенія,
Во блескѣ юной красоты,
Полны огня и вдохновенія;
Его величественный видъ

Неотразимой дышитъ властью,
 Къ земнымъ утѣхамъ нѣтъ участя,
 И взоръ въ грядущее глядитъ.

За исключеніемъ двухъ послѣднихъ строкъ, и новое «начало» характеризуется внѣшними чертами; но тотъ конкретный образъ, который стоялъ передъ глазами поэта, былъ неотчетливъ и неясенъ; слово скользитъ по пластическимъ очертаніямъ, не захватывая ничего ярко-характернаго. Простое благообразіе и величественный видъ, полный неотразимою властью; юная красота, полная огня и вдохновенія, и чудесныя черты,—все это разсчитано на зрительныя воспріятія и, въ сущности, ничего не даетъ глазу; мы не можемъ видѣть «пришельца» такъ же ясно, какъ видѣли раньше «падшую дѣву»; всѣ внѣшнія черты прячутся за дымкою отвлеченныхъ понятій, но и это не подготавливаетъ насъ къ сознанію новаго ученія. И все-таки, при чтеніи этой характеристики, мы не можемъ забыть реальныхъ, полныхъ чувственной экспрессіи, очертаній блудницы; все-таки мы ждемъ и должны ждать отъ поэта прежняго мастерства въ живописной выразительности.

Но это—переходный моментъ драмы; въ пришельцѣ все еще слишкомъ много земного: и величественный видъ, и власть, и красота. Онъ былъ нуженъ отчасти для того, чтобы создать картину, отчасти для того, чтобы подготовить послѣдній эффектъ.

Невольнo грѣшная жена
 Его величьемъ смущена,
 И смотритъ робко, взоръ понизивъ;
 Но, вспомня свой недавній вызовъ,
 Она съ сѣдалища встаетъ,
 И, станъ свой выпрямивши гибкой
 И смѣло выступивъ впередъ,
 Пришельцу съ дерзкою улыбкой
 Фіалъ шипящій подаетъ.

Смыслъ этой сцены ясенъ и для глухого. На любой картинѣ эта поза и этотъ жестъ разскажутъ зрителю смыслъ сцены. Этотъ почти условный жестъ женскаго обольщенія и соблазна и проще и понятнѣе того ученія, о которомъ заговорила блудница. Но нужна была еще одна черта, одинъ послѣдній ударъ кисти, чтобы вполне подготовить грѣшницу къ центральному драматическому эффекту.

Еще смѣялася она,
И пѣна легкая вина
По кольцамъ рукъ ея бѣжала...

И не даромъ лилось это вино: оно внесло легкую черточку беспорядочности и оргіи въ ту область, гдѣ до сихъ поръ все было почти безукоризненно-прилично. Теперь она готова для картины: знойная и насмѣшливая улыбка обнажила бѣлые зубы, подъ сквозною тканью свѣтится соблазнительное тѣло, по «кольцамъ рукъ» льется вино, и вся она дышитъ учениемъ грѣха.

Характеризовать внѣшними чертами противоположное направленіе—дерзость; но она сдѣлана поэтомъ, и мы можемъ остановиться только на поэтическомъ образѣ, не вмѣшивая сюда данныхъ высшаго порядка.

...Съ спокойнымъ видомъ
Подходить къ хранимъ другой.
Въ его смиренномъ выраженьи
Восторга нѣтъ, ни вдохновенья,
Но мысль глубокая легла
На очеркъ дивнаго чела (?).
То не пророка взглядъ орлиный,
Не прелесть ангельской красы —
Дѣлятся на двѣ половины
Его волнистые власы (?);
Поверхъ хитона упавъ,
Одѣла риза шерстяная
Простою тканью стройный ростъ (?);
Въ движеніяхъ скромнѣ онъ и простъ;
Жошась вокругъ устъ его прекрасныхъ,
Слегка раздвоена брада (?);
Такихъ очей благихъ и ясныхъ
Никто не видѣлъ никогда.

Кто это?—Этотъ другой характеризуется у поэта или отрицательными признаками, или такими внѣшними и конкретными, которые, въ существѣ дѣла, ничего, кромѣ даннаго въ конкретѣ, и не говорятъ и говорить не могутъ. Отчего у пророка волоса не могутъ быть волнистыми и не могутъ дѣлиться на двѣ половины? Что говорятъ шерстяная риза и раздвоенная брада? Въ поэзіи всѣ эти признаки и случайны и совершенно безсодержательны. Но намъ отчасти понятна причина ихъ появленія; это—эскизъ для живописца; въ краскахъ и линіяхъ эти признаки заговариваютъ, можетъ-быть, сильнымъ и колоритнымъ языкомъ, приобретутъ тотъ

возвышенный смыслъ, какого не могло имъ дать слово поэта по непригодности слова къ подобнымъ работамъ.

Чѣмъ могла бы разрѣшиться эта драматическая дилемма? Чего мы можемъ ждать на основаніи тѣхъ данныхъ, которыя мы получили отъ поэта? Что сдѣлаетъ грѣшница? Какъ совершится ея обращеніе? На эти вопросы на почвѣ поэмы отвѣта нѣтъ. Поэтъ разрѣшилъ дилемму чудомъ.

... Въ ожиданьи
Сидитъ смущенное собранье,
Тревожно духъ перевода:
И онъ, въ молчаніи глубокомъ,
Обвелъ сидящихъ тихимъ окомъ,
И, въ домъ веселья не входя,
На дерзкой дѣвѣ самохвальной
Остановилъ свой взоръ печальный.

Этотъ взоръ, «какъ лучъ денницы», разогналъ «тьму» въ сердцѣ блудницы: онъ открылъ «неправду» и «ложь» ея своеобразнаго «ученія», она сознала, какъ грѣхъ, то «начало», которому служила, во всемогущество котораго вѣрила.

И вдругъ въ тиши раздался звонъ
Изъ рукъ упавшаго фіала.

Дилемма разрѣшена; фіаль—символь и эмблема грѣховнаго начала—выпалъ изъ рукъ и, звеня, покатился по полу; ученіе блудницы, въ упоръ поставленное противъ иного ученія, рушилось.

И все-таки мы не знаемъ, что происходило въ сердцѣ блудницы въ эту минуту? Что она вспомнила подъ вліяніемъ этого взгляда? Пронеслись ли въ ея сознаніи свѣтлыя и чистыя воспоминанія, неимѣющія ничего общаго съ грѣшною жизнью? Вспомнила ли она пройденныя ступени по лѣстницѣ грѣха, когда, можетъ-быть, спускъ бывалъ не всегда легокъ и пріятенъ? Все совершилось внезапно,—къ сожалѣнію, слишкомъ внезапно. Поэтъ еще разъ уклонился отъ того драматизма, въ которомъ слава и сила поэтического творчества. Чудо не стало бы менѣе чудеснымъ, если бы оно совершилось не принудительнымъ и властнымъ озареніемъ извнѣ, а тѣмъ давно и незамѣтно тлѣвшимъ огонькомъ, который теплится въ каждомъ живомъ сердцѣ. Удивительнѣе всего то обстоятельство, что истинно и глубоко-человѣчный мотивъ былъ уже данъ поэту, что не было и нужды его искать, ибо онъ каждый разъ указывается въ евангельскомъ разсказѣ, когда

дѣло идетъ о грѣшницахъ и блудницахъ. Жены, «ятія въ прелюбодѣянїи», презрѣнныя и отверженныя дочери своего народа, изнемогали подъ тяжестью невыносимаго позора, мучительныхъ нравственныхъ страданій. Ихъ создавало то общество, которое за свой грѣхъ платило имъ непрерывною казнью. Худшая форма жестокости, жестокость лицемѣрія и показного изувѣрства, тяготѣла надъ каждою минутой ихъ жизни. Онѣ глубоко сознавали свою грѣховность, но ихъ измученное сердце ожесточалось еще глумленіемъ тѣхъ, кто не хотѣлъ брать на себя отвѣтственности за свои же дѣянїя. И въ этой тьмѣ и имъ загорается свѣтъ и имъ дается выходъ и оправданіе. Ихъ не отталкиваютъ презрительно ногой, съ ними говорятъ, вѣрятъ еще въ добрые инстинкты ихъ сердца!.. И та могучая сила, которая таилась въ глубинѣ и оскорбленнаго и наболѣвшаго сердца, обновляла организмъ, рвалась на невозможные подвиги, давала миръ разбитому сердцу. Отчего поэтъ не воспользовался этими данными исторїи? Зачѣмъ онъ заставилъ свою блудницу, гордую и властную, убѣжденную во всемогущество своей красоты, стать лицомъ къ лицу, мировоззрѣніемъ къ мировоззрѣнію съ тѣмъ другимъ блудницъ и мытарей, который шелъ снять тяжелое бремя съ усталыхъ плечъ?

Рядомъ съ этимъ вопросомъ вполне законно становится и другое недоразумѣніе. Зачѣмъ поэтъ, отступивъ отъ данныхъ исторїи на всемъ пространствѣ поэмы, не перешелъ въ область идеализаціи и вымысла? Онъ создалъ «приличную» блудницу; грязь нескромной профессїи къ ней почти не пристала; только легкая струйка пролитаго вина говоритъ о легкой беспорядочности ея жизни; она не будитъ безглаголиваго презрѣнїя; мы не удивляемся ея присутствію на пышной трапезѣ среди почетныхъ гостей. Поэтъ заботливо освобождаетъ ее отъ тѣхъ отталкивающихъ и грязныхъ подробностей, которыми обычная жизнь почти всегда награждаетъ прислужницъ порока. Зачѣмъ же онъ не уничтожилъ самой вульгарной и самой прозаической черты продажнаго разврата — золота? Зачѣмъ онъ поднялъ ее такъ высоко? Зачѣмъ не поднялъ ее выше?

Дѣйствительность была некрасива; формы восточнаго разврата, пестрыя и яркія одежды семитическихъ женщинъ — были ниже его эстетическаго вниманія; въ далекомъ прошломъ онъ искалъ красоты, а не типичности. Надо было одѣть

блудницу всё́мъ блескомъ грѣха и соблазна и напоить обольстительный образъ хмелемъ чувственности. И онъ принесъ для этого алмазы и сквозныя ткани, далъ въ руки падшей дѣвѣ фіалъ съ шипящимъ виномъ, придалъ нескромный языкъ драпировкѣ дома и складкамъ широкой одежды, показать изгибы стана и характерность жеста. Ему нужна была такая женщина, которая могла бы достойно носить всё эти черты грѣховной красоты и которая вполнѣ бы ими исчерпывалась. Идеализировать дальше опасно; тамъ языкъ позы и костюма блѣднѣетъ; тамъ надо показать и нервы прекраснаго тѣла, открыть тайные мотивы вызова, дать почувствовать прошлое. Нивеллирующая норма подобной красоты приподняла будничные факты и пригнула идеальные образы. Середина была угадана вѣрно. Художники, которымъ скучна скромная красота дѣйствительности и недоступны серьезные задачи искусства, съ большимъ успѣхомъ рисовали красивую женщину съ смуглыми чертами семитическаго типа, слегка закутанную въ сквозныя ткани; въ ея ушахъ серьги, въ рукѣ фіалъ, а сбоку ломится тяжелыми складками дорогая парча. Поэтъ разрѣшилъ трудную задачу популяризаціи красоты въ массѣ; его поэма—кладъ для издателей иллюстрированныхъ журналовъ, лучшее упражненіе въ декламациі на клубныхъ и иныхъ сценахъ.

Н. Соколовъ.

«Садко», былина А. Толстого ¹⁾.

«Въ гр. А. Толстомъ ²⁾,—говоритъ г. Л. въ прекрасной статьѣ, посвященной этому поэту,—поражаетъ прежде всего щегольская внѣшность, обиліе средствъ, оборотовъ, формъ, находчивость при разрѣшеніи самыхъ разнообразныхъ задачъ (?), непримѣтность усилія, и, въ связи съ этимъ, постоянная грація и изящество... Самъ онъ, вѣроятно, сознавалъ эту особенность своей натуры, вслѣдствіе чего широко пользовался ею для подражаній и переодѣваній, облакаясь поочередно то въ костюмъ итальянца XII вѣка, то въ доспѣхи русскаго богатыря, то въ черную рясу схимника (?), то, наконецъ (и рѣже всего), въ сюртукъ современнаго публициста. Оказалось, что всѣ костюмы Толстому къ лицу, что во всякомъ изъ нихъ его красивая, породистая, изящная фигура не только является привлекательною, но и производитъ полную иллюзію... Какая же внутренняя жизнь кроется подъ этою протеевски-измѣнчивою одеждою? Какая же собственная, постоянная нота звучитъ и прорывается сквозь это разнообразное попури чужихъ, мастерски-усвоенныхъ мотивовъ?» Въ конечномъ выводѣ г. Л. приходитъ къ тому выводу, что гр. А. Толстой—романтикъ.

«Романтизмъ, во-первыхъ, смотритъ на народную старину не свысока, а съ любовью и благоговѣніемъ; во-вторыхъ, старается, чтобы эта старина говорила у него не нашимъ языкомъ, а своимъ собственнымъ. У нѣкоторыхъ романтиковъ это погруженіе въ прошлое достигло того, что не только слова и конструкціи, но даже мысли, обличающія современное происхожденіе, носящія печать современной культуры, были изгнаны. Мѣстный колоритъ оказался чрезвычайно пикантнымъ и наряднымъ украшеніемъ. Тогда набросились

¹⁾ Н. М. Соколовъ: «Иллюзіи поэтического творчества».

Н. Д.

²⁾ Литература и жизнь. «Голосъ», 1876 г., №№ 130 и 131.

на мѣстный колоритъ: не довольствуясь своею родною стариной, стали искать всего экзотическаго, мотивовъ испанскихъ, итальянскихъ, новогреческихъ, сербскихъ, арабскихъ, персидскихъ и индійскихъ. Это—«виртуозная» сторона дѣла романтизма, и именно эта сторона у Толстого играетъ очень важную роль. Нѣмецкіе и французскіе романтики такъ же, какъ и Толстой, хотя не всегда съ равною удачей, поддѣлывались подъ ладъ различныхъ временъ и народовъ и, вмѣсто классической лиры, бряцали на всевозможныхъ лютняхъ, гитарахъ, мандолинахъ, ребеккахъ и бандурахъ.

Итакъ, два вывода: поэтъ въ своихъ герояхъ рисовалъ себя и къ родной сторонѣ относился съ благоговѣніемъ. Намъ кажется, что эти двѣ черты поэтической техники почти никогда не живутъ въ ладу между собою; кто въ старинѣ видитъ только себя, тотъ, конечно, и мало знаетъ и мало любитъ старину. Но дѣло не въ этомъ; допустимъ, что подобное явленіе возможно. Можно ли приписать эти свойства Толстому? Относился ли «съ любовью и даже благоговѣніемъ» гр. А. Толстой къ родной старинѣ? Говорятъ ли въ его пересказѣ наши былины своимъ языкомъ?

Шопенгауэръ помогаетъ намъ разъяснить и второй вопросъ. «Великіе поэты,—говоритъ онъ,—цѣликомъ превращаются въ cadaго изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ и говорятъ изъ нихъ, какъ чревоушатели; съ одинаковою правдой и естественностью они говорятъ и за героя и за неопытную молодую дѣвушку; таковы Шекспиръ и Гёте. Поэты второго ранга вмѣсто главныхъ дѣйствующихъ лицъ изображаютъ себя; таковъ Байронъ; второстепенныя лица часто остаются у нихъ совершенно безжизненными, какъ безжизненны у посредственностей и главные дѣйствующія лица»³⁾. Намъ кажется, что Шопенгауэръ пропустилъ еще одинъ типъ поэтовъ, дѣйствительно стоящихъ внѣ табели о рангахъ; для этихъ поэтовъ ихъ герои—почти чужіе люди; правда, поэтъ знакомъ съ ними, изучилъ ихъ манеру говорить, носить костюмъ и держать себя въ обществѣ; но между ними никогда не было интимности, никогда въ задушевной бесѣдѣ они не обмѣнялись взаимными признаніями, не подѣлились своими радостями и скорбями. Къ какому же разряду относится гр. А. Толстой?

³⁾ Die Welt. II. 496.

Кто у поэта Садко? Развѣ это гусларь, который нашелъ свое счастье на берегу Ильмень-озера? Развѣ это предприимчивый новгородскій гость, поддерживающій сношенія съ поморянами, удалыми предшественниками Ганзы? Нѣтъ, это не гусларь, не купецъ и не новгородецъ. Для того чтобы своеобразное отношеніе гр. Толстого къ историческимъ даннымъ былины и къ ея народной основѣ было замѣтнѣе, поставимъ его историческую былинку рядомъ съ «Садко» Сурикова ⁴⁾. Купеческая складка Садки у Сурикова удержана.

Распахнувъ шубу мѣха куньяго,
Разъ идетъ Садко по Новгороду;
Входитъ на площадь онъ торговую,
Сталъ на площади, гладить бороду.
Заломивъ шапку собориную,
Предъ купцами онъ похваляется...

Сохранена у Сурикова и характерная сцена метанья жеребьевъ; крѣпко не хотѣлось богатому гостю итти на поклонъ къ морскому царю, да не приходилось спорить съ судьбою; но въ критическія минуты въ немъ проснулся старый гусларь.

На дубовой доскѣ посадили его
И на синее море спустили;
Не взялъ Садко съ собой добра ничего,
Съ нимъ однѣ его гусельки были.

Вотъ и подводный дворецъ.

На морской глубинѣ, въ свѣтломъ царскомъ дворцѣ
Ходятъ рыбы-киты и дельфины
И сѣдые усы у царя на лицѣ
Очищаютъ отъ грязи и тины.
Съ неба солнца лучи свѣтятъ въ царскій дворецъ,
Зажигаютъ огни-изумруды;
Вотъ въ палаты царя входитъ Садко-купецъ,
За плечомъ у него звонкогуды.

Всѣ характерные штрихи былины показались гр. Толстому ненужными; въ Садкѣ ему дорого было только то, что это земное существо, привыкшее жить на сушѣ, которому поэтому на морскомъ днѣ прежде всего слишкомъ мокро. Сравнительной параллели между влажнымъ и сухимъ изъ 53 куплетовъ толстовской былины отдано 23. Конечно, мотивъ

⁴⁾ И в. Зах. Суриковъ — поэтъ-самоучка (1841 — 80 гг.).

вполнѣ реальный; но, такъ какъ это единственный мотивъ почти всей первой половины былины, то реальности, по нашему мнѣнію, принесена слишкомъ богатая жертва.

... Царь, улыбаясь, ему говорить:
 «Садко, мое милое чадо,
 Повѣдай, зачѣмъ такъ печаленъ твой видъ?
 Скажи мнѣ, чего тебѣ надо?
 Кутя ли съ шафраномъ моя не вкусна?
 Блины съ инбиремъ не жирны ли?
 Аль въ чемъ непривѣтна царица-жена?
 Аль дочери чѣмъ досадили?»

Что сталося съ подводнымъ царемъ? Откуда это радушіе и хлѣбосолюство? Онъ ли требовалъ себѣ данью головы? Его ли призывъ смутилъ сердца отважныхъ мореходовъ? Изъ подлинной былины мы знаемъ, что морской царь былъ золь и коваренъ; нужно было вмѣшательство св. Николы, чтобы спасти отъ его лукавства и жестокости христіанскую душу. Ужели теперь передъ нами нечистая сила? По тону и по содержанію рѣчи это скорѣе мужиковатый и добродушный балагуръ, который обращается за панибрата съ своимъ гостемъ. И Садко нисколько не обезкураженъ. Съ полупутливой и развязною почтительностью онъ отвѣчаетъ владыкѣ водъ:

«Ты гой еси, царь-государь водяной,
 Морское пресвѣтлое чудо!»

и по титулѣ критикуетъ подводные порядки, съ восторгомъ вспоминая сухія впечатлѣнія земной жизни.

«Садко, мое чадо, городишь ты вздоръ,
 Земля нестерпима отъ зною,
 Я въ этомъ сошлюся на цѣлый мой дворъ—
 Всегда онъ согласенъ со мною.
 Мой теремъ есть моря великаго пупъ,
 Твой жеребій, стало-быть, свѣтель;
 А ты непонятливъ, несвѣдущъ и глупъ,
 Я это давно ужъ замѣтилъ.
 Ты въ думѣ пригоденъ моей засѣдать,
 Твою возвеличу я долю
 И санъ водяного совѣтника дать
 Тебѣ непременно изволю!

Морской царь острить. Но за его балаганнымъ шутствомъ скрывается серьезная сатира, лежащая въ основѣ многихъ «историческихъ балладъ» гр. Толстого. «Ты непо-

вятливъ, несвѣдущъ и глупъ и поэтому пригоденъ засѣдать въ моей думѣ». Правда, едва ли старые новгородцы разсмѣялись бы при этой шуткѣ; олонецкіе сказатели былинъ не поняли бы этой ироніи. Вся соль сарказма, весь комизмъ положенія понятны только въ устахъ самого поэта,—зато слишкомъ понятны. «Водяные совѣтники»—любимая тема шутки и серьезности поэта. Статскій совѣтникъ Поповъ на пріемѣ у министра; Станиславъ на шею жокама-демагогамъ, остроумно предложенный «Ладой въ мурмолкѣ червленной»; Іоаннъ Дамаскинъ, покидавшій высокій административный постъ ради пустыни; дьякъ у приказныхъ воротъ,—все это аккорды одной мелодіи. Не даромъ поэтъ зоветъ:

Ой, кабы приказныхъ по боку, да къ чорту!

И ко многимъ сторонамъ нашей старо-русской жизни поэтъ подошелъ съ мѣркой чиновничьей безтолковщины, посмотрѣлъ на нихъ сквозь призму московской ябеды. Назло презрѣнной бюрократіи онъ сталъ пѣвцомъ кievскихъ дружинниковъ и новгородскаго колокола. Положительныя черты общественнаго и государственнаго уклада въ великокняжескомъ Кіевѣ ускользнули отъ его вниманія. Въ дружинной и вѣчевой старинѣ плѣняли его воображеніе больше всего люди артистической складки: то пѣвцы, какъ Алеша Поповичъ, то кievскіе донъ-жуаны, какъ Дюкъ Степанычъ и Чурила Пленковичъ, то лихіе танцоры, какъ Потокъ-богатырь.

Правда, онъ пускаетъ вмѣстѣ съ Добрынею-богатыремъ стрѣлу въ змѣя Тугарина, приплывшаго отъ Чернаго моря; правда, вмѣстѣ съ княземъ Владиміромъ онъ пьетъ

... За варяговъ, за дѣдовъ лихихъ,
Кѣмъ русская сила подъята,
Кѣмъ славенъ нашъ Кіевъ, кѣмъ грекъ пріутихъ,
За синее море, которое ихъ,
Шумя, принесло отъ заката?..

Но всѣ эти Гаральды-саксонцы, Гаральды-варяги, Гаральды-морскіе разбойники, всѣ отзвуки поморской славы, какъ Боривой и Ругевить,—случайные гости поэта, а не его политическіе друзья и единомышленники. Сквозь намеки дружиннаго эпоса рѣжутъ глазъ парчи и аксамиты Византіи, корсунскія накидки и иконы мусійскаго дѣла на золотомъ фонѣ. Пѣвецъ кievской дружины и новгородскаго вѣча, поэтъ

бережно принесть на Русь тяжелую парчу и драгоценную безвкусицу византийской торжественности и сдѣлать это только потому, что самъ любовался блестящею и длинною одеждою, драгоценными камнями оплечій и діадемами изъ цвѣтныхъ камней. Прибавимъ къ этому, что онъ съ гордостью везетъ на лодкахъ Владимира конныхъ чудищъ Коринеа, одинаково чуждыхъ и аскетическому строю византийской религіозности и деревяннымъ богамъ языческаго славянства. Изъ той смутной эпохи, когда вокругъ Краснаго Солнышка тѣснились самые разнородные элементы, поэтъ совершенно случайно беретъ и «здоровое русское вѣче», и «дѣдовъ лихихъ», и «чуръ, по уставу крестите». Что онъ, собственно, любилъ въ этой эпохѣ, мы еще увидимъ; но отчего онъ такъ охотно бралъ сюжеты изъ этой жизни, понятно: въ Кіевѣ онъ не находилъ ненавистныхъ ему приказныхъ. Насколько былъ живучъ этотъ мотивъ у поэта—лучшее доказательство Садко. Уже въ этой-то былинѣ анти-бюрократическій юморъ совсѣмъ некстати. Если поэтъ хоть сколько-нибудь серьезно относился къ даннымъ былинѣ, онъ обмолвился неумѣстнымъ и неловкимъ словомъ; если онъ рисовалъ карикатуру, онъ не попалъ въ цѣль: не надъ новгородцемъ шутить «водяными совѣтниками».

Въ отвѣтъ на странную шутку водяного царя Садко снова затянулъ свою безконечную сказку о сухомъ и мокромъ. «Совершенно случайно» онъ упоминаетъ о псѣ, котораго онъ хотѣлъ бы цѣловать «и въ очи, и въ темя, и въ морду». Этого было вполне достаточно для того, чтобы водяной царь перешелъ къ сватовству:

Зачѣмъ тебѣ грязнаго пса цѣловать?

На то мои дочки пригоднѣй.

Въ подлинной былинѣ сватовство стоитъ «послѣ» неистойвой пляски царя, какъ послѣдняя попытка удержать подъ водою новгородскаго гуслира; тамъ этому моменту приданъ, съ одной стороны, трогательный и христіанскій отгѣнокъ, а съ другой—какое-то таинственное значеніе по языческой мифологіи; все это вносить въ былинѣ строго-опредѣленный и вполне понятный смыслъ. Зачѣмъ же понадобилась поэту эта перестановка? Что онъ выигралъ ею? Ничего; онъ только лишилъ себя возможности просто и естественно перейти къ центральному событію—пляскѣ.

О свадьбѣ твоей потолкуемъ ужь,
Теперь же сыграй плясовую...

Какъ же ведется сватовство?

Воистину, чѣмъ бы ты имъ не женихъ?
Я вижу, хотъ въ усь и не дую,
Пошла за тебя бы любая изъ нихъ—
Бери жъ себѣ въ жены любую!

Если поэтъ имѣлъ въ виду упростить водяного царя до взбалмошнаго самодура, дѣйствующаго зря и болтающаго пустяки, онъ достигъ своей цѣли. Къ сожалѣнію, въ данную минуту подъ его руками ломался любимый мотивъ народной поэзіи; соблазнъ жениться на царевнѣ — великій соблазнъ для сказочныхъ искателей приключеній; царевны красивы, а ихъ отцы жестоки и злы. Сколько богатырей и витязей погибало въ сказкахъ ради такихъ царевенъ! Смыслъ подобнаго искушенія такъ простъ и глубокъ, что народное творчество всегда охотно вплетало его въ свои фабулы. Что же осталось отъ этого мотива здѣсь? Ничего. Песъ Садки навелъ царя на мысль объ его дочеряхъ? Зачѣмъ ему н у ж н о женить гусляра? Только потому, что онъ «чѣмъ бы» не женихъ? Да кто это, царь быliny или шальной купецъ изъ Островскаго?

Ты гой еси, царь-государь водяной,
Морское пресвѣтлое чудо!
Боюсь, отъ брака съ такою женой
Не вышло бъ душѣ моей худо.

Резонъ благочестивый! Въ подлинникѣ религіозность гусляра приурочена не къ этому моменту. Поэтъ ни однимъ словомъ еще не обмолвился, что мы имѣемъ дѣло съ зломъ, нечистою силой. Откуда же эта боязнь Садки за свою душу? И убѣдительно ли такой резонъ для водяного? Удобно ли пускаться въ благочестивыя препирательства съ пресвѣтымъ чудомъ? Эта щепетильность на морскомъ днѣ, въ теремѣ нечистой силы, куда Садко и явился жертвою, во всѣхъ отношеніяхъ неправдоподобна. Неумѣстность такого мотива для отказа отъ лестнаго предложенія значительно отбѣняется еще и тѣмъ, что рядомъ съ нимъ стоитъ другое, слишкомъ яркое и до ненужности откровенное возраженіе противъ подобнаго брака.

Не спорю, онѣ у тебя хороши,
И цвѣтъ ихъ очей изумрудный,

Но только колючи онъ какъ ерши,
 Намъ было бъ сожительство трудно.

Реально и выпукло. Простъ царь морской, когда хочетъ сбыть такой сомнительный товаръ смѣтливому новгородцу. Съ новгородскою простотой и цинизмомъ и отвѣчаетъ изворотливый женихъ.

Этотъ эпизодъ у Сурикова обработанъ гораздо ближе къ подлинному тексту былины. Садко оборвалъ струны. Царь въ гнѣвъ, но онъ не забылъ своей главной цѣли — погубить христіанскую душу.

Дѣлать нечего, вижу, — вина не твоя,
 А хотѣлось еще поплясать бы,
 Ужъ утѣшилъ бы всѣхъ своей пляскою я,
 А особенно въ день твоей свадьбы:
 За игру твою, Садко, хочу наградить:
 За большую услугу такую
 Я хочу тебя, Садко, на дочкѣ женить,
 Изъ царевнѣ облюбивъ какую.

Сватовство ведется иначе. Садкѣ труднѣе отказаться отъ водяной жены. Отказа отъ него и не ждутъ, а предлагаютъ только выборъ, да и выборъ-то только для вида: всѣ дочки на одну стать. Положеніе настолько критическое, что спасти изъ него можетъ только сверхъестественное вмѣшательство, таинственное и магическое средство, способное разрушить коварные замыслы нечистой силы. Надо не переспорить, а перехитрить свата.

Нѣтъ ужъ, батюшка-царь, не изволь награждать, —
 Награжденіе твое — мнѣ кручина,
 Мнѣ царевна морская женой не подстать, —
 Я простой новгородскій людина.
 Для простого людина мнѣ честь велика
 Взять женою царевну морскую.
 Подопью иногда, раззудится рука —
 Ни за что твою дочку отдую...
 Царь, мнѣ надо жену вотъ такую бы взять,
 Чтобы съ ногъ сапоги мнѣ снимала,
 Какъ побью иногда, чтобы стала молчать,
 Говорить предо мной не дерзала.

Дока на доку нашель. Предложеніе отклонено очень дипломатично. Сердиться морскому царю не на что: женихъ самъ кается въ своей простотѣ и русскихъ замашкахъ. Но это не циничный мужикъ, который грубитъ и говоритъ дер-

зости своему царственному хозяину. Даже самъ благодушный и необидчивый царь Толстого, наконецъ, разсердился на гостя.

Садко, мое чадо, ужъ очень ты грубъ,—

догадался и онъ, далеко не блиставшій утонченностью и изяществомъ рѣчи и манеръ. Посуливъ своему гостю пинка, царь чувствуетъ веселье «въ утробѣ» и свѣжесть на печени. Чтó его обрадовало — неизвѣстно, но только онъ хочетъ плясать. Неизвѣстно, почему изъ всѣхъ забавъ въ данную минуту онъ остановился именно на танцахъ. Но на этотъ разъ и Садко не осмѣлился схватиться съ нимъ зубъ-за-зубъ и заигралъ «плясовую». Какъ же играетъ знаменитый гусларь? «Ударилъ Садко по струнамъ трепака (?), самъ къ чорту плетъ царскую ласку», «съ досады быстрѣй онъ играетъ», «частить», «играетъ шибче, осерча, сжавъ зубы и нахмура брови», «злится, дергаетъ струны съ плеча», «отчаяннѣй бьетъ пятернями». Вотъ и все. А гусли когда-то сослужили ему добрую службу. Ими онъ нажилъ себѣ богатство; ими же плѣнилъ и водяного царя. По всему ходу былины, игра Садки — одинъ изъ самыхъ существенныхъ моментовъ фабулы. У Сурикова онъ играетъ такъ:

Садко руку отвелъ — замираетъ струна,
Звуки тихіе чуть издавая;
Надъ морской глубиной улеглася волна,
Передъ солнцемъ горя и сверкая.
Точно муха, кружась, зацѣпляетъ струну,
Точно мошки, жужжа, гдѣ-то вьются,
Точно капли дождя тихо бьютъ о волну,
Звуки стройные, чудные льются.
Точно кто-то рыдая, глубоко скорбитъ
О потерянномъ счастьѣ когда-то,
Точно тихая рѣчь чья-то грустно звучитъ
О погибшей любви безъ возврата.
И подъ звуки игры у морского царя
Голова наклонилась сѣдая;
Хороша, какъ поутру на небѣ заря,
Загрустилась царица морская.
Ей припомнился Новгородъ вольный, родной,
Ея дѣвчья вышка-свѣтлица,
Что стояла надъ Волховомъ, быстрой рѣкой,
И рыдаетъ морская царица.
Загубилъ ея вѣкъ — золотые деньки
Сынъ боярскій, свѣнчавшись съ другою;

Въ присядку понесъ его чортъ ходуномъ,
Онъ фыркаетъ, пышитъ и дуетъ...

Поэтъ глазами любителя слѣдитъ за «вензелями» и «колѣнцами» трепака. И въ настоящей былинѣ пляска водяного царя поставлена въ связь съ бурей на морѣ; но поэтъ идетъ дальше и постарался провести полную аналогію между сложностью «вывертовъ» и силою волненія. Царь началъ «выводить вензеля», и въ его хрустальномъ дворцѣ затряслись половицы (это-то бываетъ почти всегда, когда пляшетъ подвыпившій мужикъ на живыхъ половицахъ своей избы). Онъ «мѣситъ пятами» и «закидываетъ ногу за ногу», и присутствующими овладѣваетъ ужасъ. Его «колѣнца выходятъ круче», и въ теремѣ становится темно, тучи собираются надъ моремъ. Онъ пустился «вприсядку», и «отъ подстѣбныя» пошли пузыри, домъ зашатался, море заревѣло, и корабли пошли ко дну. Ужасный «трепакъ»! Отъ его размашистости

дальними грянуль раскатами громъ,
Сверкнуло въ пучинномъ просторѣ,
И огненнымъ свѣтомъ зардѣла кругомъ
Глубокая празелень моря.

Но если всмотрѣться въ колѣнца трепака, пляска водяного царя, въ сущности, не имѣетъ въ себѣ ничего опаснаго и таинственнаго. Вензеля, колѣнца, присядка—все это можно видѣть въ любой деревнѣ, и тамъ все это обходится вполне благополучно. Все фантастическое и отъ личности, и отъ пляски водяного царя отнято, а стихійныя послѣдствія пляски сохранены. Причины только забавны (въ комъ возбудить опасенія трепакъ?), а результаты слишкомъ серьезны (гибнуть пловцы съ кораблями).

Чѣмъ же разрѣшается трагическое положеніе? Въ подлинномъ текстѣ и у Сурикова въ дѣло вмѣшивается св. Никола.

— Перестань на звончатыхъ ты гусяхъ играть,—
Говоритъ ему старецъ сурово:—
Нечестно православной душѣ потѣшать,
Не пригоже — царя водяного.

У Толстого развязка происходитъ совершенно неожиданно. Мы все видѣли, что Садко сердится, сжимаетъ зубы, хмуритъ брови и всячески хочетъ досадить подводному плесуну. И вдругъ, ни съ того ни съ сего, «въ немъ сердце исполнилось жали».

Споткнувшись на мѣстѣ, стала царь водяной,
Ногою подъятой болтая.

Этой живою картиной и завершается подводная драма. Получивъ «чешуйнымъ плесомъ» (а это украшеніе плясать царю не мѣшало?) хорошаго разѣ «въ потылицу», Садко «кубаремъ» вылетѣлъ въ Новгородъ. Но новгородскіе гости не повѣрили его разсказу; онъ слишкомъ ужъ быстро летѣлъ съ морского дна и не захватилъ съ собою «сорокъ бочекъ казны — награжденіе царя водяного»; чѣмъ дарила его подлинная былина; будь съ нимъ этотъ подарокъ, новгородскіе купцы открыли бы ему больше кредита. Только за чѣмъ эта страничка? Не хочетъ ли заключительными куплетами гр. А. Толстой объяснить происхожденіе легенды о Садкѣ? Не думаетъ ли онъ, что эта жизненная былина новгородскаго цикла сложилась изъ фантастической болтовни присяжнаго гуслея за пьянымъ столомъ?

Подведемъ итоги. Изъ старинной былины поэтъ беретъ: 1) мокрое подводное царство въ противоположность сухой землѣ (23 куплета); 2) сватовство (7 куплетовъ); 3) подводный трепакъ съ его неожиданнымъ финаломъ (18 куплетовъ), и 4) возвращеніе Садки въ Новгородъ (5 куплетовъ). Какъ же связаны эти обрывки искалѣченной былины? 1) «На кую ты стать о псѣ вспоминаешь?»; 2) «Потолкуемъ ужю, теперь же сыграй», и 3) хватилъ «въ потылицу». Нельзя сказать, чтобы связующія нити были крѣпки. Такъ, любители анекдотовъ, по одному случайному слову припоминая новый перлъ юмора, связываютъ его традиціоннымъ — «а то вотъ еще».

Что же сталося съ былиной? Вдохновился ли поэтъ любовью и благоговѣніемъ къ старинѣ? Увлечся ли онъ «мѣстнымъ колоритомъ»? Говорить ли у него старина своимъ языкомъ? Да, «вящшіе уличане», «степенный посадникъ», «тысяцкій», «кончанскіе старосты», «Балты», «веницейскій стаканъ», «браная скатерть», «кутья съ шафраномъ», «блины съ инбиремъ» — все это слова старины. И рядомъ съ ними — «вензеля», «трепакъ», «ей-Богу», «вприсядку понесъ чортъ ходуномъ» и, въ особенности, — «водяные совѣтники». Не вольно напрашивается догадка, что это — карикатура. Но въ подлинной былинѣ нѣтъ ничего достойнаго вышучиванія, а осмѣивать свои собственные образы, по меньшей мѣрѣ,

странно; да въ карикатурѣ не могло бы быть и порывовъ личнаго лиризма поэта въ родѣ «сверкающей празелени».

Что же значить этотъ поэтический ребусъ? Зачѣмъ все фантастическое въ поэмѣ сведено къ вульгарной реальности? Зачѣмъ отброшено все новгородское въ Садкѣ и все подводное и царственное во владыкѣ водѣ? Не попытка ли это указать мужицкой поэзіи ея истинное мѣсто?

Въ манерѣ творчества замѣтны почти тѣ же приемы, которые мы видѣли и въ «Грѣшницѣ»: все показывается глазу; драматизмъ изгоняется; мѣстный колоритъ замѣняется чѣмъ-то другимъ. Но велико и различіе; тамъ мы видѣли, какъ создается красивое, здѣсь—забавное; не комическое, не не сатирическое, а только забавное; тамъ поэтъ боялся сложности идеальнаго типа и скромности будничной обстановки, здѣсь онъ беретъ экспрессіей реализма. И его былина гораздо популярнѣе, чѣмъ «Садко» Сурикова.

Н. Соколовъ.

«Василій Шибановъ», баллада А. Толстого ¹⁾.

За послѣднее время все чаще, все настойчивѣе выдвигается нашею журналистикой одинъ неновый и соблазнительный афоризмъ. Критика не сумѣла оцѣнить поэта; она отнеслась къ данному произведенію придирчиво и односторонне; но ошибка была исправлена публикою, этимъ державнымъ младенцемъ, который раздаетъ лавровые вѣнки по-своему; и періодическая критика спѣшитъ исправить свой промахъ и оцѣнить незамѣченные шедевры. Очевидно, вѣсы круто опускаются въ сторону, противоположную той, на которой стояли «поэты Божіею милостію», по выраженію Гейне.

Nur dem Gotte steht er Rede,
Nicht dem Volke. In der Kunst,
Wie im Leben, kann das Volk
Tödten uns, doch niemals richten.

Времена перемѣнились; послѣдняя рѣшающая инстанція въ искусствѣ — Volk, который умѣетъ отстоять и возвеличить своихъ любимцевъ. У гр. А. Толстого есть одно, вопреки всякой критикѣ, удивительно популярное стихотвореніе, безъ котораго не обходится ни одна хрестоматія; его учать наизусть и излагаютъ своими словами классики и реалисты; его комментируютъ все учителя русской словесности; оно стоитъ внѣ полемики, какъ драгоценное достояніе школы. Что уже и говорить о восторгѣ иллюстрированныхъ изданій? Мы говоримъ о Шибановѣ.

Шибановъ молчалъ. Изъ пронзенной ноги
Кровь алымъ струилася токомъ,
И царь на спокойное око слуги
Взиралъ испытующимъ окомъ.
Стоялъ неподвижно опричниковъ рядъ;
Былъ мраченъ владыки загадочный взглядъ,
Какъ-будто исполненъ печали...

¹⁾ Н. М. Соколовъ. «Иллюзіи поэтического творчества».

О, если бы поэтъ остановился на этой строфѣ! Всѣ историческіе ужасы эпохи Грознаго уже намѣчены; рабъ-герой смотритъ въ загадочныя очи царя Ивана; мы бы пытались угадать, какой неожиданный капризъ вырвется изъ мрачной и жесткой души московскаго владыки. Мы бы оцѣнивали героизмъ «рабской вѣрности». Мы бы угадывали мысль Грознаго — «ты не рабъ, а товарищъ и другъ». И холопъ, другъ опальнаго воеводы, доказавшій, что его душа не слаба, ярко вставалъ бы передъ нашимъ умственнымъ взоромъ. Между княземъ Андреемъ и его стремяннымъ, вѣ сомнѣній, стояла бы полная солидарность, сознательное общеніе «въ собачей измѣнѣ», та гармонія отношеній, гдѣ рабъ и господинъ составляютъ одно цѣлое. Критика могла бы ворчать на апофеозъ рабства, но историческая правда была бы на сторонѣ поэта и спасала бы его образъ отъ тенденціозныхъ и узкихъ обвиненій. Но поэтъ, по своей привычкѣ, не захотѣлъ завязать послѣдній узелъ драматизма на той высотѣ, которая доступна живымъ людямъ, гдѣ еще нѣтъ натяжки. Ему было мало раба-героя; онъ думалъ о рабѣ-мученикѣ и рабѣ-подвижникѣ.

Да, ястребиное око царя Ивана Васильевича на этотъ разъ ему измѣнило. Случайный «досадитель свѣтлой короны» — не другъ и, въ особенности, не товарищъ опальнаго князя; онъ не повиненъ въ собачьей измѣнѣ.

О, князь, ты, который предать меня могъ
За сладостный мигъ укоризны,
О, князь, я молю, да проститъ тебѣ Богъ
Измѣну твою предъ отчизной.

Это рабъ, глубоко понимающій жестокой эгоизмъ своего господина! Холопъ прощаетъ своего князя за то, что князь его «предалъ». Пусть такъ; пусть высоко стоитъ смиреніе и всепрощеніе стремяннаго; но на его языкѣ слово «предательство» — это ужъ судъ надъ княземъ и его осужденіе. Другъ не такъ сводилъ бы свои личные счеты съ господиномъ. Нѣтъ, грозный царь, это не другъ и не товарищъ, — это только великодушный рабъ. Но и этого мало. Между рабомъ и господиномъ есть недоразумѣніе и посерьезнѣе этого. И для холопа выше князя — отчизна, и для него отъѣздъ въ Литву и письмо къ Грозному — измѣна родинѣ.

За грознаго, Боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь!..

Конечно, это не пыточные рѣчи; заплечные мастера не вырвали бы «въ предсмертнѣй часъ» малодушной молитвы изъ души того, кто спокойно стоялъ подъ костьюлемъ Грознаго. Здѣсь, очевидно, задухебныя убѣжденія всей жизни; здѣсь отождествляется родина съ грознымъ царемъ; дерзновенныя слова и боярскій отъѣздъ—съ измѣною; въ борьбѣ царя съ боярствомъ Шибановъ не на сторонѣ своего господина. Холопство принимаетъ новый оттѣнокъ; въ застѣнкѣ мучится рабъ-гражданинъ, доблестно исповѣдывающій свои политическія воззрѣнія. Пусть же художники, увлеченные этимъ сюжетомъ, покажутъ намъ, съ какимъ страстнымъ вѣрноподданическимъ чувствомъ смотрѣлъ Шибановъ въ очи царя, пронзившаго жезломъ его ногу; пусть они нарисуютъ намъ, съ какимъ затаеннымъ негодованіемъ входитъ онъ въ литовскій шатеръ измѣнника-князя.

Такъ умеръ Шибановъ стреманный!

Да, такъ бессмысленно умеръ рабъ въ самомъ рабскомъ смыслѣ этого слова, человѣкъ, промѣнявшій отчизну на холопскую угодливость, своего законнаго владыку—на измѣнника, вѣрный рабъ чужой неправды и насильникъ надъ своею совѣстью! Допустимъ невозможное предположеніе. Рабы-германцы въ римскихъ легіонахъ иногда ходили войною на своихъ соплеменниковъ: сзади ихъ были розги ликторовъ и мечи ветерановъ; и вдругъ сенатъ узнаетъ, что часть германскихъ рабовъ *motu proprio* составила отдѣльную когорту для войны съ своими отцами и братьями, чтобы угодить своимъ господамъ и доказать имъ свою «рабскую вѣрность». Неужели и этотъ «подвигъ» поэтъ увѣнчалъ бы своимъ восторгомъ?

Добродѣтелей у Шибанова много: рабская вѣрность, полная самоотверженія; мужество, доходящее до героизма; патріотизмъ, запечатлѣнный смертью; но не два ли здѣсь Шибанова, которые другъ съ другомъ не имѣютъ ничего общаго? Попробуемъ примирить ихъ. Допустимъ, что Шибановъ не зналъ содержанія письма Курбскаго и только дѣяки открыли ему глаза. Но онъ зналъ, что его ждутъ муки; послѣ этого письма онъ спокойно смотритъ на Грознаго и въ застѣнкѣ славить своего господина. Декламація учащихся юношей, конечно, будетъ полна серьезности и торжественности, ибо эти тоны, несомнѣнно, звучатъ и въ мелодіи поэта; подвигъ плѣняетъ молодое воображеніе; не до анализа молодой мысли,

обвѣянной высокими чувствами и величавыми образами. Но въ свое время звучныя строфы откроютъ затаенную въ нихъ неправду; вдумчивость покажетъ, что здѣсь красота только плотный покровъ, скрывающій подъ собою невозможную схему. Бѣдныя дѣти!.. Тамъ, гдѣ рабство враждуетъ съ любовью къ родинѣ, поэтъ однимъ порывомъ вдохновенія идеализируетъ и инстинкты рабства и самоотверженность гражданина. Хорошій рабъ и скверный гражданинъ въ ореолѣ мученичества, подвижникъ холопской вѣрности и пособникъ государственной измѣны, полу-герой и полу-змѣя, не то орелъ, не то амфибія, — вотъ трудный ребусъ для художника, который отдаетъ свою кисть эскизамъ Толстого! Но кисть замажетъ всѣ противорѣчія и щегольнетъ иными эффектами!..

Н. Соколовъ.

«Іоаннъ Дамаскинъ», поэма А. Толстого ¹⁾).

Іоаннъ Дамаскинъ — одно изъ «идейныхъ» стихотвореній гр. А. Толстого; въ немъ много своеобразной «философіи, заслуживающей самаго пристального вниманія; въ свое время мы попытаемся прослѣдить характерныя черты этой философіи; теперь же остановимся только на фабулѣ поэмы, на тѣхъ узлахъ, которыми стянуты отдѣльныя сцены сюжета. Знаменитый христіанскій богословъ и поэтъ во главѣ мусульманской, арабской, администраціи — сюжетъ въ высшей степени благодарный для поэта ²⁾). Открывается широкій просторъ для творческой фантазіи. «Мѣстный колоритъ» блещетъ яркими красками. Въ конюшняхъ Дамаска еще не успѣли отдохнуть тѣ кони, на которыхъ мчались вожди ислама, съ мечомъ въ рукахъ проповѣдуя Коранъ и пророка. Передъ бѣшеннымъ ураганомъ воинствующаго религіознаго фанатизма все дальше и дальше отступали «историческіе народы», пропуская подъ благодатное небо Испаніи мавританскій стиль. Съ улыбкой на губахъ умирали смуглые воины, ожидая себѣ въ награду рай съ его гуріями. Народъ меча и молитвы осѣдалъ широкими калифатами, и сбывалась мечта всемірнаго магометанскаго владычества. Чѣмъ же Іоаннъ изъ Дамаска приобрѣлъ мѣсто верховнаго визиря? Какъ же визирь-христіанинъ мирилъ свой богословскій талантъ и свое христіанское вдохновеніе съ началами исламизма? Съ кѣмъ воевалъ онъ «во главѣ мусульманскихъ дружинъ»? Въ чемъ состояла та «мудрость», ко-

¹⁾ Н. М. Соколовъ. «Иллюзіи поэтического творчества».

²⁾ Іоаннъ Дамаскинъ — церковный писатель VIII вѣка. Онъ былъ приближеннымъ калифа (намѣстника) дамасскаго. Дамаскинъ ревностно распространялъ христіанство. Христіанство рано распространилось въ Дамаскъ (здѣсь принялъ его апостолъ Павелъ). Въ 635 г. Дамаскъ завоеванъ арабами, а раньше принадлежалъ Риму. Послѣ этого Дамаскъ сталъ управляться намѣстниками.

торую былъ «могучъ и славенъ» Дамаскъ? Какой просторъ для творчества! Сколько элементовъ драмы! Но поэтъ не здѣсь завязалъ главный узелъ интриги. Легкою чертой онъ отмѣтилъ борьбу съ иконоборческой ересью и все свелъ къ бюрократическому «сану, величію, пышности, власти и силѣ».

Его поставилъ властелинъ
И судъ радить, и править градомъ;
Онъ съ нимъ бесѣдуетъ одинъ,
Онъ съ нимъ сидитъ въ совѣтѣ рядомъ.

И благодушный калифъ, въ порывѣ удивительнаго великодушія, общается христіанину еще больше.

Ты примени чести торжество,
Ты будешь мнѣ мой братъ единый:
Возьми полцарства моего,
Лишь правъ другою половиной!

Удивительная щедрость! Христіанинъ становится кади и визиремъ и въ «хазаватѣ» ведетъ арміи ислама. Мусульманинъ отдаетъ христіанской мудрости своего любимого раба, всѣ функціи государственной власти и готовъ сдѣлать Іоанна фактическимъ калифомъ, оставивъ себѣ только титулъ! Съ наивнымъ простодушіемъ и лаконизмомъ старой сказки даются изумительно-своеобразныя событія; подъ ними трудно угадать дѣйствительность болѣе драматичную, чѣмъ всѣ вымыслы поэтовъ. Самый ординарный человѣкъ, судьба котораго была бы полна такими же почти сказочными превратностями, привлекъ бы къ себѣ все наше вниманіе. Но дѣйствительность сложнѣе любого вымысла; Дамаскинъ и самъ по себѣ выдающаяся, талантливая и оригинальная личность. Угадать здѣсь правду, дать живого человѣка въ этихъ исключительныхъ условіяхъ, не побояться щекотливыхъ и соблазнительныхъ подробностей — задача, достойная глубокаго мыслителя и чуткаго поэта. Но и удачно обойти щекотливую тему — дѣло недюжинной ловкости; не всякій архитекторъ искусно скроетъ отъ бдительнаго контроля широкую трещину въ капитальной стѣнѣ; не всякій лопманъ проведетъ судно между скалъ и подводныхъ камней у чужого берега. И гр. А. Толстой блестяще выполнилъ необыкновенно трудную задачу; ему помогли въ этомъ случая ѣффектныя, ослѣпительныя чувства. Широкій размахъ рыцарскаго величія и благородства оставилъ въ тѣни весь

«мѣстный колоритъ», уничтожилъ въ калифѣ все арабское, и осталась только схема, возможная подъ всякимъ небомъ и во всякое время. Высокопоставленный чиновникъ, влекомый «инымъ призваніемъ», и государь, желающій сохранить при себѣ мудрость своего сановника,—вотъ обнаженные линии рисунка.

Судьба дворца дамасскаго правителя гораздо драматичнѣе.

Окружены его дворцы
 Благоуханными садами;
 Лазурью блещутъ изразцы;
 Убраны стѣны янтарями;
 Въ полуденный зной пріютъ и тѣнь
 Даютъ навѣсы, шелкомъ ткани;
 Въ узорныхъ баняхъ ночь и день
 Шумятъ студеныя фонтаны.

Но скоро среди люднаго Дамаска узорныя бани превратились въ живописныя руины.

И вотъ, правителя дворцы
 Добычей сдѣлались забвенья,
 Одѣлись пестрые зубцы
 Травой и прахомъ запыльня...
 Въ хоромахъ стѣны и картины
 Давно затканы паутиной,
 И мхомъ фонтаны заросли;
 Плющ, ползущіе по хорамъ,
 Отъ самыхъ сводовъ до земли
 Зеленымъ падаютъ узоромъ,
 И макъ спокойно полевой
 Растетъ кругомъ на звонкихъ плитахъ,
 И вѣтеръ, шелестя травой,
 Въ чертогахъ ходитъ позабытыхъ.

Если бы эти дворцы хранились подъ лавою Везувія, вдали отъ людскаго хищничества, то и тогда едва ли получилась бы такая выдержанная и законченная картина «запыльня». Да, здѣсь художнику легче нарисовать «навѣсы, шелкомъ ткани» и зеленый узоръ плюща, чѣмъ правителя Дамаска, если только его не представлять съ кривымъ ятаганомъ и въ чалмѣ.

Правитель ушелъ изъ своихъ чертоговъ. Что же онъ унесъ съ собою изъ мусульманскаго Дамаска? Что осталось въ его душѣ отъ блестящей роли во главѣ арабской администраціи? Ничего; онъ оставилъ дѣла своего министер-

ства, какъ чиновникъ, который прежде всего радъ отпуску, какъ-будто бы это были безразличныя и механическія занятія, не затрогивающія души и личныхъ убѣжденій. Это не человекъ, а пѣвецъ, который радъ, что вырвался изъ канцеляріи.

Переходомъ къ другой характерной картинѣ фабулы служить «святая буря пѣснопѣнья», которая настигла путника на одинокой тропинкѣ. На этой тропинкѣ сознаніе поэта было занято роковыми и мучительными вопросами.

Какія мнѣ воспѣть дѣла?
 Какія битвы или войны?
 Гдѣ я для дара моего
 Найду высокую задачу,
 Чье передамъ я торжество,
 Иль чье паденіе оплачу?

Значить, у пѣвца еще не было готовыхъ сюжетовъ для вдохновенія, когда онъ подавалъ свою просьбу объ отставкѣ калифу? Онъ говорилъ тогда не во имя любимыхъ образовъ вдохновенія, которые убѣдили его въ его дарованіи и въ иномъ призваніи, а во имя пѣснопѣнія вообще, пѣснопѣнія въ принципѣ, внѣ опредѣленныхъ и субъективныхъ особенностей?

Куда же идетъ нищій пѣвецъ?

Чертой изогнутой легло
 Предъ нимъ Кедронскаго потока
 Давно безводное русло.

Тамъ — береговъ сожженные стремнины

На дно сбѣгаютъ крутизной,
 Спирая узкую долину
 Двойной отвѣсною стѣной.

Тамъ видны странника очамъ

Въ утесахъ рытныя пещеры.

Тамъ возведена

Изъ камней крѣпкая стѣна,
 Отпоръ степному сарацину.
 ... И тамъ, въ вышинѣ,
 Дрожа и колеблясь, мохнатая пика
 Покажется въ небѣ; на легкомъ конѣ
 Появится всадникъ; надъ самымъ оврагомъ
 Сдержавъ скакуна заплѣннаго летъ,
 Проѣдетъ онъ мимо обители шагомъ
 Да ниокамъ сверху проклятыя пошлетъ.

Это — обитель отшельниковъ Кедронскаго потока. Конечно, это не простая обитель и не обычные отшельники. Мохнатая пика надъ оврагомъ и каменная стѣна съ бойницами предсказываютъ намъ особенный типъ иноковъ-бойцовъ, умѣющихъ дать отпоръ степному сарацynu. Но для поэмы всѣ эти штрихи положительно не нужны; въ фабулу они не вносятъ ничего существеннаго; то, что случилось съ Дамаскинымъ, не нуждалось въ боевыхъ условіяхъ кедронской обители.

Держать посты уставы намъ велятъ,
Служенія жъ мы не вѣдаемъ иного,—

могъ бы сказать любой монахъ изъ любого монастыря. Сущность данной аскетической жизни наиболѣе полно выражена въ наставникѣ Іоанна, суровомъ черноризцѣ. Кто же онъ, этотъ строгій инокъ?

Согнувши строгое чело,
Онъ, чуждый міру, чуждый братьямъ,
Лежитъ простертъ передъ распятымъ;
Въ пыли сѣдая голова,
И смерть къ себѣ онъ призываетъ,
И шепчетъ мрачныя слова,
И камнемъ въ перси ударяетъ...

Таковъ въ своей кельѣ этотъ непреклонный блюститель монастырскаго устава. Какія же мрачныя слова онъ шепталъ? Отчего они были мрачны? Зачѣмъ онъ призываетъ смерть? Мы не знаемъ. Передъ нами тонкій химическій экстрактъ изъ идеи монашества, умышленно неопредѣленный штрихъ, приложимый ко многимъ типамъ отшельническаго житія.

Съ перваго взгляда здѣсь нѣтъ данныхъ для драматическаго столкновенія. Іоаннъ добровольно пришелъ въ это «безбурное жилище» и этимъ изъявилъ свое согласіе держать посты по уставу. Монастырь въ принципѣ не отрицалъ пѣснопѣнія, и, переходя «тѣсный входъ» въ обитель, новый братъ имѣлъ всѣ основанія предполагать, что пѣсенъ и гуслей отъ него не отнимутъ. Имѣлъ же онъ какое-нибудь основаніе думать, что обитель — купель познанія и колыбель новой жизни. Драматизмъ возникъ случайно. Суровый черноризецъ запретилъ новому иноку духъ праздности и прелесть пѣснопѣнія. Но, во-первыхъ, это было только «испытаніе», данное въ «новоначалѣ», т.-е., можетъ-быть, времен-

ная мѣра, и, во-вторыхъ, новый братъ могъ и не принять подобнаго условія, ибо въ уставѣ монастыря до его прихода не было подобной запретительной статьи. Во всякомъ случаѣ, положеніе Іоанна не было безусловно безвыходнымъ; ему предстоялъ только выходъ между монастыремъ и вдохновеніемъ. Но до сихъ поръ мы знали, что свобода пѣснотворчества была высшимъ закономъ жизни пѣвца, и совершенно не подготовлены встрѣтить въ его душѣ высшій принципъ, доминирующій и надъ его благочестивымъ вдохновеніемъ. Пѣвецъ не послушался калифа; во имя чего же онъ преклонится предъ волею черноризца?

Нежданный приговоръ

Какъ громъ упалъ средь мирнаго синклита.
Смутились всѣ. Пѣвца померкнулъ взоръ,
Покрыла блѣдность впалыя ланиты.
И неподвижно долго онъ стоялъ,
Безмолвно опустивъ на землю очи,
Какъ-будто бы отвѣта онъ искалъ
И отвѣчать не доставало мочи.

Съ обычнымъ мастерствомъ поэтъ пластическими штрихами отмѣтилъ ощущенія пѣвца, и поза говоритъ за Іоанна все, что надо. Онъ могъ бы молчать, и всякій бы понялъ бурю въ его душѣ; но пѣвецъ заговорилъ, какъ-будто бы поэту нужно было показать всѣмъ, что это не живой человекъ, а статуя, въ которой нѣтъ горячаго и живого сердца.

Спустися, ночь, на горестнаго брата
И тьмой его отъ солнца отлучи!
Померкните, затмитесь безъ возврата
Моихъ псалмовъ звенящіе лучи!

Какая ночь? Кто его отлучаетъ отъ солнца? Что это за звенящіе лучи псалмовъ? Зачѣмъ, зачѣмъ эти рискованныя метафоры въ ту минуту, когда чуть не ножомъ ударили въ сердце?

Погибни, жизнь! Погасни, огонь алтарный!
Уймись во мнѣ, взволнованная кровь!

Такъ и хочется крикнуть слова Пистоля Фальстафу: «Говори же, что тебѣ нужно, какъ человѣкъ этого міра».

Свершилось. Мрака набѣгаютъ волны;
Взоръ гаснетъ; стынетъ кровь,—всему конецъ.
Изъ міра звуковъ нынѣ въ міръ безмолвный
Нисходитъ къ вамъ развѣнчанный пѣвецъ...

Все непонятно, все неправдоподобно и вычурно. У Дамаскина была своя и крѣпкая воля; онъ упрямо отвергъ всѣ соблазны дамаскаго владыки. Отчего же теперь онъ такъ безропотно идетъ навстрѣчу волнамъ мрака, смерти и концу всего? Во имя чего онъ отказывается отъ пѣсенъ? Что онъ получаетъ взамѣнъ? По его словамъ, ему остается еще «небесная любовь»; но, во-первыхъ, это уже не мало, и съ такимъ приобрѣтеніемъ рано предаваться безысходному унынію и отчаянію, а, во-вторыхъ, отчего «небесной любви» не было съ нимъ прежде, до его поступленія въ обитель?

И все-таки «свершилось»: черноризецъ побѣдилъ. Но побѣдилъ ли въ Іоаннѣ монахъ пѣвца?

Увы, подъ этой ризой черной,
Какъ въ оны дни подъ багрецомъ,
Живымъ палимое огнемъ,
Мятеся сердце непокорно.

И конечно. Вѣдь, новый братъ отъ пустой схемы пѣснопѣнія перешелъ только къ такой же пустой для него схемѣ монашества, равносильной смерти, могильному мраку и безмолвному міру. Если монашество — только черная риза, то отъ него, конечно, и ждать нельзя цѣлебной силы. Въ чемъ же здѣсь человѣческій драматизмъ, если Дамаскинъ ни отъ чего не отрекался и ничего не бралъ взамѣнъ? Механическая борьба двухъ шаблонныхъ темъ не даетъ никакихъ элементовъ для движенія и развязки фабулы.

Пѣвецъ не выдержалъ испытанія; велико или невелико значеніе этого факта, но это фактъ, имѣющій опредѣленный смыслъ. Но поэтъ, съ своей стороны, употребилъ всѣ усилія, чтобы этотъ фактъ въ сознаніи читателя прошелъ почти незамѣченнымъ. Онъ отдается личному лиризму и за свой счетъ отстаиваетъ свободу творческаго слова.

Надъ вольной мыслью Богу неугодны
Насиліе и гнетъ,
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умретъ!

О, эта мысль! Какъ бы она ни была сказана, она каждый разъ потрясаетъ человѣческое сердце, подкупаетъ сознаніе въ пользу любой концепціи, наркотически дѣйствуетъ на всякое вниманіе.

Если бы этотъ лирическій цвѣтокъ былъ вплетенъ въ менѣе величавую и болѣе человѣческую фабулу; если бы

сама мысль не разрасталась до фантастическихъ и грандіозныхъ очертаній, когда по неудержимой силѣ она равна бурному вѣтру съ Ливанскихъ горъ, гремящимъ среди скалъ струямъ потока и восходящему солнцу,—поэтическая мелодія на эту тему властно поработила бы себѣ нашу душу. Но здѣсь она не на мѣстѣ; здѣсь это парентирсъ древнихъ ³⁾. Развѣ въ правѣ былъ Дамаскинъ жаловаться на гнетъ и насиліе? Развѣ не добровольно онъ согласился на испытаніе? Это только эпитимія, благочестивое аскетическое упражненіе. Паеосъ поэта былъ бы понятенъ, если бы дѣйствующимъ лицомъ у него былъ не суровый черноризецъ, а отцы-инквизиторы. Гдѣ же здѣсь-то оковы?

Этотъ гимнъ дышитъ радостью и побѣднымъ торжествомъ. О, если бы, дѣйствительно, мысль была такъ стихійно-неудержима! Умираютъ и мысли, но умираютъ, конечно, не въ оковахъ. Развѣ Аристотель не убилъ мысль Аристарха Самосскаго ⁴⁾, которая ожила только въ современной астрономіи? Развѣ живутъ тѣ мысли, которыя игнорируются двумя или тремя поколѣніями, пока далекіе потомки не воздвигнутъ имъ приличнаго мавзолея? Развѣ живутъ тѣ великія мысли, которыя на языкѣ у всѣхъ звучатъ не своимъ смысломъ, пока не сотрутся и не станутъ безцвѣтнымъ общимъ мѣстомъ? И эта тема не была бы такою жгучею и наркотическою, если бы въ ней было меньше скорби и муки. Длинный мартирологъ мысли не былъ бы возможенъ, если бы мысль была свободна, какъ вѣтеръ, и могуча, какъ солнце. Гиперболы поэта заставляютъ вниманіе читателей скользить только надъ поверхностью глубокой мысли.

Но это лирическое отступленіе смягчаетъ проступокъ Дамаскина.

Онъ съ монахами поетъ.
Но вотъ межъ ними гость неожиданный:
Нахмури брови, предстаетъ
Наставникъ старый Іоанна.
Суровы строгія черты;

³⁾ Парентирсъ, по опредѣленію грамматика Феодора, паеосъ безвременный и напрасный тамъ, гдѣ не должно быть паеоса, или неумѣренный тамъ, гдѣ нужна ему мѣра. По Лессингу, стр. 199.

⁴⁾ Аристархъ Самосскій, греческій астрономъ, доказывалъ, что земля вращается вокругъ солнца.

Главу подъема величаво,
«Пѣвецъ», онъ молвить...

Но мы уже видѣли его рѣчь; человѣкъ, который такъ стоитъ и такъ смотритъ, не пойдетъ на компромиссы; съ нимъ борьба невозможна; предъ его непреклонною волей должно безропотно склоняться все; одно нарушение устава уничтожаетъ въ его мнѣніи все подвиги и заслуги. Но Дамаскина ни на минуту не покидаетъ счастье; соборъ отшельниковъ ходатайствуетъ за него предъ черноризцемъ. Мы не знаемъ, чувствовалъ ли себя черноризецъ въ правѣ отступить отъ своего требованія, но онъ сдѣлалъ это въ угоду синклиту и наложилъ на пѣвца только эпитимію. И опять драматизмъ законченъ, правда, чисто внѣшнимъ образомъ, безъ внутренней борьбы, безъ нравственныхъ колебаній. Но поэма движется дальше; надо возвеличить пѣвца и пѣснопѣніе, и все это достигается чудомъ. Изъ обычныхъ условий дѣйствительной жизни споръ переносится въ область нездѣшной правды, гдѣ и разрѣшается.

Сколько разъ живые люди смотрѣли на поэта сквозь образы исторіи, и каждый разъ поэтъ лишалъ ихъ слова. Въ простыхъ лицахъ ему чудились черты иного міра и иной красоты; онъ хотѣлъ проникнуть своимъ взоромъ къ тѣмъ послѣднимъ обобщеніямъ типа, гдѣ индивидуальность расплывается въ туманъ и исчезаетъ. Зато внѣшняя оболочка дѣйствующихъ лицъ всегда тревожила его творческіе инстинкты и создавала позы, полныя пластической экспрессіи.

Н. Соколовъ.

«Донъ-Жуанъ», драматическая поэма А. Толстого ¹⁾.

Нерѣдко можно слышать мнѣніе, что Донъ-Жуанъ гр. А. Толстого—одно изъ самыхъ «обдуманнѣхъ» произведеній литературы, что въ основѣ его лежитъ изученіе всѣхъ и всякихъ версій испанской легенды, что поэтъ въ своемъ героѣ уловилъ общечеловѣческій смыслъ этого типа. Въ этомъ мнѣніи есть, конечно, своя правда; обдуманности въ «драматической поэмѣ» много, и еще больше въ ней философіи; но и въ понятіи типа и въ понятіи философіи мы должны сдѣлать существенныя измѣненія, чтобы цѣликомъ удержать это мнѣніе. Мы не стали бы останавливаться на эпиграфѣ (изъ Гофмана) поэмы, если бы онъ не давалъ намъ ключа къ загадочному шифру драмы «Das ist die entsetzliche Folge des Sündenfalls, dass der Feind die Macht behielt, dem Menschen aufzulauern, und ihm selbst in dem Streben nach dem Höchsten, worin er seine göttliche Natur ausspricht, böse Fallstriche zu legen. Dieser Conflict der göttlichen und dämonischen Kräfte erzeugt den Begriff des irdischen, so wie der erfochtene Sieg den Begriff des überirdischen Lebens». Для пониманія поэмы здѣсь дорого каждое слово, и каждое слово должно быть взято въ прямомъ и строгомъ смыслѣ, внѣ какихъ бы то ни было метафорическихъ иносказаній. Итакъ, понятіе жизни создается изъ понятія столкновенія божественныхъ силъ съ демоническими. Намъ нѣтъ нужды изучать типъ той философіи, которая могла дать такой отрывокъ. Намъ довольно отмѣтить, что типы людей, выработанные путемъ подобной борьбы, лишаются того смысла, которымъ могла бы дорожить экспериментальная психологія, и приобрѣтаютъ иное, высшее значеніе, понятное только при свѣтѣ метафизики. Нити отдѣльныхъ дѣйствій человѣка оканчиваются не въ предѣлахъ его организма, а идутъ въ иной міръ, въ область сверхчувственной жизни, гдѣ и сплетаются въ свой

¹⁾ Н. М. Соколовъ. «Иллюзіи поэтического творчества».

узелъ, дающій сущность и схему даннаго типа. Разстояніе между поступкомъ, какъ слѣдствіемъ, и духовнымъ двигателемъ, какъ причиною, значительно увеличивается, такъ-что оцѣнка и судъ надъ той и другой личностью переносятся въ высшую судебную инстанцію.

Что же говорить о донъ-Жуанѣ люди, среди которыхъ онъ жилъ?

Твоихъ бровей грозящая дуга
Являетъ самолюбіе и гордость,—

читаетъ по его лицу дон-Анна.

... Вокругъ бровей
И возлѣ устъ играетъ и змѣится
Насмѣшливо-суровая черта,—

тонко и живописно выражается о его наружности командоръ. Очевидно, нумизматическое лицо донъ-Жуана останавливало на себѣ и его вниманіе.

Со спокойствіемъ лѣтописца, съ умѣніемъ опытнаго декоратора описываетъ маркиза де-Маранья какой-то кавалеръ на площади у фонтана:

Онъ сбросилъ плащъ, онъ шляпу загибаетъ,
Его лицо освѣщено луной,
Какъ-будто хочетъ онъ, чтобъ вся Севилья
Его узнать могла.

Даже самъ сатана любитъ красивымъ юношей, какъ-будто его глазами смотрѣло женское сердце.

Но если рѣчь зайдетъ о воинской отвагѣ
Или любви коснется разговоръ,
Его рука уже на шпагѣ,
Огнемъ горитъ орлиный взоръ.
Какъ онъ хорошъ въ толпѣ придворной,
Одѣтый въ бархатъ и атласъ,
Когда онъ клонитъ такъ притворно
Свой взоръ при встрѣчѣ женскихъ глазъ!

Это—«духъ тьмы, видъ ангела пріившій», по словамъ оскорбленной дон-Анны; «это—ангелъ-истребитель», по признанію самого донъ-Жуана. На всемъ протяженіи поэмы мы видимъ Жуана, видимъ его позу, жестъ и складки костюма; мы видимъ его у окна дон-Анны, когда онъ при звонѣ гитаръ, стоя у рѣшетки, бесѣдуетъ съ командоромъ; видимъ подъ балкономъ Нисеты, когда онъ такъ красиво задрапиро-

ванъ рукою кавалера; видимъ его сборы на гулянье, когда Лепорелло торопится надѣть на него золотую цѣпь; видимъ и у ногъ донъ-Анны и у ногъ мнимаго отца Іеронима; видимъ съ гитарой на пиру, всегда видимъ статнымъ юношей въ картинной позѣ. Но мы хотимъ знать его, какъ человека этого міра, знать въ привычкахъ и манерѣ жить, въ цѣляхъ и побужденіяхъ дѣятельности.

У Пушкина Лаура уронила про Жуана одно только слово—«мой вѣрный другъ, мой вѣтренный любовникъ»,—и это слово сразу же дало освѣщеніе всей его личности. Конечно, вѣтренный любовникъ, ибо иначе какой же онъ донъ-Жуанъ, но онъ вѣрный другъ, другъ Лауры, у которой любовники—не диво, а друзья—большая рѣдкость. Вѣтъ какою-то мягкостью и добродушною лаской отъ того неотразимаго искусителя, который поэтамъ, падкимъ до необыкновеннаго и неразгаданнаго, казался человекомъ суровымъ и жесткимъ. Какъ плодотворна смѣлость истиннаго поэта! Онъ не испугался простыхъ и понятныхъ для всѣхъ искушеній, порабожающихъ женское сердце; онъ не побоялся отгнѣнить чары донъ-Жуана любовью такой женщины, которая, повидимому, не слишкомъ дорожить своей любовью. У пушкинскаго донъ-Жуана нѣтъ ни грозящей дуги бровей, ни насмѣшливо-суровой черты возлѣ губъ, ни глубокомысленной философіи,—и все-таки намъ ясно, что не любить его было трудно. Въ Лаурѣ нѣтъ изысканнаго благородства, но не въ каждомъ женскомъ сердцѣ мы найдемъ любовь, какую давала она донъ-Жуану.

... А далеко, на сѣверѣ—въ Парижѣ—
Быть-можетъ, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуетъ.

А ночь въ Севильѣ была тиха, полна ароматами лимоновъ и лавровъ, озарена яркою луной! И за спиной Лауры стоялъ донъ-Карлосъ въ ожиданіи ласки отъ веселой красавицы! Сколько правды, простоты и нѣжности въ этомъ короткомъ вздохѣ! Быстро и вольно рвутся изъ души дѣйствующихъ лицъ Пушкина короткія, отрывистыя фразы; эти люди живы и просты, какъ жизнь, какъ искусство. Полный неудержимаго веселья, легкомысленно позабывшій обо всемъ, кромѣ своего счастья, юный испанскій грандъ зоветъ къ себѣ на свой праздникъ ненавистную статую, вблизи которой такъ

много плакала дона-Анна. Сколько счастья въ мечтѣ поэта! Сколько наслажденія въ діалогѣ, простомъ и до дна ясномъ!

Поищемъ подобныхъ же штриховъ и въ донъ-Жуанѣ гр. А. Толстого. Здѣсь, этотъ типъ, повидимому, долженъ быть еще проще и понятнѣе; не даромъ же поэтъ дважды и надолго запираетъ донъ-Жуана въ его дворцѣ и заставляетъ маркиза исповѣдываться предъ читателями. Чего легче понять человѣка, который говоритъ все, что происходитъ въ его душѣ? Увы, и искренняя исповѣдь бываетъ иногда непонятнѣе хитрыхъ загадокъ и сложныхъ гіероглифовъ. Жуанъ не знаетъ, какое чувство будить въ немъ донна-Анна. Конечно, не любовь; любовь—ложь; онъ, несомнѣнно, понимаетъ это чувство; въ ней становится понятнымъ «чудесный строй законовъ бытія, явленій всѣхъ сокрытое начало»; и ни одна женщина такой любви ему не давала; и онъ упрекаетъ женщинъ въ измѣнѣ, въ обманѣ и лжи, приходитъ въ ярость и сердится на любовь. Но въ его сердцѣ все-таки что-то есть; можетъ-быть, это совѣсть? Но если нѣтъ любви, то нѣтъ и совѣсти. Монологъ принимаетъ возвышенный и страстный характеръ. Жуанъ сыплетъ проклятіями и негодуетъ; почему-то ему въ голову, приходитъ странный вопросъ: «Кто приковалъ къ извѣстному пространству человѣка? Кто ограничилъ нашъ свободный духъ стѣной, горами, моремъ или заставой?» О, въ философіи есть много неясныхъ вопросовъ, и донъ-Жуанъ ожесточается. И къ его любви примѣшивается все больше и больше гнѣва и злобы. Онъ негодуетъ, «какъ негодуетъ раненный орелъ, когда влачить полетъ онъ долженъ низко». Намъ бы хотѣлось, наконецъ, знать, что же говоритъ этотъ яркій образъ. Но и этотъ орелъ—какой-то необыкновенный орелъ; ему не больно отъ раны; подстрѣленный, онъ негодуетъ, и не на того, кто подстрѣлил его, а лишь на то, что онъ долженъ низко влачить свой полетъ.

О, наивный филистеръ, обдумывающій жизнь, вмѣсто того чтобы жить, анализирующій любовь, вмѣсто того чтобы любить! И какія только женщины любятъ эту сухую метафизику, полную придуманной злости и напускного гнѣва! Но мы дѣлаемъ ошибку, когда ищемъ ключъ къ загадкѣ въ той же психологической области, гдѣ нашли его и у Пушкина. Мы должны подняться многими этажами выше и углубиться въ тайны «überirdischen Lebens». Духи утверждаютъ,

что «сей донъ-Жуанъ любимецъ есть природы» и въ то же время онъ—«избранникъ сатаны»; сатана утверждаетъ, что Жуанъ «не понялъ святого значенія любви», но духи показали Жуану, «въ чемъ сердца задача». На всемъ пространствѣ поэмы, по словамъ духовъ, «въ тревогѣ думъ, въ разгарѣ мощныхъ силъ Жуанъ блуждаетъ дерзостенъ и страстенъ, но за черту еще онъ не ступилъ»; по мнѣнію сатаны нельзя спасти Жуана де-Маранья, «какую бъ намъ систему ни принять: систему вѣры или рационализма (?), деизма или пантеизма, хоть всѣ до одного оттѣнки перебрать, которыми привыкла щеголять философская призма». И кто же пойметъ этого удивительнаго человѣка, если онъ возбуждаетъ сомнѣнія и споры тамъ, гдѣ мудрость и проницательность безусловно превышаютъ человѣческія силы?

И дону-Анну поэтъ не пряталъ отъ нашихъ глазъ; вмѣстѣ съ донъ-Жуаномъ и другими лицами пьесы она образуетъ очень эффектныя группы; мы видѣли ее, подъ руку съ командоромъ, на площади у фонтана; видѣли надъ трупомъ отца; видѣли, какъ она заслоняетъ собою донъ-Жуана отъ офицера Sant'Officcio;

Вся набожно отдавшись Мадоннѣ,
Она теперь не знаетъ и сама,
Какъ живописно съ гребня кружевное
Ей падаетъ на плечи покрывало.

Нѣтъ сцены, гдѣ бы она не была живописна и красива. И дорого же она заплатила за эту красоту! Она превратилась въ «идеаль», въ идеаль вообще, безъ тѣни жизненнаго за-гара, безъ одной характерной складки живого организма. Съ истинно-сатанинскимъ сарказмомъ Сатана всю ее сводитъ къ одной линіи, которая «прямохонько упирается» «въ чистый прототипъ», «въ образъ совершенный, для каждой личности заранѣ припасенный». Бѣдная, идеально-пустая донна-Анна! Какъ понять ея сердце? Чѣмъ объяснить ея любовь? Съ земной точки зрѣнія, она необъяснима. По смыслу ея признаній, она, понявъ загадку души донъ-Жуана, полюбила суровую испанскую теорему, провѣренную нѣмецкою метафизикой, какъ ученый любитъ свои трактаты, стоимшіе трудовъ и усилій. Конечно, это только одно изъ предположеній, которыхъ можетъ быть сдѣлано, съ равнымъ правомъ, много; отдавъ свою характеристику Сатанѣ, она вышла изъ-подъ юрисдикціи человѣческой критики.

Всѣ остальные дѣйствующія лица—только второстепенные декоративные аксессуары, поэту поэтъ и не доводитъ ихъ характеристики до третьей метафизической инстанціи и ужъ, конечно, не дѣлаетъ психологическаго анализа, въ чемъ было отказано и первымъ сюжетамъ. Что такое Боабдила?

Колпакъ и куртка
И абордажный на цѣпи топоръ;
Узорныя морскія шаровары,
И туфли на босую ногу...

Прибавьте къ этому его фелуку:

Щегольски загнута,
Лихая мачта въ воздухъ дрожить.
Прилаженъ къ ней косой латинскій парусъ...

Очень приличный пиратъ! Въ любомъ балетѣ онъ произвелъ бы эффектъ. Правда, онъ покушался на жизнь донъ-Жуана; но это покушеніе вовсе не нужно для драмы, ничѣмъ не связано съ тою борьбой, которая происходитъ въ душѣ героя; оно не нужно и для характеристики Боабдила; онъ и безъ того «молодецъ-разбойникъ хоть куда». Дать душу туфлямъ и шароварамъ, показать личность и характеръ пирата, дать ему способность дѣйствовать по своему почину, въ силу личныхъ стремленій и цѣлей—казалось поэту, должно-быть, ненужною роскошью. Этотъ мориско долженъ быть радъ и тому, что его пестрою и яркой живописностью отбѣняется строгое изящество маркиза де-Маранья.

Командоръ... но это печальная участь всѣхъ командоровъ, предусмотрительно запасенныхъ для шпаги донъ-Жуана. Они живутъ въ поэмахъ недолго, но оживаютъ въ видѣ надгробныхъ статуй. Свою механическую роль и здѣсь онъ исполняетъ вполне добросовѣстно, если только трезвъ-театральный механикъ. Суровое благородство—вотъ и все, что поэтъ мимоходомъ бросаетъ гордому испанскому гранду.

Добродѣтельный донъ-Октавіо—лишняя нить въ драматическомъ узлѣ; его назначеніе—отбѣнять благородство донны-Анны, а она и безъ того—идеаль.

Остается Лепорелло; но это—лакей, существо вульгарное и низкое, и поэту поэтъ оставилъ ему нѣкоторые намеки на жизненность и естественность. Болтливый трусъ, находчивый плутъ, онъ иногда говоритъ такимъ языкомъ, въ которомъ слышатся самобытность и характерность.

Въ сущности, секретъ лирическаго драматизма очень простъ. Намекъ на драму есть только въ душѣ донъ-Жуана. Усилія построить на метафизическомъ основаніи теорію любви, попытки провести эту теорію въ отношенія къ донъ-Аннѣ и гибель теоріи при встрѣчѣ съ истиннымъ чувствомъ—вотъ и всѣ ступени драматическаго движенія. Всѣ дѣйствующія лица только—или случайные отрывки изъ философскаго монолога автора, или красивыя статуи. При отсутствіи жизненности и типичности, они мало стѣсняють лирическіе порывы поэта; но все-таки поэту иногда надоѣдаетъ даже ex officio поддѣлываться подъ тонъ своихъ героевъ, и онъ смѣло вставляетъ свои тирады въ ихъ діалоги. Легко угадать, гдѣ слово остается только за авторомъ, внѣ нужды и цѣлей драмы. Тамъ, гдѣ (по возможности, въ типинѣ) раздается рѣзкій металлическій звукъ, гдѣ контуры очерчены тонкою и изящною геометрическою линіей, тамъ дѣйствующее лицо—авторъ. Только Лепорелло почти исключенъ изъ этого круга красоты; но и онъ измѣняетъ своей лакейской природѣ, когда соблазнъ слишкомъ великъ. Ночью, на кладбищѣ, предъ статуей командора («весь мраморный на мраморномъ конѣ») и Лепорелло отдается поэтическимъ грезамъ. Ему чудится, что

межъ гробницъ

Уже какой-то странный ходитъ шепоть.

Испугъ поднимаетъ его фантазію еще выше и оживляетъ кладбищенскія изваянія.

Кругомъ вездѣ

Все движется и шепчетъ. Рвутся кони

И фыркаютъ, покрыты бѣлой пѣной.

Метафизика автора не давала и возможности драмы. Донъ-Жуанъ не въ себѣ находитъ мотивы своей дѣятельности; онъ то слѣпнетъ, то видитъ вновь и, невиноватый въ этихъ переходахъ, не можетъ взять на себя отвѣтственность за свои поступки. Вся его дѣятельность случайна; убѣжденій у него нѣтъ; онъ—жертва чужой воли; въ немъ нѣтъ главнаго условія всякаго драматическаго характера—своей и свободной души.

Н. Соколовъ.

Міросозерцаніе А. Толстого ¹⁾.

Было время, когда жрецы Аполлона стояли въ сторонѣ отъ научныхъ пререканій и мирно черпали свое вдохновеніе изъ кастальскаго источника. Это время прошло. Мысль утратила холодность и спокойствіе, будила гнѣвъ, сама загоралась яростью и, какъ всякій боецъ, грудью стояла за свои права. Слагался культъ мысли. Отзывчивая поэзія не могла остаться равнодушною и спокойною зрительницей этой борьбы. Съ тѣхъ поръ поэтъ сталъ, по словамъ Гейне, König des Gedankenreiches. Съ тѣхъ поръ и великіе и невеликіе поэты заговорили о томъ, какъ сложились ихъ убѣжденія, какъ вѣрятъ они въ свою мысль, какъ ненавидятъ они враговъ своего знамени. Гейне гордился именемъ поэта-солдата (L'enfant perdu). Какое же мѣсто занималъ въ этихъ битвахъ гр. А. Толстой? Мы уже видѣли, что поэтъ съ отгѣнкомъ ироніи смотрѣлъ не только на тѣхъ людей, которые во имя своего добра «шли напроломъ», «давили встрѣчнаго-поперечнаго», но и на тѣ «думы», которыя корнями врывались въ сердце и вырастали въ стройное и высокое дерево. Да, онъ сталъ въ сторонѣ отъ тѣхъ думъ, которыя «прутъ впередъ», считая все съ своей дороги. «Всѣ воззрѣнія «возможны» (?), всѣ равно вѣрны или равно ложны», но иногда и онъ понималъ возможность борьбы, не отрицалъ сущности спора и все-таки не приставалъ ни къ той ни къ другой партіи, «всѣмъ простиралъ благую руку и никого не осуждалъ». И онъ былъ убѣжденъ, что онъ правъ; онъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ, гордо провозглашалъ свое безпристрастіе и свою независимость.

Дуухъ становъ не боецъ, но только гость случайный,
За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ,
Но споръ съ обоими — досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;

¹⁾ Н. М. Соколовъ. «Иллюзіи поэтического творчества».

Союза полного не будетъ между нами
 Не купленный никѣмъ, подъ чье бѣ ни стану я знамя,
 Пристрастной ревности друзей не въ силахъ снести,
 Я знамени врага отстаивалъ бы честь.

Въ нѣкоторыхъ европейскихъ парламентахъ депутаты вѣхъ партій называются «дикими»; у англичанъ—это триммеры. И Галифаксъ ²⁾, не вигъ и не тори, на рубежѣ между царствованіями Іакова II и Вильгельма Оранскаго умѣлъ показать себя смѣлымъ и сильнымъ бойцомъ за свои идеи. Онъ «явно» спорилъ съ обѣими партіями, покидая виговъ въ дни ихъ торжества и возвращаясь къ нимъ въ дни пораженія. Это—опредѣленный типъ бойца, который не остается равнодушнымъ къ борьбѣ партій, но только шире смотритъ и точнѣе знаетъ, за что бьется. Если нѣтъ полного союза, возможно соглашеніе по нѣкоторымъ статьямъ договора. «Некупленный»—это еще не большая добродѣтель; въ обихъ станахъ, вѣроятно, были не одни продажные кондотьеры и наемные солдаты. Можно отстаивать честь вражескаго знамени и въ то же время сражаться съ врагами. Поэтому отдѣльные моменты этого признанія ничего опредѣленнаго и характернаго еще не даютъ. Въ чемъ же, собственно, соль этого стихотворенія? Поэтъ свободенъ отъ «пристрастной ревности», свободенъ отъ увлеченій и запальчивости борьбы; въ «любомъ» лагерѣ онъ вступится за знамя «врага». Неизмѣнно холодный и разсудительный, онъ больше всего боится идти впередъ «напроломъ». У него «много добра въ головѣ», «зоркія очи», которыя «смотрятъ во всѣ стороны», думы, которыхъ не окинуть разумомъ и не высказать; и, конечно, никто не можетъ привлечь его къ клятвѣ и полному союзу. Дается то впечатлѣніе, что поэтъ сильнѣе каждаго стана порознь, что ему доступна истина цѣликомъ, а «бойцамъ»—только одностороннія убѣжденія. Отчего же онъ открыто не объявить войны обоимъ станамъ? Если онъ видитъ ихъ ошибки и знаетъ свою правду, онъ «долженъ» расчитывать на побѣду. Или онъ не хочетъ побѣды своему убѣжденію? Если такъ, онъ не вѣритъ въ свою мысль. Сознаніе своего умственного превосходства пріятно; но въ самомъ тонкомъ и ловкомъ

²⁾ Г а л и ф а к с ъ — англійскій государственный дѣятель (1661 — 1715 гг.). Былъ министромъ финансовъ и преобразовалъ англійскіе финансы.

діалектикѣ можетъ быть мало личной мысли. Необыкновенно возвышенныя мысли, для торжества которыхъ тонкій мыслитель не сдѣлалъ ничего, могутъ быть остроумны, но онѣ почти всегда безжизненны. Живая мысль превращается въ убѣжденіе, а убѣжденіе часто бываетъ такъ же сурово, какъ иногда сурова любовь. Любовь, по самому существу своему,—самоограниченіе. Та любовь, которая раскидываетъ свои лучи «врозь по мірозданью», не любовь, а жалкая фикція любви, подъ которою таится совершенно иное содержаніе. Настоящая любовь собираетъ всю свою энергію въ одномъ лучѣ и ничего не «золотитъ безъ разбора». Чтобы рассмотреть одно, надо вытѣснить изъ поля сознанія все остальное. Нельзя любить человѣчество, можно любить человѣка. Любовь, какъ величайшая энергія жизни, можетъ быть колыбелью ненависти, поводомъ борьбы, источникомъ зависти, силой, вызывающею и благословляющею зло и насиліе, оправдывающею месть. Любовь—основа сложившагося характера; ея отсутствіе—холодность, равнодушіе, апатія, разбросанность. Ставить любовь внѣ предѣловъ земной жизни—значить, не только отрицать человѣческую любовь, но отрицать стройность, законченность и цѣлесообразность духовной конструкціи человѣка. Искать любовь въ надзвѣздныхъ или замогильныхъ сферахъ—значить, отрицать жизнь, искать новыхъ формъ существованія и новаго типа психической организации. Любовь къ женщинѣ—только одинъ изъ видовъ любви, но въ ней особенно ярко сказались всѣ свойства этого чувства. Любовь и нѣжность, измѣна и ревность, обманъ и месть, эгоизмъ и самоотреченіе—всѣ демоны и гении, всѣ пороки и добродѣтели человѣка сопровождаютъ это чувство и даютъ неисчерпаемый родникъ прозы и поэзіи, драмы и лирики. Любовь—прежде всего предпочтеніе. Такъ же непримиримо и убѣжденіе. «Случайный «гость» двухъ становъ»—отрицаніе основы спора. Все признавать, все примирять въ себѣ—значить, не имѣть личной формулы жизни и знанія. «Случайный гость всѣхъ становъ человѣческой борьбы» едва ли можетъ быть названъ человѣкомъ. Такое отношеніе было по плечу только лермонтовскому Демону. Онѣ

Презрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на челѣ его высокомъ
Не отразилось ничего.

Отсюда, не принадлежать ни къ одной партіи почетно только тогда, когда есть своя, болѣе широкая программа. Знать и таить такую программу про себя—уже далеко не такъ почетно. «Знаю, да не скажу»—чаще всего говорятъ тѣ, кто только маскируетъ свое незнаніе. «Графъ А. К. Толстой,—говорить одинъ критикъ,—ни по характеру своего таланта ни по особенностямъ своей натуры не принадлежитъ ни къ упорнымъ поклонникамъ старыхъ идеаловъ ни къ легко-вѣрнымъ сторонникамъ новыхъ порядковъ. Онъ стоитъ какъ бы на рубежѣ двухъ умственныхъ эпохъ Россіи, примиряя обѣ эпохи и внушая довѣріе обѣимъ»³⁾. Ни упорства въ старомъ ни легковѣрія въ новомъ... Какой завидный талантъ! Какая счастливая натура!

Въ самомъ дѣлѣ, тревожная работа мысли, отмѣтившая начало нашего вѣка, положила свой отпечатокъ на всѣ проявленія духовной жизни. Цѣлостность и законченность характера нерѣдко приносились въ жертву стройности мышленія. Одинокій и смѣлый мыслитель сталъ героемъ самыхъ жгучихъ, самыхъ любимыхъ драмъ и романовъ. Можно замѣтить, что любовь, какъ любовь къ женщинѣ, какъ патриотизмъ, какъ эгоизмъ и честолюбіе, волновала сердца людей сильнѣе, когда она соединялась съ вѣрой въ свою мысль, съ опредѣленными убѣжденіями. Даже любители легкаго чтенія получили склонность къ «идейнымъ» героямъ. Человѣкъ, который мѣтитъ только въ «кругъ неизмѣримый», не *vis* нашего времени, почти не мужчина. Анемичная мысль, которая гибка и несамостоятельна, какъ плющъ, который вьется вокругъ всякаго дерева, даетъ впечатлѣніе праздно-женственной мечтательности. Поэту и романисту новаго времени трудно игнорировать «убѣжденія». И гр. А. Толстой говорилъ о своихъ убѣжденіяхъ!..

Я васъ узналъ, святые убѣжденья,
Вы спутники моихъ минувшихъ дней,
Когда, за бѣглою не гоняясь тѣнью,
И думалъ я, и чувствовалъ вѣрнѣй,
И юною душою ясно видѣлъ.
Все, что любилъ, и все, что ненавидѣлъ!

Да, вѣра въ свою мысль имѣетъ всѣ права на любовь и ненависть. Но какое горькое, какое злое чувство должна бу-

³⁾ «Голосъ», 1875, № 279. X. Y. Z.

дить та бѣглая тѣнь, которая затуманила убѣжденія поэта! Какъ жаль, что долгіе годы онъ отдавалъ свою любовь не своей правдѣ! Что же онъ любилъ и что ненавидѣлъ? «Средь міра лжи, среди чужого міра» поэтъ сохранилъ свою правду, и, когда туманъ разсѣялся, онъ вышелъ на старую дорогу.

Попрежнему сіяетъ правды сила,
Ее сомнѣнья болѣ не затмятъ,
Неровный кругъ планета совершила.
И къ солнцу снова катится назадъ.
Зима прошла, природа зеленѣетъ,
Луга цвѣтутъ, весной душистой вѣетъ...

«Бѣглая тѣнь» разрѣшилась «торжественнымъ аккордомъ», но ни одного намека на сущность любви и ненависти, на содержаніе убѣжденій. Зачѣмъ механическое движеніе планеты, зачѣмъ весна, зачѣмъ эти вереницы яркихъ, но безсодержательныхъ образовъ? Этогъ гнѣвъ тихъ и мягокъ, эта любовь блѣдна и лѣнива. Нѣтъ, даже слово «убѣжденіе» здѣсь жертва чужому богу; это—иновѣрецъ, который читаетъ чужія молитвы съ страннымъ акцентомъ и съ ошибками въ удареніи. Это и понятно! для поэта «и кажись хорошо, а и лучше есть; а и худо кажись,—не безъ добраго». При такомъ взглядѣ на жизнь убѣжденіямъ нѣтъ мѣста.

Поэтъ, въ сущности, не имѣлъ никакого повода проповѣдывать мораль битвъ и житейскаго волненія; онъ искалъ въ жизни «сладкихъ звуковъ» и заставлялъ мелодично звучать даже «безотрадное сердце». Онъ любилъ красоту боевыхъ доспѣховъ, но самъ не былъ созданъ бойцомъ. *A la guerre comme à la guerre*, но онъ забываетъ надѣть передъ боемъ кольчугу, и что удивительнаго, если онъ скоро гибнетъ отъ раны. Правда, поэтъ сохранилъ боевую терминологию; только—«слова все тѣ же, но какъ-будто смыслъ другой»... Съ внѣшней схематической стороны поэтъ подмѣтилъ въ строеніи мысли и убѣжденій красивые штрихи и, отмѣтивъ ихъ, сдѣлалъ все, что могъ. Онъ не принималъ участія въ битвахъ, потому что хотѣлъ любоваться битвами.

Н. Соколовъ.

Гр. Алексѣй Толстой какъ сатирикъ ¹⁾).

I.

Графъ Алексѣй Толстой славился своимъ остроуміемъ.

На эту черту его темперамента и на эту грань его ума въ сборникѣ его стиховъ указаній очень мало. Величавый и торжественный тонъ его лирики и эпоса, трагическій пафосъ его драмъ допускають, правда, иногда вторженіе игровой мысли, остраго слова и каламбура; попадаютъ также, въ очень ограниченномъ количествѣ, пародіи и памфлеты, которые чувствуютъ себя не совсѣмъ ловко среди религиозныхъ и патріотическихъ балладъ и мечтательныхъ напѣвовъ. Иногда остроуміе и сарказмъ выдвигаются, какъ, на примѣръ, въ *Донъ-Жуанъ*, умышленно на первый планъ, для оттѣненія мистико-религіознаго смысла всего произведенія, но отъ такой перемѣны ключа и темпа художественность выигрываетъ мало. Въ четырехъ томахъ своихъ сочиненій Толстой, по волѣ издателей, лишь глубокомысленный пѣвецъ величавыхъ, возвышенныхъ настроеній. Онъ прячетъ свою улыбку, свою насмѣшку, ему, повидимому, нравится больше богъ Аполлонъ съ лирою въ рукахъ, чѣмъ съ колчаномъ ядовитыхъ стрѣлъ за спиною.

Но Толстой умѣлъ обращаться съ этими стрѣлами и на нихъ не скупился. Это хорошо извѣстно всѣмъ его почитателямъ, которые могли имѣть въ рукахъ изданныя за границу такъ-называемыя «запрещенныя» стихотворенія Толстого и имѣли случай читать его интимныя письма, недавно напечатанныя.

Сарказмъ и юморъ были не простымъ придаткомъ къ тому богатству духа, какимъ обладалъ гр. Толстой. Способность видѣть смѣшную и нелѣпую сторону жизни, жела-

¹⁾ «Вѣстникъ Европы», 1906 г., № 7.

ніе интересоваться ею были очень развиты въ немъ. Поэтъ, привыкшій понимать и жизнь личную и жизнь всего міра, какъ процессъ цѣлесообразный, человѣкъ, много думавшій надъ конечнымъ и временнымъ смысломъ бытія, онъ не могъ не спросить себя—какой же смыслъ кроется въ томъ, чтó, повидимому, не имѣетъ никакого смысла или есть видимое отрицаніе тѣхъ основныхъ положеній добра, справедливости и истины, на которыхъ онъ строилъ свое патетическое міропониманіе? Онъ охотно иронизировалъ надъ жизнью, изъ патетическаго тона впадалъ въ тонъ шутовской, мѣшалъ серьезное съ легковѣснымъ, разрѣшалъ иногда глубокій вопросъ неожиданно курьезнымъ образомъ.

Ироническій оттѣнокъ въ его стихахъ проступилъ бы очень явственно наружу, если бы мы имѣли, дѣйствительно, полное собраніе его стихотвореній и рядомъ съ патріотическими его балладами стояли бы его памфлеты изъ русской исторіи; если бы рядомъ съ его возвышенными псалмами (онъ самъ свою лиру назвалъ псалтирю) была помѣщена его знаменитая баллада о «Деларю»; если бы вслѣдъ за стихами, въ которыхъ такъ много задумчивости и грустной серьезности, шли афоризмы и пародіи Кузьмы Пруткова, и если бы, наконецъ, его удивительно томные и нѣжные мотивы могли быть дополнены стихотвореніями, въ которыхъ откровенный реализмъ становится иногда циниченъ. А Толстой писалъ такіе слишкомъ откровенные стихи и писалъ ихъ не мало, хотя и былъ готовъ «облить дегтемъ» стихи Мюссе, если бы онъ нашелъ ихъ на столѣ любимой имъ женщины.

Насмѣшка, иронія, шутка и смѣхъ—иногда смѣхъ ради смѣха—весь этотъ рядъ игривыхъ настроеній и мыслей, составляющихъ если не соль жизни, то, во всякомъ случаѣ, пикантную къ ней приправу,—въ будущемъ полномъ собраніи сочиненій нашего поэта долженъ быть хорошо представленъ, и тогда обликъ художника обрисуется вполне ясно.

II.

Сатирическія и «легкія» стихотворенія Толстого, помимо значенія, которое они могутъ имѣть, какъ матеріалъ для объясненія сложной психики поэта,—имѣютъ также не-

малую цѣну, какъ образцы русской стихотворной сатиры и веселой игривой пѣсни.

Они были написаны въ эпоху необычайно благоприятную (1855—70) для такихъ юмористическихъ пѣсенъ и рѣмой заостренныхъ сатиръ.

Со середины пятидесятихъ годовъ, вмѣстѣ съ разрѣшеніемъ говорить о серьезныхъ вещахъ, позволено было намъ и посмѣяться, и притомъ не въ кулакъ, не за спиной и не по поводу показаннаго пальца. Этою свободой смѣшливаго и остраго слова литература наша тогда широко воспользовалась. Рѣдкій журналъ не имѣлъ особаго отдѣла, въ которомъ онъ прозой, впережежку со стихами, не извиль и не смѣялся надъ тѣмъ, о чемъ серьезно трактовалъ въ руководящихъ статьяхъ и беллетристикѣ. Рѣдкій литераторъ, обладающій способностью писать стихи, не упускалъ случая сострить или съязвить на тему самую современную. Труднѣйшія задачи общественной и даже политической жизни пояснялись такими картинками въ формѣ балладъ, посланій, пѣсенъ, поэмъ, монологовъ и діалоговъ, эпиграммъ и надписей съ сатирическою подкладкой.

Нельзя, однако, сказать, чтобы наше общественное движеніе отъ этой сатиры много выиграло. Недрѣманное око цензуры, несмотря на нѣкоторое ослабленіе своего зрѣнія въ эти годы, оставалось все-таки довольно зоркимъ, и сатирикъ принужденъ былъ сдерживать свой языкъ. Но и помимо этого, среди сатириковъ-стихотворцевъ того времени не встрѣчалось людей, для которыхъ этотъ родъ творчества былъ бы истиннымъ поэтическимъ призваніемъ. Своего Беранже, Барбье, Джусти, своего Гейне мы не имѣли. Мы брали въ данномъ случаѣ скорѣе количествомъ, чѣмъ качествомъ.

Число сатириковъ было въ пятидесятихъ и шестидесятихъ годахъ, дѣйствительно, довольно внушительное.

И. И. Панаевъ—извѣстный подъ псевдонимомъ «Новаго Поэта»—писалъ пародіи на нашихъ классиковъ и иногда позволялъ себѣ слегка касаться общественныхъ темъ въ очень деликатной и сдержанной формѣ, къ которой его приучили литературные нравы сороковыхъ годовъ. Изысканный щеголь въ манерахъ, онъ и въ сатирѣ былъ изысканно вѣжливъ. Но сатира его была легкой *causerie*, и силы въ ней не было.

Н. Щербина, забывъ своихъ грековъ и римлянъ, на старости лѣтъ тоже записался въ сатирики. Онъ совсѣмъ отвыкъ отъ всякой античной граціи и спокойнаго созерцанія, былъ боленъ и сталъ желченъ. Общественныя дѣла и вопросы его интересовали мало; онъ былъ занятъ больше личностями и по адресу почти всѣхъ тогдашнихъ писателей наговорить много остроумныхъ дерзостей въ формѣ эпиграммъ, посланій и характеристикъ. Особенно невоздержанъ былъ онъ въ своемъ раздраженіи противъ молодыхъ прогрессистовъ, въ виду все болѣе и болѣе развивавшагося въ немъ эстетическаго консерватизма, который и обращалъ его сатиру въ простое брюзжаніе. Въ этой сатирѣ была сила, но только сила чисто внѣшняго хлесткаго слова.

Б. Алмазовъ, большой эстетикъ и любитель романтическихъ темъ, также былъ унесенъ волной стихотворнаго обличенія. Въ выборѣ темъ, какъ человѣкъ молодой и пылкій, онъ былъ смѣлъ и обладалъ безспорнымъ даромъ необычайно плавной и картинной рѣчи. Онъ былъ мастеръ не столько риѣмъ, сколько самаго стиха, и пародія давалась ему легко. За вычетомъ его нападокъ на самыя модныя и потому быстро испошлившіяся темы—въ родѣ бюрократизма вообще, взяточничества, лицемѣрія, празднаго либерализма, семейной неурядицы—его сатиры на тогдашнюю журналистику и его мѣткія характеристики литературныхъ партій были цѣнною новинкой, возбуждавшею откровенный смѣхъ, смѣхъ отъ души, но, въ сущности, смѣхъ весьма невинный.

В. С. Курочкинъ—извѣстный редакторъ «Искры»—умѣлъ смѣшнить лучше. Также виртуозъ стиха и риѣмы, онъ славился своими переводами, или, вѣрнѣе, переложеніями изъ Беранже, и самъ слѣдовалъ манерѣ своего учителя. Въ его стихахъ, въ общественномъ смыслѣ опять-таки весьма невинныхъ, много легкости и граціи, много даже нѣжныхъ оттѣнковъ, но удара настоящаго нѣтъ. Меньше шаржа, чѣмъ у другихъ, и больше психологической мотивировки; меньше натурализма и больше игривости въ темахъ «вольныхъ»; бóльшая живость темпа, но опять все тѣ же ходячіе мотивы будничнаго обличенія, скользящаго лишь по поверхности жизни.

Тѣми же достоинствами и недостатками отличалась и сатира Д. Минаева. Въ риѣмахъ поразительно колоритная, въ стихѣ нѣсколько тусклая, эта сатира совсѣмъ уже не вы-

ходила за предѣлы ежедневной житейской суеты и никакихъ общихъ типовъ съ общественнымъ смысломъ не давала. Судя по нѣкоторымъ стихамъ, Минаевъ не имѣлъ даже яснаго представленія объ этомъ общественномъ смыслѣ событій. Онъ былъ мастеръ острыхъ словъ, но не острой мысли.

Можно пожалѣть, что «Гейне изъ Тамбова» — тогда очень популярный псевдонимъ не менѣе теперь популярнаго П. И. Вейнберга — писать въ тѣ веселые годы такъ мало. Литераторъ съ большимъ вкусомъ и широкимъ литературнымъ образованіемъ, онъ забавлялъ своими остроумными и игривыми пѣснями, на которыхъ всегда лежала печать очень вышколеннаго вкуса. Пѣсни были вполне невинныя, иногда на мелкую злобу дня, но самъ авторъ, кажется, и не требовалъ отъ нихъ большаго.

Популярентъ, какъ обличитель, былъ тогда и Розенгеймъ, на поэзію котораго такъ недовѣрчиво смотрѣли наши либералы. Они были правы: сатира и веселая пѣсня совсѣмъ не подходили къ складу души этого мирнаго, мечтательно настроеннаго патріота. Человѣкъ съ искренней любовью къ поэзіи, недурной техники стиха и, какъ говорятъ знавшіе его люди, человѣкъ необычайно добрый и мягкій, онъ былъ совсѣмъ въ своей сферѣ, когда касался религіозныхъ и военно-патріотическихъ темъ, и не выходилъ изъ общихъ словъ и положеній, когда хотѣлъ своего читателя не растрогать, а натравить. Конечно, и ему, какъ опытному стихотворцу и литератору со вкусомъ, удавалось подчасъ написать удачное сатирическое стихотвореніе, которое очень нравилось.

Тогда же начиналъ свою литературную дѣятельность и В. П. Буренинъ, обнаруживая въ первыхъ своихъ стихотвореніяхъ очень искусную грань стиха и большой даръ пародій и комическаго таланта.

Къ этому перечню наиболѣе замѣтныхъ сатириковъ-стихотворцевъ и слагателей веселыхъ пѣсенъ нужно добавить и всѣхъ тѣхъ менѣе извѣстныхъ писателей, которые ютились при редакціяхъ сатирическихъ журналовъ и листковъ, столь тогда распространенныхъ. Эти сатирическіе журналы и листки, во главѣ съ «Искрой», представляли въ ихъ совокупности, безспорно, извѣстную общественную силу. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ тѣ годы съ ней считались. «Искра» и другіе листки внушали извѣстное безпокойство, можетъ-

быть даже страхъ, всёмъ тѣмъ, кто безчинствовалъ довольно явно. Но при опредѣленіи литературной стоимости и общественнаго значенія нашей стихотворной сатиры 50—60-хъ годовъ надо все-таки помнить, что прозаическіе фельетоны и статьи дѣйствовали успѣшнѣе и сильнѣе стихотворныхъ и что всё эти рѣмованныя сатирическія стрѣлы были сильны только въ ихъ скученности и при ихъ подавляющемъ количествѣ. Среди всѣхъ сатириковъ—крупнаго, истиннаго таланта, яркаго и бьющаго безъ промаха, не было. Онъ, по крайней мѣрѣ, не замѣтенъ въ тѣхъ стихахъ, которые проникли въ печать.

Всей этой мелкой сатирѣ, и прозаической и, въ особенности, рѣмованной, недоставало глубины взгляда и широты размаха. Можетъ-быть—помимо отсутствія сильныхъ талантовъ—это объясняется еще тѣмъ, что самый родъ легкой, живой сатиры не имѣлъ у насъ непосредственнаго прошлаго и былъ въ николаевское время низведенъ—по крайней мѣрѣ, при гласномъ своемъ обнаруженіи—до самой плоской шутки и каламбура.

Устанавливая такую относительно невысокую стоимость нашей сатиры въ ея недавнемъ прошломъ, надо, однако, помнить, что все, что при тогдашнихъ цензурныхъ условіяхъ и наличности талантовъ можно было сдѣлать, она сдѣлала. Она подбадривала, по мѣрѣ силъ, общественное настроеніе тѣхъ годовъ и веселила его. Этого нельзя сказать о той же стихотворной и легкой сатирѣ позднѣйшаго времени, которая свое подневольное положеніе вымещала почти исключительно на тѣсахъ, забнувшихъ дачникахъ, пьяныхъ купцахъ, кокоткахъ и спящихъ думскихъ дѣятеляхъ.

III.

Читатель, конечно, успѣлъ уже замѣтить, что въ числѣ вышепоименованныхъ сатириковъ-стихотворцевъ не названы ни Некрасовъ, ни Добролюбовъ, ни А. Толстой. Они не подходятъ подъ общую норму. Ихъ выдѣляетъ прежде всего ихъ безспорно сильный и оригинальный талантъ, а затѣмъ и ихъ отношеніе, какъ сатириковъ, къ окружавшей ихъ дѣйствительности.

Сатирическій талантъ Некрасова—первоклассный, но только его стихи никакъ не могутъ быть отнесены въ раз-

рядъ «легкой» поэзіи. Правда, въ ранней юности, въ 40-хъ и въ началѣ 50-хъ годовъ и затѣмъ въ послѣдніе годы (1870—1877) жизни, Некрасовъ писалъ шутливые и остроумные памфлеты, но въ эпоху общественной бури онъ былъ такъ серьезно и такъ печально настроенъ, что сатира его, вмѣстѣ съ Щедринской, была крикомъ негодованія, злобною филиппикой, стономъ, воплемъ, чѣмъ угодно, но только не остроумною шуткой, хотя бы и съ очень полновѣснымъ содержаниемъ.

Въ своемъ журналѣ эту роль злого насмѣшника Некрасовъ предоставилъ Добролюбову, лишь изрѣдка приходя ему на помощь. И выборъ редактора былъ въ данномъ случаѣ необычайно удаченъ. «Свистокъ» и его герой Конрадъ Лиліеншвагеръ, онъ же и Яковъ Хамъ, и проч. были первыми пионерами настоящей общественной сатиры легкаго типа. Необычайная серьезность и дѣловитость Добролюбова не помѣшали расцвѣту его истинно-сатирическаго таланта. Такъ много задатковъ широкой талантливости было въ этомъ человѣкѣ, который за свою краткую жизнь успѣлъ только намекнуть на то, что онъ былъ призванъ сказать и сдѣлать.

Извѣстно, какую сенсацию произвелъ «Свистокъ» и сколь многихъ онъ озлобилъ. И было основаніе сердиться на него. Его никакъ нельзя было упрекнуть въ пустомъ шутствѣ или въ легковѣсности—двухъ качествахъ, которыя въ другихъ сатирическихъ стихахъ могли всегда служить утѣшеніемъ для тѣхъ, въ кого сатира мѣтила. «Свистокъ» въ шутливой формѣ трактовалъ о самыхъ коренныхъ вопросахъ тогдашней общественной жизни и злилъ многихъ людей своими справедливыми нападками на тѣ ихъ убѣжденія и чаянія, которыя, какъ имъ казалось, стояли внѣ всякаго выстрѣла. Кто поднялъ на смѣхъ пресловутую «гласность», прикрывавшую все ту же традиціонную безгласность прежняго времени? Кто развѣнчалъ побѣдоносный «прогрессъ», о которомъ такъ много было крику среди толченія на одномъ мѣстѣ или попытокъ итти вслѣдъ? Кто «созрѣвшимъ» людямъ доказалъ, что они ребята? Кто мнимую ученость низвелъ на степень глупаго педантизма? Вообще, кто изъ современниковъ былъ такъ смѣлъ и кто былъ такъ зорокъ, что причину неустройствъ и золь искалъ не во внѣшнихъ преградахъ, а въ самыхъ людяхъ, призванныхъ на работу? Всѣ эти—теперь далеко не новыя—мысли показались въ «Свисткѣ»

необычайно дерзкими именно потому, что въ нихъ была заключена правда темной стороны тогдашняго историческаго момента.

Въ сравненіи съ этими словами — съ виду столь шутили-выми, а въ глубинѣ столь вѣскими — какъ мелки и незначительны должны были показаться преобладавшіе тогда сатирическія обличенія взяточниковъ, неисправныхъ или слишкомъ старательныхъ администраторовъ, бюрократовъ, самодовольныхъ и недовольныхъ, невѣжественныхъ купцовъ, кулаковъ, эксплуататоровъ, ростовщиковъ, глухихъ учителей, праздношатающихся кавалеровъ и дѣвицъ, гулякъ и камелій, хлыщей и либеральныхъ болтуновъ, т.-е. всѣхъ тѣхъ людей, отъ которыхъ можно было бы просто отмахнуться, если бы общественное обновленіе шло дѣйствительно по пути, указанному Добролюбовымъ.

Съ шутилыхъ пѣсень этого суроваго критика надо начинать исторію нашей общественной легкой сатиры, облеченной въ игривую стихотворную форму, такъ какъ онъ, трезвый прозаикъ, владѣлъ и этою формой въ совершенствѣ.

Прямыхъ продолжателей Добролюбовъ не имѣлъ (Щедринъ попыталъ свои силы въ томъ же «Свисткѣ», но стихи ему не давались), а всѣ его современники, какъ мы видѣли, избирали мишень болѣе легкую и близкую.

Исключеніемъ былъ лишь гр. А. Толстой.

Онъ и въ этой области своего поэтическаго творчества, какъ во всѣхъ другихъ, сумѣлъ сохранить за собой особую позицію. Она была уже потому особая, что на ней не было знамени опредѣленной партіи. Большинство, если не всѣ, изъ сатириковъ тѣхъ годовъ шли подъ флагомъ ясно либеральнымъ. Либеральна, если ужъ употреблять это измоставшееся слово, была и основная тенденція сатиры Толстого, но что-то въ ней было особое, отличное отъ общепринятаго образца, что, вопреки всякой справедливости, утвердило во мнѣніи большинства понятіе о Толстомъ, какъ о сатирикѣ ретрограднаго лагеря. Дѣйствительно, кто при словѣ «сатира Толстого» не вспоминаетъ прежде всего «Потока-Богатыря» и «Порой веселой мая» — этихъ двухъ самыхъ злыхъ пародій на нашихъ радикаловъ?

Такое ходячее мнѣніе о Толстомъ, какъ о сатирикѣ, требуетъ не одной только оговорки, но и поправки.

IV.

Алексѣй Константиновичъ писалъ пародіи, шутки и сатиры при случаѣ и съ нѣкоторою небрежностью относился къ этому своему дару. Если собрать все имъ написанное въ этомъ родѣ, то составитъ сборничекъ довольно тощій.

При составленіи такого сборника надо, однако, соблюдать большую осторожность. Извѣстность, которую приобрѣлъ Толстой, какъ сатирикъ, заставила многихъ приписывать ему стихи, въ которыхъ онъ былъ невиновенъ. Такъ случилось, между прочимъ, со знаменитою «Федорушкой», имѣвшею большой успѣхъ въ нелегальной печати.

«Я попался,—писалъ Толстой,—между двухъ огней, обвиняемый Л... и Т... въ революціонныхъ мысляхъ, а сапожниками-фельетонистами—въ ретроградныхъ... Оба противоположныя мнѣнія согласны въ томъ, что я виновенъ. Я—который пахну фіалками!.. Вы требуете, чтобы я публично отрекся отъ нѣкоторыхъ стихотвореній, приписываемыхъ мнѣ. Неужто же это все «Федорушка», которую мнѣ прислали съ вопросомъ—моя ли она, или нѣтъ? Нѣтъ, не моя; я никогда ничего не писалъ безъ подписи. Авторъ пишетъ дурные стихи и сваливаетъ ихъ мнѣ на плечи». (Письмо изъ Дрездена 1871 г., 20 декабря. «Вѣстникъ Европы» 1895, XI, стр. 184.)

Шуточные стихи и сатиры Толстого, появляясь неожиданно, въ сроки иногда другъ отъ друга очень отдаленные, не объединены какою-нибудь общою тенденціей. Авторъ не дѣлалъ ихъ орудіемъ борьбы серьезной и обдуманной. Онъ шутилъ ими, такъ какъ, по собственному признанію, былъ «шутливъ отъ природы», но, какъ у человѣка большого ума и остраго взгляда, его набѣжавшая шутка была часто и острѣе и сильнѣе, чѣмъ сознательно написанная и продуманная сатира любого присяжнаго остроумца-обличителя.

Будущій собиратель и издатель шуточныхъ стиховъ Толстого столкнется поэтому съ нѣкоторою трудностью, если попытается сгруппировать ихъ по содержанію, не придерживаясь внѣшняго хронологическаго порядка. Группировать плоды художественнаго каприза, дѣйствительно, нелегко. Въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ съ перваго взгляда смысла не доищешься; есть и такіе, въ которыхъ за видимою безсмыслицей какъ-будто что-то и кроется.

Оставимъ пока ихъ въ сторонѣ и обратимся къ тѣмъ, смыслъ которыхъ вполне ясенъ.

V.

.....
 Языкъ держать привыкъ я строго
 И повторяю каждый день:
 Нѣтъ власти, аще не отъ Бога.
 Не намъ понять высокихъ мѣръ,
 Творцомъ внушаемыхъ вельможамъ;
 Мы изъ исторіи примѣръ
 На этотъ случай выбрать можемъ:
 Передъ Шуваловымъ свой стягъ
 Склонялъ великій Ломоносовъ,
 Я жъ — другъ властей и вѣчный врагъ
 Такъ-называемыхъ вопросовъ ²⁾.

«Врагъ такъ-называемыхъ вопросовъ», не желающій критиковать распоряженія начальства, прикинулся большимъ скромникомъ. Именно, по самымъ знаменательнымъ вопросамъ своего времени наговорилъ Толстой много дерзостей и тѣмъ людямъ, которые, яко власть имущіе, эти вопросы рѣшали, и тѣмъ, которые не желали слышать ни о какомъ рѣшеніи, не отъ ихъ мудрости исходящемъ.

Толстому въ извѣстномъ лагерѣ всегда ставили въ упрекъ его отношеніе къ молодому поколѣнію прогрессистовъ 60-хъ годовъ. Упрекъ кажется вполне основательнымъ, если не считаться съ условіями того времени, съ особымъ фанатичнымъ культомъ поэзіи, за права которой Толстой, собственно, и заступался, и—главное—если сбросить со счетовъ все тѣ стихотворенія, въ которыхъ нашъ сатирикъ расправляется уже не съ молодежью, а съ ея самыми опредѣленными врагами. Если же со всеми этими фактами посчитаться, то, можетъ-быть, антипрогрессивные стихи Толстого окажутся совсемъ не столь виновными въ «непониманіи» серьезныхъ сторонъ тогдашняго общественнаго движенія.

Эти стихи столь извѣстны, что останавливаться на нихъ долго нѣтъ нужды. Да и всѣхъ-то этихъ стиховъ—всего двѣ баллады и одна пѣсня.

²⁾ Изъ шуточнаго стихотворенія: «Посланіе къ Ѳ. М. Толстому». Красный-Рогъ, 1869, 14 января. «Русская Старина», 1887, т. LV, 144—5.

Баллада Порой веселой мая заслужила вполне справедливыя порицанія. Авторъ хотѣлъ поразить «россійскую коммуну» и разсказалъ ни съ чѣмъ несообразную сказку, въ которой вмѣсто острой мысли была лишь «легкая» мысль или просто легкомысліе. Свести обвиненія противъ матеріалистовъ, нигилистовъ, демагоговъ и анархистовъ къ тому, что эти люди хотятъ загадить все изящное въ жизни во имя общаго блаженства,—значило взвести на нихъ большую напраслину, точно такъ же какъ рекомендовать орденъ Станислава, какъ панацею противъ ихъ разрушительныхъ тенденцій, значило сказать непристойность.

Впрочемъ, имѣемъ ли мы право относиться къ этой балладѣ серьезно, какъ къ ней обыкновенно относятся, когда порицаютъ за нее Толстого? Можетъ-быть, это — самая обыкновенная бутада безъ всякой претензіи, шаржъ, прочитанный въ дружеской компаніи. Но одно въ этой балладѣ характерно, это—то, что сатирикъ не нашелъ иного обвиненія для ненавистныхъ ему людей, какъ обвиненіе во враждѣ къ искусству, точно у нихъ не было иныхъ грѣховъ, гораздо болѣе тяжкихъ въ общественномъ смыслѣ. Имѣй Толстой въ виду серьезную выходку противъ радикаловъ, онъ по пустякамъ не сталъ бы къ нимъ привязываться, потому что извѣстно, что всѣ ультра-радикалы, уравниатели и демагоги на Западѣ никогда не отрицали культурнаго значенія эстетическихъ эмоцій человѣка.

Несравненно серьезнѣе и злѣе и умнѣе, чѣмъ эта баллада, другая—извѣстный Потокъ,—въ свое время пользовавшаяся огромнымъ успѣхомъ ³⁾.

Балладу эту нельзя считать чисто-ретроградною по основной ея мысли. Она не имѣетъ никакого цвѣта и одинаково враждебно относится ко всѣмъ яркимъ краскамъ. Деспотизмъ и консерватизмъ въ ней осмѣяны такъ же злобно и остроумно, какъ и крайности либерализма худого тона. Нельзя, въ самомъ дѣлѣ, обвинить автора въ ретроградномъ образѣ мыслей только за то, что онъ не желаетъ видѣть въ отъявленномъ негодяѣ страдающаго меньшого брата, не желаетъ согласиться съ тѣмъ, что Господь Богъ есть

³⁾ «Онъ имѣетъ громадный успѣхъ во всѣхъ слояхъ общества». Письма Б. М. Маркевича къ А. К. Толстому, 119.

видъ кислорода, не желаетъ на брюхѣ лежать передъ мужикомъ, и въ дѣвицахъ-медицкахъ желалъ бы найти больше вниманія къ ихъ туалету. Обвинить уже потому нельзя, что рядомъ съ этимъ либеральнымъ Петербургомъ достается и «ханской» Москвѣ не меньше, и самъ авторъ откровенно признается, что онъ—сторонникъ и суда присяжныхъ, и мужика, который не пропиваетъ урожая, и сторонникъ здраваго русскаго вѣча. Онъ говоритъ даже больше: онъ соглашается, что и чепуху подчасъ пороть можно и что въ этой чепухѣ попадаютъ иной разъ жемчужныя зерна, т.-е. онъ дѣлаетъ уступку, которую никогда не сдѣлалъ бы озлобленный сатирикъ и которую обязанъ сдѣлать справедливый историкъ.

Извѣстное стихотвореніе Противъ теченія, на которое также указываютъ, какъ на собственное признаніе автора въ томъ, что онъ плылъ противъ теченій своего времени, сатирой названо быть не можетъ. Это—прелестный гимнъ искусству въ мажорномъ тонѣ, и именно въ этомъ стихотвореніи раскрывается источникъ всего того раздраженія, которое охватывало поэта, когда онъ присматривался къ молодому поколѣнію своего времени. Онъ былъ сердитъ на него, какъ художникъ, какъ прирожденный, фанатичный эстетикъ и философъ-идеалистъ, который боялся (совсѣмъ, впрочемъ, неосновательно) за судьбу «безконечныхъ» началъ въ сердцѣ и сознаніи человѣка, слишкомъ занятаго будничными практическими вопросами.

Любопытно, что это стихотвореніе Толстого стало любимымъ номеромъ на программахъ разныхъ литературно-музыкальных вечеровъ, устраиваемыхъ молодежью. Совсѣмъ не замѣчая основной тенденціи стихотворенія (такъ она невинна), молодежь желала слышать въ немъ одинъ лишь призывъ къ борьбѣ за свои идеалы и потому всегда рукоплескала словамъ:

Други, гребите! Напрасно хулители
Мнятъ оскорбить насъ своею гордынею.
На берегъ вскорѣ мы, волнъ побѣдители,
Выйдемъ торжественно съ нашей святынею.
Верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное,
Вѣрою въ наше святое значеніе—
Мы же возбудимъ теченіе встрѣчное
Противъ теченія.

Быстрый подъемъ радикальной мысли и, главное, темперамента огорчалъ Толстого и сердилъ, во-первыхъ, какъ неприятный симптомъ некритическаго и несвободнаго отношенія людей къ теоріи, которую они исповѣдуютъ, и, во-вторыхъ, главнымъ образомъ, какъ показатель упадка въ молодомъ поколѣніи эстетическаго пониманія и чувства.

Что Толстой, именно какъ художникъ, нападалъ на радикаловъ, уважалъ ихъ убѣжденія, но требовалъ критическаго и свободнаго къ нимъ отношенія,—это онъ высказалъ очень ясно въ одномъ письмѣ къ Я. П. Полонскому. Дѣло идетъ о томъ, какъ нѣмцы и какъ наша молодежь относятся къ одному и тому же ученію.

«Матеріалистическое направленіе здѣсь слабо,—пишетъ Толстой.—Надъ Бюхнеромъ ученые смѣются. Я бы желалъ, чтобы наши нигилисты послушали здѣшнихъ ученыхъ. Отзывы ихъ о матеріализмѣ немножко бы отрезвили извѣстный вамъ классъ людей... Когда я спросилъ, почему у Бюхнера столько изданій, мнѣ отвѣчали: «Извините за неучтывую правду, но его изданія только и идутъ въ Россію и въ Венгрію, въ полуобразованныя страны, а у насъ мода на этихъ господъ давно прошла, мы для матеріализма слишкомъ серьезны и слишкомъ уважаемъ науку, которая не должна переступать свои границы». Вотъ разница между людьми дѣйствительно либеральными и дѣйствительно учеными—и тѣми, которыхъ можно бы назвать у насъ: *les parvenus de la science ou de libéralisme* ⁴⁾.

Очевидно, что именно это уваженіе къ серьезности, съ какой человѣкъ относится къ жизни, заставило Толстого написать при другомъ случаѣ такія не совсѣмъ въ его устахъ обычные строки:

«Какіе звѣри,—пишетъ онъ изъ Карлсбада въ 1871 г.,—тѣ, которые обидѣлись на Базарова. Они должны были бы поставить свѣчку Тургеневу за то, что онъ выставилъ ихъ въ такомъ прекрасномъ видѣ. Если бы я встрѣтился съ Базаровымъ, я увѣренъ, что мы стали бы друзьями, несмотря на то, что мы продолжали бы спорить» ⁵⁾.

Вѣроятно, однако, что онъ сталъ бы спорить съ Базаровымъ обо всемъ, но только не о Пушкинѣ и не объ искус-

⁴⁾ Письмо изъ Дрездена, 1868—71, «Русская Старина», 1884, XI, 195—6.

⁵⁾ «Вѣстникъ Европы», 1897, VII, 106.

ствѣ. Онъ, какъ видно изъ его писемъ, не могъ объ этомъ говорить спокойно съ людьми даже менѣе радикальными. «Вся наша критика находится въ рукахъ одной клики, за рѣдкими и робкими исключеніями,—пишетъ онъ раздраженно въ 1869 г.—Девизъ этой клики—«война искусству». Будемъ обходиться и безъ ихъ мнѣнія» ⁶⁾.

И годомъ раньше онъ ту же мысль высказывалъ въ письмѣ къ Полонскому. «Мы съ вами—не послѣдніе могикане искусства,—писалъ онъ:—оно не умереть и не можетъ умереть, какъ бы тамъ ни старались разные Чернышевскіе, Писаревы, Стасовы (?), Корфы (?) и такъ далѣе, кто прямо, кто косвенно. Убить искусство такъ же легко, какъ отнять дыханіе у человѣка подъ тѣмъ предлогомъ, что оно—роскошь и отнимаетъ время даромъ, не вертитъ мельничныхъ колесъ и не раздуваетъ мѣховъ» ⁷⁾.

И вездѣ и всегда такъ. Въ Толстомъ, когда онъ говоритъ о своемъ времени, возмущенъ прежде всего, и почти исключительно, художникъ. Публициста и политика въ его рѣчахъ совсѣмъ не слышно. Судить—поэтъ, онъ же и негодуетъ и любитъ.

Когда его хорошій пріятель, и даже другъ, Болеславъ Маркевичъ—авторъ романовъ съ несомнѣнною ретроградною тенденціей и одинъ изъ непримиримыхъ обличителей «нигилистовъ»—спрашивалъ Толстого, какое на него впечатлѣніе произвело одно его твореніе, Толстой не пошелъ дальше чисто-литературной оцѣнки. Онъ говорилъ Маркевичу, что его «нигилистъ»—лицо, которое «живетъ и дышитъ», что онъ далъ образчикъ отличнаго физиологическаго этюда, но что слишкомъ много показалъ свою собственную фізіономію и не былъ достаточно «объективенъ» ⁸⁾.

Когда Толстому попался въ руки романъ Ключникова «Марево»—опять-таки романъ съ ясною обличительною и ретроградною тенденціей,—этотъ въ художественномъ отношеніи слабый разсказъ раздражилъ его необычайно: «Читаю теперь «Марево»,—пишетъ онъ.—Это чортъ знаетъ чтó. И талантъ есть, и нѣкоторыя удачныя описанія, и кое-какія хорошія выраженія, рядомъ съ сильнымъ лакействомъ... Все это вер-

⁶⁾ «Вѣстникъ Европы», 1895, XI, 166.

⁷⁾ «Русская Старина», 1884, XI, 196.

⁸⁾ «Вѣстникъ Европы», 1895, X, 649; 1897, VI, 633.

тится на недавнихъ событіяхъ, и потому какъ-будто представляетъ какой-то интересъ. Авторъ переищаголяя даже Кохановскую новостью языка... Ключниковъ — человѣкъ съ настоящимъ талантомъ, но онъ имъ орудуетъ какъ акробатъ»⁹⁾.

Во всѣхъ этихъ сужденіяхъ виденъ только художникъ, цѣнитель стиля и образовъ, а никакъ не публицистъ, еще симпатизирующий будто бы основной идеѣ такихъ боевыхъ романовъ.

Иногда, впрочемъ, нашъ эстетикъ, когда ему вдругъ невзначай случилось набрести на «нигилиста», пугался и готовъ былъ въ этомъ таинственномъ незнакомцѣ (а «нигилистъ» и въ 60-хъ годахъ былъ для многихъ таинственной личностью) видѣть нѣчто страшное и стихійное. Есть въ его перепискѣ по этому поводу очень характерныя строки, въ которыхъ такъ и чувствуешь, какъ эстетикъ содрогается передъ фантомомъ «нигилизма». «Шесть часовъ утра,—пишетъ онъ;—я только-что выходилъ на балконъ, но ничего не могъ разсмотрѣть. Такой туманъ, что онъ даже помѣшалъ бы Ромео разсмотрѣть Джульетту на полъ-аршина разстоянія. Пѣтухи на селѣ продолжаютъ орать вдаль, но они ничего этимъ не доказываютъ. Точно конецъ свѣта или Нифельгеймъ скандинавовъ. Ни дерева ни повара на кухнѣ. Ничего. Это — идеаль нигилистовъ; къ тому же, что-то сырое падаетъ вамъ на голову»¹⁰⁾.

Но кто они были, эти нигилисты?—разрѣшено спросить, и, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, пришлось бы написать цѣлое историческое изслѣдованіе. Одно только извѣстно: «нигилизмъ» пугалъ современниковъ и пугалъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ шире были толкованія этого загадочнаго понятія. Толстой стоялъ не одиноко, когда съ опасеніемъ слѣдилъ за развитіемъ ультра-радикальныхъ взглядовъ и настроеній, которые какъ-будто предвѣщали, ну если не конецъ свѣта, то вихрь отрицанія и разрушенія. И не одни консерваторы и поклонники уютной косности раздѣляли съ нимъ эти опасенія.

Чтобы вѣрно судить о томъ положеніи, какое Толстой занялъ по отношенію къ крайнимъ нашимъ партіямъ въ

⁹⁾ Письмо отъ 11-го іюля 1864, изъ Карлсбада. «Вѣстникъ Европы», 1897, VI, 619.

¹⁰⁾ Письмо 1869 г. «Вѣстникъ Европы», 1895 г., XI, 172—3.

60-хъ годахъ, надо держать въ умѣ нѣсколько историческихъ справокъ; надо вспомнить, напримѣръ, какъ Герценъ отнесся къ «желчевикамъ» и какія колкости онъ говорилъ Чернышевскому, какъ Кавелинъ сравнивалъ Добролюбова съ очковою змѣей, какъ Тургеневъ непристойно бранилъ того же Чернышевскаго и Добролюбова, какъ, наконецъ, Салтыковъ расправлялся съ «вислоухими» изъ «Русскаго Слова»...

Если не упускать изъ виду этихъ историческихъ справокъ, то и сатиры Толстого не будутъ нуждаться въ оправданіи.

VI.

Но эти справки забываются; забываются и тѣ стихотворенія автора, тѣ его шутки и сатиры, которыя бьютъ по консервативному лагерю. Эти сатиры почему-то не включены въ полное собраніе его сочиненій, хотя большинство ихъ и напечатано въ Россіи въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ. А перепечатать ихъ нужно, хотя бы во имя безпристрастія.

Политическая и общественная сатира Толстого захватываетъ сферу довольно широкую. Она мѣтитъ и въ нашъ государственный порядокъ, въ его цѣломъ, и въ опору этого порядка—въ бюрократическую машину. Конечно, кругъ, въ которомъ поэтъ вращался, и возможность получить приглашеніе прочитать свои новые стихи въ аудиторіи особъ очень высоко поставленныхъ—держали языкъ поэта нѣсколько на привязи. Его сатира необычайно корректна и деликатна въ своихъ выраженіяхъ и очень тонка въ своихъ намекахъ. Но отъ этого сущность ея и сила не страдаютъ.

Припомнимъ нѣкоторыя изъ этихъ шутокъ.

Сколь многіе утѣшали себя, въ тѣ годы «прогресса», нашею молодостью и видами на блестящее будущее, которое должно искупить весь безпорядокъ настоящаго! Это была ходкая тогда тема. Она имѣла за собою долю правды, когда о ней говорили люди живого труда. Но, вѣдь, были другіе люди, которые на такой надеждѣ готовы были уснуть, какъ на мягкой подушкѣ: отчего было не разбудить этихъ людей, хотя бы и очень радикальнымъ способомъ:

Сидятъ подъ балдахиномъ
Китаецъ Дцу-Кинь-Дцинъ
И молвить мандаринамъ:

«Я — главный мандаринъ.
Велѣлъ владыко края
Мнѣ вашъ спросить совѣтъ,

Зачѣмъ у насъ въ Китаѣ
Досель порядка нѣтъ?
Китайцы всѣ присѣли,
Задами потрясли,
Гласятъ: «Затѣмъ досель
Порядка нѣтъ въ земли,
Что мы, вѣдь, очень млады,
Намъ тысячъ пять лишъ лѣтъ,—
Затѣмъ у насъ нѣтъ складу,

Затѣмъ порядку нѣтъ.
Клянемся разнымъ чаемъ,
И желтымъ и простымъ,
Мы много общаемъ
И много совершимъ». —
«Мнѣ ваши рѣчи милы,—
Отвѣтилъ Дцу-Кинь-Дцинъ,—
Я убѣждаюсь силой
Столь явственныхъ причинъ.

Подумаешь, пять тысячъ,
Пять тысячъ только лѣтъ!»
И приказалъ онъ выстѣчъ
Немедля весь совѣтъ ¹¹⁾.

Другая шутка съ такою же граціей старалась разсѣять не менѣе опасную иллюзію—вѣру въ наше, какъ говорилось, культуртрегерство. Каткову, Черкасскому, Самарину и Маркевичу посвящена эта милая пѣсня «объ арапахъ» ¹²⁾.

Друзья, ура! Въ единство
Сплотимъ Святую Русь.
Различій, какъ безчинства,
Народныхъ я боюсь.

Страшась съ Катковымъ драки,
Я на ухо шепну,
Что есть у насъ поляки,
Но также *entre-pous*.

Катковъ сказалъ, что, дескать,
Терпѣть ихъ — это грѣхъ;
Ихъ надо тискать, тискать
Въ московскій обликъ всѣхъ.

И многими другими
Обилень нашъ запасъ;
Какъ жаль, что между ними
Араповъ нѣтъ у насъ!

Ядро у насъ—славяне,
Но есть и вотяки,
Башкирцы и армяне
И даже калмыки,

Тогда бы князь Черкасской,
Усердіемъ великъ,
Имъ мазалъ бѣлой краской
Ихъ неуказный ликъ.

Есть также и грузины,
Конвою цвѣтъ и честь,
Есть латыши и финны
И шведы также есть.

Съ усердіемъ столь же смѣлымъ
И съ помощью воды
Самаринъ теръ бы мѣломъ
Ихъ черные зады.

Недавно и ташкентцы
Живутъ у насъ въ плѣну;
Признаться ль?.. Есть и нѣмцы,
Но это *entre-pous*.

Катковъ, нашъ герцогъ Альба,
Имъ удлинялъ бы носъ;
Маркевичъ восклицалъ бы:
«Осанна... Аксіось!»

А можетъ-быть, мы захотимъ послушать, какъ нашъ литераторъ дерзалъ писать своему начальству?—тогда лучше

¹¹⁾ Въ письмѣ отъ 15 апрѣля 1869 г. «Вѣстникъ Европы», 1896 г. X, 657—8.

¹²⁾ «Русская Старина», 1887, LIII, 512—514. Сравни также «Русская Старина», 1886, X, 233—4. Въ этой редакціи она названа «Единство».

всего заглянуть въ посланіе Толстого къ М. Н. Лонгинову «о дарвинизмѣ», съ которымъ цензура никакъ не хотѣла согласиться:

Способъ, какъ творилъ Создатель,
Что считалъ Онъ болѣе кстати,—
Знать не можетъ председатель
Комитета о печати.

Ограничивать такъ смѣло
Всесторонность Божьей власти,—
Вѣдь, такое, Миша, дѣло
Пахнетъ ересью отчасти.

Вѣдь, подобные примѣры
Подавать неосторожно,
И тебя за скудость вѣры
Въ Соловки сослать бы можно...

Или вотъ еще одинъ образчикъ:—Наука

Льетъ на міръ потоки свѣта
И, слѣдя, какъ въ тѣмѣ лазурной
Ходятъ Божіи планеты
Безъ инструкціи цензурной,—

Кажетъ намъ, какъ та же сила,
Вся въ иную плоть одѣта,
Въ область разума вступила,
Не спросая у комитета.

Брось же, Миша, устрашенья!
У науки нравъ не робкій,
Не заткнешь ея теченья
Ты своей дрянною пробкой.

Та же убійственная острота при удивительной деликатности и въ сатирахъ: «Сонъ статскаго совѣтника Попова» и «Русская исторія отъ Гостомысла».

«Сонъ Попова»—лучшая и самая художественная изъ всѣхъ нашихъ сатиръ-стихотвореній, направленныхъ противъ бюрократіи. Она, кромѣ того,—историческій документъ, такъ какъ главное дѣйствующее лицо списано съ натуры. Какъ часто, въ самомъ дѣлѣ, можно было подслушать въ тѣ годы такія «ясныя» рѣчи либеральнаго начальства:

Искать себѣ не будемъ идеала,
Ни основныхъ общественныхъ началъ
Въ Америкѣ. Америка отстала:
Въ ней собственность царить и капиталъ.
Британія строй жизни запятнала
Законностью. А я ужъ доказалъ—

Законность есть народное стѣсненіе,
 Гнуснѣйшее межъ всѣми преступленіе!
 Нѣтъ, господа! Россіи предстоитъ,
 Соединивъ прошедшее съ грядущимъ,
 Создать, коль смѣю выразиться, видъ,
 Который называется присущимъ
 Всѣмъ временамъ, и, ставъ на свой гранитъ,
 Имущимъ, такъ-сказать, и неимущимъ
 Открыть родникъ взаимнаго труда...
 Надѣюсь, вамъ понятно, господа?

А страшное Третье Отдѣленіе, въ первый разъ попадающее на страницы литературы! Толстой былъ единственнымъ нашимъ сатирикомъ, который не остановился въ молчаніи передъ дверьми этого учрежденія. До насъ донеслись даже рѣчи, которыя никогда не предназначались для печати. Лазоревый полковникъ, утирая слезы, говорилъ несчастному Попову, заподозрѣнному въ либерализмъ:

Но, юный другъ, для набожныхъ сердецъ
 Къ отверженнымъ не можетъ быть презрѣнья,
 И я хочу вамъ быть второй отецъ,
 Хочу вамъ дать для жизни наставленье.
 Заблудшихъ такъ приводимъ мы овецъ
 Со дна трущобъ на чистый путь спасенья.
 Откройте мнѣ, равно какъ на духу:
 Чтó привело васъ къ этому грѣху?
 Конечно, вы пришли къ нему не сами,
 Характеръ вашъ невиненъ, чистъ и прямъ.
 Я помню, какъ дитей, за мотыльками
 Порхали вы средъ кашки по лугамъ...
 Нѣтъ, юный другъ, вы ложными друзьями
 Завлечены. Откройте же ихъ намъ.
 Кто вольнодумцы? Всѣхъ ихъ назовите
 И собственную участь облегчите.

И несчастный Поповъ не устоялъ:

Пошелъ строчить (какъ люди въ страхѣ гадки!)
 Именъ невинныхъ цѣлые десятки:
 Явились тутъ на нѣсколькихъ листахъ
 Какой-то Шмидтъ, два брата Шилаковы,
 Зерцаловъ, Палкинъ, Савичъ, Розенбахъ,
 Потенчиковъ, Гудимъ-Бодай-Корова,
 Делаверганжъ, Шульгинъ, Страженко, Драхъ,
 Грай-Жеребецъ, Бабковъ, Ильинъ, Багровый,
 Мадамъ Гриневицъ, Глазовъ, Рыбинъ, Штихъ,
 Бурдюкъ-Лишай—и множество другихъ.
 Поповъ строчилъ съ плеча и безъ оглядки.

Попались въ списки лучшіе друзья...

Я повторю: «Какъ люди въ страхъ гадки:

Начнутъ, какъ Богъ, а кончатъ, какъ свинья!»

Но, къ счастью, всѣ друзья Попова остались цѣлы. Все это—и безпшанный его либерализмъ, и пріемная министра, и лазоревый полковникъ, и недостойное поведеніе Попова въ Третьемъ Отдѣленіи,—все было лишь сонъ, смѣшной, нелѣпый сонъ. Но чей же сонъ? Быть-можетъ, Попова, но отнюдь не русскаго обывателя. Для него всѣ эти фантомы были дѣйствительностью.

Сатира Толстого иногда расширялась до цѣлой исторической картины, и художникъ, вопреки правилу Кузмы Пруткова, хотѣлъ «объять необъятное». Въ 83-хъ куплетахъ начерталъ онъ русскую исторію отъ Гостомысла до Тимашева—своего рода стихотворный фокусъ. Онъ имѣетъ свои литературныя достоинства въ нѣкоторыхъ куплетахъ, въ которыхъ набросаны характеристики русскихъ государей, но въ общемъ сатира слаба именно въ виду отсутствія въ этихъ портретахъ рѣзкихъ чертъ того или другого характера.

Наиболѣе удачны характеристики Петра и Екатерины:

Царь Петръ любилъ порядокъ,
Почти какъ царь Иванъ,
И также былъ онъ сладокъ,
Порой бывалъ и пьянъ.
Онъ молвилъ: «Мнѣ васъ жалко,
Вы сгинете въ конецъ,
Но у меня есть палка,
И я вамъ всѣмъ отецъ.
Не далѣе какъ къ святкамъ
Я вамъ порядокъ дамъ».
И тотчасъ за порядкомъ
Уѣхалъ въ Амстердамъ.
Вернувшись оттуда,
Онъ гладко насъ обрилъ,
А къ святкамъ такъ, что чудо,
Въ голландцевъ нарядилъ.
Но это, впрочемъ, въ шутку,—
Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню.

Хотя силенъ ужъ очень,
Быть-можетъ, былъ пріемъ;
А все жъ довольно проченъ
Порядокъ былъ при немъ...
.....
Веселая царица
Была Елисаветъ:
Поетъ и веселится,
Порядку только нѣтъ.
Какая жъ тутъ причина
И гдѣ же корень зла,
Сама Екатерина
Постигнуть не могла.
«Madame, при васъ на диво
Порядокъ зацвѣтетъ,—
Писали ей учтиво
Вольтеръ и Дидеротъ,—
Лишь надобно народу,
Которому вы мать,
Скорѣе дать свободу,
Скорѣй свободу дать».

«Messieurs,—имъ возразила

Она,—vous me comblez!»

И тотчасъ прикрѣпила

Украинцевъ къ землѣ.

Впрочемъ, самое жало сатиры заключается не въ этихъ историческихъ портретахъ, а въ припѣвѣ, который подъ каждымъ изъ нихъ подписанъ: «Земля наша обильна, порядка жъ нѣтъ какъ нѣтъ!» На этихъ словахъ обрывается и русская исторія въ 1868 году, когда «порядокъ былъ водворенъ» Тимашевымъ.

Но легко догадаться, что и послѣ Тимашева пѣсню можно было начать пѣть сначала.

VII.

Эти образцы политической и общественной сатиры Толстого показываютъ ясно, насколько вѣренъ остался онъ своему принципу свободы, издѣваясь надъ бюрократами и правителями и въ то же время глумясь надъ крайними радикалами. «Двухъ становъ не боецъ», онъ и здѣсь стоялъ на нейтральной позиціи, тѣмъ болѣе, что къ сатирѣ своей онъ относился любовно, но не со страстью.

Его сатиры, дѣйствительно, продиктованы ему не гнѣвомъ, а его веселымъ нравомъ, и если онѣ, тѣмъ не менѣе, полны смысла, то потому, что писалъ ихъ выдающійся по уму человѣкъ.

Этотъ умъ блеститъ и въ его чисто шуточныхъ стихотвореніяхъ.

Толстой писалъ ихъ много. Нѣкоторыя удостоились большой извѣстности, другія схоронены въ его частной перепискѣ. О нихъ нужно вспомнить.

Наиболѣе популярное изъ этихъ стихотвореній—извѣстная баллада о камергерѣ Деларю. Такъ какъ она не вошла въ полное собраніе стихотвореній поэта, а между тѣмъ, подала поводъ другому большому остроумцу, Владимиру Соловьеву, высказать нѣсколько необычайно вѣрныхъ сужденій о шуткѣ Толстого, то мы эту балладу напомнимъ:

Вонзилъ кинжалъ убійца нечестивый
Въ грудь Деларю.
Тотъ, шляпу снявъ, сказалъ ему учтиво:
«Благодарю».
Тутъ въ лѣвый бокъ ему кинжалъ ужасный
Злодѣй вогналъ,
А Деларю сказалъ: «Какой прекрасный
У васъ кинжалъ!»
Тогда злодѣй, къ нему зашедши справа,

Его пронзилъ,
А Деларю съ улыбкою лукавой
Лишь погрозилъ.
Истыкалъ тутъ злодѣй ему, пронзая,
Всѣ тѣлеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
Къ намъ въ три часа».
Злодѣй палъ ницъ и, слезъ проливши много,
Дрожалъ какъ листъ,
А Деларю: «Ахъ, встаньте, ради Бога!
Здѣсь полъ нечистъ!»
Но все у ногъ его въ сердечной мукѣ
Злодѣй рыдалъ,
А Деларю сказалъ, разставя руки:
«Не ожидалъ!
Возможно ль? Какъ? Рыдать съ такою силой?
По пустякамъ?..
Я вамъ аренду выхлопочу, милый,—
Аренду вамъ!
Черезъ плечо дадутъ вамъ Станислава,
Другимъ въ примѣръ.
Я дать совѣтъ властямъ имѣю право:
Я камергеръ!
Хотите дочь мою просватать, Дуню?
А я за то
Кредитными билетами отслюню
Вамъ тысячь сто.
А вотъ пока вамъ мой портретъ на память,—
Пріязни въ знакъ.
Я не успѣлъ его еще обрамить,—
Пріймите такъ!»
Тутъ ѣдокъ сталъ и даже горче перца
Злодѣя видъ.
Добра за зло испорченное сердце—
Ахъ! не простить.
Высокій духъ посредственности тревожить,
Тѣмъ страшенъ свѣтъ.
Портретъ еще простить убійца можетъ,
Аренду жъ нѣтъ.
Зажглась въ злодѣй зависти отравы
Такъ горячо,
Что, лишь надѣлъ мерзавецъ Станислава
Черезъ плечо,—
Онъ окунулъ со злобою безбожной
Кинжалъ свой въ ядъ
И, къ Деларю подкравшись осторожно,
Хватъ друга въ задъ!
Тотъ на полъ легъ, не въ силахъ, въ страшныхъ боляхъ
На кресло сѣсть.

Межъ тѣмъ злодѣй, отнявъ на антресоляхъ
 У Дуни честь,—
 Вѣжалъ въ Тамбовѣ, гдѣ былъ, какъ губернаторъ,
 Весьма любимъ.
 Потомъ въ Москвѣ, какъ ревностный сенаторъ,
 Былъ всѣми чтимъ.
 Потомъ онъ членомъ сдѣлался совѣта
 Въ короткій срокъ...
 Какой примѣръ для насъ является это,
 Какой урокъ!

«Увѣряю васъ,—начинаетъ шутить Вл. С. Соловьевъ¹³⁾,— что хотя это фарсъ по формѣ, но съ очень серьезнымъ и, главное, правдивымъ реальнымъ содержаніемъ. Во всякомъ случаѣ, дѣйствительное отношеніе между доброю и злобою въ человѣческой жизни изображено этими шуточными стихотвореніями гораздо лучше, чѣмъ я могъ бы его изобразить своею серьезною прозою. И у меня нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что когда герои иныхъ всемірно знаменитыхъ романовъ, искусно и серьезно распахивающихъ психологическій черноземъ, будутъ только литературнымъ воспоминаніемъ для книжниковъ,—этотъ фарсъ, въ смѣшныхъ и дико карикатурныхъ чертахъ затронувшій подпочвенную глубину нравственнаго вопроса, сохранить всю свою художественную и философскую правду... Деларю—живой человѣкъ, со всѣми человѣческими слабостями и тщеславіемъ и стяжательностью, а его фантастическая непроницаемость для злодѣйскаго кинжала есть лишь очевидный символъ его безпредѣльнаго добродушія. Также «злодѣй»—вовсе не ходячій экстрактъ порока, а обыкновенная смѣсь добрыхъ и злыхъ качествъ; но у него зло зависти засѣло въ самой глубинѣ души и вытѣснило все доброе на, душевную эпидерму, такъ—сказать, гдѣ доброта приняла видъ очень живой, но поверхностной чувствительности... Не добротѣ Деларю завидуетъ злодѣй,—онъ, вѣдь, и самъ можетъ быть добрымъ,—развѣ онъ не чувствовалъ своей доброты, когда «рыдалъ въ сердечной мукѣ»?—нѣтъ, онъ завидуетъ именно недостижимой для него бездонности и простой серьезности этой доброты... Развѣ это не реально, развѣ не такъ бываетъ въ живой дѣйствительности? Отъ одной и той же влаги живительнаго дождя растутъ и благотворныя силы. въ цѣлебныхъ травахъ

¹³⁾ «Три разговора». Сочиненія, VIII, 532—4.

и ядъ—въ ядовитыхъ. Также и дѣйствительное благодѣяніе, въ концѣ концовъ, увеличиваетъ добро въ добромъ и зло въ зломъ. Такъ должны ли мы, имѣемъ ли мы право всегда и безъ разбора давать волю своимъ добрымъ чувствамъ? Можно ли похвалить родителей, усердно поливающихъ изъ доброй лейки ядовитыя травы въ саду, гдѣ гуляютъ ихъ дѣти? Дуня-то за что погибла, я васъ спрашиваю?»

Конечно, все это — бутада самой остроумной грани, и мысль Толстого, когда онъ писалъ свою балладу, никогда не шла такъ далеко въ своихъ выводахъ, какъ мысль его истолкователя. Но одинъ тотъ фактъ, что такая остроумная интерпретація возможна, указываетъ на необычайную полноту шуточки. Тѣмъ хорошая шуточка и бываетъ цѣнна, что изъ нея можно сдѣлать серьезный выводъ: серьезная проблема жизни показана своею изнанкой.

Не легко найти такую изнанку жизни въ другомъ, тоже очень извѣстномъ шуточномъ стихотвореніи Толстого: «Бунтъ въ Ватиканѣ». «Сегодня буду читать (во дворцѣ) «Сонъ Попова»,—пишетъ Толстой своей женѣ.—Императрица (Марія Александровна) просила меня серьезно ей прочесть «Бунтъ въ Ватиканѣ»; а такъ какъ я отказалъ наотрѣзъ, а m-me М. такъ настаивала, чтобы я ей его прочелъ, то я общалъ ей это сдѣлать въ темной комнатѣ»¹⁴⁾...

Но если бы нашелся остроумный истолкователь, то онъ могъ бы найти смыслъ и въ томъ невѣроятномъ скандалѣ, который разыгрался въ Ватиканѣ, когда папскій хоръ кастратовъ пожелалъ уравнивать себя во всѣхъ правахъ, обязанностяхъ и состояніяхъ со своимъ прямымъ начальствомъ и не безъ нѣкотораго нравственнаго права спрашивалъ себя, почему бы самому папѣ не пѣть кантаты нѣжнымъ голосомъ?

Вообще, большого удовольствія, и притомъ эстетическаго, лишень читатель, который теперь развѣ только случайно можетъ услышать ту или другую шуточку Толстого или натолкнуться на нее въ какомъ-нибудь періодическомъ изданіи. Много веселыхъ минутъ могъ бы онъ провести за этимъ чтеніемъ, и оно вызвало бы въ немъ одинъ лишь смѣхъ, самый добродушный и невинный. Но передъ нѣкоторыми

¹⁴⁾ «А ты все-таки не будешь знать, что такое «Бунтъ въ Ватиканѣ». «Письма Толстого изъ S-Remo 24-го и 25-го января 1875 г.». «Вѣстникъ Европы», 1897, VII, 122.

стихотвореніями читатель все же остановился бы въ раздумьѣ, пораженный однимъ страннымъ впечатлѣніемъ.

Есть стихотворенія очень смѣшныя, но положительно недоступныя пониманію; ключъ ли къ нимъ утратился, или они сочинены вообще во славу бессмыслицы, но только всякій комментаторъ рискуетъ очутиться въ глупомъ положеніи, если начнетъ изощрять свое остроуміе въ ихъ серьезномъ толкованіи.

Прочитаетъ онъ, напримѣръ, такую шутку:

«Вѣрь мнѣ, докторъ, кромѣ шутки,—	Стонъ и вопли! Всѣ рыдаютъ,
Говорилъ разъ понамарь,—	Понамарь звонить съ плеча.
Отъ крутыхъ лицъ въ желудкѣ	Это значить — погребаютъ
Образуетъ янтарь».	Вольнодумнаго врача.
Врачъ скептическаго складу	Не прошли еще и сутки,
Не любилъ духовныхъ лицъ	Молвить грустно понамарь:
И, причетнику въ досаду,	«А ужъ въ докторскомъ желудкѣ,
Проглотилъ пятьсотъ лицъ.	Видно, сдѣлался янтарь!»

—и если онъ не вспомнить почтеннаго дѣйствительнаго статскаго совѣтника Кузьму Петровича Пруткова, то онъ напрасно истощитъ свой умъ въ догадкахъ и ничего не изъяснитъ себѣ въ такомъ стихотвореніи. Только широкое знакомство съ литературною дѣятельностью Пруткова поможетъ ему разгадать смыслъ такой видимой бессмыслицы.

Да и вообще, какъ можно говорить о сатирѣ А. Толстого, игнорируя стихи и изреченія столь близкаго его родственника и друга, какимъ былъ покойный директоръ Провиантской Палатки Кузьма Прутковъ?

VIII.

Прутковъ стяжалъ себѣ, какъ извѣстно, большую славу и популярность. Сочиненія его печатались охотно въ самомъ передовомъ журналѣ—въ «Современникѣ»—и имѣли такой громкій успѣхъ, что удостаивались нерѣдко контрафакціи. Ихъ знали наизусть; иногда въ серьезныхъ сочиненіяхъ на нихъ дѣлались ссылки; послѣ смерти автора они издавались неоднократно и издаются до сего дня. Одно изъ нихъ даже попало, на подмостки Александринскаго театра и было сыграно въ высочайшемъ присутствіи, хотя государь императоръ Николай Павловичъ и остался имъ очень недоволенъ. Вообще, славѣ Кузьмы Пруткова могъ позавидовать любой изъ самыхъ видныхъ нашихъ писателей.

Историкъ, служитель неподкупной истины, обязанъ, впрочемъ, не поддаваться увлеченію и безпристрастно оцѣнить какъ личность этого знаменитаго дѣятеля, такъ и стоимость его трудовъ, за которыми, каковы бы ни были ихъ погрѣшности, всегда сохранится одно значеніе—полная оригинальность и самобытность. Друзья, близко знавшіе Кузьму Пруtkова, и среди нихъ и графъ Толстой, утверждаютъ, что онъ перенялъ отъ людей, имѣвшихъ въ литературѣ успѣхъ, «смѣлость, самодовольство, самоувѣренность, даже наглость, и сталъ считать каждую свою мысль, каждое свое писаніе и изреченіе—истиной, достойною оглашенія». Онъ считалъ себя сановникомъ въ области мысли и сталъ самодовольно представлять свою ограниченность и свое невѣжество, которыя иначе остались бы неизвѣстными внѣ стѣнъ Пробринной Палатки. Одобренный своими клеветами, онъ уже самъ сталъ требовать, чтобы его слушали, а когда его стали слушать, онъ выказалъ такое самоувѣренное непониманіе дѣйствительности, какъ-будто надъ каждымъ его словомъ и произведеніемъ стоялъ ярлыкъ: «Все человѣческое мнѣ чуждо».

Пусть будетъ такъ. Но, не взирая на всѣ свои недочеты, какъ человѣка, Кузьма Пруtkовъ былъ все-таки настоящій писатель, и человѣческое уже по одному тому было ему не чуждо, что многіе люди въ весьма критическихъ моментахъ своей жизни руководились его изреченіями и его мудростью—и продолжаютъ руководствоваться ею и теперь.

Свѣдѣнія о жизни этого замѣчательнаго человѣка очень неполны и отрывочны. Его ближайшіе друзья, издавая въ свѣтъ его сочиненія, снабдили ихъ вводною статьей, которая до сего дня остается единственнымъ надежнымъ источникомъ для его жизнеописанія, если не считать краткой поминки, напечатанной въ годъ его смерти его племянникомъ Калистратомъ Ивановичемъ Шерстобитовымъ ¹⁵⁾.

Общій ходъ скромной жизни Пруtkова представляется, по этимъ даннымъ, въ слѣдующемъ видѣ. Родился Кузьма Петровичъ въ 1803 г. недалеко отъ Сольвычегодска въ деревнѣ Тентелевой ¹⁶⁾.

¹⁵⁾ «Современникъ», 1863, IV, «Свистокъ», 54—62.

¹⁶⁾ Деревня малоизвѣстная, но пользовавшаяся, очевидно, дурною репутаціей, потому что современные Пруtkову петербургскіе сановники говорили часто: «Смотри ты у меня. Сошлю тебя въ Тентелеву деревню». («Новое Время», № 2026, 1881 г.)

Какъ протекало его дѣтство—неизвѣстно, и только въ 1820 г. ¹⁷⁾ мы застаемъ его въ гусарскомъ полку (и притомъ «лучшемъ» полку) юнкеромъ. Поступилъ онъ въ военную службу, какъ утверждаютъ его друзья, только для мундира, и это, пожалуй, вѣрно, если вспомнить, какой ничтожный случай заставилъ его выйти въ отставку. А именно: въ ночь съ 10-го на 11-ое апрѣля 1823 года, возвратясь поздно домой съ товарищеской попойки и едва прилегши на койку, онъ увидѣлъ передъ собою голаго бригаднаго генерала въ эполетахъ. Это видѣніе такъ на него подѣйствовало, что онъ рѣшился перемѣнить военную службу на статскую и тотчасъ же опредѣлился по министерству финансовъ, въ Пробринную Палатку, гдѣ онъ и оставался до самой своей смерти; умеръ онъ въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника со старшинствомъ 15 лѣтъ 4½ мѣсяцевъ, кавалеромъ Станислава первой степени послѣ 20-лѣтняго безукоризненнаго управленія Палаткой. Имѣлъ онъ также и нѣсколько пожалованныхъ перстней.

Человѣкъ онъ былъ семейный, и семейное счастье его составила нѣкая Антонида Платоновна Проклеветантова—очевидно, дворянскаго рода,—которая подарила ему свыше десяти человѣкъ дѣтей. Наружность его была некрасива, но выразительна. «Долго сохранится въ памяти,—говорилъ К. И. Шерстобитовъ,—его высокое, склоненное назадъ чело, опущенное снизу густыми рыжеватыми бровями, а сверху осѣненное поэтически-всклокоченными шанкретовыми съ просѣдою волосами; его мутный, нѣсколько прищуренный и презрительный взглядъ; его желто-каштановый цвѣтъ лица и рукъ; его змѣиная, саркастическая улыбка, всегда выказывавшая цѣлый рядъ, правда, почернѣвшихъ и порѣдѣвшихъ отъ табаку и времени, но все-таки большихъ и крѣпкихъ зубовъ; наконецъ, его вѣчно откинутаая назадъ голова и нѣжно любимая имъ альмавива»...

О нравѣ Кузьмы Пруtkова и объ его темпераментѣ свѣдѣнія у насъ не столь полныя, какъ объ его наружности. Онъ былъ рѣзокъ, рѣшительнъ, самоувѣренъ. «Въ этомъ отношеніи,—какъ утверждаютъ его друзья,—онъ былъ сыномъ своего времени, отличавшагося самоувѣренностью и неува-

¹⁷⁾ По свѣдѣніямъ Шерстобитова—въ 1816 г.

женіемъ препятствій. То было, какъ извѣстно, время знаменитаго ученія: «Усердіе все превозмогаетъ». Въ словахъ Пруткова часто слышится не совѣтъ, не наставленіе, а—команда. Съ этими качествами можно было бы помириться, но друзья его утверждаютъ (хотя едва ли основательно), что онъ былъ умственно ограниченъ и желалъ играть роль, на которую не имѣлъ права. Но эти же друзья признаютъ, что въ Кузьмѣ Петровичѣ сохранилось глубокое прирожденное добродушіе, дѣлающее его невиннымъ во всѣхъ выходкахъ, и что потому онъ былъ и забавенъ и симпатиченъ.

Образъ мыслей Кузьмы Петровича, при всей той свободѣ, съ какою онъ относился къ самымъ труднымъ вопросамъ бытія, былъ, какъ и надлежало ему быть, консервативный. Не могъ же онъ, питомецъ николаевского режима, стать на сторону той новизны, которую на склонѣ лѣтъ своихъ онъ вокругъ себя видѣлъ? Но хотъ онъ и не симпатизировалъ ей въ душѣ, онъ все-таки, по живости своей натуры, не могъ на нее не отозваться. «Въ періодъ подготовленія реформъ царствованія Александра II,—разсказываютъ его друзья,—снѣ какъ бы растерялся. Сначала ему казалось, что изъ-подъ него уходитъ почва, и онъ сталъ роптать, повсюду крича о рановременности всякихъ реформъ и о томъ, что онъ «врагъ всѣхъ такъ-называемыхъ вопросовъ». (Эти слова онъ, очевидно, заимствовалъ изъ своихъ бесѣдъ съ гр. А. Толстымъ.) «Однако,—продолжаютъ его коварные друзья свои разоблаченія,—потомъ, когда неизбежность реформъ сдѣлалась несомнѣнною, онъ самъ старался отличиться преобразовательными проектами и сильно негодовалъ, когда проекты его браковали, по ихъ очевидной несостоятельности. Онъ объяснялъ это завистью, неуваженіемъ опыта и заслугъ и сталъ впадать въ уныніе, даже приходилъ въ отчаяніе. Состояніе его духа отразилось, между прочимъ, въ извѣстномъ его стихотвореніи: «Передъ моремъ житейскимъ», гдѣ онъ себя сравнивалъ съ кузнечикомъ, который скачетъ, а куда—не видитъ. Вскорѣ, однако, онъ успокоился, почувствовавъ вокругъ себя прежнюю атмосферу и подъ собою—прежнюю почву. Онъ снова сталъ писать проекты, но уже стѣснительнаго направленія, и они принимались съ одобреніемъ. Это дало ему основаніе возвратиться къ прежнему самодовольству и ожидать значительнаго повышенія по службѣ.

И умеръ онъ, по свидѣтельству его племянника, «съ полнымъ сознаніемъ полезной и славной своей жизни, поручивъ передать публикѣ, что умираетъ спокойно, будучи увѣренъ въ благодарности и справедливомъ судѣ потомства»... И потомство оправдало его надежды. Впрочемъ, онъ и при жизни пользовался большимъ успѣхомъ. Если не считать злополучнаго провала его комедіи «Фантазія» на Александринской сценѣ (1851 года, 8-го января), то въ литературѣ ему везло, да и фіаско на сценѣ должно быть отнесено къ числу простыхъ случайностей, такъ какъ, не выйди императоръ Николай Павловичъ изъ своей ложи до окончанія пьесы и не покажи онъ явно своего недовольства,—пьеса, вѣроятно, имѣла бы тотъ же успѣхъ, какой, вообще, выпадалъ на долю большинства тогдашнихъ комедій.

Во всякомъ случаѣ, Кузьма Петровичъ долженъ былъ быть благодаренъ тѣмъ случайнымъ друзьямъ, съ которыми его свела судьба и которые настояли на томъ, чтобы онъ сталъ литераторомъ. Они, эти друзья,—истинные виновники и творцы его славы,—они угадали сказывавшійся въ немъ талантъ писателя и, хотъ они и называли его «зазнавшимся неучемъ», но, очевидно, цѣнили въ немъ писателя, такъ какъ хлопотали за него немало въ средѣ литераторовъ и послѣ его смерти ревниво оберегали его память и его творенія отъ всякой поддѣлки. Знакомство Пруtkова съ его друзьями состоялось въ 1850 году. Друзья эти были—графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой и его два двоюродныхъ брата, Алексѣй Михайловичъ и Владимиръ Михайловичъ Жемчужниковы. Имена эти говорятъ сами за себя, и понятно, почему Кузьма Петровичъ, при всемъ своемъ самомиѣніи, такъ покорно подчинялся ихъ вліянію. Всѣ они были люди поразительно остроумные, а двое изъ нихъ—А. Жемчужниковъ и гр. Толстой—истинные поэты. Кузьма Петровичъ не могъ этого не чувствовать и вѣрялся ихъ руководству безропотно. При всей своей строгости къ нему и друзья его, съ своей стороны, должны были признать, что онъ не простой ученикъ, а писатель оригинальный. «Прутковъ,—сказалъ про него А. Жемчужниковъ,—удостоился занять въ литературѣ особое, собственно ему принадлежащее мѣсто»¹⁸⁾.

¹⁸⁾ «Новости», 1883, № 20.

IX.

Эти слова справедливы не только въ отношеніи къ тому времени, когда Прутковъ выступалъ со своими произведеніями, но и въ отношеніи къ русской словесности вообще: и до сего дня его остроуміе остается единственнымъ по своей чеканкѣ. А въ 50-хъ годахъ оно имѣло, кромѣ того, еще особое общественное значеніе.

Противъ всякой попытки навязать твореніямъ Кузьмы Пруткова какое-либо общественное въ строгомъ смыслѣ значеніе—его друзья всегда возражали, и самъ авторъ съ ними сглашался. Даже свою комедію «Фантазія» онъ не желалъ признать сатирой на современные нравы и жестоко высмѣялъ рецензента, который заговорилъ объ ея сатирическомъ смыслѣ.

Но и друзья автора и онъ самъ не совѣмъ правы въ своемъ протестѣ. Положимъ, редакція «Современника», печатая произведенія Пруткова, всегда указывала читателю на безобидность его образъ мыслей. Выпуская въ свѣтъ его «Пухъ и Перья», она говорила: «Мы всѣ думаемъ, что общественные вопросы не перестаютъ волновать насъ, что волны возвышенныхъ идей растутъ и ширятся и совершенно затопляютъ луга поэзіи и, вообще, искусства. Но другъ нашъ Кузьма Прутковъ убѣжденъ совершенно въ противномъ. Онъ полагаетъ, что его остроумныя басни и звучныя стихотворенія могутъ и теперь увлечь массу публики»¹⁹).

Еще яснѣе высказывала свою мысль редакція, печатая извѣстную драму Пруткова «Черепословъ». «Поклонники искусства для искусства!—воскликала она.—Рекомендуемъ вамъ драму г. Пруткова. Вы увидите, что чистая художественность еще не умерла»²⁰).

Однако, у насъ есть свѣдѣнія, что эта чистая художественность причиняла редакціи иногда нѣкоторое безпокойство. Такъ, И. И. Панаевъ вовсе не напечаталъ нѣкоторыхъ твореній Пруткова, переданныхъ ему для печати, и говорилъ, что въ этомъ ему препятствовали цензурныя усло-

¹⁹) «Современникъ», 1860. Мартъ въ «Свисткѣ». «Замѣтка отъ редакціи».

²⁰) «Современникъ», 1860 г. Май. «Еще произведеніе Пруткова съ обращеніемъ редакціи».

вія; но Кузьма Петровичъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ, не вѣрилъ этому ²¹⁾.

Наконецъ, нужно помнить, что въ 1863 году Кузьма Петровичъ вступилъ рѣшительно на путь публицистики. Правда, послѣ перваго же опыта онъ отъ этой роли публициста отказался. И напрасно. Онъ въ этомъ первомъ публицистическомъ сочиненіи обнаружилъ сразу умъ большого государственнаго человѣка.

Такъ какъ этотъ опытъ—проектъ «о введеніи единомыслія въ Россіи» ²²⁾—не вошелъ въ полное собраніе сочиненій Кузьмы Петровича, то мы приведемъ изъ него довольно пространную выписку. Она не нарушитъ порядка въ обзорѣ литературной дѣятельности Прутковъ, потому что государственный этотъ проектъ стоитъ совсѣмъ одиноко въ ряду другихъ произведеній нашего автора.

Отставной поручикъ Воскобойниковъ, который огласилъ это твореніе Прутковъ въ печати, говорить, что проектъ этотъ былъ написанъ въ 1859 году и на немъ имѣется помѣтка: «Подать въ одинъ изъ торжественныхъ дней на усмотрѣніе». Но былъ ли онъ поданъ и принятъ, Воскобойникову не было извѣстно по весьма малому его чину.

Самый проектъ, за немногими сокращеніями, представляется въ слѣдующемъ видѣ:

«П р и с т у п ъ: Собственное мнѣніе. Да развѣ можетъ быть собственное мнѣніе у людей, не удостоенныхъ довѣріемъ начальства? Откуда оно возьмется и на чемъ основано? Если бы писатели знали что-нибудь, ихъ призвали бы къ службѣ; но кто не служить, тотъ, значить, недостойнъ,—стало-быть, и слушать его нечего. Съ этой стороны еще никто не колебалъ авторитетъ нынѣшнихъ писателей,—я «первый» (напереть на то, что я первый; можетъ-быть, это откроетъ мнѣ карьеру).

«Т р а к т а т ъ: Всякому русскому дворянину свойственно желать не ошибиться. Для осуществленія этого желанія необходимо держаться мнѣнія начальства; ибо—въ противномъ случаѣ—гдѣ ручательство, что составленное мнѣніе безошибочно? Но какъ узнать мнѣніе начальства? Намъ скажутъ:

²¹⁾ «Новое Время», 1881 г., № 2026. Дѣло идетъ о баснѣ «Звѣзда и Брюхо».

²²⁾ «Современникъ», 1863 г., IV, 63—66.

«Оно выражается въ принимаемыхъ имъ мѣрахъ». Это правда... гм!.. нѣтъ, это неправда!.. Правительство нерѣдко таитъ свои цѣли — изъ высшихъ государственныхъ соображеній, недоступныхъ пониманію большинства. Оно нерѣдко доходитъ до результата рядомъ косвенныхъ мѣръ, повидимому, противорѣчащихъ одна другой и даже не имѣющихъ между собою никакой связи, но, въ дѣйствительности, соединенныхъ секретными шалнерами одной государственной идеи, одного государственнаго плана, поражающаго умъ своею громадностью и послѣдствіями...

«Планъ этотъ открывается въ неотвратимыхъ результатахъ исторіи. Такъ, можетъ ли какой-либо подданный обсуждать правительственныя мѣропріятія, не владея ключомъ взаимной между ними связи? «Не по отдѣльнымъ частямъ, но по цѣлой совокупности водочерпательной машины суди о достоинствахъ сихъ частей» — такъ сказалъ я еще въ 1842 году сыну своему Оаддею и до сего времени непреклонно убѣжденъ въ высокой справедливости этого изреченія... Гдѣ подданному уразумѣть всѣ эти причины, поводы, соображенія, разные виды, съ одной стороны, и усмотрѣніе — съ другой, на основаніи коихъ принимаются правительственныя мѣры? Не понять и не уразумѣть ему ихъ, если они не будутъ указаны самимъ благодѣтельнымъ правительствомъ. Этому мы видимъ доказательства ежедневно, ежедневно, скажу — ежеминутно!! Вотъ причина, съ одной стороны, почему иные, даже самые благонамѣренные люди нерѣдко сбиваются съ толку злонамѣренными толкованіями, и почему, съ другой стороны, многіе изъ вѣрноподданныхъ недостаточно противодѣйствуютъ распространяющимся лжеумудрствованіямъ, не имѣя отъ правительства указанія, какого мнѣнія слѣдуетъ держаться? Положеніе ихъ самое тягостное и даже — смѣло скажу — вполне невыносимое.

«Заключеніе: На основаніи всѣхъ вышеизложенныхъ соображеній и принимая во вниманіе, съ одной стороны, явную необходимость установленія однообразной точки зрѣнія въ пространномъ нашемъ отечествѣ, съ другой же стороны, усматривая невозможность достиженія этой благой цѣли безъ учрежденія официального печатнаго органа, — вельзя, вмѣстѣ съ тѣмъ, не признать справедливымъ, что въ этомъ именно заключается настоящая потребность общества и существенное условіе его преуспѣянія и развитія...

Будучи поддержанъ достаточнымъ содѣйствіемъ полицейской и административной властей, такой правительственный органъ служилъ бы надежною звѣздой, скажу—маякомъ или вѣхою для общественнаго мнѣнія. Такимъ образомъ, пагубная склонность человѣческаго разума вѣчно обсуждать происходящее на всемъ земномъ кругѣ была бы направлена къ исключительному служенію правительственнымъ видамъ и цѣлямъ. По всѣмъ случаямъ, мѣрамъ и вопросамъ существовало бы одно господствующее мнѣніе, и если даже допустить, что нашлись бы злонамѣренные люди, которые были бы несогласны съ этимъ мнѣніемъ, то они, естественно, остереглись бы противорѣчить, дабы не выказать своей злонамѣренности. Съ другой стороны, истинно-вѣрнопопдавшие узнали бы, наконецъ, какого мнѣнія имъ слѣдуетъ держаться для блага своего и своихъ присныхъ.

«Зная сердце человѣческое и господствующія черты русской народности, нѣтъ повода сомнѣваться въ достиженіи вышеизложенной цѣли. Дѣло только въ томъ, чтобы избранъ былъ редакторомъ достойный во всѣхъ отношеніяхъ человекъ, извѣстный своимъ усердіемъ и преданностью, пользующійся славой писателя и глубокаго мыслителя и готовый пренебречь, для пользы правительства, конечно, за достаточное вознагражденіе, общественнымъ уваженіемъ и мнѣніемъ. Въ поощреніе его и въ примѣръ другимъ необходимо, кромѣ достаточнаго вознагражденія, отличать его чинами, орденскими украшеніями и особыми денежными наградами. Скромность, свойственная моему характеру, препятствуетъ мнѣ предложить личный свой трудъ въ этомъ дѣлѣ и разностороннія свои познанія и способности, которыми, однако, я готовъ жертвовать до послѣдняго издыханія—если это будетъ согласно съ предназначеніями начальства—для безкорыстной службы престолу отечества».

На поляхъ этого трактата остались, кромѣ того, весьма характерныя замѣтки Кузьмы Петровича, изъ которыхъ видно, между прочимъ, что онъ, исчисляя доходъ редакціи съ проектированнаго имъ офиціальнаго изданія и предполагая пустить оное по дешевой цѣнѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ признавалъ необходимымъ: 1) съ одной стороны, сдѣлать подписку на сіе изданіе обязательною для всѣхъ присутственныхъ мѣстъ; 2) съ другой стороны—велѣть всѣмъ издателямъ и редакторамъ частныхъ печатныхъ органовъ перепечаты-

вать руководящія статьи изъ офиціального органа, дозволяя себѣ только повтореніе и развитіе ихъ; 3) сверхъ того, наложить на нихъ денежные штрафы въ пользу редакціи офиціального органа за всѣ тѣ мнѣнія, кои окажутся противорѣчащими мнѣніямъ, признаваемымъ господствующими, и 4) вмѣстѣ съ тѣмъ, вмѣнить всѣмъ начальникамъ отдѣльных частей управленія въ обязанность неусыпно вести и постоянно сообщать въ одно центральное мѣсто списки всѣхъ служащихъ подъ ихъ вѣдомствомъ лицъ, съ обозначеніемъ, кто изъ нихъ какіе получаетъ журналы и газеты, и не получающихъ офиціального органа, какъ не сочувствующихъ благодѣтельнымъ видамъ правительства, отнюдь не повышать ни въ должности ни въ чины и не удостоивать ни награды ни командировокъ...

«Такимъ образомъ, — замѣчалъ Прутковъ, — правительство избѣгнетъ опасности ошибочно помѣщать свое довѣріе».

Всякій, даже самый строгій судья долженъ признать, что въ этомъ проектѣ Кузьма Петровичъ обнаружилъ большее глубокомысліе, государственный умъ и, главное, прозрѣніе, не говоря уже о сатирической силѣ, которая своимъ размахомъ и размахомъ напоминаетъ только что распускавшуюся въ тѣ годы сатиру Щедрина. Рьяные поклонники Пруткова могли бы даже заподозрѣть, что Щедринъ читалъ творенія Кузьмы Петровича и иногда поддѣлывался подъ его рѣчь. Взять хотя бы такой историческій анекдотъ, опубликованный Щедринымъ въ «Мысляхъ о градоначальническомъ единомысліи, а также о градоначальническомъ единовластіи и о прочемъ» («Исторія одного города»):

«Одинъ озабоченный градоначальникъ, вошедъ въ кофейную, спросилъ себѣ рюмку водки и, получивъ желаемое вмѣстѣ съ мѣдною монетой въ сдачу, монету проглотилъ, а водку вылилъ себѣ въ карманъ. Вполнѣ сему вѣрю, ибо при градоначальнической озабоченности подобныя пагубныя смѣшенія весьма возможны. Но при этомъ не могу не сказать: вотъ какъ градоначальники должны быть осторожны въ разсмотрѣніи своихъ собственныхъ дѣйствій». Развѣ этотъ документъ не напоминаетъ извѣстныхъ «гисторическихъ матеріаловъ» Фёдора Кузьмича Пруткова, которые его внукъ—Кузьма Петровичъ—обработалъ для печати?

Во всякомъ случаѣ, причислять Пруткова къ незлобивымъ служителямъ чистаго искусства—нельзя, не нарушая

справедливости; и мы сейчас постараемся доказать, что всё его произведеніе—невинныя шутки порознь—въ общей ихъ массѣ были отнюдь не невинны, а таили въ себѣ ядъ, правда, весьма искусно замаскированный.

Х.

Сочиненія Кузьмы Пруткова пользуются и до сей поры такою извѣстностью, что рѣшительно нѣтъ надобности напоминать объ ихъ содержаніи; и историку остается лишь указать на главнѣйшія отличительныя свойства таланта автора, такъ какъ этотъ талантъ, при всей его популярности, все-таки пока оцѣненъ недостаточно.

Первое, что въ этомъ талантѣ поражаетъ, это—его всеобъемлемость. Въ этомъ отношеніи Прутковъ имѣетъ только одного соперника—Пушкина. Широта таланта Кузьмы Петровича сказывается и на внѣшней формѣ его произведеній и на внутреннемъ ихъ смыслѣ. Во всѣхъ родахъ и видахъ творчества онъ былъ одинаково хозяинъ.

Въ басняхъ—онъ достойный соперникъ всѣхъ баснописцевъ, начиная съ Эзопа; онъ даже выше ихъ, потому что у всѣхъ его предшественниковъ мораль обыкновенно вытекаетъ изъ общаго смысла, а у Пруткова эти двѣ части одного логическаго цѣлаго живутъ самостоятельно, и свободная воля баснописца торжествуетъ надъ обиднымъ для человѣка и стѣснительнымъ сдѣпленіемъ положеній и выводовъ.

Кузьма Прутковъ не менѣ великъ и искусенъ во всѣхъ родахъ лирики. Какъ Пушкинъ или Гёте могли написать стихотвореніе въ любомъ стилѣ и въ духѣ любого поэта, такъ писалъ ихъ и Кузьма Петровичъ. Только зоилы могли назвать эти стихотворенія пародіями, такъ какъ зоилы бываютъ чѣмъ злѣе, тѣмъ необдуманнѣе. «Я никогда не писалъ пародій,—воскличалъ Прутковъ съ гордостью.—Откуда ты взялъ, будто я пишу пародіи? Я просто анализировалъ въ умѣ своемъ большинство поэтовъ, имѣвшихъ успѣхъ; этотъ анализъ привелъ меня къ синтеису, ибо дарованія, разсыпанныя между другими поэтами порознь, оказались совмѣщенными во мнѣ единомъ». И въ этихъ словахъ нѣтъ самохвальства.

Иногда въ двухъ-трехъ строфахъ Прутковъ умѣлъ схватить духъ писателя и его манеру. И не только творческая тайна современниковъ была ему вѣдома,—онъ улавливалъ и звуки поэзіи, давно минувшей. Настоящіе испанскіе аллюры обнаружилъ онъ, напримѣръ, въ знаменитой балладѣ «Осада Памбы» и въ стихотвореніи: «Тихо надъ Альгамброй дремлетъ вся натура»; большое и тонкое пониманіе древности показалъ онъ въ извѣстныхъ стихахъ: «Философъ въ банѣ» и «Древней греческой старухѣ, если бы она домогалась моей любви». Нѣкоторое родство съ античной древностью обнаруживаетъ и стихотвореніе: «Изъ терпѣнья, Катерина, ты выводишь, наконецъ»,—навѣянное, очевидно, Цицерономъ: «Quousque tandem, Catilina».

Еще бѣльшимъ уваженіемъ къ таланту автора проникается читатель, когда отъ его лирики переходитъ къ его драматическимъ опытамъ. Прутковъ любилъ эту литературную форму и часто пользовался ею. Его можно съ полнымъ правомъ назвать новаторомъ въ этой области, такъ какъ имъ предвосхищенъ совсѣмъ особый родъ драматическихъ представленій, который лишь въ наше время достигъ настоящаго расцвѣта. Конечно, Кузьма Петровичъ не смогъ сразу проявить всей своей оригинальности, и есть у него драматическія произведенія, въ которыхъ замѣтна еще чужая манера. Такъ, иногда въ нихъ видны слѣды вліянія античной трагедіи и современнаго водевиля, мистерій Байрона и драматическихъ фантазій Тимофеева. Но главная его заслуга въ томъ, что онъ первый насадилъ у насъ истинную «символическую» драму. Онъ самъ сознавалъ, что онъ созидаетъ нѣчто новое, и въ предисловіи къ своей мистеріи: «Опрометчивый турка, или пріятно ли быть внукомъ», отъ лица извѣстнаго писателя, подъ которымъ, естественно, разумѣлъ себя самого, говорилъ: «Драматическими представленіями условились называть представленія, которыя бывають на театрахъ; представленія подраздѣляются на многія отрасли, какъ-то: на комедіи, трагедіи, драмы, оперы, пантомимы, водевили и хоробы. Мой товарищъ и я посвятили всю жизнь нашу и всѣ наши зрѣлыя лѣта на изобрѣтеніе новаго рода драматическаго представленія. Мы съ товарищемъ рѣшили называть его, послѣ долгихъ соображеній,—скажу: страданій!—«естественно-разговорнымъ» представленіемъ... Пора намъ, русскимъ, ознаменовать перевалившійся

за другую половину девятнадцатый вѣкъ—«новымъ словомъ» въ нашей литературѣ... Нужно ли повторять, что мы посвятили ему всю нашу жизнь и наши зрѣлыя лѣта? Кромѣ того, я отказался для него отъ выгодной партіи съ дочерью купца Громова, уступивъ ее другому моему товарищу». Въ этомъ предисловіи не все ясно: такъ, напримѣръ, роль, какую сыграла купчиха Громова въ исторіи развитія русской драмы, не опредѣлена съ точностью, да и слово «естественно-историческое представленіе» — очень туманно. Ясно только одно, что Кузьма Петровичъ вполне сознавалъ, что въ своихъ драматическихъ опытахъ онъ созидаетъ нѣчто «новое». Онъ только не умѣлъ выразить словами, въ чемъ это новое заключается. Для насъ — современниковъ драмъ «мистическихъ» и «символическихъ», поэзии, какъ принято говорить, «декадентской» — намъ тайна новаго слова въ драмахъ Пруtkова известна. Только улавливая ихъ «мистико-символическій» смыслъ, въ нихъ можно прозрѣть кое-что сквозь капризный поэтический туманъ, заволакивающий ихъ основную идею. Иначе все въ нихъ — и дѣйствіе, и положенія, и лица — представится какъ чистѣйшая фантасмагорія, какъ торжество самой откровенной чепухи и бессмыслицы, которую Прутковъ — какъ мудрецъ и мыслитель — долженъ былъ ненавидѣть.

И дѣйствительно, каждая изъ пьесъ Пруtkова ist nur ein Gleichniss — символъ, который поясняетъ либо общую трагедию жизни человѣческой, либо какое-нибудь важное въ ней явленіе, надъ которымъ задумался авторъ.

Мистерія «Сродство міровыхъ силъ», гдѣ дѣйствующими лицами являются ровная долина, великій поэтъ, высокій дубъ, звѣзда небесная, звѣзда орденская, душло, сова, веревка, полевая мышь, почные часы, загробный міръ мелькомъ, альмавива..., т.-е., гдѣ царитъ полный хаосъ и смѣшаны всѣ элементы бытія, есть философская поэма съ пантеистическимъ смысломъ и съ этою вѣрой въ конечное установленіе порядка на мѣстѣ разрушенія. Эта, а не иная мысль выражена символически и въ образѣ поэта, который въ 60-хъ годахъ, въ вѣкъ потопа и труса, огня и глада и прочихъ реформъ, направленныхъ на униженіе поэзии и на дискредитированіе всѣхъ дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, — рѣшилъ съ собою покончить, готовъ былъ повѣситься, стоя ногами на полномъ собраніи своихъ сочиненій, и былъ спасенъ ураганомъ, вырвавшимъ тотъ дубъ, на которомъ повисъ

малодушный пессимистъ, не предусмотрѣвшій спасительнаго дѣйствія вихря, идущаго сверху.

«Опрометчивый турка» не оконченъ, и смыслъ его неясенъ, но очевидно, что драма должна была коснуться серьезнѣйшаго вопроса—о значеніи «неожиданностей» въ жизни, судя по тому, что главный ея интересъ сосредоточенъ, вопервыхъ, на нѣкомъ Иванѣ Семеновичѣ—человѣкѣ очень самонадѣянномъ, который погубилъ свою карьеру и чуть-чуть что не жизнь, задумавъ похвастаться передъ начальствомъ своимъ умѣніемъ играть на скрипкѣ безъ канифоли, и, во-вторыхъ, на извѣстной г-жѣ Разорваки, у которой вдругъ совсѣмъ неожиданно объявился внукъ турецкаго происхожденія.

Граціознѣйшая оперетта «Черепословъ или френологъ» написана, собственно, не Кузьмой Петровичемъ, а его отцомъ (а имъ только издана), и это подтверждается общимъ ея легкомысліемъ. Глубины въ ней нѣтъ никакой, и таинственный смыслъ вторженія гидропата Амаліи фонъ-Курцгалопа въ домъ френолога Шишкенгольма, равно какъ и неприличное поведеніе дочери френолога Лизы, которая, не дождавшись паденія театральнаго занавѣса, раздѣвается и лѣзетъ въ купальный шкафъ,—едва ли когда-нибудь будетъ разгаданъ.

Трудно уловима и основная идея знаменитой комедіи «Фантазія», потерпѣвшей крушеніе на Александринской сценѣ. Кузьма Петровичъ придавалъ этой комедіи большое значеніе. Онъ былъ очень подавленъ тѣмъ обстоятельствомъ, что представленіе ея на сценахъ было воспрещено по Высочайшему повелѣнію (9-го января 1851 г.). «Публикѣ,—говорилъ онъ,—дозволено было видѣть комедію только одинъ разъ». А развѣ достаточно одного раза для оцѣнки произведенія, выходящаго изъ рядовыхъ? Сразу понимаются только явленія обыкновенныя, посредственность, пошлость. Едва ли кто оцѣнилъ бы Гомера, Шекспира, Бетховена, Пушкина, если бы произведенія ихъ было воспрещено прослужать болѣе одного раза». Прутковъ негодовалъ на публику и говорилъ, что она обязана была раскусить,—«между тѣмъ, она вела себя легкомысленно, какъ толпа, хотя состояла наполовину изъ людей высшаго общества. Едва Государь съ явнымъ неудовольствіемъ изволилъ удалиться изъ ложи ранѣе конца пьесы, какъ публика стала шумѣть, кричать,

шикать, свистать... Этого прежде не дозволялось! За это прежде наказывали!..» Авторъ былъ обиженъ и тѣми ругательными рецензіями, которыя появились въ нѣкоторыхъ журналахъ.

Пьесу, конечно, не поняли потому, что взглянули на нее простыми глазами. Естественность и обыденность сценировки, а именно дачная обстановка Аграфены Панкратьевны Чупурлиной, совсѣмъ реальныя фizioноміи главныхъ дѣйствующихъ лицъ — Адама Либенталя, Оемистокла Разорваки, Касьяна Батогъ-Батыева, Мартына Кутило-Завалдайскаго, Георгія Безпардоннаго и Оирса Миловидова, наконецъ, необычайная простота завязки—шесть жениховъ и одна невѣста, которая должна достаться тому изъ нихъ, кто найдетъ сбѣжавшую собачонку ея маменьки, — все заставляло публику предъявлять къ этой пьесѣ требованія строгаго реализма; и, конечно, глядя на всю ту неописуемую чепуху, которая происходила на сценѣ, публика могла считать себя обманутою. Но авторъ вовсе и не помышлялъ стоять на почвѣ трезваго реализма. Онъ имѣлъ въ умѣ нѣчто болѣе сложное и значительное, чѣмъ простую любовную канитель. На это указываетъ, напримѣръ, тотъ фактъ, что онъ пожелалъ, чтобы посреди сада, гдѣ происходитъ дѣйствіе, стояла бесѣдка очень узенькая, въ видѣ будки, и на ней флагъ съ надписью: «Что наша жизнь?» Скрытая мысль автора проглядываетъ еще яснѣе въ странномъ желаніи заполнить сцену не только людьми, но и животными,—правда, очень благородными. Въ списокъ дѣйствующихъ лицъ фигурируютъ, какъ извѣстно, моська съ кличкой «Фантазія», моська, похожая на Фантазію, пудель, датскій догъ, собачка малаго размѣра и незнакомый бульдогъ. Такое обиліе собакъ не можетъ быть простою случайностью,—на что указываютъ, кромѣ того, и ихъ клички, несовсѣмъ общія, какъ-то: «Фантазія», «Утѣшительный» и «Космополитъ». Заслуживаетъ замѣчанія также, что всѣ эти собаки зачислены въ разрядъ дѣйствующихъ лицъ «безъ рѣчей», а кучера, повара, ключницы и казачки, тоже дѣйствующіе въ пьесѣ «безъ рѣчей», — поименованы особо. На всемъ этомъ лежитъ печать какой-то символичности, которая въ свое время не ускользнула отъ вниманія театральнаго цензора. Желая, насколько это было въ его силахъ, помочь зрителю истолковать пьесу въ ея истинномъ символическомъ смыслѣ, онъ вычеркнулъ въ ней

всѣ слова, которыя надлежитъ понимать всегда въ смыслѣ прямомъ, а не въ переносномъ, какъ-то слова: «князь», «нѣмецъ», «брандмейстеръ», «серьезный чиновникъ», «подчиненный», «безстыдникъ», «жандармъ» и друг. И все-таки ключъ отъ этой «Фантазіи» унесенъ Кузьмою Петровичемъ съ собою въ могилу!

Озадачилъ онъ читателя и еще въ одной пьесѣ, которая, къ сожалѣнію, не попала въ полное собраніе его сочиненій. Пьеса это—«Любовь и Силинъ», драма въ 3-хъ дѣйствіяхъ—была напечатана въ сатирическомъ журналѣ «Развлеченіе» въ 1861 году ²³⁾. Въ ней авторъ достигъ высшей степени иносказанія и, къ тому же, умышленно пожелалъ отвести глаза читателю отъ истиннаго своего намѣренія. Онъ самъ увѣрялъ читателя, что «сюжетъ имъ заимствованъ изъ обыденной жизни», но уже одинъ перечень дѣйствующихъ лицъ можетъ показать, сколь все въ этомъ твореніи необыденно и необычайно. Дѣйствіе происходитъ въ губернскомъ городѣ, близъ катакомбъ (?). Драматическая завязка заключается въ томъ, что директоръ губернской мужской гимназіи усмотрѣлъ въ младшемъ классѣ нѣкъ дотолѣ невиданнаго воспитанника Ванюшу, и на спросъ о немъ всѣ единогласно отозвались, что онъ—не кто иной, какъ всѣмъ извѣстный финникъ. Это бы еще ничего, но этотъ самый финникъ оказывается древлянскаго происхожденія и притомъ сыномъ нѣкоей вдовы Кислосвѣздовой—«нѣмой и страстной», которая даръ слова можетъ получить только въ объятіяхъ любви... И съ этимъ можно было бы помириться; можно даже разобратъ въ странныхъ извивахъ мысли и замыслахъ русскаго дворянина Силина, который одержимъ страстью говорить по-французски и потому проводить время въ зазубриваніи вокабулъ: «ломъ — человѣкъ», «ламъ — душа», «патисери — пирожное», «просто серизъ — вишня», но чего никто никогда не пойметъ, такъ это—вторженіе и въ безъ того запутанное дѣйствіе двухъ уроженцевъ благородной Гишпаніи. Сильва донъ-Алоизо де-Мерзавецъ и его спутница, дон-Ослабелла, окончательно путаютъ всѣ расчеты и соображенія самаго проникательнаго комментатора.

Таковы заслуги Кузьмы Петровича передъ русскою приемо-

²³⁾ «Развлеченіе», 1861, № 18.

ванною рѣчью—въ ея эпической и лирической формѣ — и таковы его попытки сказать новое слово со сцены.

XI.

Кузьма Петровичъ стяжалъ себѣ, помимо славы писателя, еще и большую извѣстность, какъ мыслитель. Мы обязаны ему, напримѣръ, изданіемъ цѣлой серіи историческихъ матеріаловъ, собранныхъ его дѣдомъ. Помимо силы чувствъ и свѣжести впечатлѣній, какія въ нихъ отмѣчаетъ ихъ издатель, они для историка екатерининскаго царствованія весьма большое подспорье. Не то, чтобы въ нихъ были отмѣчены какія-нибудь изъ ряда вонъ выходящія знаменательныя событія той эпохи,—нѣтъ. Дѣдъ Кузьмы Петровича собиралъ исключительно анекдоты. Но по этимъ анекдотамъ очень удобно судить о вкусахъ литературныхъ и иныхъ того времени; а извѣстно, что иногда любимый и ходячій анекдотъ эти вкусы лучше опредѣляетъ, чѣмъ сухое и добро-совѣстное изслѣдованіе. Такъ, напримѣръ, придворная французская рѣчь, тогда столь распространенная, передана намъ удивительно образно въ репликахъ генераль-аншефа X., который передъ каждымъ изъ дома своего выѣздомъ по нѣскольку французскихъ реченій затверживалъ, въ родѣ, напримѣръ: «не плезантѣ жамѣ авекъ лѣ фамъ донѣ лима-жинасіонѣ траваль». Такъ же точно и ходкая тогда сентиментальная рѣчь ни въ одномъ романѣ не достигала такой законченности, какъ въ словахъ, съ которыми нѣкій швабъ обратился къ своей возлюбленной, когда она съ аппетитомъ ѣла жареную бекасину: «О! Амалія!—сказалъ онъ,—если бъ я былъ бекасиною, то, уповаю, всю тарелку вашу своими внутренностями черезъ край переполнилъ бы». Есть люди мало свѣдушіе, которымъ такіе анекдоты покажутся смѣшными, но серьезный историкъ ихъ оцѣнитъ.

Съ подобающей серьезностью должно отнестись и къ «мыслямъ и афоризмамъ» самого Пруткова; совѣтъ этотъ въпрочемъ, излишенъ, такъ какъ эти «плоды раздумья» нашего писателя давно оцѣнены по достоинству, и къ нимъ привыкли относиться съ тѣмъ же уваженіемъ, съ какимъ цитируютъ мысли Власа Паскаля, Ларошфуко, Ривароля, Лихтенбергера и другихъ всемірно извѣстныхъ «максимистовъ».

Кузьма Петровичъ вполне оправдываетъ такое почетное родство. Его афоризмы блестятъ двумя неогцѣненными ка-

какъ писателя... но... но самое его существованіе въ мірѣ стало вдругъ почему-то подвергаться сомнѣнію...

XII.

Упорные слухи не только о мнимомъ талантѣ Пруткова, но и о мнимомъ его бытіи понудили одного изъ близкихъ его друзей выступить въ его защиту и рѣшиться на крайнее средство — печатно заявить, что всѣ сомнѣнія въ его реальномъ существованіи бросаютъ тѣнь не только на самого почтеннаго писателя, но и на его ближайшее начальство. «Подумали ли они (т.-е люди, одержимые скептицизмомъ), — писалъ пріятель Пруткова, — подумали ли они, въ какое положеніе они ставятъ все управленіе министерства финансовъ, увѣряя, будто Кузьма Прутковъ не существовалъ? Да кто же тогда былъ столь долго предсѣдателемъ Пробырной Палатки, производился въ чины даже за отличіе и получалъ жалованье?» ²⁴⁾

Но и это основательное замѣчаніе не убѣдило скептиковъ, и нынѣ можно утверждать уже съ полною достовѣрностію, что Кузьма Петровичъ — истинно миѣъ, и всѣ его произведенія — сплошная мистификація! Кузьму Пруткова выдумали, окрестили, всѣ сочиненія за него написали и даже портретъ его намалевали три большихъ шутника и остроумца — два брата Жемчужниковыхъ и гр. А. К. Толстой, — въ 50-хъ годахъ люди молодые и, выражаясь терминологіей тогдашняго генералъ-губернатора Закревскаго, — «на все способные».

Историку тяжело, конечно, вычеркивать Кузьму Петровича изъ списка почтенныхъ дѣятелей на поприщѣ литературы, но онъ можетъ утѣшиться тѣмъ, что оставшееся послѣ Кузьмы Пруткова литературное наслѣдство все-таки существуетъ и со страницъ русской словесности не исчезнетъ; даже больше — потребуетъ отнынѣ къ себѣ истинно серьезнаго отношенія, въ виду популярности литературныхъ именъ тѣхъ лицъ, которыя въ веселую минуту позволили себѣ съ легковѣрнымъ читателемъ такую милую шутку.

Сознавая всю серьезность задачи, мы и постараемся теперь опредѣлить то мѣсто, которое въ исторіи русской сатиры должно быть отведено твореніямъ Пруткова. Но прежде — нѣсколько словъ о самой миѣической личности автора.

²⁴⁾ «Новое Время», 1881, № 2026.

XIII.

Исторія кружка, въ которомъ родился и воспитался Кузьма Прутковъ, къ сожалѣнію, почти совсѣмъ неизвѣстна и, вѣроятно, никогда не станетъ извѣстна, если А. М. Жемчужниковъ—и нынѣ, во славу нашей словесности, здравствующій—ея не расскажетъ при случаѣ. Подождемъ этого случая, а пока мы можемъ установить только одинъ фактъ.

Въ началѣ 50-хъ годовъ А. Толстой и два его двоюродныхъ брата, А. и В. Жемчужниковы, люди уже не первой молодости, прославились шуточными стихотвореніями, съ которыми мы теперь достаточно знакомы; славились они, кромѣ того, невѣроятно забавными выходками, которыя они продѣлывали и въ своей компаніи и въ обществѣ. Они составляли тогда интимный веселый кружокъ, нѣсколько напоминавшій молодую компанію 20-хъ годовъ, въ которой куролесили Пушкинъ и Нащокинъ, или 30-хъ годовъ, когда въ этой роли весельчаковъ и проказниковъ выступали Лермонтовъ и Столыпинъ. Въ чемъ заключались продѣлки друзей Кузьмы Пруткова, въ точности неизвѣстно, но продѣлокъ, которыя имъ приписывались, столь много и такъ онѣ экстравагантны, что если Толстой и Жемчужниковы во всѣхъ этихъ шалостяхъ и неповинны (а это возможно), то одинъ тотъ фактъ, что такія продѣлки имъ приписывались, уже показываетъ, какого о нихъ были мнѣнія.

Нисколько не разбираясь въ томъ, гдѣ истина, гдѣ вымыселъ, что было на самомъ дѣлѣ, а что измышлено, приведемъ кое-какіе рассказы, которые были намъ рассказаны, какъ достовѣрныя событія изъ жизни веселыхъ пріятелей.

Разсказывали, напримѣръ, что они, катаясь за городомъ, брали съ собою въ сани большой шестъ и, вплотную подѣзжая къ тротуару, держали его горизонтально такъ, что вся шедшая по тротуару публика должна была при ихъ проѣздѣ прыгать. Разсказываютъ, какъ одинъ изъ нихъ ночью, въ мундирѣ флигель-адъютанта, объѣздилъ всѣхъ главныхъ архитекторовъ города С.-Петербурга съ приказаніемъ явиться утромъ во дворецъ въ виду того, что Исаакиевскій соборъ провалился, и какъ былъ разсерженъ императоръ Николай Павловичъ, когда услышалъ столь дерзкое предположеніе.

Говорятъ, что одинъ изъ нихъ въ театрѣ умышленно наступилъ на ногу одному высокопоставленному лицу, къ которому потомъ ходилъ въ каждый пріемный день извиняться, пока тотъ его не выгналъ.

Утверждаютъ, что они въ день коронаціи Александра Николаевича распрягли лошадей у кареты испанскаго посланника (посланника тогда единственной дружественной намъ державы), провозили ее нѣкоторое пространство и затѣмъ бросили на произволъ судьбы.

Утверждаютъ, что одинъ изъ нихъ на пари остановилъ одного знаменитаго нѣмецкаго трагика, когда тотъ игралъ «Гамлета»; а именно, когда трагикъ началъ читать монологъ: «*Sein oder nicht sein?*»—Кузьма Прутковъ закричалъ ему изъ перваго ряда креселъ: «*Warten Sie!*»—и сталъ рыться въ огромномъ словарѣ, желая знать, что значитъ слово «*sein*».

Разсказываютъ, что въ одномъ публичномъ мѣстѣ, присутствуя при разговорѣ двухъ лицъ, которыя спорили о вредѣ куренія табаку, на замѣчаніе одного изъ нихъ: «Вотъ я курю съ дѣтства и мнѣ теперь шестьдесятъ лѣтъ», Кузьма Прутковъ, не будучи съ нимъ знакомъ, глубокомысленно ему замѣтилъ: «А если бы вы не курили, то вамъ теперь было бы восемьдесятъ»—чѣмъ повергъ почтеннаго господина въ большое недоумѣніе.

Много ходитъ подобнаго рода разсказовъ о продѣлкахъ Кузьмы Пруткова, продѣлкахъ невиннаго, но все-таки вызывающаго свойства. Совершалъ ли онъ ихъ на самомъ дѣлѣ, это намъ неизвѣстно, но на всѣхъ этихъ шалостяхъ лежитъ та же печать невиннаго шутовства, которое составляетъ отличительный признакъ и всѣхъ стихотвореній Кузьмы Петровича. Можно ли, однако, сказать, что стихотворенія Пруткова были только лишь шалостью?

XIV.

Стихи Пруткова писались сообща тремя друзьями иногда всѣми вмѣстѣ, иногда порознь, подъ однимъ псевдонимомъ. Уже въ 1874 г. А. Жемчужниковъ говорилъ, что долю участія cadaго изъ нихъ въ твореніяхъ Пруткова опредѣлить трудно ²⁵⁾.

²⁵⁾ Письмо въ редакцію «Спб. Вѣдомостей», 1874 г., № 37.

Со временемъ доля А. Толстого будетъ выдѣлена, но въ данномъ случаѣ это несущественно. Велика ли эта доля, или мала—все равно А. Толстой былъ участникомъ въ созданіи особаго жанра стихотворной шутки.

Этотъ жанръ имѣетъ безспорную историческую цѣнность. Прежде всего—цѣнность необычайно оригинальную.

Кузьма Прутковъ—unicum; у него нѣтъ ни предшественниковъ ни послѣдователей.

Въ дореформенное время было у насъ въ обращеніи немало стиховъ весьма игриваго свойства. Ходили по рукамъ необычайно умныя, убійственныя по своему удару эпиграммы и пародіи, иногда съ глубокимъ общественнымъ смысломъ. Пушкинъ былъ на нихъ большой мастеръ и имѣлъ достойнаго соперника въ князѣ Вяземскомъ. Обращались поэты съ этимъ оружіемъ осторожно, съ расчетомъ, вполне зная ему цѣну. Ихъ «вольные» стихи всегда мѣтили въ серьезную цѣль, перелетая черезъ цензурную преграду. Серьезность такихъ стихотвореній нисколько не умалялась тою циничною приправой, на которую авторы иногда не скупились. Существовалъ въ дореформенное время и чисто циничный родъ легкихъ стихотвореній. Имъ не брезгали ни Пушкинъ ни Лермонтовъ. Наконецъ, встрѣчалась и сатира правовъ, тоже въ очень легкой формѣ, и большимъ мастеромъ такой сатиры былъ извѣстный Мятлевъ.

Со всѣми этими видами острой и игривой шутки стихи Кузьмы Пруткова не имѣютъ ничего общаго.

О политической тенденціи у Пруткова нѣтъ и помину, и игривость его и вольность совсѣмъ не подходятъ подъ понятіе цинизма. У Пруткова нѣтъ ничего боевого, ничего строго продуманнаго,—какъ нѣтъ ничего грубаго и сальнаго. Его шутка совсѣмъ безъ всякой тенденціи, шутка, построенная на алогичномъ, иногда бессмысленномъ сплетеніи мыслей и чувствъ человѣческихъ.

Въ началѣ пятидесятихъ годовъ она возникла и въ началѣ шестидесятихъ замолкла, уступивъ свое мѣсто обличительной сатирѣ въ стихахъ, на которую она также совсѣмъ не похожа.

Творенія Пруткова остались въ литературѣ, какъ единственный памятникъ, связанный съ извѣстнымъ историческимъ моментомъ, и очевидно, что эта связь была не случайная, хотя сами творцы этихъ стихотвореній о ней, можетъ-быть,

и не думали. Они упорно утверждали, что въ ихъ шуткахъ нѣтъ ничего серьезнаго, что они «въ виду» ничего не имѣли, кромѣ шутки. Этому можно повѣрить, нисколько не умаляя значенія того факта, что ихъ шалости оказались характернымъ проявленіемъ русскаго остроумія въ самое глухое время—наканунѣ боевого и гласнаго обличенія.

Въ дни заката николаевского режима, который былъ, или долженъ былъ быть, выраженіемъ строжайшаго порядка и дисциплины, въ годы, когда все должно было совершаться «съ дозволенія», въ періодъ полнаго торжества благонравія—ворвалась въ русскую литературу эта струя задорнаго, бѣшенаго веселья и шутовства.

Шутники ни на кого и ни на что не намекали, никакихъ пародій съ намеками и сатиръ съ обличеніемъ не писали, никакой, даже косвенной, критики переживаемаго историческаго момента себѣ не позволяли и обнаружили съ полною откровенностью только одну способность—шутовское, озорническое отрицаніе всякаго порядка въ мозгахъ и чувствахъ. Поставить здравый смыслъ вверхъ дномъ, съ серьезнымъ видомъ нести неописуемую чепуху, играть на каламбурахъ, подрывать довѣріе къ естественному теченію вещей, кувыряться въ сужденіяхъ—вотъ что нравилось этимъ остроумнымъ людямъ въ моментъ, когда всѣ кругомъ только и думали о томъ, какъ бы помолчать, выразиться поосторожнѣе, не нарушить этикета и движеніями своими не подать повода заподозрѣть ихъ въ намѣреніи нарушить общественную тишину и порядокъ. Кузьма Петровичъ шутилъ, озорничалъ, гаерничалъ, паясничалъ и не замѣчалъ самъ, что онъ—историческая фигура.

Но не успѣлъ онъ вдоволь нашалиться, какъ такому беззаботному, самодовольному, самолюбующемуся веселію уже не было мѣста въ жизни. Кузьма Петровичъ понялъ это и засѣлъ за «Проектъ объ установленіи единомыслія въ Россіи». Онъ помирился съ тѣмъ, что молодость его прошла—и что повторяться ей не слѣдуетъ...

Н. Котляревскій.



КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

Гр. А. К. ТОЛСТОГО.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ.

Составилъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ второй.

Цѣна 1 руб.

МОСКВА.
ИЗДАНИЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.
Покровка, Дялинь переулокъ, собств. домъ.
1907

О Г Л А В Л Е Н І Е

второго выпуска.

	Стр.
Основные мотивы поэзіи гр. А. Толстого. Л. Бѣльскій. („Русское Обозрѣніе“, 1894 г., № 3.)	1
„Князь Серебряный“, историч. романъ гр. Толстого. В. Портѣнниковъ. („Отечеств. Зап.“, 1863 г., № 2.)	15
Искусство, религія, народность. По поводу сочиненій гр. А. К. Толстого. П. Щебальскій. („Русскій Вѣстн.“, 1883 г., № 3.)	42
Графъ А. К. Толстой. А. („Русскій Вѣстн.“, 1875 г., № 11.)	74
Поэтъ-богатырь. По поводу писемъ гр. Алексѣя Толстого. М. О. Меньшиковъ. „Князь Серебряный“, повѣсть гр. А. К. Толстого. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ. („Современникъ“, 1863 г. № 4.)	94
„Князь Серебряный“, повѣсть гр. А. К. Толстого. („Время“, 1862 г., № 14.)	124
„Князь Серебряный“, повѣсть гр. А. К. Толстого („Голосъ“, 1863 г., № 48.)	138
Очерки литературы. Памяти гр. А. К. Толстого. „Драковъ“, первое по- смертное произведеніе А. К. Толстого. X. У. Z. („Голосъ“, 1875 г., № 279.)	145
Литература и жизнь. Гр. А. Толстой. Полное собраніе его стихотвореній. Драматическая трилогія: „Смерть Іоанна Грознаго“, „Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ“, „Царь Борисъ“. „Князь Серебряный“, повѣсть. („Го- лосъ“, 1876 г., №№ 131 и 132.)	154
Историческое значеніе поэзіи гр. А. К. Толстого. Н. Котляревскій. („Подъ знаменемъ науки“, сборникъ.)	158
	185

О Г Л А В Л Е Н І Е

статей второго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

	Стр.
„Іоаннъ Дамаскинъ“. Статьи:	
Л. Бѣльскаго	1
П. Щебальскаго	53, 60, 63
„Русск. Вѣстника“	80
„Голоса“	166
Н. Котляревскаго	194

„Донъ-Жуанъ“. Статьи:	Стр.
Л. Бѣльскаго	2
П. Щебальскаго	60
„Голоса“	162, 179
Н. Котляревскаго	193
Мелкія стихотворенія. Статьи:	
Л. Бѣльскаго	3
П. Щебальскаго	50, 70
„Русск. Вѣстника“	77
„Князь Серебряный“. Статьи:	
В. Порѣзчикова	15
„Русск. Вѣстника“	82
М. О. Меньшикова	114
М. Е. Салтыкова-Щедрина	124
„Времени“	138
„Голоса“	145, 161, 165
„Грѣшница“. Статьи:	
П. Щебальскаго	51, 60, 61
Н. Котляревскаго	193
„Пѣснь о походѣ Владимира“. Статьи:	
П. Щебальскаго	62, 65, 66
„Смерть Іоанна Грознаго“. Статьи:	
„Русск. Вѣстника“	83
„Голоса“	168
„Посадникъ“. Статьи:	
„Русск. Вѣстника“	90
„Драконъ“. Статьи:	
„Голоса“	154, 160
„Кузьма Прутковъ“. Статьи:	
„Голоса“	160
„Трилогія“. Статьи:	
„Голоса“	166, 172
„Слѣпой“. Статьи:	
„Голоса“	167
„Царь Борисъ“. Статьи:	
„Голоса“	170
„Федоръ Іоанновичъ“. Статьи:	
„Голоса“	172
„Алхимикъ“. Статьи:	
„Голоса“	179
„Потокъ-Богатырь“. Статьи:	
„Голоса“	183

Основные мотивы поэзии графа А. Толстого *).

(Читано въ Обществѣ Любит. Росс. Слов. 29 янв. 1894 г.)

«Мы съ товарищемъ сидимъ по вечерамъ дома и читаемъ вмѣстѣ сочиненія гр. А. Толстого. Что за прелесть! Право, крылья за собою чувствуешь, вслушиваясь въ эту русскую рѣчь, брызжущую поэтическими порывами и возвышенными помыслами». Такъ писалъ только что кончившій университетскій курсъ молодой человѣкъ въ одинъ журналъ въ восьмидесятыхъ годахъ. Да и кто изъ насъ, особенно въ юности, не зачитывался этимъ поэтомъ? Кто не заучивалъ его стихотвореній безъ приказанія, добровольно? Когда такъ хочется вѣрить, простить, любить, преклониться предъ чистою красотою или страдать чистымъ страданіемъ, уйти подальше отъ дразгъ житейскихъ; когда, весь горя идеализмомъ, человѣкъ только и хочетъ жить въ высшихъ сферахъ вѣры, любви и искусства,—тогда въ стихотвореніяхъ Толстого онъ находитъ вѣрные отзвуки своимъ душевнымъ порывамъ, отзвуки гармоничные и удивительно разнообразные.

Глубокимъ религіознымъ чувствомъ проникнута поэма Толстого Іоаннъ Дамаскинъ, поражающая и красотою стиха, и возвышенностью идеи, и законченностью образа. Взявъ сюжетъ изъ Четыхъ-Миней, нашъ поэтъ создалъ живое лицо святого, свободнаго служителя искусства, проникнутаго полнымъ чувствомъ природы и всеобъемлющей любовью, отшельника, отказавшагося отъ всѣхъ благъ земныхъ ради Бога и поэзіи,—лицо до такой степени идеальное, что для его созданія только и можно было обратиться къ тѣмъ временамъ, когда святые ходили по землѣ. Тѣмъ же

*) «Русское Обозрѣніе», 1894 г., № 3.

религіознымъ чувствомъ проникнуты и многія изъ стихотвореній личнаго характера у нашего поэта. Ослабѣваетъ ли онъ на поэтическомъ поприщѣ, — онъ молить Господа «дохнуть живящей бурей» на него; думаетъ ли о смерти, — онъ видитъ небеса, гдѣ «блаженствомъ сіяющіе лики отвращены отъ міра суеты».

Отсюда, изъ этой постоянно присущей ему вѣры, вытекаетъ и взглядъ его на людскіе проступки, взглядъ, дышащій мягкостью прощенія и очищенія. Поэтому онъ и изъ евангельской исторіи беретъ сюжетомъ «Грѣшницу» и свой переводъ изъ Гёте «Богъ и Баядера» кончаетъ словами:

Раскаянье грѣшныхъ любимо богами,
Заблудшихъ дѣтей огненными руками
Благіе возносятъ къ чертогамъ своимъ.

Раскаяніемъ и вѣрою спасается евангельская грѣшница, раскаяніемъ и чистой любовью искупаетъ Баядера грѣхи свои.

Неразрывно связывая вѣру съ любовью, нашъ поэтъ и изъ многочисленныхъ вариантовъ сюжета Донъ-Жуана выбираетъ наименѣе согласный съ основнымъ типомъ, но наиболѣе близкій къ основнымъ своимъ взглядамъ. Герой драмы, тщетно стремящійся къ осуществленію своего идеала и въ отчаяніи объявившій себя врагомъ самого неба, стоя на краю гибели, чистою любовью искупаетъ свои преступленія, любовью пріобрѣтаетъ спасающую его вѣру и достигаетъ полной законченности идеальнаго образа, при которой нѣтъ ему иного мѣста въ мірѣ, какъ сдѣлаться отшельникомъ, подобно Дамаскину. Не забудемъ, что эстетическое чувство прирождено Донъ-Жуану, что онъ ищетъ высочайшей красоты и полонъ такой ея жажды, «которой нѣтъ на свѣтѣ утоленья». Самыя понятія любви близки у обоихъ лицъ. Донъ-Жуанъ служить любви, чтобъ она его «роднила со вселенной», «всѣхъ истинъ онъ источникъ видитъ въ ней, всѣхъ дѣлъ великихъ первую причину», и Дамаскинъ полонъ этой вселенской любви:

О, если бъ могъ всю жизнь смѣшать я,
Всю душу вмѣстѣ съ вами слить;
О, если бъ могъ въ мои объятья
Я васъ, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!

Вѣра, чистая любовь и чувство изящнаго — вотъ три основныхъ мотива указанныхъ произведеній; будучи соединены въ одно цѣлое, эти мотивы даютъ вполне законченные идеальные образы у нашего поэта. Но не составляютъ ли они только нѣчто объективное для него? Справедливо ли считать Іоанна Дамаскина лирическою поэмой, а Донъ-Жуана лирическою драмой? Не любитъ ли этими мотивами поэтъ издаль, не вынося ихъ изъ своей души? Не есть ли это пустой сентиментализмъ, и авторъ, создавая чудные образы, въ себѣ носитъ нѣчто, не только имъ чуждое, но даже, можетъ-быть, противоположное? Отвѣта на эти вопросы слѣдуетъ искать въ его произведеніяхъ личнаго характера, гдѣ его душа обнажена передъ нами, гдѣ длинною вереницей проходятъ передъ нами его чувства и думы. Обратимся къ нимъ, къ тому, что онъ называлъ своими Пѣснями.

Первое, что поражаетъ читателя при чтеніи подъ рядъ этихъ мелкихъ произведеній въ первомъ томѣ, это то, что они представляютъ изъ себя цѣлую лирическую поему романческаго характера. Сдѣлаемъ маленькое библиографическое отступленіе. Если читать ихъ по изданію 1877 года, гдѣ они расположены въ алфавитномъ порядкѣ, то подобная мысль не придетъ въ голову, потому что тамъ славянофильское стихотвореніе «Колокольчики мои» стоитъ рядомъ съ такимъ стихотвореніемъ, какъ «Коль любить, такъ безъ разсудку», и грустная элегія «Острою сѣкирой» рядомъ съ славянофильскимъ же «Ой, стоги, стоги». Но совсѣмъ другое въ первомъ изданіи 1867 г., гдѣ порядокъ установленъ самимъ авторомъ, или въ изданіи 1884 г., повторившемъ этотъ порядокъ. Здѣсь, начиная со стихотворенія «Горними тихо легѣла...» и кончая крымскими очерками, почти страница за страницей, послѣдовательно идетъ эта лирическая поэма, состоящая изъ 82 отдѣльныхъ мелкихъ произведеній. Поэма эта раздѣляется стихотвореніемъ «Коль любить, такъ безъ разсудку» на двѣ части: въ первой одно дѣйствующее лицо — самъ авторъ, во второй два — авторъ и предметъ его любви; первая представляетъ недовольство поэта собою, жалобу на гнетъ жизни, на поэтическое бездѣйствіе, тревоги, сомнѣнія, горе поэта и разрѣшается, наконецъ, чувствомъ обновленія и душевной бодрости; вторая — это романъ, вначалѣ звучащій печально, но разрѣшающійся чувствомъ полного сча-

стія и взаимнаго довольства. Къ сожалѣнію, въ печати мало біографическихъ данныхъ о Толстомъ, и мы не можемъ указать, какіе именно факты изъ его жизни отразились въ этой поэмѣ.

Первая часть начинается нѣкоторымъ возраженіемъ автора самому себѣ на мысль, неоднократно имъ высказываемую и только что выраженную въ стихотвореніи «Тщетно, художникъ», что поэтъ, «глухой для земли», слушаетъ только неземное или, какъ говорить онъ въ стих. «И. С. Аксакову»,

... Жизнью смертнаго дыша,
Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа.

Теперь, «горними тихо летя небесами», душа поэта просить Создателя отпустить ее снова на землю, дорогую ему страданіемъ и горемъ, гдѣ «было бъ кого пожалѣть и утѣшить кого бы». Чѣмъ же объясняется это стремленіе автора сойти изъ «пространства, гдѣ много невидимыхъ формъ и неслышимыхъ звуковъ», на землю съ ея страданіями? Что заставило его отвести взоры отъ привычныхъ ему небесъ? Кого ему хочется пожалѣть и утѣшить? Какъ увидимъ далѣе, у него начался романъ, въ благополучномъ исходѣ котораго онъ не увѣренъ. Онъ страдаетъ и полонъ тоски и поэтическаго бездѣйствія! Начинается рядъ стихотвореній, заключающихъ долгія жалобы на неудовлетворенность жизни. Много звуковъ у поэта «въ сердца глубинѣ, неясныхъ думъ, непѣтыхъ пѣсень много», но ихъ заглушаетъ жизнь, въ которую брошено сердце, «какъ въ студеную воду», и которая сдѣлала съ поэтомъ «недоброе дѣло». «Думушки его всходятъ лютой печаль-травой, вырастаютъ горючимъ горемъ». Поэтъ разочаровывается въ себѣ: въ прежніе годы душа его была непорочна; теперь ему «стали понятны обманъ и коварство, и зло, и многія свѣтлыя мысли одну за другой унесло». Онъ думаетъ о «дняхъ минувшихъ», когда онъ «былъ добрѣе». Горе его растетъ, и онъ теряетъ надежду отъ него избавиться:

Туманная гряда
Разсѣется, развѣется,
А горе — никогда!

Поэтъ ищетъ причины своей тоски и внутри себя, въ своей поэтической дѣятельности. Онъ анализируетъ ее и находитъ, что онъ всегда былъ вѣренъ себѣ, что онъ не былъ

«бойцомъ двухъ становъ», что онъ, въ силу незыблемыхъ убѣжденій и «знамени врага отстаиваль бы честь». Ища обвиненій въ совѣсти, поэтъ не находитъ ихъ:

Чисты мои мысли, чисты побужденія,
А на свѣтѣ жить мнѣ тяжело и больно.

Душа его «собою вѣчно недовольна, нѣтъ ей приговора, нѣтъ ей примиренья». Итакъ, убѣжденія его безупречны, а между тѣмъ, онъ страдаетъ. Не въ недостаткѣ ли поэтической силы и выдержки лежитъ основа его тревоги?

Господь, меня готовя къ бою,
Любовь и гнѣвъ вложилъ мнѣ въ грудь...
И гнѣвъ я свой истратилъ даромъ,
Любовь не выдержалъ свою...
Я вышелъ въ поле безъ юльчуги
И гибну раненый въ бою!

Не проза ли житейская отвлекаетъ его отъ его высокаго призванія?

... Честь ли молодцу
Гусляру-пѣвуну во приказѣ сидѣть,
Во приказѣ сидѣть, потолокъ коптить?
Ой, коня бѣ ему, гусли звонкія!..
Черезъ рѣченьку, да во темный садъ,
Гдѣ соловушка на черемушкѣ
Цѣлу ноченьку напролетъ поетъ!

Житейскій шумъ, житейская проза давятъ поэта. Вмѣстѣ съ чѣмъ-то «невѣдомымъ, незнаемымъ» они породили его горе, не налетное, но долгое, тягучее, какъ «осенній мелкій дождичекъ, сѣть и сѣчетъ оно безъ умолку», —

Безъ умолку, безъ устали,
Безъ конца сѣчетъ, безъ отдыха,

и «клонится его головушка, безталанная, горемычная». Этотъ невыносимый гнетъ жизни и горя достигаетъ крайнихъ предѣловъ, и избавленіе отъ него поэтъ видитъ только въ смерти, когда «всѣ невидимыя муки»,

Нестройный гулъ сомнѣній и заботъ,
Всѣ межъ собой враждующіе звуки
Последній часъ въ созвучіе сольетъ.

Въ такомъ безвыходномъ состояніи, въ мукахъ отъ поэтическаго бездѣйствія, отъ сомнѣній и заботъ, тоскующій,

опустившій руки поэтъ, не находя въ себѣ самомъ силъ, съ глубокою вѣрой прибѣгаетъ къ молитвѣ:

Дохни, Господь, живящей бурей
На душу сонную мою!
Какъ гласъ упрека, надо мною
Свой громъ призывный прокати,
И выжги ржавчину покоя,
И прахъ бездѣйствія смети!

И вотъ, вслѣдъ за этой молитвой, поэтъ чувствуетъ успокоеніе. Въ своемъ горѣ онъ видитъ уже не что-либо свое, въ немъ зародившееся, а что-то внѣшнее, какого-то «злого духа». Онъ чувствуетъ силу бороться съ нимъ и съ самой жизнью, этою «бабой-ягою», съ которою онъ собирается «схватиться снова». Уже онъ спрашиваетъ себя: «Что мнѣ тужить за охота?» Является надежда, что

Уймется волненье, и вскорѣ
Въ свой уровень вступитъ законный
Души успокоенной море,

а затѣмъ наступаетъ полное самообладаніе и поэтическое сочувствіе съ природой:

О, море! Кого же мнѣ вызвать на бой,
Извѣдать воскресія силы?
Почуяло сердце, что жизнь хороша;
Вы, волны, размыкали горе:
Отъ грома и плеска проснулась душа—
Сродни ей шумящее море!

Уже не «думушка—лютая печаль-трава» вырастаетъ на сердцѣ поэта, а «дума, словно дерево, задрожитъ, зашумитъ тучей листіевъ». «Сердце знаетъ ту думу крѣпкую, что оно взрастило, взлелѣяло». Это нѣчто могучее, необъятное, «думушка, что ни высказать, ни вымѣрить, ни обнять умомъ»; и эти думы ткуть поэту золотой узоръ на темной ткани жизни. Поэтъ бодръ, полонъ силы и поэтическаго вдохновенія; вернулось къ нему минувшее время:

Я васъ узналъ, святые убѣжденія,
Вы—спутники моихъ минувшихъ лѣтъ!..
Разсѣялся туманъ, и, слава Богу,
Я выхожу на старую дорогу...
Попрежнему сіяетъ правды сила,
Ея сомнѣнья болѣ не затмятъ.

Это поэтическое возрожденіе свое авторъ изображаетъ въ видѣ весны:

Зима прошла, природа зеленѣетъ,
Луга цвѣтутъ, весной душистой вѣетъ...

Звонче жаворонка пѣнье,
Ярче вешніе цвѣты,
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты.
Разорвавъ тоски оковы,
Цѣпи пошлыя разбивъ,
Набѣгаетъ жизни новой
Торжествующій приливъ.

Такъ заканчивается первая половина этой лирической поэмы. Все горе, тоска отъ поэтического бездѣйствія, мечты о смерти, все разрѣшилось торжествующимъ приливомъ новой жизни.

Какая же это новая жизнь? Что за весна настала для поэта? Одно ли это само-собою возникшее возрожденіе поэзіи, котораго такъ долго и тщетно искалъ онъ, или сюда примѣшалось нѣчто другое? Отчего воскресли святые убѣжденія, появились крѣпкая дума, удалъ, силы для боя и торжество жизни? Чего недоставало поэту для цѣльности, для гармоніи его жизни? На эти вопросы даетъ отвѣтъ вторая половина поэмы, которая объясняетъ намъ и новую жизнь и чего недоставало поэту ранѣе. Конечно, шумъ свѣтской жизни, эта «студеная вода», два «стана», звавшіе поэта въ свои ряды, остались тѣ же, но мы уже не услышимъ жалобъ его на нихъ; явилось нѣчто, что слило въ созвучіе разладъ «враждующихъ звуковъ, нестройный гулъ сомнѣній и заботъ». Это не смерть, какъ раньше ждалъ поэтъ, а это любовь—истинная причина и горя и торжества его. Не было удовлетворяющей любви съ тою, на которую онъ обратилъ взоръ свой съ поэтическихъ небесъ на землю, не было и гармоніи въ жизни. Теперь не то: любовь взяла свои права, и ликующій пѣвецъ уже не гнетъ «головушку безталанную, горемычную», а полный свѣжихъ силъ и молодецкой удали, смѣло ударяетъ въ свои гусли:

Коль любить, такъ безъ разсудку,
Коль грозить, такъ не на шутку...
Коль простить, такъ всей душой,
Коли пиръ, такъ пиръ горой!

Но что это? Удаляя струны вдругъ смолкають. Опять минорный тонъ; опять печаль, слезы. Но взгляды: теперь не самъ поэтъ—центръ этой печали, а предметъ его любви. Поэтъ только сострадаетъ, только сочувствуетъ ея печали. Его избранница открыла ему свою душу, полную грусти и страданій. Причина ея горя — первая ея любовь. И поэтъ утѣшаетъ ее; онъ проситъ ее «не вѣрить себѣ» самой; тотъ, котораго она любила раньше, «не могъ привлечь ее собой»; онъ только «отысканный предлогъ для ея тайныхъ думъ и мученій и блаженства»; поэтъ проситъ ее видѣть въ прошломъ «лишь обманъ неопытнаго взора». Но рана въ ея сердцѣ слишкомъ глубока, и поэтъ оканчиваетъ стихотвореніе «Острою сѣкирой ранена береза» словами: «Лишь больное сердце не залѣчитъ раны».

Отъ своей избранницы поэтъ переноситъ думы на самого себя и спокойно анализируетъ свои отношенія.

Средь шумнаго бала, случайно,
Въ тревогѣ мірской суеты

произошла первая встрѣча, и первымъ чувствамъ своимъ послѣ этой встрѣчи поэтъ даетъ такое выраженіе:

Люблю ли тебя, я не знаю—
Но кажется мнѣ, что люблю!

Онъ задумывается надъ ними. Рефлексъ останавливаетъ вспышку любви безъ разсудка; послѣдній является на сцену со своими расхолаживающими сомнѣніями:

Смѣюсь я, товарищъ, мечтаньямъ твоимъ,
Смѣюсь, что ты будущность губишь.
Ты мыслишь, что вправду ты ею любишь,
Что вправду ты самъ ее любишь?
Случайно сошлись вы въ мірской суетѣ,
Вы съ ней разойдетесь случайно.

Тревожныя сомнѣнія, навѣянные разсудкомъ, поэтъ повѣряетъ своей избранницѣ; онъ боится за себя:

О, другъ ты мой бѣдный! Боюсь, со мной
Не быть тебѣ долго счастливой.
Во мнѣ и надеждъ и отчаяній рой,
Кочующей мысли прибой и отбой,
Приливы любви и отливы.

Однако, провѣривъ себя, почувствовавъ возникающія силы, онъ сейчасъ же и успокаиваетъ ее:

Не вѣрь мнѣ, другъ, когда, въ избыткѣ горя,
Я говорю, что разлюбилъ тебя.
Въ отлива часъ не вѣрь измѣнѣ моря:
Оно къ землѣ воротится, любя.

Наконецъ, онъ вполнѣ отдается новому чувству и, оставляя всякій анализъ, въ порывѣ нѣжной ласки говорить:

Ты не спрашивай, не распытывай,
Какъ люблю тебя, почему люблю,
И за что люблю, и надолго ли?..
Полюбивъ тебя, я махнулъ рукой,
Очертилъ свою буйну голову!

Цѣлый гимнъ любви выливается изъ души поэта; вся природа передъ нимъ живетъ и полна одной любовью; поэтъ слышитъ,

Какъ сердце каменное горъ
Съ любовью въ темныхъ нѣдрахъ бьется,
Съ любовью въ тверди голубой
Клубятся медленные тучи,
И подъ древесною корой,
Весною свѣжей и пахучей,
Съ любовью въ листья сокъ живой
Струей подьмется пѣвучей...
И всюду звукъ и всюду свѣтъ,
И всѣмъ мірамъ одно начало,
И ничего въ природѣ нѣтъ,
Что бы любовью не дышало...

Послѣ такого подъема духа, когда изъ сферы разсуждений и восторговъ пришлось обратиться къ суровой дѣйствительности, вновь начинаются печальныя мелодіи. Рана въ сердцѣ возлюбленной не заживала, и не рѣчи страсти, не веселье, не смѣхъ были въ устахъ любящей четы: «Ты грустна, — говоритъ поэтъ, — въ тебѣ есть скрытое мученье»;

... Если бѣ видѣть ты любящую душою
Могла со стороны хоть разъ свою печаль—
О, какъ самой себя тебѣ бы стало жаль,
И какъ бы плакала ты грустно надъ собою!

А вотъ и вечеръ, чудный весенній вечеръ, когда «западъ гаснетъ въ дали блѣдно-розовой, звѣзды небо усѣяли чистое»,—онъ не можетъ избавить влюбленныхъ отъ ихъ скорби, и подъ пѣсню соловья не налетаютъ на нихъ грезы счастья — слезы льются подъ ея звуки:

Плачь свободно, моя ненаглядная,
Пока пѣсня звучитъ соловьиная,

говорить сострадающій поэтъ и ко сну отходящую возлюбленную благословляетъ пожеланіями «иной» жизни:

Да снадетъ ангелъ сна, прекрасенъ и крылатъ,
И да перенесетъ тебя онъ въ жизнь иную!

Эта иная жизнь, не жизнь земного счастья, а жизнь иного міра. Мечты о смерти носятъ надъ ними, и поэтъ умоляетъ:

О, не спѣши туда, гдѣ жизнь свѣтлѣй и чище,
Среди міровъ иныхъ!

И готовясь къ вѣчной разлукѣ, онъ въ торжественной элегіи прощается со своей избранницей:

Прощальный взоръ бросая нашей жизни,
Душою, другъ, взгляди въ мои черты,
Чтобы узнать въ заоблачной отчизнѣ,
Кого звала, кого любила ты.

Но, дойдя до высшей степени тревоги и душевныхъ страданій, романъ разрѣшается не вѣчною, а лишь временною разлукой, которой посвящены четыре стихотворенія, гдѣ поэтъ говоритъ, что «душа его полна разлукою», называетъ свою избранницу «сестрой своей души», постоянно видитъ передъ собою ея «кроткій образъ, знакомый и любимый», и ждетъ съ нетерпѣніемъ, «когда повѣетъ осень и, сыпля желтый листъ, ихъ вновь соединитъ!»

Наконецъ, наступила желанная осень, «осыпался бѣдный садъ», кончилась разлука, и началась новая пора любви свѣтлой, прочной, ничѣмъ не смущаемой и не нарушаемой. «Минула страсть, и пылъ ея тревожный уже не мучилъ сердца» поэта; настала пора «Крымскихъ очерковъ», — любящая чета наслаждалась безмятежнымъ счастьемъ. Шумѣло море, въ шиповникѣ пѣлъ соловей, но подъ его пѣсню уже не катились изъ глазъ слезы: подруга поэта

Безпечно смѣялась — цвѣты на лошаdkѣ,
Въ рукахъ и на шляпѣ цвѣты.

Дивная природа въ глазахъ поэта блеститъ лишь для ея отрады:

Не для тебя ли по скаламъ
Бѣгутъ и плещутъ водопады?
Не для тебя ль въ ночной тиши

Вчера цвѣты благоухали?
Изъ синихъ волнъ не для тебя ли
Восходить солнечные дни?

Такъ заканчиваетъ свою поэму вполне счастливый поэтъ.

Вотъ содержаніе большинства изъ 82 стихотвореній Толстого, составляющихъ нѣчто цѣлое. Пустота жизни и тоскливое бездѣйствіе первой части разрѣшаются во второй—любовью, сперва омрачаемой горемъ подружки поэта, но потомъ приводящей къ полному счастью.

Изъ этого длиннаго ряда, изъ этой лирической поэмы видно, какъ душа поэта искала гармоніи между тремя основными мотивами идеальной жизни. Это исканіе и есть связующее звено всей поэмы. Поэтъ былъ неразлученъ только съ однимъ элементомъ этой триады—съ вѣрою; но пока не было удовлетворяющей любви, не было и поэтического вдохновенія: явилась любовь, воскресла и поэзія. Пресловутый поэтъ Кукольникъ когда-то писалъ:

Пора любви, пора стиховъ
Не одновременно приходятъ:
Придутъ стихи — уйдетъ любовь,
Любовь придетъ — стихи уходятъ.

У Толстого видимъ обратное. Искренно открывая намъ свою душу, истинно-поэтически смотря на жизнь, онъ не можетъ служить своей поэзіи, если не носитъ въ себѣ успокоительной гармоніи трехъ основныхъ мотивовъ, которые и созидаютъ его счастье: въ неразрывномъ сочетаніи ихъ онъ видитъ благо жизни, въ отсутствіи этого сочетанія—страданіе.

Но чтó же представляетъ изъ себя тотъ, у котораго не только нѣтъ этой гармоніи, но даже отсутствуютъ всѣ три ея элемента? Это безсознательная жизнь дикаря, грубаго, движимаго лишь животными инстинктами. Это князь Владимиръ—язычникъ, который живетъ «безпутно и лихо», безъ чистой любви, безъ опредѣленной религіи; который на предложеніе проповѣдника смириться, отвѣчаетъ: «Смирюсь! но только смирюсь безъ урону!»

И князь повѣщаетъ корсунцамъ: «Я здѣсь!
Сдавайтесь! Прошу васъ смиренно;
Не то — не взыщете — собою вашу спесь
И городъ по камнямъ размыкаю весь:
Креститься хочу непременно!»

Дикарь не понимает важности того великаго акта, на который склонился его христіанскій проповѣдникъ. Но вотъ, пріѣхала красавица царевна и зажгла въ дикарь первую искру чистой любви, покончила съ его безпутною жизнью и приготовила ему путь къ новой чистой вѣрѣ. Вѣра облагородила его, и въ немъ пробудилось эстетическое чувство природы. Князь уже не дикарь, но идеалистъ, поклонникъ милосердія и правды; онъ говоритъ своей дружинѣ:

Дни правды дороже воинственныхъ дней!
Гребите же, други, гребите сильнѣй,
На весла дружнѣй напирайте!

Такова идея былины о князѣ Владимірѣ.

Други! не вѣрьте! Все та же единая
Сила насъ манитъ къ себѣ неизвѣстная,
Правда все та же. Средь мрака ненастнаго
Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,
Дружно гребите во имя прекраснаго
Противъ теченія.

Такъ въ другомъ стихотвореніи исповѣдуетъ Толстой свою поэтическую вѣру. Правда—вотъ конечная цѣль человѣческихъ стремленій; искусство—средство къ ея достиженію; свобода—вотъ лозунгъ истиннаго поэта.

Мы не будемъ касаться этого *tritum pertritum* въ вопросѣ о томъ, противъ какого теченія шелъ Толстой. Замѣтимъ только, что онъ не съ предвзятою мыслию шелъ противъ какого-либо теченія, а единственно во имя свободы поэтическаго творчества, той свободы, за которую стоялъ и его великій учитель Пушкинъ. Толстой объяснялъ раздоръ въ пониманіи сущности жизни разными взглядами на нее, картинно выраженными имъ въ стихотвореніи «Правда», гдѣ семь братьевъ хотѣли посмотрѣть, «какова она, правда, на свѣтѣ живетъ?»

И подѣхали къ правдѣ съ семи концовъ,
И увидѣли правду съ семи сторонъ...
А вернувшись на свою родину,
Всякъ разсказывалъ правду по-своему...
И поспорили братья промежъ собой,
И братъ брата звалъ обманщикомъ,
И рубили другъ друга до смерти...
И доселѣ ихъ внуки рубятся,
Всѣ рубятся за правду; за истину,
На великое себѣ разореніе.

Толстой видѣлъ «Правду» свою въ религіи, въ чистой любви и въ искусствѣ во имя прекраснаго и крѣпко вѣрилъ въ незыблемую вѣчность. «Мы съ вами,—писалъ онъ Полонскому,—не послѣдніе могиканы искусства; оно не умретъ и не можетъ умереть, какъ бы тамъ ни старались... кто прямо, кто косвенно. Убить искусство такъ же легко, какъ отнять дыханіе у человѣка подъ тѣмъ предлогомъ, что оно роскошь и отнимаетъ время даромъ, не вертитъ мельничныхъ колесъ и не раздуваетъ мѣховъ. Увѣряю васъ, что эти господа вовсе не страшны для искусства».

Кто же эти «господа», о которыхъ говоритъ поэтъ? Конечно, критики противоположныхъ ему воззрѣній. Не посчастливилось Толстому на критиковъ. Тѣ, которые стояли за него, расточали ему безмѣрныя похвалы, въ то же время извинялись передъ крайними піэтистами въ томъ, что поэтъ осмѣлился взять сюжетъ изъ Четырехъ-Миней. Ужъ не боялись ли они обвиненій его въ ереси... Критики другой стороны доходили до крайней безцеремонности, называя его поэзію «поэтическимъ разгильдяйствомъ», а самого его «нѣжною гусеницей, бережно окутанной въ вату». Одинъ критикъ, отрицая всякое достоинство въ поэзіи Толстого, причину этого видитъ въ отсутствіи «ссоръ и потасовокъ» въ дѣтствѣ нашего поэта; его поэзію, возросшую безъ «ссоръ и потасовокъ», онъ называетъ «галантерейною» и изъясняетъ готовность ея «послѣ сытнаго обѣда усладить свой досугъ, на ряду съ лучшими конфетами изъ модной кондитерской».

Впрочемъ, этотъ критикъ и поэзію Жуковскаго находитъ подобною «паточнымъ грошевымъ леденцамъ изъ мелочной лавки», а про Пушкина выражается, что тотъ «корчилъ изъ себя то Шенье, то Байрона, то Гёте».

Не знаемъ, съ какой стороны подобные критики подѣзжали къ правдѣ-истинѣ, но Толстой видѣлъ ее по указанію Пушкина и служилъ своему искусству честно и неизмѣнно, живо сострадая мягкою душой и гонимому святому искусству и людямъ—близкимъ и далекимъ—въ ихъ горестяхъ и бѣдствіяхъ. Муза его не была «музой мести», но часто бывала «музой печали». Не говоримъ уже о печали личной; нашъ поэтъ отзывался и на внѣшнія мрачныя явленія жизни. Таковы многочисленныя его произведенія, гдѣ онъ касается славянскаго вопроса, и особенно вопроса о судьбахъ своей родины. Русская исторія, такъ часто служившая сюжетомъ

его произведений, заставляла его приходить къ скорбному взгляду на минувшее нашего отечества. Мрачное время Грознаго и Смутной эпохи ярко очерчено имъ и въ романѣ, и въ драмахъ, и въ балладахъ. Горе родины было близко ему и въ прошедшемъ («Тугаринъ», «Чужое горе») и въ настоящемъ («Богатырь»). Тяжелыя явленія современности нашли также отзвукъ въ его поэзіи. Таково одно изъ позднѣйшихъ его стихотвореній:

Спускается солнце за степи,
Вдали золотится ковыль,
Колодниковъ звонкія цѣпи
Взметають дорожную пыль.
Идутъ они съ бритыми лбами,
Шагаютъ впередъ тяжело,
Угрюмыя сдвинуты брови,
Раздумье на лица легло...
Поютъ про свободныя степи,
Про дикую волю поютъ,—
День меркнетъ все болѣе,—а цѣпи
Дорогу метутъ да метутъ.

Такія картины, между прочимъ, рисовались нашему поэту въ послѣднее время его жизни. Болѣзнь посѣтила его, и передъ смертію задумался онъ надъ пройденнымъ жизненнымъ путемъ своимъ:

Всему насталь покой. Прими жъ его и ты,
Пѣвецъ, державшій стягъ во имя красоты!
Провѣрь, усердно ли ея святое сѣмя
Ты въ борозды бросалъ, оставленныя всѣми?
По совѣсти ль тобою задача рѣшена?
И жатва дней твоихъ — обильна иль скудна?

Какъ взглянетъ будущее на жатву нашего поэта—мы не знаемъ. Но теперь чистый образъ его и его чистой поэзіи ясно стоитъ передъ нами, и ея свѣточъ озаряетъ лучшія стремленія нашего духа.

Л. Бѣльскій.

«Князь Серебряный», историч. романъ гр. Толстого *).

Историческій романъ—рѣдкость въ нашей новой литературѣ, больше рѣдкость, нежели историческія картины на нашихъ художественныхъ выставкахъ. Искусство обратилось къ жанру; литература разрабатываетъ насущное. Мы имѣли случай замѣтить, что этимъ она готовитъ для будущаго картины общества своего времени. Причины, почему она занялась настоящимъ и его съ виду мелкими интересами, были объяснены не разъ. Въ этихъ причинахъ много жажды общаго блага, вполне человѣческаго сочувствія къ страданію, вполне честнаго негодованія на неправду. Литература съ такимъ направленіемъ имѣетъ право называться общественнымъ дѣломъ.

Одинъ разъ навсегда мы оговорились отъ обвиненій въ пристрастіи къ теоріи «искусства для искусства»; но сильно стоимъ за тщательную и, по возможности, изящную отдѣлку предметовъ, какіе бы они ни были. Что эти предметы должны быть крѣпко обдуманы, обстоятельно выбраны и выказаны; что идея представляемаго должна быть пряма, выражена безъ парадоксовъ и доказана,—полагаемъ, это—долгъ, извѣстный всякому пишущему. Но какъ онъ исполняется и исполняется ли? Большинство нашихъ новыхъ писателей доходитъ до совершеннаго, произвольнаго забвенія законовъ изящнаго, отговариваясь тѣмъ, что «дѣло важнѣе искусства». Такъ; но всему есть мѣра. Отдавая должную справедливость общему благодѣтельству направленія и нѣкоторымъ дарованіямъ, выдающимся изъ массы новыхъ писателей, мы рѣшаемся сказать мысль, которая все усиливается въ обществѣ по мѣрѣ того, какъ число пишущихъ увеличивается: «такъ» писать—очень легко, «такъ» служить общественному дѣлу—очень легко.

*) «Отечественныя Записки», 1863 г., № 2.

Списки съ натуры, часто даже не перечувствованные какъ должно (на это чутко сердце читателя), не стоившіе минуты обдумыванія—такъ бѣдно ихъ содержаніе, такъ небрежна ихъ отдѣлка, такъ забыты даже ихъ собственныя, болѣе занимательныя стороны,—неужели это можетъ называться трудомъ и общественнымъ дѣломъ? Г. Плещеевъ напишетъ свои «Житейскія сцены», а Щедринъ еще разъ вынесетъ соръ изъ своего города Глухова—и дурной примѣръ «именъ» поданъ: выметается соръ, пишутся сцены. А отчего такъ охотно и такъ скоро усвоенъ этотъ примѣръ? Оттого, что для подобныхъ «житейскихъ» и прочихъ сценъ не нужно никакого изученія, никакого знанія. Отсутствие того и другого прикрывается отговоркой, что «дѣло важнѣе искусства».

Оттого у насъ нѣтъ и, кажется, судя по ходу вещей, долго еще не будетъ историческаго романа. За нимъ хлопотъ много: рыться въ старьѣ, читать источники, учиться вновь, вдумываться въ наше прошедшее, сводить въ одинъ узелъ до сихъ поръ еще разрозненныя нити его, то-есть и вправду «работать». Къ тому же, покуда писатели угощаютъ публику «Житейскими сценами», она выдумала сама читать источники и учиться; она, зѣвая, забудетъ сто тысячъ первый и не послѣдній разсказъ о пошлостяхъ или низостяхъ, которыя видитъ повѣрнѣе и поближе, живыя, кругомъ себя, но непремѣнно оглянется на слово болѣе изящное и послушаетъ, такъ ли оно сказано.

Сказать такое слово трудно. Дарованія, избаловавшіяся на легкой работѣ, должны сдѣлать надъ собою большое усиліе, чтобъ отъ будничныхъ мелочей обратиться къ строгимъ и широкимъ образамъ исторіи, отъ впечатлѣній, по привычкѣ часто едва скользящихъ по душѣ, перейти къ полному усвоенію жизни прошедшаго, отъ занятія, которому иногда отдавался только лишній часъ, погрузиться въ трудъ, поглощающій все время; нужно большое усиліе, чтобы переломить себя и послѣ записыванія пестроты, мелькающей передъ глазами, праздныхъ рѣчей, носящихся въ воздухѣ, разбудить свой умъ на работу, а воображеніе на созданіе. Даже для сильныхъ дарованій это трудно; для большинства пишущихъ это невозможно. Трудности и невозможности этой придумана отговорка: «Настоящее нужнѣе прошедшаго; прошедшее отжило, настоящее полно значенія; историческій

романъ — забавляющая сказка; современная повѣсть — необходимая правда...» Если это мнѣніе и не высказывается, то его существованіе очевидно изъ безчисленнаго множества современныхъ повѣстей; но въ строгомъ смыслѣ слова назвать современную повѣсть «необходимою правдой» имѣютъ право немногіе изъ новыхъ писателей — тѣ, чьи произведенія останутся для будущаго картиной общества; современные повѣсти большинства — то дѣтскій лепетъ то шаржъ, и ни литература, ни общество, ни будущее ничего не потеряли бы, если бъ ихъ не было.

Историческій романъ — такая же необходимая правда о прошедшемъ, безъ котораго непонятны явленія настоящаго. Онъ не научить исторіи, но объяснить ее образами. Это — полное отраженіе прошедшей жизни, но болѣе сжатое, чѣмъ на страницахъ исторіи, и потому болѣе яркое, сильнѣе дѣйствующее на чувство и потому болѣе доступное понятію. Для читателя знающаго это — сводъ впечатлѣній знанія; для массы читателей это — подготовка къ принятію знанія, и масса съ жадностью на него бросается. То, въ чемъ чувствуется потребность, необходимо, полезно, законно, должно быть; а въ обществѣ наклонность къ историческому роману, его потребность очевидны: въ послѣдніе мѣсяцы онъ доказались на романѣ графа А. Толстого Князь Серебряный. Его читали всѣ сословія, всѣ возрасты, и не потому только, что «повѣсть временъ Іоанна Грознаго» въ наше время — разнообразіе отъ «Недавнихъ комедій», «Верзилиныхъ» и т. п. Читали изъ желанія знать, думать, научиться, обновить въ памяти далекое для уразумѣнія близкаго. Противъ фактовъ спорить нельзя: число читателей Князя Серебрянаго — доказательство, что задачи историческаго романа всѣхъ интересуютъ. Народъ началъ новую жизнь, — покажите ему старую; вотъ еще одна изъ причинъ любопытства и вполне понятная. Дѣло новыхъ историческихъ романистовъ — угадать эту жизнь, вызвать и воплотить ее въ образы.

Но гдѣ наши историческіе романисты? Скоро ли мы дождемся и дождемся ли когда-нибудь, чтобы таланты освѣтили намъ темноту, гдѣ началась наша жизнь, ту загадочную темноту, въ которую мы смотримъ упорно?..

Графъ А. Толстой, не думая долго о трудностяхъ, попытался это сдѣлать. Прислушался ли онъ къ потребности

читателей, или самъ, какъ художникъ, чувствовалъ потребность погрузиться въ увлекающій трудъ и воскресить предъ собою образы минувшаго?

Въ первомъ случаѣ его цѣль достигнута. Его романъ читается, удовлетворяетъ любопытству массы, волнуетъ ея воображеніе, даже нѣсколько учитъ ее. Ей былъ нуженъ историческій романъ — вотъ онъ. Она довольствуется, потому что не имѣла его со временъ Загоскина и Лажечникова. Для массы авторъ, выражаясь его словами, «воскресилъ наглядно фizioномію очерченной имъ эпохи и можетъ не сожалѣть о своемъ трудѣ».

Но для самого себя — дѣлю другое. Писатель, кончая свой трудъ, дѣлается его первымъ судьей. Сколько бы ни была дорогá собственная работа, у автора остается его вкусъ — тотъ вкусъ, который указываетъ промахи чужихъ работъ, тотъ вкусъ, который «обязываетъ». Онъ залегаетъ въ душу и тревожитъ. Борясь съ привязанностью къ «собственности», онъ не выясняется, не выражается рѣшительно и, конечно, не побуждаетъ автора наложить истребительную руку на произведеніе; но онъ живъ и наводитъ сомнѣнія. Впослѣдствіи, когда трудъ преданъ печати, когда автора отуманило увлеченіе любопытной массы, успокоительно убѣдили похвалы друзей, бросили въ крайнее мнѣніе осужденія противниковъ, авторъ утрачиваетъ эту способность холоднаго суда; но было бы въ высшей степени интересно и полезно, если бы кто-нибудь изъ тѣхъ писателей, которымъ нелегко достаются ихъ работы, записалъ тутъ же, надъ только что оконченною тетрадью, свои первыя критическія размышленія о ней, свои первыя сомнѣнія и недовольства. Ихъ не бываетъ только у бездарности.

Для самого автора ошибки и недосмотры примѣтнѣе въ историческомъ романѣ, нежели въ романѣ, основанномъ исключительно на чувствѣ или идеѣ. Чувствуетъ и думаетъ всякій по-своему, и всякій считаетъ свое чувство и мысль непреложными; часто въ это замѣшивается и личный характеръ автора. Но авторъ историческаго изображенія не долженъ класть въ него своего личнаго чувства, своей предвзятой мысли; онъ живетъ въ прошломъ, совершившемся, и властенъ, оглядываясь, дѣлаться его постороннимъ зрителемъ каждую минуту. Если это возможно для автора въ самое время труда, то еще легче при окончаніи.

Оглядываясь во время своей десятилѣтней работы, или раздумавшись надъ ея послѣдними строками, графъ А. Толстой, конечно, спросилъ себя, точно ли это—изображеніе общаго характера цѣлой эпохи и воспроизведеніе понятій, вѣрованій, нравовъ и степени образованности русскаго общества во вторую половину XVI столѣтія?»

Источники, которыми руководился авторъ «Князя Серебрянаго» — IX томъ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина и «Примѣчанія» къ нему. Руководство болѣе нежели очевидное. Романъ не «написанъ» по Карамзину, но попеременно съ описаніями, или переложенный въ діалоги, буквально выписанъ изъ Карамзина. Въ немъ нѣтъ не только ничего больше того, что есть въ IX томѣ «Исторіи», но еще недостаетъ очень многого; убѣдиться легко, перелиставъ первыя главы этого тома. Разсказъ Карамзина очень коротокъ; «Примѣчанія» хотя и пространнѣе, даютъ едва по одному слову подробностей; но эти слова полны значенія для желающихъ вникнуть: за ними—жизнь и ряды характеровъ, о которыхъ въ новомъ романѣ нѣтъ и помина.

Будемъ же сличать «Исторію» Карамзина и романъ графа Толстого.

Въ предисловіи авторъ оговаривается противъ анахронизмовъ, считая ихъ неважными, если «они въ тонѣ и духѣ эпохи и не въ связи съ историческими событіями». Съ этимъ можно согласиться; но авторъ долженъ согласиться тоже, что бываютъ анахронизмы неоправдываемые, и его анахронизмы именно изъ такихъ. Пятью годами раньше или позднѣе переказнилъ лишнюю сотню человѣкъ Иванъ Грозный, это все равно для романиста, который переписываетъ только событія, но это не все равно для романиста, который искалъ бы, почему, отчего, вслѣдствіе какой нравственной причины Иванъ Грозный сдѣлался способенъ переказнить лишнюю сотню человѣкъ. Московскія казни 1570 года, когда погибли Вяземскій и Басмановы, были «отданіемъ» новгородскихъ кровавыхъ праздниковъ, продолженіемъ горячки убійства, которую зажгли обличенія митрополитовъ Германа и Филиппа, подозрѣнія на бояръ, благородное оправданіе Ѳеодорова, Бѣльскаго, Мстиславскаго и Воротынскаго, обвиненныхъ въ измѣнѣ и погибшихъ за то, что оправдались. Авторъ «Князя Серебрянаго» спутываетъ все это время: у него Колычевы, родственники «низложеннаго» митрополита Филиппа, въ 1565 г. си-

дять уже въ тюрьмѣ, тогда какъ Филиппъ только въ 1566 г. «поставленъ» митрополитомъ. Филиппъ—лицо слишкомъ замѣчательное, благороднѣйшее въ этой темной исторіи, и анахронизмъ о немъ—очень «въ связи съ событіями». Нельзя забыть, что Грозный какъ-будто самъ себя развязалъ руки, сказавъ Филиппу: «Монахъ, я до сихъ поръ щадилъ васъ, а теперь буду такимъ, какимъ вы меня называете». Это сказано въ 1568. До тѣхъ поръ онъ еще будто совѣстился; съ низложеніемъ Филиппа началось истребленіе городовъ... Иванъ Грозный 1565 г. — не Иванъ Грозный 1570. Онъ еще не потѣшился въ коломенскихъ селахъ Ѳедорова, убивая даже скотъ; женщины еще не умирали отъ стыда послѣ его оргій; его еще не проклинали въ глаза служанки княгини Евдокии; митрополитъ еще не грозилъ ему съ амвона. Иванъ 1565 г.—только въ началѣ своей опричины, и хотя успѣлъ потѣшиться, но еще не до такой степени, чтобы чувствовать себя внѣ всякаго милосердія своихъ подданныхъ и потихоньку просить пріюта у Елизаветы англійской... Стало-быть, смѣшать событія 1565 и 1570 гг.—анахронизмъ очень важный, неизвинительный для романиста, слѣдящаго за нравственною стороною своего главнаго лица, за развитіемъ его характера вслѣдствіе событій, и казнить столько-то, тогда-то или тогда-то — не все равно.

1565 годъ хотя уже не начало «чуждой бури», какъ лѣтописи называютъ перерожденіе Грознаго, но и не самая сильная его минута. Это—годъ ея второго взрыва, созданія опричины. Дикой волѣ, которая рубить всякую ненагнутую голову, страшно всего честнаго и оскорбленнаго; ей стыдно всего, что косо глядитъ на ея развратъ; ей ненавистно всякое превосходство, а оно чувствуется ею, осуждаетъ ее, даже молча и умирая. Надо куда-нибудь подальше, съ глазъ долой: Грозный выдумываетъ Александровскую слободу. Его преслѣдуютъ не видѣнія, — старая уловка для человѣка, ругающагося надъ вѣрою поруганіемъ ея представителей, надъ будущимъ возмездіемъ столбцами своихъ синодиковъ, — старая уловка для «взрослаго», поставившаго первюю виною Адашева и Сильвестра рассказы о вѣчной жизни, которыми «они запугивали его какъ младенца». На него находятъ ночные страхи — слѣдствіе сильнаго возбужденія нервовъ; нервы Ивана Грознаго гораздо интереснѣе его видѣній. Его преслѣдуетъ мысль, что, какъ бы далеко онъ ни ушелъ, гдѣ бы ни

скрылся, онъ, царь, все въ виду у народа. Его преслѣдуетъ неотвязная преданность, неколебимая ни заточеніемъ ни муками; преданность, которой онъ чувствуетъ себя недостойнымъ и которую зато сильнѣе ненавидитъ. Онъ обидѣлъ, его простили — онъ мститъ за прощеніе. Въ 1565, при началѣ опричины, онъ еще не дошелъ до того опьянѣнія убійствомъ, отъ котораго вопить гласомъ велимъ за обѣдомъ новгородскаго архіепископа, до той нѣги мучительства, которая вдохновляетъ его изобрѣтать казни. Онъ избавился отъ докучныхъ совѣтниковъ и поминаетъ ихъ обоихъ вмѣстѣ уставомъ «братіи» въ Александровской слободѣ; тутъ отдаленная насмѣшка и надъ чиномъ попа Сильвестра и надъ чистой Адашева, надъ всѣмъ, что онъ хорошо помнитъ, уважаетъ и потому ненавидитъ. Но онъ «наставленъ въ вѣрѣ»; онъ знаетъ, что онъ — помазанникъ, и шутовское игуменство вдругъ кажется ему священнымъ. Онъ возложилъ на себя санъ и самъ для себя еще освятился. Съ минуты, когда онъ созналъ это, онъ самъ благословляетъ всѣ свои дѣла и велѣнія: они были непреложны — теперь стали безгрѣшны. Это становится его помѣшательствомъ. Духовенство, прежняго разрѣшителя своей совѣсти, онъ считаетъ уже властью равною себѣ, даже меньшую, какъ подданныхъ; оттого такъ и поражаетъ его впослѣдствіи святая дерзновенность митрополита Филиппа. Въ 1565 уже началось это помѣшательство. Грозный наколачиваетъ себѣ лобъ земными поклонами; но это — обрядъ. Нельзя забывать огромнаго значенія обряда; въ немъ заключалось все. Грозный могъ тысячу разъ называть себя «окаяннымъ и сквернымъ»: въ этихъ словахъ не было ни покаянія, ни искренняго сознанія, ни смиренія; произнося ихъ, онъ могъ даже не вникать въ ихъ смыслъ; это были самообвиненія и самопроклятія, затверженныя отъ повторенія всякій день и вошедшія въ привычку. Если ужъ объяснять какъ-нибудь молитвы Грознаго, то вѣрнѣе сказать, что это — молитвы отчаянія отъ сознаваемой пустоты и ужаса кругомъ, порывы къ лучшему, которое стало ему тяжело, которое онъ отвергъ и потому возненавидѣлъ; это — молитвы нервическія, когда тѣло требуетъ боли для утоленія скорби духа... Онъ молится не «о тишинѣ царства и искорененіи измѣны», какъ говоритъ въ своемъ романѣ гр. А. Толстой; Грозный знаетъ, что среди тишины и мира растетъ гражданская доблесть, пе-

редь правосудіемъ становится невозможною измѣна, и знаетъ, что это — въ его рукахъ: стоить ему быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ когда-то. Но онъ не хочетъ быть такимъ, не хочетъ стѣсняться, и молится единственно за себя. Онъ хочетъ быть одинъ выше всѣхъ, не для блага кого бы то ни было, а для простора, для безопасности собственного произвола. Не бояре тяжки ему: ему тяжело всякое превосходство. Онъ укоряетъ Курбскаго его слугою Шибановымъ; но нѣтъ имени той ненависти, которую онъ чувствуетъ къ этому холопу, когда, пригвожденный къ землѣ его палкой, тотъ стоитъ передъ нимъ и молча смотреть ему въ глаза. Если въ своихъ грамотахъ, въ рѣчахъ къ иностранцамъ, въ нѣкоторыхъ выходкахъ неожиданной милости или справедливости Иванъ Грозный какъ-будто отступаетъ отъ своего характера, это — умышленно, это — настроеніе минуты, это — игра нервовъ или притворство. Онъ всегда знаетъ, что неправъ, хотя бы и оправдывался, какъ въ письмахъ къ Курбскому; онъ всегда готовъ задушить монаха, хотя бы и сто разъ преклонялъ передъ нимъ свою «смрадную главу». Ему случается и забываться, входя въ роль, которую онъ играетъ изъ приличія или изъ прихоти, примѣрять вдругъ на себя пышность величія и благости царскаго сана, — но забывается Грозный ненадолго. Онъ скоро опять становится самимъ собою и хуже въ отомщеніе, что на него порадовались, что осмѣлились подумать: зачѣмъ не всегда онъ таковъ? Эту думу онъ чувствуетъ. Онъ доставляетъ себѣ наслажденіе насмѣшки надъ честными людьми, которые, глядя на притворство, можетъ-быть, понадѣялись, что это — искреннее исправленіе; съ полнѣйшимъ презрѣніемъ онъ разочаровываетъ ихъ, отнимая у ненавистнаго живучаго превосходства послѣднее — надежду.

Его синодики — далеко не сознаніе въ неправдѣ, далеко не покаяніе. Это опять — обрядъ. Иванъ Васильевичъ въ обрядахъ выросъ и воспитанъ; обрядъ — его спасеніе, его нравственная поддержка. Обряды — въ духѣ времени: ихъ не объясняютъ, имъ слѣдуютъ, ими довольствуются. Сказано, что на столько-то гривенъ или рублей покупается столько-то времени молитвъ — такъ и дѣлается. Смысла этого не разбираетъ никто. Обители, куда поступаетъ царскій вкладъ, сами не въ состояніи разобрать этого смысла. Святые отцы молчатъ, кто — ради богатства царскаго вклада,

кто—ради царскаго страха, кто—смиренно принимая милостыню и съ нею право молиться за жертвы, о которыхъ не смѣеть жалѣть громко... «Я забылъ имя убитаго младенца,—говорить Курбскій объ одномъ изъ сыновей князя Владимира Андреевича,—но оно записано въ книгѣ живота». Не все, какъ Курбскій, смѣли и могли выражать громко свое горе и негодованіе; для многихъ было отрадою дозволеніе хотя въ заупокойныхъ поминаніяхъ называть знакомыя, можетъ-быть, дорогія имена...

Покупая молитвы, Грозный какъ-будто узаконивалъ казнь своихъ жертвъ: свершивъ праведный судъ, онъ, царь, творилъ надъ виновными посмертную милость—доставлялъ имъ ходатайство церкви. Тѣмъ меньше раскаянія и угрызений совѣсти: «христіанскій долгъ» исполненъ; совѣсть очищена. Этотъ человѣкъ откинулъ младенческое суевѣріе ужасовъ, которымъ Сильвестръ обращалъ его на путь истинный, но сохранилъ суевѣріе земныхъ поклоновъ и вкладовъ—мелкое, расчетливое, обрядовое, бессмысленное суевѣріе, съ которымъ удобно живетъ. Потому и ненавистенъ ему Филиппъ, что онъ видитъ въ немъ мыслящую гражданственную вѣру, дѣятельную и незакупную... Гр. А. Толстой, разъясняя угрызения совѣсти Грознаго, говоритъ, что «не всегда въ этомъ расположеніи онъ былъ склоненъ на милосердіе», что онъ «приписывалъ угрызения свои навожденію сатаны, старающагося отвлечь его отъ преслѣдованія измѣнны, и тогда, вмѣсто того чтобы смягчить свое сердце, онъ, назло дьяволу, творя молитвы и крестныя знаменія, предавался еще большей жестокости». Не назло дьяволу, а назло всему окружающему, назло ненавистному превосходству, назло самому себѣ и пробудившемуся въ себѣ человѣческому чувству, для новой нервной боли, чтобы заглушить старую, по пословицѣ «клинъ клиномъ», бросался Грозный на новыя жестокости. Онъ нигдѣ не видалъ измѣнны; онъ былъ достаточно проницателенъ и уменъ, достаточно зналъ насквозь низость и несостоятельность своихъ доносчиковъ, для того чтобы имъ вѣрить; онъ говорилъ, что караетъ измѣнну, потому что надо было говорить что-нибудь. Онъ зналъ, что никто не умышляетъ на его царское здоровье, такъ же, какъ зналъ, что «Алексѣй и пощъ» не отравляли его жены; но ему былъ нуженъ предлогъ уничтоженія, и онъ бралъ, какой встрѣчался. У него оставался нервный страхъ, очень натурально принимающій

образы «страшил», натолкованных съ дѣтства—но не болѣе; никакого дьявола не боялся царь Иванъ Васильевичъ. Иванъ Васильевичъ—широкая натура, изъ богатырскихъ, изъ сказочныхъ, изъ тѣхъ, что обманываютъ чорта.

Таковъ онъ, въ особенности, въ началѣ своихъ потѣхъ, въ ихъ первые годы, когда кровавая горячка только высушила его волосы, но еще не совсѣмъ сломила его физически, когда нервные страхи еще не перешли въ сознательный страхъ. У Грознаго въ 1565 г. есть еще люди, воеводы и бояре, которые—онъ знаетъ—ему не измѣнять. Они стоятъ за него въ Польшѣ, дерутся въ Литвѣ, дерутся съ крымцами. Это—тѣ люди, съ мыслью о которыхъ гр. Толстой приводитъ свой эпиграфъ изъ Тацита:

«Такое рабское терпѣніе и такое множество крови, пролитой внутри отечества, утомляютъ духъ и стѣсняютъ его горестью; одного прошу у читателя: дозволить мнѣ не ненавидѣть людей, такъ безславно погибавшихъ».

Римлянинъ перваго вѣка могъ и долженъ былъ просить подобнаго позволенія у своихъ читателей: ихъ понятія были, конечно, не понятія русскаго «общества временъ Грознаго». Въ императорскомъ, въ нероновомъ Римѣ говорили «res publica», «res publica»; охотно или неохотно, но самыя почести воздавались императорамъ по декретамъ сената; могло быть принужденіе, но существовало право. У такого общества было необходимо просить извиненія за тѣхъ, кто погибалъ, не подавая голоса... Но «ненавидѣть» людей временъ Грознаго и удивляться, что «могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія»—несправедливо и напрасно. Не нужно забывать «начала», которымъ было проникнуто это «общество», «начала», которое вырабатывалось съ объединенія Руси послѣ татарскаго погрома и въ которое народъ вѣровалъ. Въ лицѣ Іоанна Васильевича русскій человѣкъ видѣлъ не человѣка, но царя. «Простимъ грѣшной тѣни царя Іоанна,—говорить великодушно гр. Толстой,—ибо не онъ одинъ несетъ отвѣтственность за свое царствованіе; не онъ одинъ создалъ свой произволъ и пытки, и казни, и наущничество, вошедшее въ обязанность и въ обычай. Эти возмутительныя явленія были подготовлены предыдущими временами, и народъ, упавшій такъ низко, что могъ смотрѣть на нихъ безъ негодованія, самъ создалъ и усовершенствовалъ Іоанна подобно тому, какъ раболѣпные

римляне временъ упадка создавали Тиверіевъ, Нероновъ и Калигулъ...» «Рабоѣпнымъ» римлянамъ нѣтъ извиненія: у нихъ были свѣжія преданія и примѣры свободы, и не существовало даже идеи непреложности какой бы то ни было власти; диктаторы и триумвиры поднимались у нихъ и исчезали, и никто не воображалъ, что съ ними все кончается; Сулла ушелъ изъ Рима, и никто не звалъ его воротиться. Русь — другое дѣло. Она помнила свою татарщину и съ ней — угнетеніе, униженіе, разъединеніе ради личной безопасности каждаго; по «началу», занесенному изъ Византіи, подкрѣпляемому текстами писанія (этого единственнаго наставника и помощника въ скорбяхъ), она возлагала все упованія на своихъ князей; она возводила ихъ въ святые; она и пошла въ Александровскую слободу кланяться царю Ивану Васильевичу, чтобы сотворилъ милость, воротился... Много боярскихъ головъ скатилось, прежде чѣмъ началась рѣзня народа въ Торжкѣ, Коломнѣ, Городнѣ, до Новгорода и Москвы. Но какъ же возможно предполагать, чтобы несправедливости, угнетенія, наконецъ, звѣрство и рѣзня принимались покорно, пассивно, безъ ропота, даже «безъ негодованія»! Рѣшать такъ — значитъ не признавать людей за людей. Народъ и бояре были не безсмысленное стадо. Исторія называетъ многихъ, возвышавшихъ голосъ. Это — не «рѣдкія свѣтлыя звѣзды на безотрадномъ небѣ нашей русской ночи», какъ говоритъ гр. А. Толстой, назвавъ два блѣднѣйшихъ лица своего романа (вымышленныя), а за ними Василія Блаженнаго, и забывая, что по понятіямъ, существующимъ на Руси и донинѣ, юродивый святъ, а потому ничѣмъ не рискуетъ... Не далѣе какъ по Карамзину можно назвать десятки именъ, заслуживающихъ сочувствія и уваженія. Объ этихъ людяхъ мало сказать: «Миръ праху вашему! вы платили дань вѣку», и прочее, какъ говоритъ гр. А. Толстой, чувствительно прощая грѣшной тѣни царя Іоанна и обвиняя несчастный народъ, что онъ безтолково, рабоѣпно, низко создалъ себя своего губителя... Все виновато «время», все виновата «среда!» но когда же будутъ виноваты люди — центры среды, руководители времени? «Время» Грознаго вѣрило въ царя, «среда» была безоружна; безспорно, это — просторъ для произвола. Но самъ-то Грозный, съ его умомъ, могъ бы оглядываться на то, что дѣлалъ; онъ понималъ, что дѣлаетъ; онъ былъ и разбитѣ, и образовантѣ, и выше своей среды; чѣмъ же

виновата она, что онъ не хотѣлъ понимать своей обязанности такъ, какъ ее народъ понималъ? Страдальцы обвиняются въ томъ, что «усовершенствовались» злодѣя!.. Только о малыхъ ребятахъ можно говорить, что они балуются потому, что ихъ старшіе балуютъ. Объясняя все сплошь «вліяніемъ духа времени и среды», можно до совершеннаго обезцвѣтенія, уничтоженія личностей; и тогда, очень натурально, является вопросъ: изъ кого же сложилась среда, откуда же явился духъ? Не справедливѣ ли, вмѣсто того, чтобы увѣрять, будто Грозный баловался, или, пожалуй, «совершенствовался» отъ низкаго народнаго упадка, — разобрать, не просачивалась ли ѣдкими каплями порча отъ высокаго царскаго престола слоями ниже и ниже, на головы народа?..

Трудно принять объясненіе гр. А. Толстого и о слабости отпора Грозному. «Лица, подобныя Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, — говоритъ онъ, — были безсильны, потому что не были сплочены, ни поддерживаемы общественнымъ мнѣніемъ». Что это за фраза изъ «Journal de Débats»!

Мы должны остановиться здѣсь и напомнить, что говоримъ о новомъ романѣ не съ точки зрѣнія довольной имъ массы, которая нашла въ немъ и отдыхъ отъ «современныхъ» анекдотовъ, и забытую или незнакомую исторію, и эффекты, до которыхъ охотница. Мы высказываемъ мнѣніе читателей, читавшихъ многое и потому разборчивыхъ; мы стараемся (какъ сказали) угадать мнѣніе самого писателя-художника, сдѣлавшагося критикомъ своего произведенія.

У романистовъ бываютъ свои приемы, «манера». Ее создаютъ таланты, и ей, по порядку вещей, слѣдуютъ подражатели — далеко не новая истина. Образцомъ приемовъ для историческаго романа долго былъ Вальтеръ-Скоттъ и, какъ образецъ превосходный, если и не создавалъ талантовъ, зато развивалъ въ своихъ подражателяхъ вкусъ и художественный тактъ. Самыя посредственныя вещи, написанныя подъ его вліяніемъ, изящны и тщательно отдѣланы. Задавалъ ли онъ себѣ задачу «изобразить общій характеръ цѣлой эпохи и воспроизвести понятія, вѣрованія, нравы и степень образованности» такого или такого столѣтія, то у него и являлось это изображеніе и воспроизведеніе. Почему? Вмѣсто обыкновеннаго отвѣта, что это — «тайна художника», кажется можно привести объясненіе: Вальтеръ-Скоттъ не переписывалъ исто-

рин, онъ переживалъ ее. За словами лѣтописи онъ слышалъ голоса прошлой жизни; за коротко рассказаннымъ фактомъ видѣлъ все, что его подготовило; по намеку отгадывалъ характеры; онъ искалъ — и потому находилъ; онъ работалъ — потому и его подражатели должны были работать.

Это было давно. Во французской литературѣ пришла мода на романъ-фельетонъ, потребность возбужденія любопытства на всякій день и вслѣдствіе того необходимость эффектовъ для поддержки этого возбужденія. Отъ подобнаго ремесла отказались два таланта, уважавшіе свое призваніе — Бальзакъ и Жоржъ-Зандъ; они оставили поле Е. Сю и А. Дюма. Послѣдній съ свойственной ему ловкостью скоро догадался, что изобрѣтательности человѣческой не станетъ на всякій день сказки, и перенесъ въ свой романъ-фельетонъ исторію, какъ неисчерпаемый источникъ приключеній, избавляющій отъ затрудненій выдумки. О трудѣ переживать исторію онъ, конечно, не думалъ; онъ сталъ переписывать. Одинъ ли А. Дюма дѣлалъ свои романы, или въ компаніи, разбирать не стоить; но, переписавъ римскихъ историковъ въ «Актѣ», своихъ историковъ, лѣтописцевъ и составителей мемуаровъ въ «Изабеллѣ Баварской», «Діанахъ», «Мушкетерахъ», «Ожерельѣ королевны», евангеліе — въ «Лакведемѣ», онъ доказалъ, что историческій романъ можетъ писаться безъ всякаго помышленія о духѣ прошлаго, безъ всякой разработки характеровъ, можетъ писаться пестро, нарядно, эффектно и заставлять массу читателей задышаться отъ волненія въ ожиданіи завтрашней главы.

Наше время и наша литература такъ стремятся быть серьезными, что у насъ, казалось бы, невозможно ожидать подобнаго явленія, а между тѣмъ — оно передъ нами. Это — «Князь Серебряный» графа А. Толстого. Онъ весь переписанъ изъ исторіи, и въ немъ — чего угодно: колдунъ, юродивый, татары, разбойники, исповѣди, соколиныя охоты, судъ Божій, нѣжныя свиданія, тихія кельи, застѣнки... все есть, только нѣтъ ни правовъ, ни обычаевъ, ни людей — не только XVI, никакого столѣтія. Это — сцены и герои фельетоннаго романа по манерѣ А. Дюма. Этотъ Иванъ Грозный, бояре, опричники, станичники и народъ приходятъ, уходятъ, повторяютъ одно и то же — и ни въ одномъ лицѣ незамѣтно никакой внутри совершающейся драмы. Читатель знаетъ, что отъ первой до послѣдней сцены Серебряный будетъ говорить о

своей вѣрности царю; Максимъ Скуратовъ будетъ плакаться о томъ, что опричникъ; Годуновъ будетъ очень нехитро лукавить; Морозовъ — степенно резонировать; Вяземскій метаться; Михеичъ непремѣнно помянетъ свою «тѣтку-подкурятину», съ которою до смерти надоѣлъ. Это не люди, а мелкія пружинки, изъ которыхъ сдѣлана сказка, и каждая скрипитъ по-своему. Царь Иванъ — не больше ихъ человѣкъ. Это — нѣчто наряженное и посаженное на страхъ тому, кто на него оглянется. Читатель заранѣе увѣренъ, что ни одна сцена, гдѣ его показываютъ, добромъ не кончится: онъ — «злодѣй», и въ немъ непремѣнно должно закипѣть сердце; онъ «подозрителенъ» и непремѣнно кого-нибудь заподозрить; онъ «хитеръ» и непремѣнно съ кѣмъ-нибудь сыграетъ штуку. Такъ, вначалѣ, на пиру, онъ ни съ чего отравляетъ неизвѣстнаго боярина, а въ концѣ сватаетъ свою мамку оруженосцу Михеичу; никогда не скажетъ словечка проста и вообще неуклонно исправляетъ свою должность изверга... Въ предисловіи авторъ говоритъ, что «въ отношеніи къ ужасамъ оставался ниже исторіи» и «изъ уваженія къ искусству и нравственному чувству набрасывалъ на нихъ тѣнь». Между тѣмъ, ему, вѣроятно, показалось мало извѣстныхъ казненныхъ и онъ сочинилъ новое лицо — этого отравленнаго боярина, впрочемъ, «набросивъ на него тѣнь», потому что означилъ его только словомъ: «старый бояринъ» и окликнулъ: «Василій-су». Къ чему эта лишняя смерть?.. Правда, это написано такъ, что нисколько не жалко боярина, да и во всемъ романѣ никого не жалко. Не говоря уже о той высокой жалости, которая охватываетъ при чтеніи простой правды лѣтописей, о томъ изящномъ состраданіи, которое вызываетъ В.-Скоттъ — ни одна сцена ни одно положеніе новаго романа не затрагиваетъ никакого чувства. Между тѣмъ, масса читателей задыхается отъ ужаса, когда царь Иванъ Васильевичъ хватаетъ то ладанку Вяземскаго, то ладанку Басманова, то стучитъ желѣзомъ оземь, то пронзаетъ жезломъ разбойника... Страшный царь! А когда изъ-подъ пола начинаютъ лѣзть мертвецы и кланяться ему, масса, цѣпенѣя, не вспоминаетъ, что жилъ-былъ король Ричардъ III, надъ сномъ котораго летали его жертвы. Это могъ бы вспомнить авторъ, какъ художникъ, обязанный знать свои образцы... Масса не палобуется на задумчиваго опричника, который разрубаетъ медвѣдя, не пьетъ, не ѣстъ за царскимъ

столомъ, затягиваетъ пѣсни о золотой волюшкѣ, интересно исповѣдывается подъ щебетанье ласточекъ, сверкаетъ золотою саблей, не ночуетъ подъ кровлей, гдѣ клянуть его отца, Скуратова, умираетъ, испивъ воды изъ дружнаго шелома... Какое разнообразіе красивѣйшихъ молодыхъ людей! Этотъ Басмановъ, напимѣръ, въ сценѣ съ Серебрянымъ, этотъ хамелеонъ доблести, безстыдства, удали, нѣги, низости, безопасности! И какой тонкій контрастъ характеровъ: «Давай,—говоритъ Басмановъ,—стрѣлять въ привязаннаго татарина». — «Нѣтъ,—говоритъ Серебряный,—я въ привязанныхъ не стрѣляю!..» А безнадежно любящій «второй» герой, которому, какъ вообще это дѣлается для «вторыхъ» героевъ, отпущена привлекательная, но мрачная наружность, дикій нравъ и злая судьбина—этотъ Вяземскій, сверкающій очами, бросающій золото горстями и шибко поминающій чорта! Мы увѣрены, на ближайшей художественной выставкѣ непременно будетъ его изображеніе: лунный свѣтъ; Вяземскій—кудри по вѣтру; кафтанъ непременно алый бархатный нараспашку; ноги сильно раздвинуты; корпусъ откинуть назадъ; взоръ безумный; одна рука въ сторону, другая еще простерта надъ вьющейся въ воздухъ отличнѣйшею муаръ-антикъ голубою лентой, которую страстный юноша только что бросилъ подъ колеса мельницы, въ жертву водяному. Мы увидимъ Вяземскаго, можетъ-быть, и въ иныхъ видахъ: онъ во всѣхъ обаятеленъ—является ли озаренный пожаромъ, съ переломленною саблей, въ бѣломъ атласѣ, по которому струится кровь, падаетъ ли въ обморокъ на поединкѣ. Одно несовѣмъ грандіозно: пропадаетъ онъ ни за что—за ладанку съ лягушечьею косточкой. Волшебнo смѣшавъ 1565 съ 1570 годомъ, авторъ совѣмъ оставилъ въ сторонѣ новгородскія казни, а московскія были ихъ слѣдствіемъ. У Грознаго въ Новгородѣ рука расходилась; пощада Пскова, гдѣ онъ только грабилъ, лежала на душѣ, какъ неудача; Москву надо было запугать; любимцы, Вяземскій и Басмановы, надоѣли: ихъ обвинили въ сношеніяхъ съ Польшей и Литвою. Царь этому не вѣрилъ, зная, какъ всегда, что ему никто не измѣняетъ; но осудилъ любимцевъ, давъ дѣлу законность, за государственную измѣну; онъ такъ и велѣлъ своимъ посланникамъ говорить въ Польшѣ. Это—ужъ не ладанка. Вяземскаго обвинили еще сверхъ того, что онъ извѣстилъ новгородцевъ о царскомъ гнѣвѣ—поступокъ великодушный и смѣлый!

Вслѣдъ затѣмъ, зная объ этомъ обвиненіи и возвращаясь домой отъ бесѣды съ царемъ, который, хитря, продолжалъ оказывать ему милость, Вяземскій нашелъ группы своихъ любимыхъ слугъ, убитыхъ въ его отсутствіи по царскому приказу, и прошелъ мимо, «будто не видя», чтобы не навлечь на себя царскаго гнѣва... Черта — страшная, и характеръ, который по ней возсоздается, безъ всякаго сомнѣнія, глубже и сильнѣе того бурно-мелодраматическаго, какимъ одѣлилъ Вяземскаго графъ А. Толстой... Правда, за характеромъ, указаннымъ исторіей, было бы больше работы.

Такъ же, какъ Ѳеодоръ Басмановъ, въ романѣ онъ только скоморошествуетъ и звенитъ серьгами, а по сказанію исторіи — принужденъ царемъ убить своего отца. Онъ очень молодъ, онъ храбръ и (по исторіи) славно дерется. Его нравственное паденіе не объясняется напросто тѣмъ, что «развѣ ты не знаешь царя?» да «въ слободѣ поневолѣ всему научишься». Почему привилась эта наука къ молодой совѣсти, при сознаніи, что наука дурная? какъ страхъ пересилилъ молодую отвагу? Поискать это, конечно, труднѣе, нежели написать комедію на заданныя слова, которую Басмановъ играетъ передъ Серебрянымъ. При разработкѣ характеровъ, даже сцена, гдѣ Иванъ Васильевичъ осуждаетъ другого любимца — все за ладанку и за лягушечьи кости, — могла бы выйти менѣе блѣдна, несмотря на свою невѣрность исторіи, несообразность и великую неловкость — повтореніе однѣхъ и тѣхъ же причинъ катастрофы. Если бы авторъ помнилъ свой анахронизмъ (1570 годъ), онъ помнилъ бы, что уже былъ примѣръ митрополита Филиппа, и что между смиренными иноками, свидѣтелями того, какъ потащили Басманова, могли найтись и сострадающіе, и негодующіе, и защитники ему, и готовые принять ту исповѣдь, которую Ѳеодоръ Басмановъ пугаетъ царя. Въ рѣзкія минуты пробуждается рѣзкое чувство; неправда вызываетъ отпоръ; увлеченіе людей смиренныхъ и вѣрующихъ жарче всякаго увлеченія — а оно могло явиться: никто такъ, какъ иноки, не могъ поревновать мученическому вѣнцу Филиппа. Была или нѣтъ такая сцена въ исторіи, романистъ имѣлъ полное право написать ее: невѣрность исторіи была бы прощена ради драматизма и человѣческой правды. Съ другой стороны, между монахами были и потворщики Грознаго, тѣ, которые пировали съ нимъ, принимали на себя его епитиміи, окле-

ветали и помогли низложить Филиппа; какъ бы приняла эту бѣду Басмановы? Во всякомъ случаѣ, не богато вымысломъ заставить ихъ стоять, «потупя очи и дрожа всѣмъ тѣломъ», надъ недоѣденными сотами и чашками съ кислымъ молокомъ, покуда не только уѣхалъ Иванъ Васильевичъ, но не стало слышно и топота его лошадей... Конечно, такіе смиренные иноки удобнѣе, потому что создаются безъ большихъ размысленій и разбирательствъ.

Въ этой же сценѣ говорить два слова — кажется, единственные въ романѣ — Басмановъ-отецъ и исчезаетъ съ ними; тоже два слова достались Грязному, а, между тѣмъ, тотъ и другой — характеры очень разные: одинъ — гордый и храбрый бояринъ, побѣдитель крымцевъ, совѣтникъ царскій; другой — «холопъ Васюкъ», который изъ плѣна «плачется», что ему мало даютъ ѣсть, и молить у Бога единого — опять шутить за царскимъ столомъ. Царевичъ Иванъ весь построенъ на фразѣ: «наслѣдникъ пороковъ родителя». Такія фразы требуютъ разработки: почему, въ какой мѣрѣ наслѣдникъ? Авторъ говоритъ, что онъ былъ высокоумнѣнъ и ненавидѣлъ Малюту; сказать это, описать какой-нибудь сверкнувшій взоръ, рассказать какую-нибудь шутку — еще ничего не значить. Къ тому надо замѣтить, что, рассказавъ шутку, авторъ тутъ же объясняетъ, какъ и почему она обидна, потому что безъ объясненія читатель и не обратитъ на нее вниманія; какая же жизнь и сила въ словахъ, когда для нихъ необходимо истолкованіе?.. На основаніи старинной пѣсни рассказывается покушеніе Малюты на жизнь царевича и геройскій подвигъ Серебрянаго. Въ вечерніе часы, когда все было безмолвно и мимо автора летали вечерніе жуки, ему ясно видѣлся Серебряный, летящій на конѣ въ погоню за Малютою, и потому, приведя сначала всю пѣсню, авторъ, вслѣдъ затѣмъ, перекладываетъ ее пѣсеннымъ складомъ въ сцену и дополняетъ, поэтизируя пощечину, которую Серебряный даетъ Малютѣ «рукою могучею»:

«Раздалася пощечина словно выстрѣлъ пистольный; загудѣлъ сыръ-боръ, посыпались листья; бросились звѣри со всѣхъ ногъ въ чащу; вылетѣли изъ дупелъ пучеглазые совы; а мужики, далеко оттолѣ дравшіе лыки, посмотрѣли другъ на друга и сказали, дивясь:

«Слышь, какъ треснуло? ужъ не старый ли дубъ подломился надъ Поганою-Лужей?..»

Авторъ привелъ на помощь Серебряному станичниковъ, освободилъ царевича, заставилъ его «по минованіи опасности

воротиться къ своимъ прежнимъ приѣмамъ», т.-е. сказать нѣсколько расплывчиво-надутыхъ фразъ своимъ освободителямъ — и только. Дальше авторъ самъ говорить, что не знаетъ, чѣмъ дѣло кончилось, и послѣдствій его не знаетъ... На что же было нужно роману приключеніе безъ конца и послѣдствій? Не очевидно ли, что оно тутъ единственно для пестроты, для той пестроты, которую массѣ читателей можно выдать за народный бытъ, за изученіе старины, за ея поэтическое возсозданіе? Масса читателей рѣшитъ, конечно, что пѣня—складная и Серебряный—молодецъ... Чего же болѣе?

Это — для любителей народности. Для любителей сильныхъ ощущеній есть сцена въ тюрьмѣ, куда Малюта и Годуновъ приходятъ пытать Серебрянаго. Она прекрасно читается по-французски: «Maluta rampait sur les genoux brandissant son coutelas; sa voix toujours rude ressemblait au mugissement du chacal, quelque chose entre le sanglot et l'éclat de rire. Il bondit, il s'élance, il rugit, il blasphème» и пр., и какъ хорошъ этотъ flambeau qui s'éteint подъ ногою Годунова... и неужели русскій писатель не замѣтилъ, что написалъ главу для фельетона?

Но капитальная эффектная сцена—самая натянутая, самая неестественная сцена, которую масса читаетъ съ замираніемъ сердца и декламаціей, это—«шутовской кафтанъ Морозова». Съ виду она — въ порядкѣ вещей и исторіи; Иванъ Васильевичъ и не такъ потѣшался: онъ сажалъ на тронъ Ѳедорова, потомъ самъ танцилъ его оттуда и самъ рѣзалъ его ножомъ; не одинъ бояринъ Морозовъ дорожилъ своею честью и, конечно, не одинъ онъ за нее вступался. Но въ сценѣ романа графа А. Толстого нѣтъ возможности отмѣтить всѣ общія мѣста, всѣ длинноты, всѣ повторенія, всю театральность ея постройки, всю неловкость, съ которою она ведена, всѣ прозаическія истолкованія патетическихъ тирадъ, то необходимыя, потому что авторъ прежде не договорилъ чего-нибудь или не подготовилъ, то являющіяся по необъяснимой привычкѣ автора объяснять самого себя. Читателя беретъ нетерпѣніе съ первой минуты. Начинается съ того, что царь за своимъ обѣдомъ сажаетъ Морозова ниже Годунова. «Да, вѣдь, это ужъ было однажды! — прерываетъ читатель. — Неужели, чтобъ вызвать боярина на непокорность, у Ивана Васильевича не нашлось выдумки поновѣе?» Иванъ Васильевичъ начинаетъ говорить хладнокровно, что «исполняетъ

всѣхъ ожиданія; всѣ чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, какъ проявится царскій гнѣвъ, коего приближеніе выказывала лишь легкая судорога на лицѣ, напоминающая дрожаніе отдаленной зарницы; всѣ груди были стѣснены, какъ предъ наступающею бурей...» У читателя стѣсняется грудь отъ ожиданія эффектовъ. Иванъ Васильевичъ жалуется Морозова шутовскимъ кафтаномъ, и авторъ, чувствуя, что его Морозовъ — несмотря на то, что романъ уже въ концѣ — не близокъ читателю къ сердцу, не взять въ толкъ, не заслужилъ уваженія, не живое лицо, спѣшитъ объяснить, что это былъ «гордый бояринъ, коего заслуга и древняя доблесть были давно всѣмъ извѣстны», и кстати описываетъ, что «его брови сначала заходили, а потомъ сдвинулись такъ грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выраженіе его показалось страшнымъ...» Въ самомъ дѣлѣ страшно! — думаетъ читатель, а между тѣмъ смѣется. Кафтаны подаютъ вмигъ. «Зрѣлище было приготовлено заранѣе», — говоритъ авторъ, объясняя, по какому случаю пришла въ голову царю эта выдумка. Читатель не читая знаетъ, что кафтанъ подастъ Васька Грязной, а бояринъ Морозовъ обругаетъ его «холопомъ и кромѣшникомъ». Читатель дѣлается вдругъ такъ равнодушенъ, наряжать или не наряжать боярина, что авторъ, чувствуя это, заставляетъ боярина самого рассказывать свои подвиги и, кстати, даетъ маленькій комментарий, что царь «ощущалъ ко всѣмъ сильнымъ нравомъ неодолимую ненависть, и одна изъ причинъ, по коимъ онъ еще недавно, не отдавая себѣ отчета, отвратилъ сердце свое отъ Вяземскаго, была извѣстная ему самостоятельность». Читатель этого не зналъ, не вѣдалъ; за двадцать страницъ передъ тѣмъ его увѣряли, что Вяземскій осужденъ за колдовство и умыселъ на царское здоровье... Обращеніе отъ лица, которымъ слѣдовало бы занять все вниманіе, къ другому, уже безвозвратно отшедшему лицу, расхаживаетъ послѣднюю чувствительность читателя. Морозовъ надѣлъ кафтанъ — читатель отъ этого не смутился. Странное чувство! читатель какъ-будто смутился отъ всѣхъ трескучихъ фразъ, которыя теперь-то наговоритъ бояринъ...

«Гремя колокольцами, бояринъ подошелъ къ столу, опустился на скамью напротивъ Іоанна съ такою величественною осанкой, какъ-будто на немъ вмѣсто шутовскаго кафтана была царская мантия... — и сталъ читать изъ Карамзина...

«И это — живой человѣкъ, оскорбленный старикъ!» прерываетъ читатель.

Морозовъ продолжаетъ, перефразируя Карамзина крѣпкимъ словомъ, пророчествуетъ, какъ герой классическихъ трагедій, засыпаетъ общими мѣстами и, начавъ слишкомъ свысока, натурально, «срѣзывается»: пересчитавъ преступленія Грознаго, онъ выше всѣхъ ставитъ... свое ряженіе въ шутовской кафтанъ. Это — конечное, какъ рѣшаетъ Морозовъ. Упрекъ, пожалуй, естественный, какъ проявленіе обыкновеннаго оскорбленнаго самолюбія; но послѣ него авторъ уже совсѣмъ напрасно еще разъ удостовѣряетъ, что «грозенъ былъ видъ стараго воеводы», что «въ негодующемъ взорѣ было столько достоинства, столько благородства, что въ сравненіи съ нимъ Иванъ Васильевичъ показался мелокъ». Если авторъ имѣлъ намѣреніе выставить въ Морозовѣ исключительное гордое родовое понятіе о чести, выражавшееся въ мѣстничествѣ (по Карамзину, даже не преслѣдуемое Грознымъ, какъ средство властвовать раздѣляя), то никакъ не слѣдовало называть это «достоинствомъ и благородствомъ»; слѣдовало просто сказать, что это было понятіе вѣка, сильное чувство сословія и т. д.; одна лишняя расколаживающая замѣтка въ сценѣ ничего бы не значила: ихъ и безъ того довольно; но эта, по крайней мѣрѣ, имѣла бы смыслъ, яснѣе опредѣлила бы Морозова, чѣмъ фраза о его «достоинствѣ и благородствѣ». Нѣтъ ни достоинства ни благородства въ человѣкѣ, который личную обиду ставитъ выше общихъ бѣдствій! Послѣ подобной выходки ему, конечно, не остается ничего больше, какъ перенести дѣло, за которое постоять онъ не сумѣлъ, инстанціей выше — на Страшный судъ... но и тамъ, какъ заключеніе и усиленіе обвиненій, выставить опять все-таки свой шутовской кафтанъ!

Морозовъ, мамка Онуфріевна, тѣни казенныхъ — всѣ грозятъ Ивану Васильевичу Страшнымъ судомъ. Исторически — это вѣрно. Терпѣніе — великая русская сила. Задавленная, беспомощная правда въ свои послѣднія минуты высказывала, что было поддержкой этой силы, на чемъ она основывала свои выжиданія — на помощи свыше. То же «начало» — «нѣтъ власти еще не отъ Бога» — къ Богу относило и власть надъ этой властью. Страдальцы, кончая свой подвигъ на землѣ, говорили это торжествующему злу... Но то, что полно значенія въ исторіи, что именно своимъ повтореніемъ

ужасаетъ въ ней, повторенное десятокъ разъ на страницахъ блѣднаго романа, однообразно и безсильно! Эти угрозы не вызываютъ ни оглядки на мрачное дѣло, ни тоски о погибающей правдѣ, ни мысли о возмездіи. Эти адскія бездны, эти дьяволы, поминаемые такъ часто, вертятся въ глазахъ читателя черными и красными пятнами, какъ на лубочныхъ картинкахъ; пророчества перекладываются въ слова: «А вотъ тебя припекутъ!» Читатель смѣется и утомленъ. Автору, безъ сомнѣнія, не того хотѣлось. Такъ зачѣмъ же онъ забылъ время, для котораго пишетъ — время строгой мысли, а не пестраго суевѣрія? Къ такому времени относятся иначе; его можетъ взволновать смыслъ, а не образъ — и еще такой неизящный!.. Но мы уже имѣли случай говорить довольно близко объ этомъ предметѣ автору «Князя Серебрянаго» по поводу драматической поэмы «Донъ-Жуанъ».

Если царь и бояре, которыхъ, по указаніямъ Карамзина, можно было изобразить жизненнѣе и вѣрнѣе, вышли такъ неудачны, то народъ, у Карамзина безличный и забитый, въ новомъ романѣ вышелъ еще неудачнѣе. Двѣ-три пѣсни, хороводъ, какая-нибудь присказка, какое-нибудь бессмысленное ругательство — еще далеко не быть народный, не чувство народное, не забота народная. Въ 1565 г., когда начинается романъ, «все русскіе люди, — говоритъ авторъ, — любили Іоанна всею землей». Такъ ли? онъ ужъ пять лѣтъ чудесиль. Невозможно, чтобы «чуждая буря», уносившая боярскія головы, не склоняла къ землѣ бѣдныхъ головъ народа; она должна была достигать и до нихъ. Царь безобразничалъ; любимцы его — тоже, и въ «Серебряномъ» Басмановъ хвастаетъ своими хороводами. Произволъ даетъ примѣръ произволу... Народъ не оставилъ своихъ жалобъ въ лѣтописяхъ, но потому только, что не писалъ ихъ. Народъ приходилъ къ тому, кто понималъ его, къ Филиппу, въ 1566 г. «заступленія ради, съ великимъ рыданіемъ, глаголати немогуще, токмо показующе ему мученіе». 1566 годъ недалеко отъ 1565, когда, по словамъ гр. А. Толстого, «Іоанна любили всею землей». Очевидно, что въ романѣ нѣтъ истиннаго положенія народа, не разобраны и его отношенія къ его власти. Любовь народа добывается трудомъ, и еще въ исторіи не было примѣра, чтобы она доставалась произволу. Навязывать народу шумный, черезъ край бьющій патріотизмъ, новѣйшихъ газетныхъ статей и солдатскихъ пѣсенъ такъ неловко,

неудобно, невозможно, что невозможность доказывается сама собою: неудачей всего написаннаго въ этомъ тонѣ... Станичники гр. А. Толстого, кромѣ свойствъ общихъ всѣмъ неудачамъ, имѣютъ еще неосторожность походить на оперныхъ хористовъ: «Ляжемъ, коли надо, за святую Русь!» поетъ Серебряный.—Ляжемъ, ляжемъ!—«Что жъ, ребята, коли бить враговъ земли русской, такъ надо выпить за русскаго царя!»—Выпьемъ, выпьемъ!—«Да здравствуетъ великій государь нашъ!»—Да здравствуетъ царь!—«Да живетъ земля русская!»—Да живетъ земля русская!—«Да сгинуть всѣ враги», и пр.—Да сгинуть всѣ враги, и пр.

Очень серьезно, это — не народъ!

Изобразивъ его общими чертами, авторъ пожелалъ отдѣлать нѣкоторыя частности: преступленіе и раскаяніе въ лицѣ разбойника Коршуна, удалъ — въ Перстнѣ, суевѣріе — въ колдунѣ, бессознательную силу — въ Митькѣ. Коршунъ сочиняетъ на себя невозможное злодѣйство: онъ шелъ по лѣсу, встрѣтилъ бабу съ лукошкомъ, сталъ отнимать; она повалилась ему въ ноги, потомъ стала отбиваться, ругать его, кусать за руки, все не отдавая лукошка. Онъ выхватилъ ножъ, убилъ ее, ушелъ было, воротился за лукошкомъ, отошелъ съ нимъ довольно и присѣлъ посмотрѣть, что тамъ. Оказался ребенокъ. Коршунъ убилъ и его. Это было бы невыразимо ужасно, если бы не было совершенно нелѣпо. Есть ли возможность такъ запрятать живого ребенка въ лукошко и замотать холстомъ, чтобы нельзя было распознать, что это? Такъ ребятъ не запрятываютъ и не заматываютъ: они, пожалуй, задохнутся. А если ребенокъ не задохнулся, былъ живъ въ лукошкѣ, когда мать съ нимъ вмѣстѣ валилась въ ноги, дралась за него—какъ же онъ не закричалъ? Какъ мать сама съ первой секунды не сказала, не показала, что въ лукошкѣ ребенокъ? Тогда, конечно, не было бы грѣха на душѣ дѣдушки Коршуна, и не въ чемъ было бы ему каяться, заимствуя (очень неудачно) складъ своего покаянія у множества народныхъ лицъ, въ послѣднее время описанныхъ нашею литературой. Желаніе пострадать за свой грѣхъ на семь свѣтѣ, чтобы грѣхъ отпустился въ будущемъ—черта вѣрная; но она свойственна народу и въ наше время: ее ничего не стоило подмѣтить, и потому нельзя отнести къ изученію народнаго характера XVI вѣка.

Колдунъ-мельникъ — лицо загадочное. Извѣстно, что у

народа множество повѣрій, приворотовъ, заговоровъ, которые объясняются суевѣріемъ; множество странныхъ лѣчебныхъ средствъ, подлежащихъ изслѣдованію науки и, можетъ быть, годныхъ въ дѣло. Такъ было въ XVI вѣкѣ, такъ и теперь; но чудесъ не бывало и нѣтъ. Колдунъ гр. А. Толстого творить чудеса: исцѣляетъ словомъ и провидитъ будущее. Онъ имѣетъ полнѣйшее основаніе вѣрить въ силу своихъ заклинаній: то, что онъ призываетъ, повинуется, помогаетъ, покровительствуетъ ему; слѣдовательно, это не мечта, это «существуетъ»; слѣдовательно, колдунъ не «суевѣренъ». Что жъ это такое? Это — не «воспроизведеніе вѣрованій», какъ называетъ авторъ; это — доказанные, подтвержденные «факты», въ которые обязанъ повѣрить и читатель... Очень странно.

Перстень — мы его знаемъ и видимъ. Его появленіе, его рѣчи, похождения, шуточки, золотой зипунъ, бѣлые зубы, чеканъ, мисюрка съ бармицей нисколько не воплощаютъ для насъ русской удали, но живо напоминаютъ азбучную картинку, вѣроятно, не намъ однимъ знакомую въ дѣтствѣ: тусклая литографія, раскрашенная, въ особенности, синимъ и краснымъ, наклеенная на кривой четырехугольникъ картона и подписанная: «Е. Ермакъ, покоритель Сибири». Тутъ не Ермакъ, а Кольцо, но все равно. Очень понятно, почему Перстень нравится своимъ читателямъ-дѣтямъ. Удалецъ, богатырь, сила!

И вотъ она еще, но «бессознательная» сила — Митька. Менѣе нежели бессознательная — бессмысленная! По уму-разуму онъ — сродни тѣмъ мужикамъ, которыхъ авторъ заставляетъ дивиться треску боярской оплеухи. «Лѣнь и природная сонливость превозмогали его гнѣвъ — говоритъ авторъ. — Ему казалось, что не стоить сердиться изъ-за бездѣлицы (за толчки разбойниковъ), а важной-то причины не было!» Для Митьки нѣтъ никогда никакой важной причины, ему ничего не «кажется» и не можетъ казаться; онъ, когда «осерчаетъ, катаетъ праваго и виноватаго»; онъ не разглядитъ, что душитъ товарища; Перстень говоритъ, что онъ совсѣмъ глупъ; у него развиты только кулаки и плечи: это — животное... Для невозбужденной и только потому дремлющей русской силы, скромно, пожалуй, наивно, не сознающей себя, но чутко смыслящей все, что есть кругомъ, друга и недруга, правду и неправду — для этой силы обидно

подобное олицетвореніе... Впрочемъ, не вѣрнѣ ли будетъ предположить, что, руководствуясь А. Дюма, гр. А. Толстой просто изобразилъ мушкетера Портоса въ костюмѣ Емели?..

«Археологическія подробности», въ которыхъ авторъ «старался соблюсти истину и точность», заимствованы изъ журнальных статей и сборниковъ; но сотни лебедей, сотни журавлей, ухи курячьи, зайцы въ лапшѣ, особенно удавшіеся царскимъ поварамъ, верченія почки и многое прочее не «воспроизводятъ фізіономіи» царскаго пира. «Бармицы, бахтерцы, аскамиты, саадаки, мисюрки, ерихонки» и т. д. — старинныя слова, но старины въ нихъ нѣтъ. Неровности слога, въ которыхъ заранѣе, въ предисловіи, извиняется авторъ, происходятъ совсѣмъ не оттого, что романъ писался десять лѣтъ; нисколько незамѣтно, чтобы возрѣніе или «манера» автора измѣнились къ концу романа: онъ написанъ совершенно одинаково отъ первой до послѣдней страницы. Но самъ авторъ, видимо, произвольно, часто на одной и той же страницѣ нѣсколько разъ мѣняетъ свой слогъ, настраивая его то на лѣтописный, то на сказочный, то на обыкновенный ладъ, какъ, напримѣръ, рассказывая приключенія царевича или смерть Максима Скуратова. Неровности слога у него намѣренныя; слѣдовательно, нечего и извиняться. Но онѣ — ужъ заодно съ другими неопредѣленностями романа. Въ немъ, между прочимъ, случается, исчезаетъ время и пространство. Идетъ, идетъ читатель, будто молодецъ въ сказкѣ, идетъ Москвой или слободой — вдругъ — лѣсъ, вдругъ — монастырь, вдругъ — откуда ни возьмись — татары! Кажется, все дѣйствіе кружить подъ Москвой или недалеко, а нѣтъ возможности вообразить никакой мѣстности. А мѣстность важна во всякомъ рассказѣ, и въ историческомъ особенно...

Остается завязка романа — вещь важная, если цѣлью автора было «воспроизведеніе эпохи». Гр. А. Толстой даже, сколько замѣтно, дорожилъ своею завязкой: онъ вмѣшалъ въ нее всѣ главные лица. Эта завязка — любовь. За прекрасную Елену Серебряный бьетъ опричниковъ, за Елену колдуетъ Вяземскій, за Елену Морозовъ идетъ на судъ Божій... Но все это — очень бѣдно, а могло бы быть богаче. Безъ женщины трудно составить романъ, и по этому поводу есть отговорка, что старинная русская жизнь не представляетъ женскихъ характеровъ. Желаящій найти — найдетъ. Находить же ихъ

теперь г. Островскій для своихъ драмъ. Исторія своими полусловами говорить многое. Какъ ни заключена была женщина въ своемъ теремѣ, жила же она, чувствовала, думала! Ея день не могъ проходить только въ заплетаніи косы, да пересматриваніи ожерельевъ. Житія святыхъ, о которыхъ она знала, которыя читались ей, должны были дѣлать на нее впечатлѣніе, непремѣнно восторженное, непремѣнно мечтательное и тѣмъ сильнѣе вызывающее на дѣйствіе въ минуты, когда дѣйствительность складывается въ драму. Невозможно предполагать, чтобы въ существѣ живомъ не было задатковъ дѣйствія. Они могли быть смяты рабствомъ, блѣдны отъ недостатка свѣта и простора, извращены, обращены во зло нравственнымъ униженіемъ, несознаваемымъ (а очень возможно — и сознаваемымъ), но они «были», потому что не быть не могли. Иначе пусть объясняютъ утверждающіе, что старинная русская женщина не имѣла характера, откуда же взялся онъ въ послѣдствіи и отчего развился такъ разнообразно и такъ скоро? Не ассамблеи же его создали! Напротивъ, ассамблеи, какъ нѣчто навязанное и пустое, толкнули этотъ характеръ на другую, ложную дорогу... Это посторонній вопросъ; но что можно толкнуть, то — не призракъ, то существуетъ.

Отговорки въ недостаткѣ указаній того или другого, это — отговорки слишкомъ легкаго взгляда на жизнь, слишкомъ слабой привязанности автора къ своему созданію. Въ жизни все есть — стоить внимательнѣе вглядываться. Женщины, тѣмъ болѣе, узнаются только любя. Пусть авторъ искренно привяжется къ своей героинѣ, создастъ для себя всю ея жизнь со дня ея рожденія, перенесется во всѣ подробности ея быта, ея привычекъ, ея отношеній, живетъ ея существомъ — онъ дастъ ей характеръ; онъ угадаетъ ея мысли, ощущенія даже среди самыхъ незначительныхъ обстоятельствъ, не только тамъ, гдѣ затронется ея душа... Тогда, конечно, онъ не напишетъ вялой Елены Дмитріевны, которая только плачетъ, блѣднѣетъ, рыбку кормитъ, чарки подноситъ и резонируетъ съ Вяземскимъ, едва очнувшись отъ обморока «на хребтѣ его коня». Это авторъ сочинилъ, а не видѣлъ. Читателю, просто, смѣшно, когда Елена Дмитріевна, *en femme du monde*, никогда не выдавшая *des moujiks* «дарить» мельнику ожерелье, которое онъ и самъ можетъ снять съ нея; когда она «въ ужасѣ запираетъ за нимъ дверь»,

между тѣмъ какъ онъ приплясываетъ и пригѣваетъ: «Бду, бду!» Елена Дмитріевна цѣлуется съ Серебрянымъ черезъ частоколъ — она, вскочивъ на дерновую скамейку, онъ, вставъ на стременахъ — необыкновенно граціозно! Такъ, конечно, изобразятся они, если будетъ иллюстрированное изданіе романа; но развѣ это любовь?.. А сцена послѣдняго свиданія, эти лепестки розъ на черной одеждѣ инокини, эти наставленія... Но разбирать это рѣшительно невозможно: до такой степени это жеманно, лишено чувства, безжизненно, неистинно!..

Правда, мудрено и любить князя Серебрянаго. Это — не человѣкъ, а юноша изъ романа, примѣрно себя ведущій, чисто одѣтый, вѣрящій до безсмыслія во все великое и прекрасное. Онъ пять лѣтъ пробылъ въ Литвѣ, куда еще прежде Курбскаго ушло довольно русскихъ бояръ, но до того неприкосновенно сохранилъ слухъ свой отъ всякой вѣсти, что доѣхалъ изъ Литвы вплоть до Москвы, не вѣдая о существованіи опричины. Ему показываютъ: «вотъ она», а онъ все — «нѣтъ». Ему рассказываютъ: «тотъ казнень, другой казнень», а онъ — «неужели?» Ему говорятъ: «царь — такой и такой», а онъ — все свое: «царь правосудень!» Какъ настоящій благовоспитанный герой романа, онъ спасъ царевича отъ Малюты — хоть потомъ и самъ не знаетъ, чѣмъ кончилъ съ Малютою, побилъ татаръ сколько слѣдовало, не шелъ изъ тюрьмы и опять отдался царю въ руки и только въ концѣ, когда какъ-то запутались его собственныя обстоятельства, вдаль немножко въ скептицизмъ и объявилъ Еленѣ Дмитріевнѣ, что «на Руси никто не счастливъ» и что «царь губить родину», хотя безъ особенныхъ усилій разума могъ бы замѣтить это и съ самаго начала. Умираетъ въ бою, конечно, и все еще юный, тѣмъ же годомъ, какъ постриглась Елена Дмитріевна. Для героевъ романа и смерть-то приходитъ во-время! Человѣкъ иной томится-томится долгіе годы, бродитъ надъ могилами всего дорогого, видитъ, какъ кругомъ встаетъ и чернѣетъ общественная неправда, тянетъ свое честное незамѣтное дѣло и, прицѣпленный какимъ-нибудь прозаическимъ, чисто-житейскимъ долгомъ, не смѣетъ и попросить себѣ смерти у Бога... Но такъ кончаютъ люди, а не герои романа.

Вѣсть о смерти Серебрянаго и шутку Ивана Васильевича по этому поводу масса читателей принимаетъ съ должнымъ

чувствомъ тихой грусти и, несмотря на торжественный, хотя ни на что ненужный финалъ покоренія царства сибирскаго, въ тихомъ раздумьѣ дочитываетъ романъ.

Съ другимъ чувствомъ дочитываютъ его другіе читатели. Вопросъ, неужели авторъ думаетъ, что это — историческій романъ, поднимается еще настойчивѣе...

В. Поръчниковъ.

Искусство, религія, народность *).

ПО ПОВОДУ СОЧИНЕНІЙ ГРАФА А. К. ТОЛСТОГО.

Графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой принадлежитъ къ той литературной эпохѣ, воззрѣнія которой начали складываться подъ вліяніемъ Пушкина, Гоголя и Лермонтова, эпоха отдаленная отъ насъ и по времени и еще больше по понятіямъ о задачахъ литературы да и о другихъ еще болѣе важныхъ краеугольныхъ вопросахъ... Эта эпоха обѣщала быть блестящею: Предъ нею были превосходные образцы; она имѣла не давнія, но добрыя литературныя преданія; такія высокія личности какъ Карамзинъ и Жуковскій благословляли, казалось, своихъ внуковъ продолжать начатое ими, и по особой благосклонности историческихъ судебъ, между этими «внуками» обнаружилось нѣсколько крупныхъ талантовъ. Къ сожалѣнію, вліяніе Пушкина начало вскорѣ ослабѣвать. Ширина и спокойствіе его міровоззрѣнія признаны были недостаткомъ, которому тогдашняя легкомысленная критика съ торжествомъ противопоставляла духъ недовольства, присущій Лермонтову, и сатирическое настроеніе Гоголя. Но при этомъ критика не умѣла или не хотѣла замѣтить, что недовольство Лермонтова и его пессимизмъ были результатомъ не столько стремленія къ какимъ-либо новымъ, высшимъ идеаламъ, сколько слѣдствіемъ причинъ чисто-индивидуальныхъ, отчасти нехорошихъ инстинктовъ, болѣе же всего зашедшей къ намъ съ Запада моды. Еще менѣе замѣтила современная критика, что Гоголь поражалъ сатирой именно противоположное тому, къ чему съ любовью и сочувствіемъ относился Пушкинъ, и что, слѣдовательно, они, хотя и съ

*) «Русскій Вѣстникъ», 1883 г., № 3.

разныхъ концовъ, дѣйствовали въ одномъ направленіи... Вѣтеръ сильно дулъ въ это время въ сторону пессимизма, отрицанія, разрушенія; всѣ флюгера повернулись къ отрицательному полюсу. Въ такомъ духѣ писало желчью пропитанное, но остроумное перо Герцена, въ такомъ духѣ сталъ писать въ послѣдніе годы своей жизни Бѣлинскій, а за ними кинулась цѣлая орава: Чернышевскій, Добролюбовъ, Писаревъ, Шелгуновъ, Зайцевъ и т. д., числомъ *crescendo*, достоинствомъ *diminuendo*.

Начало этого поворота относится къ сороковымъ годамъ. Начатая «Библіотека для чтенія», побѣда журнала надъ книгой довершена была «Отечественными Записками». Обстоятельное изслѣдованіе, зрѣло и во всѣхъ подробностяхъ обдуманная мысль, строгая провѣрка факта уступили мѣсто сенсационному слуху, односторонне, но ярко освѣщенной мысли, хлестко и съ самоувѣренностью высказанной. Разумѣется, объ искусствѣ не могло быть и помину при срочной, спѣшной, «на курьерскихъ» производимой работѣ. Отъ беллетриста потребовалась, вмѣсто таланта, тенденція въ извѣстномъ смыслѣ. Комедія, повѣсть или романъ должны были бить въ указанное мѣсто, и больше ничего отъ нихъ не требовалось; а когда замѣчали, что удары слабы, то умножали число грошевыхъ стѣнбитныхъ машинъ: цѣль все равно достигалась... Подобно искусству, отвергнуты были и истина, какъ самостоятельная цѣль, и наука, довѣляющая сама себѣ. Наукѣ велѣно было служить исключительно цѣлямъ партіи, а истинѣ — быть въ зависимости отъ «времени». До конца XVIII вѣка, возвѣщалось намъ, позволительно было признавать Бога; но теперь «духъ времени» допускаетъ, что

... Если и впрямь существуетъ Господь,
То это только видъ кислорода.

Было время, говорилось далѣе, когда слѣдовало создавать государства, теперь они сами должны разрушать себя, узаконяя борьбу и раздраженіе партій; междоусобіе — единственная форма войны, вызывающая сочувствіе современнаго человѣка, который обязанъ разрушать вообще все существующее, и не на сторонѣ, не у сосѣдей, какъ дѣлали дикіе Атиллы и Тамерланы, а именно у себя, дома, какъ прилично людямъ цивилизованнымъ, какъ дѣлаютъ французы, поставившіе памятникъ революціи 1830 года. «Все отри-

цать» и «все ломать», это было высказано Базаровымъ, какъ ученіе, усвоенное уже чуть не цѣлымъ поколѣніемъ... Да, молодое поколѣніе пятидесятихъ годовъ усвоило всю эту мерзость, а люди зрѣлые не думали отъ нея отворачиваться, et pour cause: въ эту сторону вѣяли флюгера, туда указывала мода. Не даромъ же моду называютъ всемогущею; а тутъ мода шла съ Запада: за Герценомъ, за Бѣлинскимъ, за Чернышевскимъ стояли Контъ, Прудонъ, Бюхнеръ, Мадзини, Штраусъ. Мы поклонялись и менѣе значительнымъ созвѣздіямъ, когда они появлялись со стороны Запада. Да кромѣ того, были и другія причины. Въ началѣ пятидесятихъ годовъ наша читающая публика очень увеличилась численно, но въ качественномъ отношеніи она понизилась настолько же. Популярное изложеніе серьезныхъ предметовъ въ журналахъ привлекло къ нимъ массу читателей: кому, въ самомъ дѣлѣ, не лестно подумать, что, вотъ, я читаю и понимаю читаемое о выгодѣ свободнаго обмѣна товаровъ между различными государствами, что я не только узналъ, что такое федерація, но и сочувствую ей, что меня теперь не озадачиваетъ словами: централизація, исполнительная власть, парламентаризмъ, спикеръ... А такую массу читателей не трудно увлечь въ какую-угодно сторону.

Но возвратимся къ литературной плеядѣ, возсіявшей во второй половинѣ сороковыхъ ¹⁾ и въ началѣ пятидесятихъ годовъ. Нѣкоторые изъ этихъ писателей, принявъ относительно своихъ литературныхъ произведеній девизъ «числомъ поболѣе, цѣною подешевле», вскорѣ исписались и пережили свою славу; другіе во-время покинули ложную дорогу; третьи, напротивъ, отказавшись отъ пушкинскихъ традицій, повернули по вѣтру по истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ и бодро зашагали по грязи. Остальные затѣмъ, немногіе, и въ томъ числѣ гр. А. Толстой, съ начала и до конца сумѣли устоять противъ теченія. И устоять, повѣрьте, было не легко. Вы стоите и чувствуете вокругъ себя настоящій Sturm und Drang. Точно какая-то исполинская рѣка выступила изъ береговъ и вмѣсто волнъ мчитъ на васъ массу беллетристовъ, критиковъ, драматурговъ, профессоровъ, адвокатовъ, чиновниковъ, офицеровъ, студентовъ, институтокъ, толстыхъ по-

¹⁾ Нѣкоторыя стихотворенія А. Н. Майкова относятся даже къ концу тридцатыхъ годовъ.

мѣщиковъ и сѣдовласыхъ генераловъ... да, были и сытые помѣщики, насытившіеся генералы, а ужъ, кажется, чего бы имъ!.. И все это мчится и манитъ васъ, зоветъ и грозитъ. Они кричатъ: «Мы сила новая, никогда не виданная, нигдѣ не бывалая, сила современная! Мы призваны разрушить все, дабы міръ могъ возродиться въ совершеннѣйшей формѣ. За нами, за нами, и горе побѣжденнымъ!»

Повторяю, трудно было устоять противъ страшнаго напора. Вѣдь, сѣденькіе генералы и толстые помѣщики кинулись въ омутъ не изъ радости сердечной, а «страха ради іудейска»... Но графъ А. К. Толстой устоялъ. У ногъ его катятся человѣческія волны фантастической рѣки; изъ глубины ея долетаютъ до него то манящіе, то угрожающіе голоса; они не трогаютъ и не смущаютъ его.

Други, не вѣрьте! Все та же единая
Сила насъ манитъ къ себѣ неизвѣстная

Правда все та же...
Дружно гребите во имя прекраснаго

Противъ теченія!
Други, гребите! Напрасно хулители
Мнятъ оскорбить насъ своею гордынею.
На берегъ вскорѣ мы, волнъ побѣдители,
Выйдемъ торжественно съ нашей «святынею»!
Верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное!
Вѣрою въ наше святое значеніе
Мы же возбудимъ теченіе встрѣчное

Противъ теченія!

Щадя время и мѣсто, мы можемъ здѣсь только напомнить читателю превосходное стихотвореніе графа Толстого «Противъ теченія». А впрочемъ, и въ небольшихъ сдѣланныхъ нами выдержкахъ видна горячая вѣра автора и глубокое его убѣжденіе въ торжествѣ «вѣчнаго надъ конечнымъ» вообще и «прекраснаго» въ частности. Эта горячая вѣра и это непоколебимое убѣжденіе составляютъ главный мотивъ всей поэзіи графа Алексѣя Константиновича, основу всего ея содержанія. Въ его поэзіи выдается и та еще черта, та особенность, что она совершенно чужда раздраженія и желчи, которыми переполнена современная литература. Изъ людей мыслящихъ и пишущихъ каждый заботится не столько о торжествѣ своихъ убѣжденій, какъ о томъ, чтобы осмѣять и скомпрометировать убѣжденія своего противника,

унизить его: свойственный эпохѣ зудъ разрушенія проявляется и въ этомъ... Ничего подобного въ графѣ Толстомъ не замѣтно. Даже къ противникамъ искусства, къ утилитаристамъ и позитивистамъ, къ тѣмъ,

Что все хотятъ загадить
Для общаго блаженства,

и къ тѣмъ графъ А. К. Толстой относится лишь съ легкою ироніей, но съ такою изящною, что она не можетъ не произвести впечатлѣнія (Потокъ-Богатырь, Пантелей-цѣлитель, Порой веселой мая и др.). Но какъ же могло въ графѣ Алексѣѣ Толстомъ образоваться такое мировоззрѣніе, столь независимое отъ всемірнаго деспота, именуемаго «духомъ времени», стремящагося подчинить себѣ симпатіи и антипатіи людей, господствовать надъ ихъ помыслами, нивелировать ихъ духовныя потребности? Помимо индивидуальныхъ качествъ графа Толстого, въ этомъ не малую роль играютъ, конечно, его воспитаніе, тѣ впечатлѣнія, которыя онъ воспринялъ въ эпоху наибольшей восприимчивости своей, та обстановка, тѣ преданія, которыя образовали вокругъ него какъ бы специальную атмосферу. Къ сожалѣнію, намъ недостаточно знакома частная жизнь графа Толстого, и кромѣ коротенькой его автобіографіи, приложенной къ его сочиненіямъ, да указаній, которыя даютъ сами сочиненія, мы не находимъ ничего для нашего руководства въ этомъ отношеніи. Порывшись, однако, въ этихъ источникахъ, мы найдемъ отвѣты на многіе вопросы. Мы узнаемъ изъ автобіографіи нашего поэта, что дѣтство его было очень счастливо и оставило ему «одни свѣтлыя воспоминанія»... Указаніе драгоцѣнное. Добрая половина нынѣшнихъ разрушителей вынесли свою озлобленность изъ своего дѣтства, изъ семьи своей; эта озлобленность—результатъ щипковъ грубой и безтолковой матери, подзатыльниковъ пьянаго отца, да еще бѣдности, которую главы семейства не умѣли ни переносить съ достоинствомъ ни одолѣть разумнымъ трудомъ. «Семья была для насъ преддверіемъ каторги», сказалъ (кажется, на судѣ) Нечаевъ, а вслѣдствіе того, по логикѣ, имѣющей много послѣдователей, этихъ «насъ» нельзя и обвинять въ томъ, что они хотятъ перевернуть весь міръ вверхъ ногами. Многихъ, очень многихъ изъ нихъ, при самомъ выходѣ изъ семьи, принимаетъ на

свое попеченіе общественная благотворительность, и это должно бы, кажется, парализовать въ нихъ предрасположеніе къ зависти и ненависти. Нѣтъ, жить на чужой, на общественный счетъ они скоро привыкають, не имѣя никакого живого лица для благодарности; кого, въ самомъ дѣлѣ, благодарить? цѣлый городъ? все общество? всю Россію? Да притомъ доктрина спѣшитъ вытравить изъ юныхъ сердець самую потребность, самый принципъ благодарности. Кто даетъ? богатые: но *la propriété c'est le vol*. Притомъ благодарность есть видъ сентиментальности; она примиряетъ, она усыпляетъ, а «духъ времени» требуетъ борьбы. Борьба—это основное условіе прогресса. Но, чтобы бороться съ успѣхомъ, надо чувствовать вражду къ своему противнику. Станемъ же ненавидѣть нашихъ анонимныхъ благодѣтелей, и да здравствуетъ зависть, этотъ надежный стимулъ прогресса!.. Очевидно, вліянія этихъ проклятыхъ ученій графъ Толстой не могъ испытывать; съ другой стороны, на него дѣйствовали вліянія иного рода. Ребенкомъ онъ жилъ съ семействомъ своимъ въ деревнѣ и сверстниковъ не имѣлъ; это развило въ немъ созерцательность; шести лѣтъ онъ уже писалъ стихи. Жизнь его начинала уходить въ мысль, въ фантазію; это рассказываетъ намъ самъ поэтъ нашъ въ своей (не особенно, впрочемъ, удачной) поэмѣ Портретъ.

Тринадцати лѣтъ онъ посѣтилъ Италію и уже въ состояніи былъ восхищаться образцами итальянской живописи и скульптуры. «Это восхищеніе было такъ сильно,—пишетъ нашъ поэтъ,—что по возвращеніи въ Россію, я впалъ въ настоящую тоску по Италіи, доходилъ до какого-то отчаянія, которое заставляло меня днемъ отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, когда мои сны заносили меня въ мой потерянный рай»...

Все это вызываетъ презрительную улыбку у критиковъ и рецензентовъ извѣстнаго лагеря. Рецензентъ «Дѣла» признаетъ графа Толстого представителемъ «заоблачной поэзіи, эстетической нравственности и индифферентной философіи», а его поэзію — «поэтическимъ разгильдяйствомъ» ²⁾. Но нравственные и гражданскіе идеалы «Дѣла» при немъ и остаются.

²⁾ «Дѣло», 1882, № 10.

Я забылъ сказать, что, будучи восьмилѣтнимъ мальчикомъ, графъ Алексѣй Константиновичъ былъ представленъ императору Николаю, въ то время молодому еще, но уже побѣдителю персіянъ и турокъ, а также и обремененному годами и славой Гёте. Разумѣется, ребенокъ не могъ сознавать, когда находился въ кабинетѣ молодого императора, сколько государственнаго могущества онъ видитъ передъ собою, насколько интеллектуальной силы сосредоточивалось въ головѣ человѣка, державшаго его на колѣнахъ во Франкфуртѣ. Но, входя въ сознаніе, онъ, безъ сомнѣнія, понялъ, что въ лицѣ императора Николая и поэта Гёте онъ нѣкогда видѣлъ два типа человѣческаго величія. Послѣдній былъ ему болѣе по душѣ. Но его семейныя связи поставили его въ отношенія близкія къ тогдашнему Наслѣднику, а когда Великій Князь Александръ Николаевичъ вступалъ на престолъ, то сдѣлалъ его флигель-адъютантомъ и приблизилъ къ себѣ и своему семейству. Императрица Марія Александровна любила слушать стихи графа Толстого изъ устъ самого автора; «дворъ и свѣтъ» привѣтливо открыли свои двери молодому флигель-адъютанту, богатому, прекрасно образованному и поэту, начинавшему имѣть успѣхъ. Но «дворъ и свѣтъ» не очень сильно влекли къ себѣ молодого поэта. Онъ былъ горячо преданъ царственной четѣ, искренно имъ интересовавшейся, цѣнилъ вниманіе къ себѣ и личныя качества нѣсколькихъ лицъ изъ высшаго свѣта, но не въ этомъ свѣтѣ и не въ придворныхъ сферахъ витала его мысль и не тамъ нашло пріютъ его сердце. Онъ познакомился въ это время съ замѣчательною женщиной, сдѣлавшеюся его супругой. Всему свѣтскому блеску и всей этой «ярмаркѣ тщеславія», которая вокругъ него кипѣла, онъ предпочиталъ общество этой умной, образованной, богатой талантами женщины, и часто пріѣзжалъ доканчивать вечеръ въ ея скромной гостиной, показавшись лишь, ради приличія, на придворномъ балу или дипломатическомъ раутѣ. А затѣмъ... Затѣмъ случилось то и такъ, какъ описано въ Іоаннѣ Дамаскинѣ. Графъ Толстой взмолился:

О, отпусти меня, калифъ,
Дозволь дышать и пѣть на волѣ;

на что «калифъ» отвѣтствовалъ:

... въ твоей груди
Не властенъ я сдержать желанье:

Пѣвецъ, свободенъ ты. Иди,
Куда влечетъ тебя призванье...

Такъ было дѣло. Такъ ли бы случилось, если бы вмѣсто графа Алексѣя Толстого былъ одинъ изъ тѣхъ «практичныхъ людей», коихъ противопоставляютъ ему и его «эстетической нравственности», это сомнительно. «Практическій человѣкъ», вѣроятно, бралъ бы жалованье «калифа», а, между тѣмъ, доставлялъ бы о немъ всякія сплетни и мерзости въ оппозиціонный лагерь... Но это мимоходомъ.

Прочтите еще разъ вышеприведенные стихи: «пѣтъ, пѣвецъ, призванье», — какія странныя, архаическія выраженія!.. И не только выраженія, но и идеи. Понятна та иронія, внушаемая сознаніемъ своего превосходства, съ которою относится рецензентъ «Дѣла» къ графу Толстому. О какомъ это «призваніи» онъ говоритъ? О писательскомъ что ли? Такъ у насъ никакого на это призванія нынѣ не требуется. Обыкновенно бываетъ такъ: юноша, отъ шестнадцати до двадцати лѣтъ, является въ редакцію и объявляетъ, что ему ѣсть нечего, что стипендіи ему не хватаетъ на папиросы, что уроковъ невозможно достать и что онъ желаетъ заняться литературой. По счастью, не всѣ мѣста въ редакціи заняты. Юношѣ предлагаютъ на выборъ: заняться финансами, учебнымъ отдѣломъ или дипломатіей, а не то принять на себя литературное обозрѣніе. Погадавъ на пальцахъ, юноша принимаетъ одинъ изъ предложенныхъ ему отдѣловъ, и въ Россіи становится однимъ глубокимъ финансистомъ или ученымъ критикомъ больше; естественныя науки приобрѣтаютъ новаго защитника, а князь Бисмаркъ — яраго порицателя. А бываетъ и такъ: замѣтивъ, что «финансы» не слишкомъ способствуютъ благосостоянію занимающагося ими, юноша принимается за беллетристику, и на російскомъ Геликонѣ появляется новый Вальтеръ-Скоттъ или Шекспиръ... При такомъ способѣ пополненія литературныхъ силъ, разумѣется, нечего и говорить о «призваніи». Но въ томъ-то и дѣло, что графъ Толстой былъ вовсе не одинъ изъ тѣхъ юношей, для которыхъ все равно, учителемъ ли ариметики быть или врачомъ, адвокатомъ, чиновникомъ, литераторомъ, лишь бы имѣть вѣрный кусокъ хлѣба, при чемъ литературная профессія представляется самою удобною, самою доступною, потому что она не требуетъ-де никакой подготовки. Нѣтъ, «призваніе» было для нашего поэта не пустымъ сло-

вомъ, а къ нему онъ готовился, готовился еще съ малолѣтства, всѣмъ складомъ своей жизни, тою созерцательностью, которую развило въ немъ одиночество, тѣмъ чувствомъ красоты, которое воспиталось, благодаря пребыванію въ Италіи, а позднѣе — знаніемъ многихъ языковъ и изученіемъ многихъ иностранныхъ литературъ. Онъ потрудился и надъ техникой стихотворнаго ремесла, надъ стихосложеніемъ, научившись ему, какъ рассказываетъ поэтъ, изъ какого-то стараго сборника стиховъ. Словомъ, онъ серьезно и добросовѣстно подготовился къ своей литературной дѣятельности, къ своему званію поэта, — званію, которое въ былое время чиновные дѣльцы и бары считали, а теперь и прогрессисты считаютъ, не стоющимъ вниманія баловствомъ... Послѣдимъ же за графомъ Толстымъ въ избранной имъ сферѣ, въ сферѣ искусства.

Графъ Алексѣй Толстой испытывалъ себя въ драмѣ, въ романѣ, въ поэзіи лирической и эпической. Есть у него горячія строфы, помимо воли вырывавшіяся изъ сердца вопли горести, состраданія, восклицанія бодрой радости, есть гимны любви, подобные, напримѣръ, очаровательной бездѣлушкѣ: То было раннею весной. Но такихъ выраженій чистаго лиризма, лиризма безо всякой примѣси, не много; и замѣчательно, — чисто лирическія стихотворенія графа Толстого написаны, большею частью, простонароднымъ или стариннымъ языкомъ, напримѣръ: Не Божіимъ громомъ горе ударило, Нѣтъ, ужъ не вѣдать мнѣ, братцы, ни сна, ни покою и т. д. Говоря вообще, лирическое движеніе переходитъ у графа Толстого въ размышленіе или въ картину природы. Такъ, напримѣръ, поэтъ (или тотъ, отъ чьего имени онъ говоритъ), склонясь надъ изголовьемъ умирающей дорогой ему женщины, восклицаетъ:

О, не спѣши туда, гдѣ жизнь свѣтлѣй и чище!

Это — чистая лирика; это — вырвавшійся прямо изъ сердца вопль. И, далѣе, первыя три строфы начинающагося вышеприведенными словами стихотворенія имѣютъ характеръ лирическій; но въ послѣдней строфѣ мысль уже беретъ верхъ надъ чувствомъ:

Сліясь въ одну любовь, мы — цѣпи безконечной
Единое звено,
И выше восходить въ сіянье правды вѣчной
Намъ врозь не суждено.

Возьмемъ для другого примѣра слѣдующее одно изъ прекраснѣйшихъ лирическихъ стихотвореній нашего поэта :

Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо,
Въ полуденныхъ лучахъ слѣды недавней стужи
Дымятся. Теплый вѣтръ повѣялъ намъ въ лицо
И морщить на поляхъ синѣющія лужи.

Еще трещитъ каминъ, отливками огня
Минувшій тѣсный міръ зимы лапоминая,
Но жаворонокъ тамъ, надъ озимью звеня,
Сегодня возвѣстилъ, что жизнь пришла иная.

И въ воздухѣ звучать слова, не знаю, чьи,
Про счастье и любовь, и юность, и довѣрье,
И громко вторять имъ бѣгущіе ручьи,
Колебя тростника желтѣющія перья.

Пусть же, какъ они по глинѣ и песку
Растаявшихъ снѣговъ, журча, уносятъ воды,
Безслѣдно унесетъ души твоей тоску
Врачующая власть воскреснувшей природы.

Изъ четырехъ куплетовъ этого стихотворенія только одинъ заключаетъ въ себѣ обращеніе къ внутреннему міру поэта. Въ трехъ первыхъ—изображеніе внѣшней природы, но насквозь проникнутое настроеніемъ автора.

Графъ Алексѣй Толстой обладалъ въ высшей степени эпической способностью проникать въ духъ данной эпохи и характеризовать ее нѣсколькими поразительно яркими чертами. Пусть читатель припомнитъ Чужое горе и Потокъ-Богатырь и, конечно, согласится, что невозможно немногими штрихами написать болѣе яркой картины изъ русской исторіи. Въ такихъ случаяхъ нашъ поэтъ поднимается на большую высоту надъ событіями и людьми и пишетъ широкою кистью, крупными чертами. Но онъ умѣетъ стать и живымъ современникомъ данной эпохи, свидѣтелемъ описываемаго событія, съ сохраненіемъ при этомъ той степени сочувствія, безъ которой все мертвенно, и той степени объективности, которая необходима, чтобы господствовать надъ предметомъ. Припомните, какими яркими чертами графъ Толстой описываетъ пирующихъ старшинъ Іерусалима въ «Грѣшницѣ» и «свободно» разговаривающихъ

О ненавистномъ игѣ Рима,
О томъ, какъ властвуетъ Пилатъ,
О ихъ старшинъ собраньѣ тайномъ,
Торговлѣ, мирѣ и войнѣ,
О мужѣ томъ необычайномъ...

Мы такъ много съ дѣтскихъ лѣтъ читали и слышали объ Иерусалимѣ, объ іудеяхъ, современникахъ земной жизни Христа, о Пилатѣ, что все это представляется намъ безличнымъ, безформеннымъ, не вызываетъ никакого яснаго представленія. Но поэтъ прикоснулся къ этимъ слишкомъ знакомымъ, а потому ничего уже не говорящимъ намъ образамъ, и они мгновенно ожили передъ нами; намъ ясно представляются и отношенія евреевъ Палестины къ Риму, вѣчныя жалобы на побѣдителей, жалобы людей, никогда не умѣвшихъ образовывать государства, но никогда и нигдѣ не утратившихъ своей національной фizioноміи, этихъ торгашей, страстно преданныхъ наживѣ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поднимавшихся въ лицѣ нѣкоторыхъ своихъ представителей до такой высоты мысли и духа, какой никогда не достигали ни греки ни римляне. И посмотрите, какая картинность во всей этой маленькой поэмѣ, начиная съ описанія помѣщенія, въ которомъ происходитъ пиръ, до портрета самой Грѣшницы, до момента появленія Христа, когда

... пронеслося надъ народомъ
Какъ дуновенье тишины.

Кажется, схватилъ бы кисть и палитру и въ одно мгновеніе положилъ бы на полотно все, что такъ ясно и отчетливо рисуется въ воображеніи. Диво ли, что поэма графа Толстого, чудная по замыслу, превосходная по исполненію, яркая по колориту, богатая психологическими оттѣнками, вдохновила одного изъ даровитѣйшихъ нашихъ живописцевъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ на литературномъ вечерѣ въ небольшомъ городкѣ Царства Польскаго была прочтена «Грѣшница»; среди публики былъ одинъ польскій поэтъ, малоизвѣстный, но понимающій искусство: онъ былъ приведенъ ею въ такое восхищеніе, что немедленно перевелъ ее и послалъ въ одно изъ варшавскихъ періодическихъ изданій.

Но «Грѣшница» не есть, строго говоря, поэма; это—картина, превосходная картина и только. Никакого дѣйствія въ ней не развивается, или, пожалуй, и развивается, но переходъ «падшей дѣвы» отъ дерзкаго вызова, обращеннаго къ Іоанну, до того момента, когда

... пала ницъ она, рыдая,
Передъ святынею Христа,

совершается почти мгновенно. Повторяю, «Грѣшница» — это картина, это блестящее изображеніе даннаго момента; она

способна вдохновить живописца, но «Иоаннъ Дамаскинъ» способенъ вдохновить (да и вдохновилъ) музыканта, стать сюжетомъ симфоніи или ораторіи. Это, безъ сомнѣнія, капитальнѣйшее изъ произведеній графа Толстого; это настоящая поэма, въ которой талантъ ея автора обнаружился во всемъ своемъ величіи. Далѣе будетъ сказано подробнѣе объ этой поэмѣ, здѣсь же мы обратимъ вниманіе читателя на одну особенность нашего поэта, на одну выдающуюся черту его таланта — на его версификацію. Онъ долженъ быть признанъ великимъ мастеромъ версификаціи. Правда, стихъ его не всегда отличается совершенствомъ отдѣлки, какъ стихъ Пушкина. Вѣроятно, по лѣности, которая «родилась прежде насъ», нашъ поэтъ не исправлялъ небрежность своего первоначальнаго брульона *). Но очень немногіе могутъ сравниться съ нимъ въ прелести версификаціи, взятой en gros, въ звучности, полнотѣ, колоритности стиха, въ его «сочности», если позволено употребить это слишкомъ затасканное слово. Онъ владѣетъ всѣми размѣрами съ одинаковымъ мастерствомъ; перелистуйте два тома его стихотвореній, и вы встрѣтите всевозможные образцы версификаціи, отъ четырехстопнаго ямба до ритмовъ самыхъ сложныхъ. Въ одномъ «Иоаннѣ Дамаскинѣ» ихъ не менѣе восьми. Да не подумаютъ при этомъ, что графъ Толстой нарочно щеголяетъ трудностями стихосложенія. Какъ истинный художникъ, онъ понимаетъ, что каждый размѣръ соответствуетъ извѣстному психологическому состоянію, что извѣстный поэтический мотивъ укладывается лучше въ такой-то ритмъ, чѣмъ въ остальные. Едва ли другимъ размѣромъ, кромѣ гекзаметра, можно было бы передать величавую простоту легенды о бееѣдѣ Іоанна съ монахомъ, у коего умеръ братъ и для котораго написаны имъ безсмертные похоронные тропари; едва ли какой-либо другой размѣръ, кромѣ смѣшаннаго анапеста, съ тремя краткими слогами посрединѣ и двумя на концѣ, болѣе соответствуетъ строфѣ, начинающейся словами:

Тотъ, кто съ вѣчною любовію...

И какъ приходится торжественная мелодія дактиля (смѣшаннаго) къ мажорному содержанію финала поэмы:

Воспой же, страдалецъ, воскресную пѣснь!

*) Брульонъ — черновое письмо.

Самая послѣдняя строфа написана обыкновеннымъ ямбомъ; но этотъ истасканный размѣръ какъ-то свѣжо и молододозвучитъ послѣ величаваго амфибрахія, а постройка стиха, заимствованная изъ нашей народной литературы («Несъ дикихъ падаетъ высотъ»), сообщаетъ этой строфѣ необыкновенную оригинальность...

Нашъ поэтъ не только владѣетъ съ одинаковою свободою всѣми размѣрами,—онъ владѣетъ съ рѣдкимъ искусствомъ усваивать рѣчь изображаемой имъ эпохи, ея складъ, ея тонъ,—а складъ и тонъ рѣчи характеризуютъ людей и эпохи едва ли не болѣе, чѣмъ бытовныя подробности, добытыя археологіей. Не угодно ли сравнить складъ и тонъ рѣчи въ «Пѣснѣ о походѣ Владимира», въ «Алешѣ Поповичѣ», въ «Садкѣ» съ тономъ и складомъ въ «Боривоѣ», «Канутѣ», «Ругевитѣ», «Эдвардѣ», «Трехъ побоищахъ», и вы тотчасъ же почувствуете, что тамъ и тутъ говорится о различныхъ народахъ, о людяхъ съ неодинаковымъ бытомъ, мировоззрѣніемъ и темпераментомъ. Стихотворенія графа Толстого изъ поморскихъ легендъ, можетъ-быть, не уступаютъ его кievскимъ былинамъ по своеобразности тона и складу рѣчи. И то же самое слѣдуетъ сказать о древнеитальянской легендѣ «Драконъ», одномъ изъ капитальныхъ произведеній графа Толстого.

Мы только-что назвали кievскія быliny графа Толстого и спѣшимъ перейти къ нимъ. Наши старинныя пѣсни, сказки и быliny общеизвѣстны; еще на школьной скамьѣ насъ знакомятъ съ ними. Хорошо ли это? Едва ли. Прежде чѣмъ приступить къ изученію нашей древней литературы, мы болѣе или менѣе знакомимся съ литературой современною, заучиваемъ стихи Крылова, Жуковскаго, Пушкина, Лермонтова, Майкова. Эти благозвучные, музыкальные стихи избаловываютъ нашъ слухъ съ малолѣтства, а еще болѣе требовательными относительно формы дѣлаютъ насъ стихи греческихъ и латинскихъ поэтовъ,—и вдругъ эта рубленая проза нашихъ древнихъ стихотвореній, въ которыхъ, сверхъ того, на каждомъ шагу насъ непріятно поражаютъ черезчуръ смѣлыя метафоры, чудовищныя преувеличенія, черты грубости нравовъ... Эти несочувственные впечатлѣнія могутъ изгладиться и, дѣйствительно, изглаживаются въ послѣдствіи подъ вліяніемъ размышленія и болѣе зрѣлыхъ воззрѣній. Мы поворачиваемъ вопросъ въ другую сторону и го-

воримъ: вотъ каковы мы были и вотъ до чего, однако, дошли. Но къ такимъ выводамъ приходятъ сравнительно немногіе; едва ли не большинство такъ и остается подъ впечатлѣніемъ смущенія за свое историческое происхожденіе, за основы своей народности. Главное же — старинная наша поэзія не нравится массѣ читающей публики; она не нравится, по крайней мѣрѣ, *au naturel*; «Сборники» Кирѣевскаго, Рыбникова и пр. не расходятся въ публикѣ и остаются на полкахъ специалистовъ. А жаль. Въ нашей народной поэзіи заключаются богатые родники поэзіи; тамъ — драгоценныя бытовныя черты, тамъ то, что, главнымъ образомъ, сообщаетъ самой исторіи культурный характеръ! Въ Германіи Гёте, въ Англіи Вальтеръ-Скоттъ и Макферсонъ избавили отъ подобной участи народныя литературы. Изъ русскихъ поэтовъ болѣе всѣхъ поработалъ въ этомъ отношеніи графъ А. К. Толстой. Онъ изучилъ нашу древнюю народную литературу; онъ въ нее вчитался, онъ ею проникся и, не переводя на современный языкъ тѣхъ или другихъ стихотвореній, не задаваясь неисполнимою мыслью, занимавшею людей тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, составить изъ старинныхъ нашихъ пѣсенъ, сказокъ и былинъ русскую «Иліаду», онъ изложилъ весь усвоенный и переработанный имъ матеріалъ въ цѣломъ рядѣ небольшихъ эпическихъ стихотвореній, проникнутыхъ духомъ нашей древней богатырской, домонгольской Руси, но очищенныхъ отъ грубости и неуклюжести, присущихъ творчеству эпохъ почти доисторическихъ. Это — храмъ Василя Блаженного, только сложенный нынѣшними каменщиками и расписанный нынѣшними малярами; это — наша простонародная музыка, это «Камаринская», но аранжированная Глинкой; это — рассказанная Пушкинымъ «Сказка о царѣ Салтанѣ». Можно пожалѣть только, что графъ Толстой не сдѣлалъ того же съ былинами новгородскими. Онъ занялся однимъ Садкой, и то эпизодически. Но зато что за прелесть этотъ эпизодъ, это пребываніе Садки въ гостяхъ у подводнаго царя!

Строгіе пуристы не преминутъ замѣтить, что киевскія былины подъ перомъ графа Толстого кое въ чемъ отступаютъ отъ оригиналовъ. Супруга Владимира, которую нашъ поэтъ всего одинъ разъ, впрочемъ, показываетъ «въ красѣ сѣдыхъ кудрей», не похожа на «Княгиню Апраксіевну» былинъ; Алеша Поповичъ графа Толстого несравненно симпатичнѣе своего

подлинника; очаровательный сюжетъ «Сватовства» принадлежать самому поэту. Но, по нашему мнѣнію, это не подаетъ повода не только къ упрекамъ, но и къ сожалѣнію. Поступитесь частичкой реализма хоть относительно этихъ отдаленныхъ полубаснословныхъ эпохъ нашей исторіи! Посмотрите, у всѣхъ народовъ такія эпохи окружены ореоломъ поэзіи. Граціозные, симпатичные вымыслы, иногда очевидные, сохраняются, однако, и никому не рѣжутъ глазъ. Неужели настоящій Гамлетъ былъ такой тонкій психологъ и резонеръ, какъ Гамлетъ Шекспира, или настоящій Фригъ—такое сочетаніе всевозможныхъ доблестей, какимъ онъ является въ поэмѣ Тегнера! ⁴⁾ Неужели герои нѣмецкихъ легендъ были, въ самомъ дѣлѣ, такими возвышенными, чувствительными, великодушными и неустрашимыми джентльменами? Прочтите о древнихъ германцахъ не Тацита, который расписываетъ ихъ доблести въ пику своимъ современникамъ римлянамъ, — нѣтъ, прочтите свидѣтельства другихъ очевидцевъ или, хоть, *Etudes Historiques* Шатобриана, въ которыхъ собраны всѣ извѣстныя показанія очевидцевъ о варварахъ, праотцахъ нынѣшнихъ западно-европейцевъ, и вы убѣдитесь, что они ничѣмъ не лучше нашихъ Апраксиевнъ, Алешей Поповичей, даже Змѣевъ Тугариныхъ. «Пить пиво, воду, молоко, вино изъ черепа непріятеля есть общій всѣмъ варварамъ обычай», говоритъ одинъ современникъ, а другой добавляетъ, что въ Галліи, именно въ Бретани, жили людоеды не далѣе какъ въ IV или V вѣкѣ; чѣмъ же это лучше нашихъ древлянъ, которые «живяху звѣриньскимъ образомъ и ядяху вся нечисто»! Сидоній Аполлинарій, умершій въ концѣ V вѣка, заключаетъ описаніе разнообразной толпы «длинноволосыхъ», среди коихъ ему пришлось пробыть нѣсколько времени, слѣдующими словами: «Счастливы глаза ваши, счастливы ваши уши, что они ничего не видятъ и не слышатъ». А вотъ и нѣсколько чертъ, характеризующихъ прабабушекъ «мечтательныхъ нѣмокъ» Шиллера: «Жены ихъ (кимровъ и тевтоновъ) вооружались мечами и копьями; съ воемъ, скрежеща

⁴⁾ Тегнеръ — выдающійся шведскій поэтъ и глава т.н. готической, національной романтической школы. Изъ его поэмъ особенно извѣстна «Сага о Фригъофѣ».

зубами отъ бѣшенства и отчаянія (вслѣдствіе понесеннаго пораженія), онѣ били и кимровъ и римлянъ... Окровавленные, съ распущенными волосами, всѣ въ черномъ, врывались въ свои кибитки, чтобъ избить своихъ мужей, братьевъ, отцовъ, сыновей, чтобъ задушить младенцевъ и бросить ихъ подъ ноги коней; а въ заключеніе онѣ сами закалывались». Одна повѣсилась на дышлѣ телѣги да и двухъ дѣтей своихъ повѣсила заодно... И, не взирая на это, посмотрите, какихъ поэтическихъ дѣвъ и какихъ идеальныхъ джентльменовъ вводитъ Вагнеръ въ свои оперы изъ туманной дали средневѣковыхъ легендъ. Или, вотъ, слѣдующій примѣръ. Кто не знаетъ у насъ идеальнаго рыцаря Роланда, этого племянника (мнимаго) Карла Великаго, погибшаго въ битвѣ съ маврами въ Ронсевальской долинѣ. Мы, русскіе, не обязаны знать въ подробности біографію Роланда, и потому мы въ правѣ (повидимому) сдѣлать такое умозаключеніе и успокоиться на немъ: если-де имя дошло до нашего времени сквозь толщу десяти вѣковъ, то, безъ сомнѣнія, это былъ великій паладинъ, непобѣдимый боецъ, «рыцарь безъ страха и упрека». Мало того, и это — подробность, можетъ-быть, не всѣмъ извѣстная: передъ самымъ началомъ Гастингскаго сраженія (10 августа) одинъ изъ рыцарей Вильгельма-Завоевателя запѣлъ пѣснь о Роландѣ, съ цѣлью возбудить геройскій духъ въ своихъ товарищахъ, и все норманнское воинство подхватывало послѣ каждой строфы: «Боже, помоги намъ». Это не легенда, не сказка; извѣстно имя рыцаря, запѣвавшего пѣснь о Роландѣ. Итакъ, черезъ двѣсти лѣтъ послѣ своей смерти, Роландъ вливалъ геройство въ сердца французскихъ воиновъ. Пѣснь о немъ и гораздо позднѣе, до XIV вѣка включительно, была воинственнымъ гимномъ французовъ, за которымъ слѣдовалъ страшный нѣкогда кличъ: «Montjoie St.-Denis...» Очевидно, Роландъ былъ личностью, превосходящей обыкновенный уровень. И что же, однако! Все это величіе сообщено было Роланду фантазіей труверовъ, все влияние его на французскихъ воиновъ въ продолженіе пяти вѣковъ, равно какъ и дошедшая до насъ его слава,—все это дѣло поэзіи. Такъ говоритъ французскій ученый, г. Вите, специально изслѣдовавшій исторію «Пѣсни о Роландѣ» и ея героѣ. Единственное, что имѣемъ мы вѣрнаго, несомнѣннаго, фактическаго объ этомъ героѣ древней Франціи, это слѣдующія слова Эгингарда о Ронсевальскомъ сраженіи: «Въ

этомъ сраженіи пали королевскій стольникъ (?) Эггигардъ, пфальцграфъ Ансельмъ и правитель Бретани Роландъ»⁵⁾. Вотъ какъ самоуправствуетъ поэзія въ отдаленныхъ, не освѣщенныхъ исторіей эпохахъ! Вотъ какъ возвела она въ герои, въ образецъ доблестей человѣка совершенно, повидимому, зауряднаго, ничѣмъ, повидимому, не отдѣляющагося отъ какого-то пфальцграфа Ансельма, никому неизвѣстнаго, и отъ Эггигарда, коего и самое званіе представляется недо-разумѣніемъ!

А между тѣмъ, можно ли упрекать неизвѣстныхъ поэтовъ IX и X вѣка за то, что они такъ насмѣялись надъ правдой и такъ идеализировали Роланда? Вѣдь, они сдѣлали изъ этого Роланда идеаль, подражать которому старался всякій порядочный человѣкъ того времени! Вѣдь, это имя электризовало людей въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ! Имъ гордилась Франція, а мыслители другихъ странъ, указывая на Роланда, говорили: «Вотъ какихъ людей производила Франція въ IX вѣкѣ, въ то время какъ «древляне живяху звѣриньскимъ образомъ» и когда сами князья наши ходили босикомъ, въ рубашкѣ сверхъ портовъ... А изъ этого естественно было вывести заключеніе, что славянская раса есть раса низшаго сорта, не имѣющая задатковъ для общечеловѣческой жизни, для міровой роли, и лишь постольку способная къ культурѣ, поскольку она въ состояніи усвоить чужія понятія»⁶⁾. Замѣтимъ при этомъ и еще одно обстоятельство. Эти идеализированные Роланды и Жанны д'Аркъ, эти легендарные Вильгельмы Телли держались въ Западной Европѣ до послѣдняго времени, благодаря издревле сложившемуся понятію, что поэзія и сама исторія должны паче всего возбуждать въ людяхъ возвышенныя чувства и національное самоуваженіе. У насъ это понятіе не успѣло утвердиться; едва Карамзинъ успѣлъ напечатать свою «Исторію», какъ уже появились обвиненія въ томъ, что онъ идеализируетъ нашу старину, а затѣмъ и начались попытки изобразить ее въ болѣе реальномъ видѣ, упразднить Ивановъ Сусаниныхъ, «развѣнчать» князей, собирателей земли. И вотъ, оборванные и упрощенные образы нашихъ прадѣ-

⁵⁾ Роландъ, перев. Б. Алмазова, предисловіе.

⁶⁾ Эта мысль положительно высказана Бѣлинскимъ, см. его сочиненія (Москва, 1866. Т. V).

довъ и пращуровъ вамъ приходится сопоставлять съ идеализированными образами людей Запада, а слѣдовательно, конфузиться за свое прошедшее, скептически смотрѣть на свое будущее и отрешиваться отъ своей національной личности... Можетъ-быть, это не единственная причина той нравственной приниженности нашей, о которой, слава Богу, сильно заговорили въ послѣднее время, но она, безъ сомнѣнія, много содѣйствовала ей; а сколько зла причинила намъ эта нравственная приниженность, о томъ страшно и подумать!..

Вотъ тѣ соображенія, въ силу которыхъ слѣдуетъ отклонить дѣлаемый графу Толстому упрекъ въ идеализаціи нашей старины. Напротивъ, мы горячо благодаримъ его за это. Поэтъ не историкъ; и ужъ если мы не находимъ въ современномъ быту нашемъ ничего такого, чему стоило бы поклониться, то постараемся, по крайней мѣрѣ, не заковать тѣхъ отдаленныхъ эпохъ, которыя освѣтитъ хорошенько исторія не въ состояніи. Французы, разрушившіе памятники Наполеону I, не коснулись еще статуи Жанны д'Аркъ; швейцарцы и не думаютъ низводить Вильгельма Телля съ его легендарнаго пьедестала, а нѣмцы и до сего времени продолжаютъ ставить памятники своимъ полумифическимъ героямъ и выводить ихъ на сцену.

Теперь вамъ предстоитъ, слѣдуя за вашимъ поэтомъ, перейти въ другую сферу, въ высшій міръ духовный, въ область религіи. Искусство и наука—преддверія этого высшего изъ міровъ, доступнаго человѣческому созерцанію. Разумѣется, мы говоримъ не о той наукѣ, которая изговляется сотрудниками иныхъ журналовъ по столько-то съ листа, и не о томъ искусствѣ, представителемъ котораго былъ чело́вѣкъ, поставлявшій ежедневно по масляному портрету покойнаго государя... Замѣтимъ, однако, что наука нерѣдко возбуждаетъ до крайнихъ предѣловъ сомнѣніе ума. Не всѣ умы достаточно трезвы, чтобъ остановиться на чертѣ, указываемой знаменитымъ Пастэромъ: «Что находится за этимъ звѣзднымъ небомъ?—Новыя звѣздныя небеса.—Хорошо, а за ними?..» Искусство не рискуетъ запутаться въ этихъ неразрѣшимыхъ вопросахъ; оно не можетъ задаться мыслію—занять мѣсто Бога. Напротивъ того, изъ представлений, «какія чело́вѣчество» составляло о Божествѣ на разныхъ ступеняхъ своего развитія, оно почер-

пало и почерпаетъ донинѣ лучшія свои вдохновенія. Лучшія свои вдохновенія почерпнулъ и графъ Толстой изъ того же источника: самыя цѣнныя его литературныя перлы (по крайней мѣрѣ, въ двухъ томахъ его «стихотвореній») суть «Грѣшница» и «Іоаннъ Дамаскинъ». Да и въ его «Донъ-Жуанѣ» самое замѣчательное, самое оригинальное, это—тотъ отблескъ религіозности, который скользнуть по этому произведенію, такъ рѣзко отличая концепцію нашего поэта отъ байроновой, моцартовой да и отъ самой легенды о Донъ-Жуанѣ. Впрочемъ, не только три названныя пьесы, всѣ стихотворенія графа Толстого, такъ-сказать, стоятъ на фундаментѣ религіозномъ; въ нихъ нѣтъ ни мысли ни слова, способныхъ смутить христіанина. У него поэзія нераздѣльна съ религіей; религія его проникнута поэзіей.

Горними тихо летѣла душа небесами,
Грустныя долу она опускала рѣсницы;
Слезы въ пространство отъ нихъ упадая звѣздами,
Свѣтлой и длинной вилися за ней вереницей.
Встрѣчныя тихо ее вопрошали свѣтила:
«Что ты грустна? и о чемъ эти слезы во взорѣ?»
Имъ отвѣчала она: «Я земли не забыла,
Много оставила тамъ я страданья и горя.
Здѣсь я лишь лицамъ блаженства и радости внемлю;
Праведныхъ души не знаютъ ни скорби ни злобы.
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,—
Было бѣ о комъ пожалѣть и утѣшить кого бы!»

Какая картина, какая поэзія, а главное,—какое высокохристіанское чувство изъ чертоговъ вѣчной радости и свѣтлаго блаженства стремиться въ обитель слезъ и скорби, ибо тамъ нуждаются въ утѣшеніи! Просимъ замѣтить эту черту, характеризующую религіозность графа Толстого. Любовь, любовь всеобъемлющая, любовь и къ человѣку, и ко всему живущему, и къ мертвой природѣ, занимаетъ въ ней первенствующее мѣсто. Не столько могущество Творца міровъ останавливаетъ на себѣ мысли графа Толстого, но та красота, гармонія и любовь, которыя изъ источника ихъ, Творца вселенной, изливаются на твореніе:

Когда Глагола творческая сила
Толпы міровъ возвала изъ ночи,
Любовь ихъ всѣхъ, какъ солнце, озарила...

— Зато и мы,—говорить поэтъ,—въ каждой частицѣ мірозданія

Мы ловимъ отблескъ вѣчной красоты.
 Намъ вѣстью лѣсъ о ней шумить отрадной,
 О ней потокъ гремитъ струею холодной,
 И говорятъ, качаяся, цвѣты...

А наступить минута, и вмѣсто того, чтобы жадно ловить эти разбѣянные въ мірозданіи частицы красоты, гармоніи и любви,—«въ одну любовь мы всѣ сольемся»,

Въ одну любовь, широкую какъ море,
 Что не вмѣстятъ земные берега.

И много другихъ еще мѣстъ изъ сочиненій графа Толстого можно было бы привести на эту тему. Вездѣ Божество изображается имъ какъ вмѣстилище и источникъ правды, добра, красоты, любви. Помните ли, какими чертами графъ Толстой характеризуетъ въ своей «Грѣшницѣ» обликъ Христа?

Такихъ очей благихъ и ясныхъ
 Никто не видѣлъ никогда.

Но этого мало: посмотрите, какую и какого рода силу имѣлъ взоръ этихъ очей. Вы думаете, онъ испепелилъ безумную гетеру, дерзнувшую вызывать его? Нѣтъ:

... былъ тотъ взоръ, какъ лучъ денницы—
 И все открылося ему,
 И въ сердцѣ сумрачномъ блудницы
 Онъ разогналъ ночную тьму.
 И все, что было тамъ тайно,
 Въ грѣхѣ что было свершено—
 Въ ея глазахъ неумолимо
 До глубины озарено.
 Внезапно стала ей понятна
 Неправда жизни святотатной,
 Вся ложь ея порочныхъ дѣлъ—
 И ужасъ ею овладѣлъ...

.....
 И въ первый разъ, гнушаясь зла,
 Она въ томъ взорѣ благодатномъ
 И кару днямъ своимъ развратнымъ
 И милосердіе прочла.

Въ сочиненіяхъ графа Толстого религіозное чувство перерождается со всѣми проявленіями жизни, оно нераздѣльно съ жизнью, оно является однимъ изъ главныхъ факторовъ жизни; оно передѣлываетъ человѣческія натуры, оно перерождаетъ людей. Въ «Грѣшницѣ», впрочемъ, перерожденіе совершается оверхъестественнымъ образомъ и, слѣдовательно,

не поддается анализу; но мы можем прослѣдить подобное перерожденіе въ другихъ сочиненіяхъ графа Толстого. Возьмемъ, напримѣръ, «Пѣснь о походѣ Владимира на Корсунь». Владимиръ, выслушавъ «цареградскаго мниха», рѣшается креститься и именно въ греческомъ городѣ Корсунѣ. Но Владимиръ еще язычникъ по своимъ понятіямъ. Монахъ рекомендуетъ ему смиреніе:

«Смирюсь,—говоритъ ему князь,—я готовъ;
Но только смирюсь безъ урона».

Онъ снаряжаетъ флотъ изъ 1,000 струговъ и, являсь подъ стѣнами греческаго города, посылаетъ сказать:

«... Я здѣсь!
Сдавайтесь, прошу васъ смиренно,
Не то,—не взыщите,—собью вашу спесь,
И городъ по камнямъ размыкаю весь:
Креститься хочу непремѣнно».

Легко вообразить себѣ, какъ принято было корсунцами «благочестивое» желаніе русскаго князя! Они говорятъ:

Настала какъ есть христіанамъ бѣда:
Пріѣхалъ Владимиръ креститься!

Эту «бѣду» мѣстный сенатъ рѣшается отклонить уступкой на всѣ требованія страшнаго охотника креститься. «Ну то-то», говоритъ Владимиръ и вступаетъ въ Корсунь. Пріѣзжаетъ по его «смирennomу» требованію греческая царевна, и Владимиръ соглашается принять крещеніе:

Крестите жъ, отцы іереи, меня,
Да чуръ, по уставу крестите!

Но вотъ проходитъ нѣсколько времени—и въ душѣ и въ понятіяхъ Владимира совершается перемѣна. Прослѣдить за нею для насъ въ высшей степени интересно. Владимиръ уже христіанинъ; надъ нимъ совершается таинство благодати, и помощникомъ его является прирожденное «кіевскому князю ласковому» чувство красоты. Весна!

Ужъ въ Кіевѣ, чаю, поютъ соловьи,
И въ рощахъ запахло весною,

говоритъ Владимиръ и велитъ спускать струги для обратнаго похода. Онъ плыветъ на своихъ стругахъ вверхъ по Днѣпру со своею княгиней, со своею дружиной, съ греческимъ духовенствомъ; пѣсни гребцовъ смѣняются иногда

церковнымъ пѣніемъ; чувство красоты смѣняется чувствомъ болѣе строгимъ; уже не о кievскихъ соловьяхъ думаетъ Владимиръ, а о своей Руси, о новомъ предстоящемъ ему въ Кіевѣ подвигѣ. И вотъ, вдали показывается «Кіевъ-градъ».

Владимиръ съ княжого сѣдалища всталъ,
Прервалось весельщиковъ пѣнье,
И мигъ тишины и молчанья насталъ.

Какъ сонъ, вся минувшая жизнь пронеслась,
Почуялась правда Господня,
И брызнули слезы впервые изъ глазъ,
И мнится Владимиру: въ первый онъ разъ
Свой городъ увидѣлъ сегодня.

И палъ на дружину Владимира взоръ:
— Вамъ, други, доселѣ со мною
Стяжали побѣды лишь мечъ да топоръ,
Но время настало, и мы съ этихъ поръ
Сильны еще силой иною.

Дни правды дороже воинственныхъ дней!..
Гребите же, други, гребите сильнѣй,
На весла дружнѣй налегайте!

— И, — говоритъ поэтъ въ заключеніе, — князь на берегъ вышелъ «душой возрожденъ» и внесъ милосердіе въ старый законъ нашъ. — Чѣмъ совершенно было это возрожденіе — вы угадываете. Въ жизнь Владимира-Красное-Солнышко, но Владимира-язычника, вошло новое начало; въ него проникъ строй совершенно новыхъ понятій; онъ уразумѣлъ «смиреніе» не такъ, какъ разумѣлъ предъ отъѣздомъ въ Корсунь. Онъ распускаетъ своихъ «чехинъ» и «грекинъ»; онъ не рѣшается отнять жизнь у завѣдомыхъ злодѣевъ; это все та же симпатичная натура, тотъ же «князь ласковый», но уже просвѣтленный, получившій способность возноситься духомъ къ источнику любви и правды.

Еще съ большею рельефностью изображена дѣйственная сила религіи въ «Іоаннѣ Дамаскинѣ». Но здѣсь мы должны сдѣлать небольшое отступленіе.

Намъ доводилось слышать отъ людей уваженія достойныхъ неодобреніе тому, что графъ Толстой избралъ такого великаго святого, какъ Дамаскинъ, предметомъ поэмы, подобно какъ и Донъ-Жуана, Алешу Поповича и т. п. Іоаннъ Дамаскинъ, Владимиръ Равноапостольный, вообще, всѣ при-

чтенные къ лику святыхъ не должны-де быть выводимы предъ публикой въ качествѣ героевъ поэмъ, драмъ и романовъ. Такое возрѣніе серьезно, но противъ него можно выставить много возрѣній. Оно еще недавно господствовало у насъ; коснуться чего-либо, имѣющаго хотя бы и не близкое отношеніе къ религіи, считалось и донинѣ считается многими для свѣтскаго человѣка непозволительнымъ, какъ бы кощунственнымъ. Признавалось, что лучше вовсе молчать о предметахъ религіозныхъ, нежели говорить о нихъ не безусловно ортодоксальнымъ образомъ. Къ чему же, однако, это привело? Къ тому, что свѣтская литература совершенно отдѣлилась отъ духовной; что до недавняго времени дѣятели и читатели послѣдней вовсе не вѣдали, въ сферѣ какихъ понятій врацается свѣтское общество; что, съ другой стороны, свѣтскимъ людямъ книги специально духовнаго содержанія не попадались на глаза; что они, съ теченіемъ времени, отвыкли отъ чтенія всего, имѣющаго какое-нибудь отношеніе къ религіи. Съ этими черезчуръ охранительными вліяніями заодно дѣйствовали вліянія противоположныя. Многіе стали съ особеннымъ удовольствіемъ умалчивать о всемъ, касающемся религіи. Наши учебники исторіи литературы стали лишь вскользь упоминать, начиная съ XVIII вѣка, о сочиненіяхъ духовнаго содержанія; Костровымъ, Ефимовымъ, Херасковымъ отводилось не менѣе мѣста, чѣмъ митрополиту Платону. Въ одномъ весьма распространенномъ и, впрочемъ, почтенномъ руководствѣ говорится о Карамзинѣ на 129 страницахъ, а о Филаретѣ московскомъ лишь на восьми...

Какая могла бы быть тому причина, это до насъ въ настоящую минуту не касается. Во всякомъ случаѣ, причинъ было много, а совокупность ихъ можно назвать духомъ времени. Но какъ бы то ни было, въ концѣ-концовъ, наше общество раздѣлилось на два вполне чуждые другъ другу стана: съ одной стороны, люди, занимающіеся дѣлами религіи, до которыхъ и до которой остальнымъ нѣтъ дѣла, а съ другой—люди, занимающіеся всѣмъ, кромѣ религіи, которой поэтому они и не должны, не смѣютъ касаться... Но, возражаютъ намъ, нельзя же позволить толковать вкривь и вкось о дѣлахъ, касающихся религіи! Нельзя позволить кощунствовать! Отвѣчаемъ: добросовѣстные ошибки, неточности могутъ быть исправлены, и, во всякомъ случаѣ, онѣ не влекутъ за

собою и сотою части того зла, какое происходитъ отъ умерщвления въ обществѣ религіознаго нерва. А у насъ много сдѣлано для того, чтобъ его парализовать. Поэтому мы весьма далеки отъ осужденія графа А. К. Толстого за то, что онъ говоритъ о нашемъ Владимирѣ иногда съ улыбкой, изображаетъ его въ разнообразныхъ проявленіяхъ его домашняго быта,—то расчесывающимъ бороду для встрѣчи своей невѣсты, греческой царевны, то «думающимъ» съ кievскими стариками, то съ привѣтливымъ поклономъ отпускающимъ веселившихся у него гостей, то лукаво посмѣивающимся надъ молодыми витязями, женихами княженъ Владимировенъ, вздумавшими мистифицировать стараго князя. Мы весьма далеки отъ осужденія за это нашего поэта потому, во-первыхъ, что онъ, собравъ разсѣянные въ лѣтописяхъ и былинахъ черты Владимира, создалъ изъ нихъ самую симпатичную въ нашей исторіи личность. Чтѣ было для насъ Владимиръ, прежде чѣмъ возсоздалъ его графъ Толстой? Существо безъ опредѣленнаго образа, подобно десяткамъ его преемниковъ, современниковъ и предшественниковъ. Мы знали, конечно, что онъ крестилъ кievлянъ, такъ же какъ знали, что другіе князья побѣждали половцевъ или печенѣговъ, а другіе издавали законы, строили монастыри и города; мы знали о немъ и еще, пожалуй, кое-что, но все же Владимиръ не особенно занималъ наше воображеніе, и личность его не представлялась намъ въ очень опредѣленныхъ чертахъ. А теперь нашъ русскій апостолъ сталъ для многихъ десятковъ тысячъ читателей графа Толстого личностью живою, въ высшей степени сочувственною, близкою; имъ естественно пожелать познакомиться и съ церковными преданіями объ этомъ привѣтливомъ, ласковомъ князѣ, и вотъ, мало-по-малу, рушится стѣна, возведенная прискорбными недоразумѣніями, между людьми свѣтскими и духовенствомъ, между интересами идеальными и практическими...

Съ этой же точки зрѣнія мы смотримъ и на поэму графа Толстого «Іоаннъ Дамаскинъ». Можно сказать съ увѣренностью, что въ средѣ нашей читающей публики девяносто девять изъ ста не имѣли вѣрнаго понятія объ этомъ своего рода «Златоустѣ». Намъ, конечно, не чуждо его имя; мы видали и изображеніе Дамаскина въ картинныхъ галлерейхъ; что-то осталось о немъ у насъ и изъ учебника «Исторіи Церкви»... Да, точно: онъ жилъ въ Дамаскѣ, его имя какъ-то

связано съ исторіей иконоборства... И вотъ, графъ Толстой ставитъ его передъ нами живьемъ, со всѣми атрибутами реальности, но и въ ореолѣ святого подвижничества. Какая высокая, почти божественная личность! Но дѣйствительно ли она такова, какою изобразилъ ее поэтъ? Увы, на этотъ вопросъ свѣтская наука не даетъ отвѣта; мы принуждены просить знакомаго священника одолжить вамъ «Четьи-Минеи»... «Четьи-Минеи»! Достопочтенный читатель, вы, конечно, не читали этой книги, такъ позвольте же засвидѣтельствовать, что, по справкѣ съ нею, личность Іоанна Дамаскина оказывается именно такою, какою изобразилъ ее графъ Толстой. Это былъ человѣкъ, необыкновенно щедро надѣленный природою: въ немъ совмѣщались художникъ съ его идеальными стремленіями и человѣкъ практическій, иначе онъ не могъ быть сотрудникомъ, правою рукой дамасскаго калифа. Но стремленія духовныя берутъ мало-по-малу въ немъ верхъ надъ земными попеченіями. Онъ принимаетъ участіе въ полемикѣ противъ иконоборцевъ и, наконецъ, рѣшается посвятить исключительно Богу всѣ свои помысленія, отказывается отъ власти и милостей своего государя, раздаетъ нищимъ все свое огромное состояніе и удаляется въ монастырь св. Саввы близъ Іерусалима. Тамъ, дѣйствительно, на него налагаютъ подвигъ молчаливосты съ цѣлью смирить предполагаемое въ немъ самомнѣніе; онъ нарушаетъ этотъ уставъ такъ точно, какъ рассказываетъ графъ Толстой, и пишетъ тѣ превосходные похоронные тропари, полные поэзіи и глубокаго религіознаго чувства, которые нашъ поэтъ переложилъ съ неподражаемымъ совершенствомъ.

Таковъ сюжетъ знаменитой поэмы графа Толстого. Нѣтъ сомнѣнія, что она задумана совершенно самостоятельно, что авторъ ея, какъ истинный художникъ, не думалъ доказать ея что-нибудь или научить чему-нибудь. Но мы только-что высказали наши мысли по поводу «Пѣсни» о крещеніи св. Владимира, а нѣкоторыя сопоставленія этой «Пѣсни» съ «Іоанномъ» напрашиваются неудержимо. И Владимиръ и Іоаннъ по натурѣ своей, по своимъ вкусамъ—художники. Графъ Толстой говоритъ, что Владимиръ стосковался въ Корсунѣ по кіевскимъ соловьямъ. Въ другомъ мѣстѣ поэтъ влагаетъ ему въ уста слѣдующія слова:

..... Что жъ нѣтъ пѣвцовъ?
Безъ нихъ мнѣ и пиръ не отрада!

Да, такимъ изображаютъ Владимира и народное творчество и исторія. Что касается Дамаскина, то графъ Толстой съ полнымъ правомъ называетъ его «пѣвцомъ» и не безъ основанія, можетъ-быть, намекаетъ, что, отстаивая иконы, Іоаннъ защищалъ и искусство. Такимъ образомъ, графъ Толстой подтверждаетъ ту несомнѣнно вѣрную мысль, что искусство близко къ религіи и живетъ ею. Далѣе. Мы видѣли въ «Пѣснѣ» о крещеніи Владимира быстрыми, но вѣрными штрихами набросанный процессъ внутренняго перерожденія язычника въ христианина; въ «Іоаннѣ Дамаскинѣ» изображается дальнѣйшій процессъ нравственнаго совершенствованія. Здѣсь изображеніе полнѣйшаго торжества духа надъ матеріей, надъ благами земными. Здѣсь же и широкій, безбрежный разливъ любви ко всему сущему:

Благословляю васъ, лѣса,
Долины, нивы, горы, воды,—
Благословляю я свободу
И голубыя небеса,—

восклицаетъ Іоаннъ, оставивъ Дамаскъ и вступивъ въ пустыню,

И посохъ мой благословляю,
И эту бѣдную суму,
И степь отъ края и до края,
И солнца свѣтъ, и ночи тьму,
И одинокую тропинку,
По коей, нищій, я иду,
И въ полѣ каждую былинку,
И въ небѣ каждую звѣзду!
О, если бѣ могъ всю жизнь смѣшать я,
Всю душу съ вами вмѣстѣ слить!
О, если бѣ могъ въ мои объятья
Я васъ, враги, друзья и братья,
И всю природу заключить!..

У насъ много стали въ послѣднее время говорить и писать о томъ, что отдѣльный человѣкъ обязанъ приносить жертвы для общаго блага. Прекрасно, но отчего же примѣры принесенія такихъ жертвъ довольно рѣдки, а случаи принесенія общественныхъ интересовъ въ жертву частнымъ очень часты и какъ-будто становятся все чаще? Не оттого ли, что проповѣдь о самопожертвованіи во имя общаго блага не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ направленіемъ мыслей нашихъ, какое имъ сообщаютъ духъ времени, современная фи-

лософія? Едва ли кто-нибудь въ состояніи доказать, что позитивизмъ или матеріализмъ располагаютъ людей къ самопожертвованію, къ отреченію отъ власти, къ раздачѣ своего богатства неимущимъ и къ этой всеобъемлющей любви, которая сокрушается, что ей нечѣмъ болѣе жертвовать. Но этого мало. Возникаетъ слѣдующій вопросъ: ты отвергъ земныя блага для служенія высшимъ интересамъ духа и, кромѣ того, ты оказалъ важную услугу святому дѣлу, которому ты служишь. Все это прекрасно. Но не возгордился ли ты? Не вообразилъ ли себя выше другихъ? Не забылъ ли, что высокій умъ и могущественно дѣйствующее слово суть блага, тебѣ данныя, а не тобою созданныя?.. Читатель знаетъ, что и эта часть преданія объ Іоаннѣ Дамаскинѣ вошла въ поэму графа Толстого. Но не о поэмѣ теперь идетъ рѣчь, а о томъ, что въ сферѣ вопросовъ нравственныхъ нѣтъ границъ; ставъ на путь самоусовершенствованія, человѣкъ можетъ идти впередъ. И онъ не обманетъ, этотъ путь, и обмануть не можетъ.

Можетъ ли графъ Толстой быть названъ народнымъ русскимъ писателемъ?.. Вотъ вопросы, на которые чрезвычайно трудно отвѣтить. Надъ разрѣшеніемъ вопроса, какія именно качества писателей и какія характеристическія черты писанія даютъ имъ право называться народными, бьются наши критики и мыслители лѣтъ сорокъ, если не больше, и все-таки не пришли къ его разрѣшенію. Казалось бы, кого наиболѣе читаютъ, тотъ и народный писатель. Въ принципѣ это такъ и есть; никто въ Германіи не усомнится назвать Шиллера народнымъ поэтомъ, но у насъ это наименованіе пришлось бы дать, можетъ-быть, Ефрему Сирину или другому отцу церкви, едва извѣстному лишь по имени образованнымъ классамъ. У насъ нѣтъ писателя, котораго читали бы и въ раззолоченной гостиной и въ крестьянской хатѣ. Пушкинъ популярнѣе всѣхъ, но и онъ не проникъ въ народную толщу. Итакъ, жизнь не разрѣшила у насъ окончательно поставленнаго вопроса, а теорію таскаютъ и треплютъ въ продолженіе полувѣка по всѣмъ направленіямъ. Болѣе полувѣка! Еще Шишковъ и Карамзинъ касались вопроса о народности. И странное дѣло! Вопросъ стоялъ въ концѣ тридцатыхъ и началъ сороковыхъ годовъ совершенно въ томъ видѣ, какъ онъ стоитъ теперь; тогдашніе беллетристы-народники, какъ и нынѣшніе, смѣшивая народность съ простонародностью,

старались усиленно и даже исключительно выводить на сцену мужиковъ, однихъ мужиковъ, и какъ теперь, такъ и тогда литература наша отъ этого ничего не выиграла. Міровоззрѣніе крестьянскихъ массъ, еще болѣе тѣсное 40—50 лѣтъ тому назадъ, чѣмъ теперь, могло доставить романисту такъ мало матеріала, такъ мало разнообразія и красокъ, что ему приходилось выбирать между Сциллой скуки и Харибдой идеализаціи.

Мы думаемъ, что народность литературнаго произведенія состоитъ не столько въ сюжетѣ, сколько въ свойствахъ отношеній автора къ избранному сюжету. Французскія трагедіи du grand siècle были наполнены Тезеями, Поликсенами, Ипполитами, и, однако, въ нихъ не было ничего національнаго греческаго, кромѣ собственныхъ именъ. «Орлеанская дѣва» Шиллера насквозь пропитана старогерманскою мечтательностью и отнюдь не національна, съ французской точки зрѣнія. Сюжеты «Свѣтланы» Жуковскаго и «Чернеца» Козлова заимствованы изъ русской жизни; въ первой изъ этихъ поэмъ описаны святочные игры и гаданья, а во второй описанъ монастырь, встрѣчается возъ со снопами, и, однако, ни та ни другая поэмы не имѣютъ штемпеля русской національности. Не имѣютъ этого штемпеля и тѣ произведенія Державина, напримѣръ, гдѣ рассказывается, какъ

Пляшутъ дѣвушки російски
Подъ свирѣлью пастуха.

«Бѣдная Лиза» и «Мареа-посадница» Карамзина, такъ же какъ «Марьяна роца» Жуковскаго, вовсе лишены русскаго національнаго характера; но въ «Капитанской дочкѣ» и въ «Борисѣ Годуновѣ» онъ кидается въ глаза. Не ясно ли, что не сюжетъ рѣшаетъ вопросъ о народности сочиненія, а отношеніе къ нему автора. Если бы для подтвержденія этой истины нужны были новыя доказательства, можно было бы указать на мемуары, путешествія и цѣлыя сочиненія иностранцевъ о Россіи, иногда дающія весьма выгодное понятіе о добросовѣстности ихъ авторовъ, но и доказывающія полное ихъ непониманіе русскаго національнаго характера,—на этихъ Nadèje и Olga, появляющихся въ послѣднее время довольно часто въ романахъ французскихъ авторовъ.

Но если дѣло не въ сюжетѣ, а въ характерѣ воззрѣній на него автора, въ строѣ его понятій, въ присущихъ ему при-

страстіяхъ и антипатіяхъ, то прежде всего надо опредѣлить, въ чемъ состоятъ особенности національнаго русскаго строя понятій, куда направлены наши національныя симпатіи и антипатіи, а на этотъ-то счетъ мы и не можемъ сговориться. Но сама жизнь начала, кажется, разрѣшать этотъ вопросъ. Мы не разъ уже видѣли, что люди, считавшіе себя народниками или народолюбцами по преимуществу, которые распинались, чтобъ увѣрить крестьянъ въ своемъ къ нимъ участіи и въ притѣсненіи ихъ, крестьянъ, предержавшими властями, были задерживаемы этими самыми крестьянами и представляемы этимъ самымъ властямъ, а изъ этого мы имѣемъ несомнѣнное право заключить, что писатели, возводящіе въ перлъ созданія «Арончиковъ» ⁷⁾, не суть писатели народные по понятію именно той части народа, которая имъ представляется исключительно «народомъ».

Но возвратимся къ графу Толстому. Возсозданная имъ богатырская, дотатарская и особенно кіевская Русь даетъ ему, во всякомъ случаѣ, полное право на званіе народнаго поэта. Пусть же попробуетъ возсоздать ее человѣкъ, лишенный нерва народности, человѣкъ, въ жилахъ котораго течетъ не русская кровь! Пусть онъ попробуетъ написать нѣчто такъ проникнутое чувствомъ (не знаніемъ) исторіи и колоритомъ древности, какъ Чужое Горе, Три побоища, Слѣпой, Ушкуйникъ, или хотя и не относящееся прямо къ исторіи, но такое, отъ чего, по выраженію нашихъ старинныхъ сказокъ, «русскимъ духомъ пахнетъ», какъ стихотворенія: Ходитъ Спесь надуваучись, Коль любить—такъ безъ разсудку, Ой, кабъ Волгаматушка, Ой честь ли то молодцу, Ты невѣдомое, незнаемое и многія, многія другія.

Но тутъ мы натываемся на любопытный вопросъ: какимъ образомъ нервъ народности могъ развиваться въ человѣкѣ, довольно далеко, повидимому, стоявшемъ отъ того, что принято называть народомъ. Къ сожалѣнію, мы имѣемъ мало біографическиххъ свѣдѣній о графѣ А. К. Толстомъ. Но его примѣръ, а также примѣръ Пушкина доказываютъ, что можно имѣть душу, открытую народности, не родившись въ крестьянской избѣ и не бѣгая за мужикомъ съ записною

⁷⁾ См «Наши беллетристы-народники» въ № 4 «Русскаго Вѣстника», 1882 года.

книжкой. Эти примѣры (а къ нимъ можно присоединить множество другихъ) приводятъ къ заключенію, что помѣщичьимъ усадьбамъ вовсе не чуждъ нашъ національный духъ. Графъ А. К. Толстой, кажется намъ, имѣлъ право, какъ его Потоць-богатырь, сказать: «Я, вѣдь, тоже народъ». Национальному духу чужды только тѣ, кто родились въ большихъ городахъ, особенно въ Петербургѣ, отъ родителей, тамъ же проводившихъ всю жизнь; это люди безпочвенные, это умственный пролетаріатъ. Но наше помѣстное дворянство, за исключеніемъ отдѣльныхъ лицъ, сбившихся съ толку, продолжаетъ жить общенародною жизнью. Какъ во времена Пушкина не было, говоря вообще, антагонизма между усадьбой и деревней, такъ нѣтъ ея и теперь, по большей части. Во многихъ мѣстахъ помѣщикъ остался и теперь, какъ было искони, первымъ радѣтелемъ мѣстнаго храма и защитникомъ противъ мѣстнаго «кулака»; къ женѣ помѣщика тащатся за пособіемъ хворые и немощные, а къ ея дочери бѣгутъ мальчики и дѣвочки съ книжечками подъ мышкой. Несчастіе, постигшее кого-либо на деревнѣ, встрѣчаетъ участіе на господскомъ дворѣ, зато и что-либо чрезвычайное, случившееся въ семействѣ помѣщика, поднимаетъ на ноги всю деревню... А при такихъ условіяхъ, которыя можно подтвердить примѣрами, неудивительно, что живой и впечатлительный «барченокъ» мимовольно и безсознательно приобретаетъ способность понимать свое народное, понимать его, проникаться имъ, воспроизводить его. Какъ иначе объяснить себѣ, что человѣкъ свѣтскій, придворный могъ написать слѣдующія строки:

Ходить Спесь надувачись,
 Съ боку-на-бокъ переваливаясь.
 Ростомъ-то Спесь аршинъ съ четвертью,
 Шапка-то на немъ во цѣлу сажень;
 Пузо-то его все въ жемчугѣ,
 Свади-то у него раззолочено.
 А и зашелъ бы Спесь къ отцу, къ матери,—
 Да ворота не крашены!
 А и помолился бы Спесь въ церкви Божіей,—
 Да полъ не метенъ!
 Идетъ Спесь, видитъ — на небѣ радуга;
 Повернулъ Спесь въ другую сторону:
 Не пригоже-де мнѣ нагибаться!

Казалось бы, на этомъ можно было покончить о народности графа Толстого; но у насъ этотъ вопросъ смѣшиваютъ со

многими другими, какъ видно изъ словъ рецензента «Дѣла». «Вы не нашъ,—говоритъ онъ,—потому, во-первыхъ, что грудь ваша не ноетъ «отъ ударовъ и, во-вторыхъ, что наши враги не ваши враги». Оставляя въ сторонѣ первую причину, какъ черезчуръ оригинальную, замѣтимъ, что дѣйствительно ни враги ни друзья «Дѣла» не суть враги и друзья графа Толстого. Мыслители того лагеря, къ которому принадлежитъ этотъ журналъ, закричатъ, конечно: друзья графа Толстого—это старые ретрограды, это—отсталые отъ вымирающаго поколѣнія, а наши друзья—это молодое поколѣние, это люди будущаго. На это я замѣчу, и притомъ не съ чужихъ словъ, а какъ очевидецъ, что въ одной коротко знакомой мнѣ женской гимназiи ученицы слушали Грѣшницу съ напряженнымъ вниманiемъ, а не двусмысленнымъ сочувствiемъ, а во время чтенiя Іоанна Дамаскина нѣсколько разъ принимались плакать. А вотъ нѣсколько строкъ изъ письма къ нижеподписавшемуся изъ Петербурга отъ юноши, только что окончившаго курсъ въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведенiй: «Въ противность здѣшнимъ обычаямъ мы (съ товарищемъ) сидимъ по вечерамъ дома и читаемъ вмѣстѣ сочиненiя графа А. Толстого. Что за прелесть!.. Право, крылья за собою чувствуешь, вслушиваясь въ эту русскую, поэтическими порывами и возвышенными помыслами брызжущую рѣчь!» Ужъ въ самомъ дѣлѣ, не поднимается ли на ноги поколѣние новыхъ людей, людей способныхъ чувствовать художественную красоту, способныхъ возноситься духомъ и быть дѣйствительно людьми своего народа.

Въ добрый часъ, молодые друзья! Выступайте бодро на жизненный путь, и пусть руководителемъ вашимъ будетъ графъ А. Толстой, подобно тому какъ нашимъ былъ Пушкинъ. Правда, онъ не поведетъ васъ съ фонаремъ въ рукѣ по темнымъ закоулкамъ будничной жизни, но онъ сообщитъ вамъ то, что не допуститъ васъ заблудиться; онъ не дастъ вамъ рецептовъ на тотъ или другой случай, но снабдитъ васъ талисманомъ противъ духовныхъ эпидемiй. Въ тѣхъ трехъ словахъ, которые характеризуютъ его поэзію—искусство, религія, народность,—какъ въ зернѣ заключаются всѣ человѣческія и гражданскія доблести. Вамъ много твердили и твердятъ о личномъ достоинствѣ человѣка, о свободѣ мысли и воли, объ обязанности бороться со зломъ, хотя бы оно и было облечено властью: посмотрите же, что говорить

объ этомъ нашъ поэтъ,—тотъ самый поэтъ, который написалъ апофеозъ смиренію въ своемъ Іоаннѣ Дамаскинѣ:

Пусть тотъ, чья честь не безъ укора,
 Страшится мнѣнія людей;
 Пусть ищетъ шаткой онъ опоры
 Въ рукоплесканіяхъ друзей!
 Но кто въ самомъ себѣ увѣренъ,
 Того хулы не потрясуть;
 Его глаголъ не лицемѣренъ,
 Ему чужой не нуженъ судъ.
 Ни предъ какой земною властью
 Своей онъ мысли не таитъ,
 Не льститъ неправому пристрастью,
 Враждѣ неправой не кадитъ.
 Ни предъ вѣнчанными царями,
 Ни предъ судилищемъ молвы
 Онъ не торгуется словами,
 Не клонитъ рабски головы.
 Друзьямъ въ угодность, боязливо
 Онъ никому не шлетъ укоръ;
 Когда жъ толпа несправедливо
 Свой постановитъ приговоръ,—
 Одинъ, не слѣдуя за нею,
 Предъ тѣмъ, что чисто и свѣтло,
 Дерзаетъ онъ, благоговѣя,
 Склонить свободное чело.

Это гордо, не правда ли? это благородно! Но какъ же понятіе о такой ни передъ чѣмъ не склоняющейся гордости уживается въ одномъ умѣ съ представленіемъ о смиреніи Іоанна Дамаскина, съ апофеозомъ этого смиренія?.. Очень просто. Но для этого надо, чтобы человѣкъ вѣровалъ въ нѣчто высшее, чѣмъ дамасскій калифъ и общественное мнѣніе данной минуты.

П. Щебальскій.

Варшава, 9 января 1883.

Графъ А. К. Толстой *).

Съ грустью беремся за перо, чтобы говорить о произведеніяхъ поэта, только что унесеннаго смертію.

Въ короткій періодъ времени это уже вторая незамѣнимая утрата. Умеръ Тютчевъ, поэзія котораго была такимъ прекраснымъ звеномъ между эпохой Пушкина и новымъ литературнымъ движеніемъ сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ; умеръ графъ А. К. Толстой, въ стихахъ котораго отразилось почти все серьезное содержаніе новой нашей поэзіи, всѣ самые живые ея элементы: народность, исторія, гражданскій лиризмъ, гражданская сатира, въ самомъ чистомъ и неополненномъ значеніи этихъ словъ. Еще чувствуется вся горечь этихъ утратъ, и еще не наступило время для полной оцѣнки всего поэтическаго достоянія, оставленнаго умолкшими поэтами; это тѣмъ болѣе справедливо по отношенію къ графу Толстому, что изданныя до сихъ поръ и еще не собранныя воедино произведенія его составляютъ только часть всего имъ написаннаго. Другая часть или извѣстна лишь немногимъ въ рукописныхъ спискахъ, или заключается въ посмертныхъ бумагахъ поэта, бóльшая часть которыхъ, будемъ надѣяться, въ непродолжительномъ времени явится въ свѣтъ.

Въ настоящей бѣглѣй замѣткѣ мы не рассчитываемъ дать полную оцѣнку литературной производительности автора Смерти Іоанна Грознаго; къ этой задачѣ мы предполагаемъ приступить, когда будутъ изданы посмертныя его произведенія. Теперь мы хотимъ только припомнить вмѣстѣ съ читателями пройденный имъ поэтическій путь, освѣжить

*) «Русскій Вѣстникъ», 1875 г., № 11.

впечатлѣнія, нѣкогда испытанныя всѣми нами за вдохновенными его страницами, и указать, насколько это возможно въ бѣгломъ очеркѣ, на основныя элементы его поэзіи.

Графъ Толстой выступилъ на поэтическое поприще сравнительно поздно. Его талантъ, какъ и талантъ Тютчева, созрѣлъ тайно, въ сторонѣ отъ публики. Подобно Тютчеву, онъ выступилъ прямо съ тѣми звуками, которые продолжали звенѣть въ его поэзіи до конца. Обстоятельство это имѣетъ вовсе не случайное значеніе. Оно близкимъ образомъ связано съ характеромъ и внутреннимъ содержаніемъ его поэзіи. Поэтический даръ не былъ у него раздраженіемъ молодости, отпадающимъ вмѣстѣ съ зрѣлостью мысли; онъ не былъ только формой, къ которой обращаются начинающіе писатели, для того чтобы перейти затѣмъ къ прозѣ. Поэзія была самымъ существеннымъ элементомъ въ талантѣ графа Толстого, она явилась ему вмѣстѣ съ его зрѣлостью и сохранила до конца свою свѣжесть, свою силу и свою неотдѣлимость отъ натуры поэта. Отсюда, если мы не ошибаемся, вытекаетъ главная особенность его поэзіи: ея необычайная серьезность, внутренняя, всепроникающая, сквозящая въ самой шуткѣ. О чемъ бы ни говорилъ графъ Толстой, какой бы тонъ онъ ни взялъ, вы всегда чувствуете, что это говоритъ совершенно взрослый человѣкъ. Онъ какъ бы миновалъ всѣ тѣ ступени, по которымъ писатель достигаетъ зрѣлости и на срединѣ которыхъ иногда останавливаются тѣ, у кого стихотворная форма вызывается лишь потребностями молодой фантазіи и молодого чувства. Такъ, между прочимъ, область эротической поэзіи осталась совершенно чуждою графу Толстому, за исключеніемъ двухъ-трехъ антологій, заимствованныхъ изъ посторонняго источника. Мы не хотимъ сказать, чтобы талантъ графа Толстого явился уже совсѣмъ созрѣвшимъ, въ своемъ послѣднемъ воплощеніи; напротивъ, въ немъ явственны слѣды постепеннаго развитія, внутренняго и техническаго; но особенностью его слѣдуетъ признать то, что и въ самыхъ раннихъ, сравнительно слабыхъ произведеніяхъ слышится голосъ взрослого человѣка, еще не овладѣвшаго вполне стихотворною формой, еще не умѣющаго вполне свободно выражаться на новомъ языкѣ, но уже являющаго созрѣвшіе, серьезные и строгіе вкусы. Темы графа Толстого постоянно однородны, принадлежать одному и тому же кругу, идей, одному и тому же человѣческому возрасту.

Мы живо помнимъ впечатлѣніе, какое произвела восемь лѣтъ назадъ неожиданно появившаяся книжка стихотвореній графа Толстого. Эти стихотворенія, печатавшіеся до тѣхъ поръ въ разныхъ журналахъ, преимущественно въ эпоху полного равнодушія общества къ литературнымъ интересамъ, были замѣчены лишь немногими, и имя автора почти не пользовалось никакою извѣстностью. И вдругъ является цѣлый томъ стихотвореній, изъ которыхъ не всѣ были одинаково сильны, но всѣ очень самобытны и совершенно чужды того отпечатка дѣланности, который непремѣнно проглядываетъ у профессиональныхъ поэтовъ. Между этими стихотвореніями было нѣсколько такихъ, которыя являли огромный, зрѣлый, содержательный талантъ и должны были тотчасъ занять мѣсто въ русской поэзіи. Впечатлѣніе было сильное, подготовленное неожиданностью самого факта. Всѣ поняли, что немногочисленная семья русскихъ поэтовъ обогатилась новымъ, оригинальнымъ и сильнымъ дарованіемъ, сразу занявшимъ въ литературѣ опредѣленное и, прибавимъ, совершенно уединенное мѣсто.

Время было, какъ припомнятъ читатели, не особенно благоприятное для появленія новыхъ талантовъ. Общество уже пережило какъ увлеченіе раздражающими и страстными мелодіями поэтовъ пятидесятихъ годовъ, воспитавшихся на Гейне, такъ и увлеченіе новыми псевдо-гражданскими мотивами гг. Некрасова, Розентейма и пр. Связь между русскою публикой и наличными поэтическими дарованіями, повидимому, была порвана. Поэты сами чувствовали невыгодное давленіе общественныхъ вкусовъ и лишь изрѣдка, неохотно и неуверенно прерывали свое молчаніе. Серьезный голосъ слышался не часто. Хомяковъ умолкъ, Тютчевъ готовился умолкнуть. Въ публикѣ чувствовалось броженіе, она готова была глумиться надъ своими прежними литературными кумирами, сознавая въ то же время совершенную невозможность оставаться въ насыщенной всякими гнилыми испареніями пустотѣ, въ которую бросило ее движеніе начала шестидесятихъ годовъ. Въ такую эпоху новый поэтъ, являющійся съ перепѣвами уже исчерпанныхъ мотивовъ, никѣмъ не былъ бы замѣченъ. Чтобы пріобрѣсти публику, надо было удовлетворить потребности живыхъ, свѣжихъ и самобытныхъ поэтическихъ струй, которыя крылись подъ видимымъ равнодушіемъ общества къ художественнымъ интересамъ.

Съ такими живыми, саомытными струями и явился графъ Толстой. Среди всеобщаго броженія, среди пустоты, среди всеобщей неувѣренности въ томъ, что ложно и что дѣйствительно, раздался чистый, ясный голосъ, исходящій изъ такого же чистаго, яснаго и несомнѣвающагося въ себѣ саомомъ чувства. Объ этомъ чувствѣ сказалъ самъ поэтъ:

... Въ безпредѣльное влекома,
Душа незримый чуетъ міръ,
И я не разъ подъ голосъ грома,
Быть-можетъ, строилъ свой псалтирь.

Эта близость къ безпредѣльному не разрывала связи поэта съ воспитавшею и окружающею его дѣйствительностью, но сообщала его поэзій то чистое сіяніе, которымъ вся она озарена: «Я не чуждъ и здѣшней жизни», говоритъ онъ въ томъ же стихотвореніи и продолжаетъ:

Но все, что чисто и достойно,
Что на землѣ случилось строино,
Для человѣка то ужель,
Въ тревогѣ вѣчной мірозданья,
Есть грань высокаго призванья
И окончательная цѣль?
Нѣтъ, въ каждомъ шорохѣ растенья
И въ каждомъ трепетѣ листа
Иное слышится значенье,
Видна иная красота!
Я въ нихъ иному гласу внимлю,
И, жизнью смертнаго дыша,
Гляжу съ любовію на землю,
Но выше просится душа...

Почти то же говорили многіе поэты, но немногіе могли сказать это съ такимъ правомъ, какъ графъ Толстой. Струя, бьющая въ его поэзій, постоянно напоминала о своемъ озаренномъ, прозрачномъ источникѣ. Въ душѣ поэта звучало много струнъ, но громче всѣхъ слышалась струна той нравственной бодрости, которая по духу роднила его съ Пушкинымъ и исходила изъ близости со стихіями народной жизни, вобравшей въ себя живучую силу православія. Опять надо сказать, что многіе, вмѣстѣ съ графомъ Толстымъ и раньше его, обращались къ этому свѣжему и чистому источнику, но немногіе умѣли, какъ и онъ, найти въ народной жизни то бодрящее, свѣтлое, юношеское чувство, ту, можно сказать, хрустальность, которая искрится и звучитъ неподдѣль-

нымъ пафосомъ въ его поэзіи. Напомнимъ хотя бы слѣдующее, небольшое и въ поэтическомъ отношеніи не особенно значительное стихотвореніе:

Коль любить—такъ безъ разсудку,
Коль грозить—такъ не на шутку,
Коль ругнуть—такъ сгоряча,
Коль рубнуть—такъ ужъ съ плеча!
Коль спорить—такъ ужъ смѣло,
Коль карать—такъ ужъ за дѣло,
Коль простить—такъ всей душой,
Коль пиръ—такъ пиръ горой!

На наши глаза, тутъ преимущественно важно то, что въ этомъ стихотвореніи выражается чисто-русская струнка въ самой душѣ поэта, его, такъ-сказать, «натурность», т.-е. именно то, чего болѣе всего недостаетъ нашимъ писателямъ, какъ и всему вообще настоящему поколѣнію. Въ немногихъ, замѣчательно простыхъ по формѣ и выраженію словахъ поэта слышится удалъ, не бравурная, а скорѣе скромно-сердечная, чувствуется тотъ юношескій размахъ, по которому узнаются простые, чисто-русскіе люди. Вообще, о поэзіи графа Толстого слѣдуетъ сказать, что она вобрала въ себя изъ народности только то, что въ ней есть чистаго и серьезнаго, простаго и сердечнаго. Эти элементы просвѣчиваютъ у него даже въ шуткѣ, въ этой умной, милой, благородной и сердечной шуткѣ, въ которой графъ Толстой такъ безконечно отличается отъ большинства нашихъ юмористическихъ стихотворцевъ. Русскіе люди, русская старина, русская природа были удивительно доступны и понятны графу Толстому не только тамъ, гдѣ онъ входилъ прямо въ сказочный русскій міръ или въ жизнь современнаго русскаго простолюдья, гдѣ онъ принималъ на себя внѣшній народный обликъ и выражался народнымъ складомъ, но и тамъ, гдѣ онъ «чувствовалъ» русскую жизнь на высотѣ своего европейскаго, гуманнаго образованія. Русскій пейзажъ рисовался въ его стихахъ иногда съ силою изумительною; невозможно забыть, напримѣръ, слѣдующаго удивительнаго восьмистишія, въ которомъ почти каждое слово принадлежитъ исключительно русской картинѣ и, такъ-сказать, пропитано исключительно русскою краской.

Край ты мой! родимый край!
Конскій бѣгъ на волѣ!

Въ нефѣ крикъ орлиныхъ стай!
 Волчій голось въ полѣ!
 Гой ты, родина моя!
 Гой ты, боръ дремучій!
 Свистъ полночный соловья!
 Вѣтеръ, степь да тучи!

Эта картина напоминаетъ тѣ пейзажи великихъ художниковъ, на которыхъ, съ помощью какого-нибудь одинокаго тощаго деревца, или пустынной груды камней, или просто небрежно растертыхъ желто-сѣрыхъ пятенъ, дается почувствовать всю необъятную ширину ландшафта, весь пустынный просторъ и характерную, могучую красоту его. Тутъ кроется та чудесная тайна поэтического творчества, которую поэтъ самъ объяснилъ въ стихотвореніи: «Тщетно, художникъ, ты мнишь, что твореній своихъ ты создатель!»—изъ котораго напомнимъ здѣсь слѣдующія строки:

Много въ пространствѣ невидимыхъ формъ и неслышимыхъ звуковъ,
 Много чудесныхъ въ немъ есть сочетаній и слова и свѣта,
 Но передать ихъ лишь тотъ, кто умѣетъ и видѣть и слышать,
 Кто, уловивъ лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово,
 Цѣлое съ нимъ увлекаетъ созданье въ нашъ міръ удивленный.

Вообще, поэзія никогда не являлась графу Толстому одною только формой, даже тамъ, гдѣ форма сама-по-себѣ представляла уже нѣчто цѣнное по высокой своей художественности. Внутреннее содержаніе, мысль, нравственная задача почти всегда были у него нераздѣльны съ образами и картинами. Наибольшая часть его стихотвореній можетъ быть, по своему нравственному смыслу, названа притчами, хотя самъ онъ присвоилъ это названіе лишь небольшому числу мелкихъ произведеній. Строгая требовательность относительно внутренняго содержанія въ особенности проявляется у графа Толстого въ стихотвореніяхъ народнаго характера. Въ этой весьма распространенной у насъ области поэзіи весьма многіе видятъ въ формѣ какъ бы самостоятельную цѣль произведенія и полагаютъ, что при воспроизведеніи народныхъ мотивовъ и образовъ народной фантазіи нѣтъ надобности высказываться самому поэту. Графъ Толстой менѣе всего напоминалъ тѣхъ почитателей народности, которые, по выраженію Потугина въ «Дымѣ», обращаются къ народу словно пустые сосуды: влейся-моль въ насъ живая вода. У графа Толстого, въ его такъ-называемыхъ народныхъ произведе-

ніяхъ, въ характерную народную рѣчь и въ народные образы облекалась, обыкновенно, собственная мысль, собственное чувство. Для примѣра укажемъ хотя бы на извѣстное стихотвореніе Пантелей-Цѣлитель, въ которомъ авторъ неожиданно, чрезвычайно ловкимъ поэтическимъ оборотомъ переходитъ къ притчѣ и, наконецъ, къ сатирѣ:

А еще, государь,
(Чего не было встарь)
И такіе межъ насъ попадаются,
Что лѣченіемъ всякимъ гнушаются,
Они звона не терпятъ гуслирнаго,—
Подавай имъ товара базарнаго!
Все, чего имъ не взвѣситъ, не смѣрати,
Все, кричать они, надо похерити!
Только то, говорятъ, и дѣйствительно,
Что для нашего тѣла чувствительно;
И приемы у нихъ дубоватые
И ученье у нихъ грязноватое;
И на этихъ людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалѣй
Суковатыя!

Міръ народности у графа Толстого былъ тѣсно связанъ съ міромъ библейскимъ и церковнымъ, и изъ этого послѣдняго онъ заимствовалъ содержаніе двухъ лучшихъ поэмъ своихъ — Грѣшницы и Іоанна Дамаскина. Послѣдняя, по богатству красокъ и необыкновенной поэтичности, не только въ исполненіи, но и въ самой концепціи, безъ сомнѣнія, навсегда сохранить за собою мѣсто въ числѣ лучшихъ созданій нашей поэзіи. Независимо отъ высокой идеи, заключенной въ самомъ сюжетѣ, и отъ колоритности описаній и языка, поэтъ имѣлъ возможность выразить въ этой поэмѣ свой взглядъ на служеніе искусству — взглядъ настолько чистый и прекрасный, что онъ невольно напоминаетъ соответствующія темы у Пушкина. Замѣтимъ, что, посвятивъ всю свою жизнь поэтическому творчеству, графъ Толстой горячо любилъ свое призваніе и нѣсколько разъ возвращался въ своихъ поэмахъ и балладахъ къ высокому идеалу поэта, неизмѣнно присутствовавшему въ его чувствахъ и мечтахъ. Считаемо уместнымъ напомнить здѣсь нѣкоторыя черты этого прекраснаго идеала, какъ онъ рисуется въ поэтически-священной личности Іоанна Дамаскина:

Въ его груди пылаетъ жаръ,
 Которымъ зиждется созданье;
 Служить Творцу Его призванье;
 Его души незримый міръ
 Престоловъ выше и порфирь—
 Онъ не измѣнить, не обманетъ—
 Все, что другихъ влечетъ и манитъ:
 Богатство, сила, слава, честь,
 Все въ мірѣ томъ въ избыткѣ есть;
 А всѣ сокровища природы—
 Степей безбережный просторъ,
 Туманный очеркъ дальнихъ горъ,
 И моря тѣнистыя воды,
 Земля, и солнце, и луна,
 И всѣхъ созвѣздій хороводы,
 И синей тверди глубина,—
 То все одно лишь отраженье,
 Лишь тѣнь таинственныхъ красотъ,
 Которыхъ вѣчное видѣнье
 Въ душѣ избранника живетъ.

Далѣе, въ той же поэмѣ мы находимъ стихи:

Надъ вольной мыслью Богу не угодны
 Насиліе и гнѣтъ:
 Она, въ душѣ рожденная свободно,
 Въ оковахъ не умереть!

И, наконецъ, переходя изъ этихъ странъ свѣта въ юдоль,
 гдѣ добро и зло борются въ битвѣ жизни, поэтъ дорисовы-
 ваетъ свой идеалъ слѣдующими прекрасными стихами:

Презрѣнье, други, на пѣвца,
 Что даръ священный унижаетъ,
 Что предъ кумирами склоняетъ
 Красу лавроваго вѣнца!
 Что гласу истины и чести
 Внушеніе выгодъ предпочелъ,
 Что угожденію и лести
 Безстыдно продалъ свой глаголъ!
 Изъ вѣка въ вѣкъ звучать готово
 Ему на казнь и на позоръ
 Его безсовѣстное слово,
 Какъ всенародный приговоръ!
 Но ты, иной взалкавшій пищи,
 Ты, что молитвою влекомъ,
 Высокій сердцемъ, духомъ нищій,
 Живущій мыслью со Христомъ,
 Ты, что пророческаго взора

Предъ блескомъ міра не склоняль—
Испить ты можешь безъ укора
Весь униженія фіаль!

Съ такими идеалами, съ такими творческими средствами, съ такими чертами поэтического дарованія выступилъ графъ Толстой какъ лирическій поэтъ. Не будемъ слѣдить здѣсь за всѣми дальнѣйшими шагами его на этомъ пути, за всѣми цѣнными вкладами, полученными отъ него русскою лирикой. Баллады, притчи, поэмы, напечатанныя имъ въ послѣдніе годы въ «Русскомъ Вѣстникѣ», въ «Вѣстникѣ Европы» и въ «Гражданинѣ», всѣмъ хорошо извѣстны и памятны. Поэтъ остался въ нихъ совершенно вѣренъ тѣмъ элементамъ, съ которыми выступилъ въ началѣ своего поэтического поприща. Русская жизнь, русская старина попрежнему служили ему источникомъ чистыхъ и серьезныхъ вдохновеній. Онъ, по справедливости, считается творцомъ настоящей русской баллады, которая у него, согласно духу народнаго ума, является, по преимуществу, съ характеромъ притчи. Съ каждымъ новымъ произведеніемъ талантъ поэта, всегда серьезный, обнаруживалъ все болѣе и болѣе зрѣлости, приемованные звуки его достигали полноты и глубины давно уже не слыханной въ русской поэзіи, пока, наконецъ, въ предсмертной поэмѣ Драконтъ, не облеклись въ упругую, кованую красоту дантовскихъ терцинъ.

Почти одновременно съ лирическими стихотвореніями, графъ Толстой выступилъ въ нашей литературѣ въ качествѣ романиста и драматическаго писателя. Историческій романъ его Князь Серебряный, явившійся первоначально въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и потомъ выдержавшій нѣсколько отдѣльных изданій, имѣлъ успѣхъ рѣдкій въ то глухое для литературныхъ интересовъ время. Безъ сомнѣнія, романъ этотъ еще хорошо памятенъ нашимъ читателямъ, и нѣтъ надобности пересказывать здѣсь его содержаніе. Всѣ почувствовали то свѣжее, бодрое, серьезное впечатлѣніе, которое должна была произвести эта полная драматическаго и историческаго интереса эпопея старой русской жизни, захваченной въ тотъ критическій моментъ, когда она трепетала надъ достигнутою первоначальною задачей государственнаго объединенія, смутно отыскивая въ темнотѣ новые, еще только что обозначавшіеся пути дальнѣйшаго развитія. Романъ столько же былъ плодомъ добросовѣстной исторической и

археологической эрудиціи, сколько выраженіемъ общественныхъ идеаловъ автора, воспитанныхъ на глубокомъ проникновеніи самыми жизненными элементами народнаго духа, и воплощенныхъ въ художественномъ, нравственно-гражданскомъ образѣ князя Серебрянаго, этого старо-русскаго земскаго человѣка, такъ просто и такъ страстно чувствовавшаго добро и зло родной страны. Французскій историкъ нашей литературы Куррьеръ сравниваетъ этотъ романъ съ произведеніями Вальтеръ-Скотта; мы позволимъ себѣ замѣтить, что у русскаго автора, помимо художественныхъ красотъ, богатства бытовыхъ красокъ и прелести разсказа, замѣчается еще нѣчто такое, чего не доставало англійскому романисту — ширина замысла и присутствіе озаряющей, глубоко-человѣчной идеи.

Основательное изученіе эпохи, изученіе не по буквѣ только, но и по духу, постиженіе ея серьезныхъ драматическихъ мотивовъ и трагическаго элемента въ характерѣ Грознаго царя, не позволили графу Толстому исчерпаться на этомъ романѣ и надолго задержали его въ томъ поэтическомъ крутѣ, изъ котораго вышелъ у него цѣлый рядъ замѣчательныхъ художественныхъ созданій. Самымъ яркимъ и цѣльнымъ изъ нихъ справедливо почитается трагедія Смерть Іоанна Грознаго, съ появленіемъ которой имя графа А. К. Толстого получило европейскую извѣстность. Пьеса эта, много разъ и съ постояннымъ успѣхомъ представленная на нѣсколькихъ русскихъ сценахъ, являлась и предъ европейскою публикой, признавшею въ авторѣ первоклассное дарованіе. У насъ, при ничтожномъ числѣ истинно-поэтическихъ созданій для сцены, это произведеніе нельзя не признать явленіемъ въ высшей степени замѣчательнымъ. Это единственная наша «трагедія» въ полномъ значеніи слова — «трагедія», а не просто «драма» — и здѣсь главное ея право на совершенно уединенное положеніе въ нашей литературѣ. Трагическій элементъ всегда отсутствовалъ въ русской поэзіи. Мы имѣли прекрасные, хотя не многочисленные образцы комедіи и драмы, но за настоящую трагедію не брался никто изъ нашихъ поэтовъ послѣ псевдо-классиковъ XVIII столѣтія, подражательныя творенія которыхъ не пережили своего поколѣнія. Пушкинъ назвалъ своего «Бориса Годунова» трагедіей, но, очевидно, только потому, что въ его время слова: трагедія и драма, считались у насъ синонимами. Настоящій трагиче-

скій замыселъ является только въ Смерти Іоанна Грознаго; въ этой пьесѣ есть дѣйствительный «трагическій ужасъ» — элементъ недостающій вообще новымъ поэтамъ.

Нѣчто трагическое чувствуется уже въ самой идеѣ пьесы. Поэтъ избралъ предметомъ «смерть» историческаго лица. Не жизнь, не дѣйствія, не драматизмъ воли и страсти, а смерть, то-есть тотъ отрицательный моментъ, когда загасаетъ всякая борьба, всякое движеніе, когда въ человѣческой мірѣ сходитъ нѣчто неумолимое и неотразимое, подобное року греческой трагедіи. Этотъ моментъ, несмотря на то, что разрѣшается лишь въ пятомъ актѣ, наполняетъ всю пьесу отъ начала до конца. Смерть чувствуется уже въ первыхъ сценахъ, изображающихъ царя Ивана въ капризѣ отреченія. Это первая судорога смертной агоніи. Царь живъ, врачи пророчатъ ему еще многіе дни, онъ еще страшенъ, онъ еще много разъ обагрить свои руки въ невинной крови, онъ разрушить еще многія жизни, но страшное чувство собственной отлетающей жизни мертвить и душить его. Онъ испытываетъ муки разложенія, онъ тяготится бременемъ власти, напоминающимъ ежеминутно объ уходящей жизни:

Острупили мой умъ;
Изныло сердце; руки неспособны
Держать бразды; ужъ за грѣхи мои
Господь послалъ поганымъ одолѣнье,
Мнѣ жъ указалъ престолъ мой уступить
Другому; беззаконія мои
Песка морского паче; сыроядецъ—
Мучитель — блудникъ — церкви оскорбитель—
Долготерпѣнья Вожьего пучину
Послѣднимъ я злодѣйствомъ истощилъ!
... Душу я діаволу отверзъ!
Нѣтъ, я не царь! я воля! я песь смердящій!
Мучитель я! Мой сынъ, убитый мною!
Я Каина злодѣйство превзошелъ!
Я прокаженъ душой и мыслью! Языы
Сердечныя безчисленны мои!

Въ то время какъ царь Иванъ терзается въ своей мрачной опочивальнѣ, въ другой палатѣ дворца происходитъ иная сцена: бояре выбираютъ новаго царя. Годуновъ скромно занимаетъ самое заднее мѣсто; но ходъ преній незамѣтно выдвигаетъ его на середину, а наконецъ, и совсѣмъ впередъ. Бояре сами удивляются, какъ это такъ случилось: «Сѣлъ ниже всѣхъ, а подъ конецъ сталъ первый!» замѣчаетъ Голи-

цынъ. Мы привели на память эту подробность потому, что она занимаетъ чрезвычайно важное мѣсто въ концепціи трагедіи. Возвышеніе Годунова, мастерски сосредоточенное въ одной сценѣ, есть также элементъ «смерти», въ его лицѣ вырастаетъ та враждебная сила, которая въ пятомъ актѣ убьетъ Ивана своимъ ядовитымъ взглядомъ. Двѣ первыя сцены трагедіи, въ которыхъ такъ художественно сцентрированы обѣ главныя личности, Ивана и Бориса — это двѣ точки, отъ которыхъ идутъ всѣ параллельныя линіи, до послѣдней сцены пятаго акта.

Но еще въ первомъ актѣ, вслѣдъ за припадкомъ покаяннаго самообличенія, характеру Грознаго царя авторъ даетъ чрезвычайно тонкое и глубоко продуманное развитіе. Какою психическою правдой, какимъ внутреннимъ трагизмомъ звучать ироническія слова Ивана, встрѣчающаго думныхъ бояръ:

Бью вамъ челомъ, бояре!
Довольно долго совѣщались вы.
Но, наконецъ, вы приговоръ вашъ думный
Постановили и, конечно, мнѣ
Преемника назначили такого,
Которому не стыдно сдать престолъ?
Онъ, безъ сомнѣнья, родомъ знаменитъ?
Не меньше насъ? Умомъ же, ратнымъ духомъ
И благочестіемъ и милосердіемъ
Насъ и лучше будетъ?—Ну, бояре?
Предъ кѣмъ я долженъ преклонить колѣна?
Предъ кѣмъ пасть ницъ? Передъ тобой ли, Шуйскій?
Иль предъ тобой, Мстиславскій? Иль, быть-можетъ,
Предъ тобой, бояринъ нашъ Никита
Романовичъ, враговъ моихъ заступникъ?
Отвѣтствуйте, я жду!

И когда Годуновъ объявляетъ, что бояре не нашли никого достойнымъ занять престолъ и бьютъ ему челомъ, чтобъ онъ попрежнему правилъ ими, Иванъ «долго молчитъ». Въ этомъ долгомъ молчаніи чувствуется и подозрительная радость, и сомнѣніе въ искренности приговора, и внутренняя потребность скрыть свои чувства и найти предлогъ къ новому капризу тираническаго сердца:

Такъ вы меня принудить положили?
Какъ плѣнника связавъ меня, хотите
Неволей на престолъ удержать?
Должно-быть, вамъ мои пришлось бармы
Не по плечу? Вы тягость государства

Хотите снова на меня взвалить?
Оно-де такъ сподручнѣй?

Здѣсь не мѣсто слѣдить шагъ за шагомъ за развитіемъ трагедіи, достоинства которой уже достаточно оцѣнены, если не критикой, то самою публикой. Но нельзя не указать на тѣ высокія, такъ-сказать, центральныя мѣста въ ней, благодаря которымъ это произведеніе навсегда останется въ числѣ образцовыхъ въ русской литературѣ. При необычайной простотѣ дѣйствія, представляющей какъ бы развитіе только одного трагическаго момента, интересъ пьесы, главнымъ образомъ, сосредоточенъ на художественномъ воссозданіи двухъ историческихъ характеровъ. Соблюдая всѣ необходимыя сценическія условія, не чуждаясь даже законныхъ театральныхъ эффектовъ (къ таковымъ принадлежатъ, напримѣръ, появленіе на Замоскворѣцкой площади Григорія Годунова на конѣ, въ четвертомъ актѣ, и пляска скомороховъ предъ умершимъ царемъ въ пятомъ актѣ), авторъ не разбрасываетъ, не раздвигаетъ безъ нужды дѣйствія, а напротивъ, старается какъ можно болѣе сосредоточить его на полнѣйшей вырисовкѣ двухъ главныхъ лицъ, единственныхъ дѣйствующихъ захваченнаго трагическаго момента. И можно сказать безъ всякой натяжки, что каждый новый выходъ Грознаго царя и Бориса, почти каждое слово, ими произносимое, служатъ къ полнѣйшей и рельефнѣйшей ихъ характеристикѣ. Все обдуманно, соображено, все ведетъ къ главной художественной цѣли, все полно красокъ и свѣжей историчности. Такова, напримѣръ, сцена между Борисомъ и царемъ во второмъ актѣ, гдѣ Годуновъ пытается отговорить царя отъ брака съ англійскою принцессой и гдѣ царь отвѣчаетъ ему надменно:

Не на день я, не на годъ устрою
Престоль Руси, но въ долготу вѣковъ;
И чтó вдали провижу я, того
Не видѣть вамъ куринымъ вашимъ окомъ!
Тебя же, знай, держу лишь для того,
Что ты мою вершишь исправно волю;
А въ томъ и вся твоя заслуга.

Таковы также превосходныя сцены третьяго акта, гдѣ Грозный царь, сначала въ разговорѣ съ Годуновымъ, потомъ съ царицей и Захарьинымъ и, наконецъ, съ посломъ короля польскаго Гарабурдой обнаруживаетъ капризную энергію,

заклучавшую въ себѣ признаки чего-то близкаго къ помѣшательству и заставившую его воскликнуть въ дикомъ гнѣвѣ при извѣстїи о пораженіи русскихъ войскъ:

Другъ гонцы!

Повѣсить ихъ! Смерть всякому, кто скажетъ,
Что я разбитъ! Не могутъ быть разбиты
Мои полки! Вѣсть о моей побѣдѣ
Должна прійти! И нынѣ же молебны
Побѣдные служить по всѣмъ церквамъ!

Таковы, въ особенности, удивительныя по силѣ и по тонкости психическаго анализа сцены четвертаго акта, гдѣ Иванъ, послѣ бесѣды съ волхвами, заставляетъ Бориса читать синодикъ о невинно избѣенныхъ имъ людяхъ и, получивъ извѣстіе о пожарѣ дворца въ слободѣ, въ который среди зимы ударилъ громъ, испытываетъ припадокъ смертнаго ужаса. Очамъ его представляется страшный призракъ убитаго въ томъ дворцѣ сына. «Что это было?» восклицаетъ онъ,—

Борисъ, оставь, оставь теперь синодикъ,
Мы послѣ кончимъ! Слышите? Что тамъ
Скребеть въ подпольѣ? Слышите? Еще!
Еще! Все ближе! Да воскреснетъ Богъ!
Я царь еще! Мой срокъ еще не миновалъ!
Я царь еще — покаяться я властенъ!
Ирина, Ѳеодоръ, Марья! Станьте здѣсь—
Другъ подлѣ друга. Ближе, такъ, бояре!
Всѣ рядомъ станьте здѣсь передо мной—
Чего боитесь? Ближе! Я у всѣхъ (кланяется въ землю),
У всѣхъ у васъ прощенія прошу!

По своей деспотической натурѣ, онъ и на это покаянное сокрушеніе о грѣхахъ своихъ смотритъ съ точки зрѣнія самовластія, и когда Шуйскій замѣчаетъ, что ему ли, государю, у рабовъ своихъ просить прощенія, — «Молчи, холопъ!» восклицаетъ Грозный царь,

Я каяться и унижаться властенъ
Предъ кѣмъ хочу!

Затѣмъ слѣдуетъ извѣстная сцена со схимникомъ, послѣ которой царь, вновь чувствуя близкій конецъ свой и получая новыя тревожныя вѣсти о приближеніи Крымскаго хана, приказываетъ снарядить пословъ къ Баторію, чтобы купить миръ съ нимъ цѣною неслыханныхъ уступокъ. Напрасно возмущенные бояре предлагаютъ ему пожертвовать своими го-

ловами и достояніемъ, чтобы спасти Русь отъ такого униженія — царь гордо возражаетъ имъ :

Когда,

Мои грѣхи предъ смертью искупая,
Я унижаюсь — я, владыка вашъ —
Тогда не вамъ о вашей чести думать!
Ни слова болѣ! — Шуйскій! Ты къ разсвѣту
Мнѣ грамоту къ Батуру изготовишь,
А Пушкину съ товарищи велишь,
Чтобы, чѣмъ свѣтъ, они собирались ѣхать;
Чтобы они въ своихъ переговорахъ
Вели себя смиренно, кротко, тихо,
Чтобы сносили брань и оскорбленья
Безропотно, чтобъ все сносили — все!

Новыя возраженія и ропотъ бояръ приводятъ его въ бѣшенство; онъ шатается и, поддерживаемый Годуновымъ, повторяетъ свой наказъ :

Подъ страшной смертной казнью,
Пословъ, немедля, снарядить! Велѣтъ имъ,
Чтобъ все сносили, все терпѣли — все,
Хотя бъ побой! Боже Всемогуцій!
Ты своего помазанника видишь —
Достаточно ль униженъ онъ теперь?

Въ пятомъ актѣ мы видимъ уже полное развитіе трагическаго момента, составляющаго пьесу. Годуновъ дождался того «Кирилина дня», когда, по предсказанію волхвовъ, долженъ умереть Грозный царь. Онъ безпокоенъ; его смущаетъ, что недугъ царя, вопреки предсказанію, облегчился именно къ этому дню; онъ зоветъ волхвовъ, чтобъ они разсѣяли его тревогу, но темныя прорицанія ихъ повергаютъ его еще въ болѣе мракъ. Семь лѣтъ царствованія предсказаны ему, но неизвѣстно, близокъ или далекъ этотъ день, и неизвѣстно, кто эти три противника, стоящіе препятствіемъ на его честолюбивомъ пути. Въ смятеніи обращается онъ къ царскимъ врачамъ, полагая узнать отъ нихъ что-либо болѣе опредѣленное о силахъ царя. Якоби говоритъ, что самое главное — удалить отъ царя всякое потрясеніе и волненіе.

Вы трудное условіе положили
Для исцѣленья царскаго недуга —

отвѣчаетъ Борисъ и, оставшись одинъ, добавляетъ :

Я больно ошибаюсь,
Иль многое рѣшится въ этотъ день!

Слѣдуетъ заключительная картина трагедіи, гдѣ является та «смерть», которая и есть главный, хотя и невидимый герой пьесы. Царь чувствуетъ себя въ этотъ день бодрѣе, чѣмъ былъ въ послѣднее время, къ нему возвращается надежда жизни—подозрительная, призрачная надежда, прерываемая ежеминутно возвращающимся страхомъ и сомнѣніемъ. Кто не помнитъ этой тонко выдержанной сцены пререканія съ боярами, на пожеланія которыхъ царь подозрительно восклицаетъ:

Да развѣ я еще
Не исцѣленъ? что вы сказать хотите?
Я развѣ боленъ? Солнце ужъ заходить,
А я теперь бодрѣй, чѣмъ утромъ былъ,
И проживу довольно лѣтъ, чтобъ царство
Устроить вновь!

Царь успокоивается на короткое время и садится играть съ Бѣльскимъ въ шахматы. Входитъ Годуновъ, и на вопросъ Ивана, что говорятъ волхвы, передаетъ ихъ отвѣтъ, что ихъ наука достоверна и что Кирилинъ день еще не миновалъ. Царь испытываетъ при этомъ отвѣтъ то потрясеніе, отъ котораго велѣлъ охранять его Якоби; въ неподвижномъ, ядовитомъ взглядѣ Бориса онъ читаетъ «смерть».

Мы только привели читателю на память главнѣйшія сцены трагедіи и въ выборѣ этихъ сценъ сошлись съ г. Куррьеромъ, который въ своей «Histoire de la littérature contemporaine en Russie» указываетъ на нихъ также какъ на наиболѣе замѣчательныя. Скажемъ, кстати, что французскій авторъ считаетъ Смерть Іоанна Грознаго «безспорно одной изъ лучшихъ драмъ, написанныхъ для русской сцены». Онъ сравниваетъ ее съ историческими драмами г. Островскаго и находитъ, что въ ней «характеры представляютъ болѣе глубины, а портретъ царя Ивана—этой столь сложной съ психологической точки зрѣнія фигуры—нарисованъ съ совершенствомъ подробностей, съ какимъ никто еще не могъ сравняться». Трагедія эта заслуживаетъ болѣе полной критической оцѣнки, къ которой мы, быть-можетъ, еще возвратимся; въ настоящей же бѣглой замѣткѣ мы хотѣли только возобновить въ памяти читателя тѣ художественныя впечатлѣнія, которыя онъ, безъ сомнѣнія, не разъ испытывалъ за чтеніемъ поэтическихъ произведеній графа Толстого.

Смерть Іоанна Грознаго, какъ извѣстно, составля-

еть только первую часть драматической трилогіи. За нею слѣдовали драмы: Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ и Царь Борисъ, на которыхъ мы здѣсь не будемъ останавливаться, такъ какъ онѣ не представляютъ дальнѣйшаго шага въ развитіи авторскаго дарованія. Повидимому, новый подъемъ обнаружилъ графъ Толстой въ драмѣ Посадникъ, надъ которою онъ работалъ въ самое послѣднее время жизни и которая, къ вѣчному сожалѣнію, осталась неоконченною. Пока это посмертное произведеніе еще не увидѣло свѣта, считаемъ умѣстнымъ привести здѣсь отзывъ о немъ одного изъ присутствовавшихъ на засѣданіи въ Обществѣ Любителей Россійской Словесности, посвященномъ памяти графа Толстого, пользуясь отчетомъ, помѣщеннымъ въ № 290 «Московскихъ Вѣдомостей». Изъ этой выдержки читатели познакомятся отчасти и съ самымъ содержаніемъ недоконченнаго произведенія, скорѣйшее обнародованіе котораго составляетъ долгъ близкихъ къ покойному поэту людей:

«Чтеніе лирическихъ произведеній графа заключено было его драмой, присланною для Общества въ рукописи, Посадникъ. Читавшій, дѣйствительный членъ Общества П. А. Безсоновъ, въ краткихъ словахъ обрисовалъ предварительно ту эпоху или, лучше, тѣ краткіе, но тяжкіе для новгородской жизни часы, которые взяты авторомъ для воспроизведенія: когда обложанный грозною осадой Суздальской и Низовой земли великій и старый городъ раздираемъ былъ внутри гражданскими партіями и разгаромъ личныхъ страстей. «Свѣжая могила (прибавилъ читавшій) унесла отъ насъ тайну послѣдней развязки, многія краски лицъ и характеровъ, едва только выступавшихъ на сцену въ бѣгломъ очертаніи, а вмѣстѣ скрыла нерѣдко и самое «выраженіе» лицъ и «тонъ рѣчей ихъ». Въ этомъ отношеніи остается иногда обращаться при чтеніи къ догадкамъ и особенно къ тѣмъ личнымъ воспоминаніямъ, которыя оставилъ по себѣ авторъ въ средѣ сочленовъ; всѣ помнятъ, конечно, и какъ смотрѣлъ онъ самъ на древнія историческія лица и какъ передавалъ ихъ рѣчи въ чтеніи»... Служателямъ драмы представились засимъ ряды ярко изображенныхъ героевъ и героинь, поставленныхъ въ самое драматическое положеніе: строгія черты женскихъ новгородскихъ типовъ; гордая, непреклонная и взыскательная вдова стараго посадника, боярыня Мамелева; покорная, сосредоточенная на счастіи мужа и семьи, жена

посадника Глѣба; любящая, вся проникнутая самоотверженіемъ Наталья, «нищая духомъ», какъ отзывались о ней вокругъ, и которой обѣщалъ прощеніе грѣховъ отецъ духовный «за простоту ея и милостивость»,—Наталья, до самозабвенія преданная любимому и вынужденная на тяжкое преступленіе противъ него ради спасенія жизни брату. Уловить и перенести на живую сцену черты такихъ женскихъ характеровъ изъ древней русской жизни—требовалось большое искусство, а придать имъ значеніе политическое въ тяжкія минуты Новгорода, для этого нужна была рука писателя опытнаго. Можно сказать, что съ типами мужчинъ художнику было легче обойтись: зато характерамъ ихъ, весьма естественнымъ и историческимъ для Новгорода, онъ сумѣлъ придать особенный драматизмъ постановки. Впереди всѣхъ, разумѣется, стоитъ самъ посадникъ—по имени котораго драма—Глѣбъ Миرونъчъ: строгій до суровости, неумолимый въ податяхъ и карахъ, предметъ всеобщаго уваженія и страха, онъ погруженъ весь въ одну историческую задачу Новгорода, а за нею какъ бы не видить личныхъ проступковъ, слабостей и даже пороковъ частной дѣятельности въ окружающихъ лицахъ, — онъ снисходителенъ къ нимъ и выше преразсудковъ; въ минуты опасности, жертвуя для нея собственною гражданскою честью, за себя не страшась ничего въ мірѣ и открывая совѣсть Единому Богу, онъ въ то же время дрожить голосомъ, видя опасность молодого воеводы, и на бородѣ его новгородцы съ изумленіемъ указываютъ катящіяся слезы; конечно, никого въ жизни не молившій, кромѣ Бога, онъ молить однакоже младшаго боярина, какъ отецъ сына:

Бояринъ Черный!..

На волосѣхъ повисла воля наша!
Тобой однимъ лишъ Новгородъ стоитъ!
Когда тебя убьютъ или захватятъ,
Вразбродъ какъ разъ сидѣніе поидетъ.
И легкая добыча будетъ князю...
Не забывай, что ты святой Софій
И щить и стягъ; и что друзья княжи
Въ самихъ стѣнахъ Новгородскихъ ищутъ
Тебя избыть... Въ опасность не хоти
Пускаться даромъ!..

«Наконецъ, это лицо, привыкшее къ почету вокругъ, вынуждено трагическимъ оборотомъ дѣлъ признать себя передъ

всѣми, на вѣчѣ, «воромъ», просить о немедленномъ приговорѣ себѣ итти изъ дорогой отчины въ ссылку. Другой, за нимъ слѣдующій, бояринъ Чермный, образецъ пылкаго и своевольнаго героя-повольника, который живетъ въ Новѣ-городѣ «веселъ», пока не ударилъ часъ его, призавшій стать стражемъ родного города; и въ эту самую критическую минуту любимая Наталья, для которой онъ отважно отдалъ себя въ пишу злымъ пересудамъ, вынужденнымъ преступленіемъ лишаетъ его самага дорогаго — воинской чести, чести воеводской. Прочія лица, представитель то молодой новгородской удали, то интригъ политической партіи, хотя всѣ изображены очень рельефно, но нельзя сказать, чтобы вполне оригинальны: ихъ можно вездѣ встрѣтить и въ нашей древней Руси и въ творествѣ, ей посвященномъ. Слѣдуетъ только повторить, что «всѣ они безъ исключенія» поставлены въ драматическое положеніе той или другою ситуаціей. Можно бы еще прибавить, что, такъ-сказать, въ произведеніи «слишкомъ много завязки», и если бы другими опытами соотечественники не были увѣрены въ высокомъ талантѣ покойнаго, можно бы усомниться, насколько удачно успѣлъ бы онъ все это развязать. Несомнѣннымъ остается одно: драматизмъ необыкновенно глубокъ, и «движеніе драматическаго дѣйствія чрезвычайно быстро». Лица, такъ-сказать, не приостанавливаются ни на минуту и не задерживаютъ собою сцены: говоря, они дѣйствуютъ, дѣйствуя — спѣшно поступаютъ впередъ къ развязкѣ, и дѣйствіе не описывается, не повѣствуется, а неудержимо, силою вещей, совершается. Съ этой стороны, сравнивая предыдущія драмы автора, всякій сознается, что онъ далеко ступилъ впередъ въ творествѣ, и Посадникъ есть «лучшее» изъ его «драматическихъ» произведеній. При всемъ томъ, что оно не окончено, что самъ авторъ, повидимому, ради указанныхъ причинъ, медлитъ развязкой и что, наконецъ, чтеніе драмы продолжалось около «двухъ часовъ», до одиннадцати вечера, судя по всѣмъ отзывамъ слышавшихъ, впечатлѣніе, на нихъ произведенное, было глубоко, цѣльно и полно.

Съ грустнымъ чувствомъ мы начали эту замѣтку, и съ грустнымъ чувствомъ ее кончаемъ. Ряды нашихъ поэтовъ рѣдѣютъ. Смерть преждевременно пресѣкла эту прекрасную жизнь, полную свѣтлаго служенія искусству. Говоримъ — преждевременно, потому что графъ Алексѣй Константино-

вичъ находился еще въ зрѣломъ расцвѣтѣ силъ и былъ полонъ творческаго огня. Въ головѣ его роились планы и образы, онъ былъ наканунѣ самыхъ серьезныхъ и плодотворныхъ вдохновеній. Одинъ изъ старѣйшихъ представителей нашей литературы говорилъ намъ, что послѣднія письма къ нему графа Толстого, наполовину наполненныя стихами, поражали избыткомъ творчества, бывшаго черезъ край даже въ простой дружеской перепискѣ... Кто знаетъ, сколько прекрасныхъ созданій зрѣлаго вдохновенія безвозвратно унесла могила!

А.

Поэтъ-богатырь *).

(По поводу писемъ гр. Алексѣя Толстого.)

I.

У благодушнаго Я. П. Полонскаго есть слѣдующее замѣчательное стихотвореніе:

Писатель, если только онъ
Волна, а океанъ — Россія,
Не можетъ быть не возмущенъ,
Когда возмущена стихія...

Писатель, если только онъ
Есть нервъ великаго народа,
Не можетъ быть не пораженъ,
Когда поражена свобода...

Истинный писатель, всегда и всюду, есть первый страдалецъ своего народа, и можетъ-быть, онъ одинъ—истинный страдалецъ. Его прекрасный даръ часто обращается для него въ проклятіе: въ его сердцѣ минутами сосредотчивается все зло міра, вся боль общественнаго сознанія. Народная масса гибнетъ, но психически не страдаетъ; больныя ткани тѣла разлагаются, но не ощущаютъ этого, и только одни нервы испытываютъ жгучую боль, сами оставаясь нетронутыми. Испытывать отдѣльной волнѣ всѣ дрожанія океана! Быть нервомъ великаго народа и выносить его страданія! Участь трагическая. Она была бы невыносимою, если бы не была естественной; скорбь свойственная генію, какъ замѣтилъ еще Аристотель. Генію же, прибавилъ бы я, свойственна и высшая радость: въ томъ же сердцѣ истиннаго писателя есть мѣсто и для мірового счастья, для острыхъ

*) М. О. Меньшиковъ, «Критическіе очерки». Спб. 1899 г.

наслажденій сознанія, недоступныхъ толпѣ. Счастливъ «нервъ великаго народа», чувствующій себя въ тѣлѣ живомъ и цвѣтущемъ, полномъ кипучей жизни. Но гораздо чаще этотъ нервъ ощущаетъ себя среди гнойныхъ язвъ, застарѣлыхъ, неизлѣчимыхъ...

Въ примѣръ писательскихъ мученій позвольте привести графа Алексѣя Толстого, насколько жизнь его отразилась въ недавно напечатанныхъ очень интересныхъ письмахъ его. Исполнилось 20 лѣтъ со смерти поэта, но онъ не дождался, конечно, отъ своего поколѣнія даже сколько-нибудь приличной біографіи. Этотъ замѣчательный талантъ уже заволакивается въ памяти общества забвеніемъ, сочиненія его расходятся по одному изданію въ десять лѣтъ... Такъ вотъ ради этой неблагодарности къ нему общества, вспомнимъ же, какъ онъ страдалъ при жизни—не за себя страдалъ, а за тѣхъ, которые его и не знали и которые такъ скоро забыли...

Повидимому, совѣмъ не подходящій примѣръ; судя по мимолетнымъ свѣдѣніямъ о личности графа и его бодрой и ясной музѣ, нельзя предположить въ немъ «страдальца за народъ». Аристократъ *rig sang*, принятый въ самыхъ высшихъ сферахъ, другъ дѣтства императора Александра II, независимый, блестящій, одаренный... Какой онъ страдалецъ? Онъ былъ скорѣе тонкій литературный жуиръ, любитель рѣдкостей въ обширныхъ, ему доступныхъ сокровищахъ исторіи и поэзіи. Въ его стихахъ и прозѣ почти не отразилась современность; его занимала древняя русская эпоха или легенды западныхъ странъ.

Таково ходячее мнѣніе объ этомъ поэтѣ. По отвратительной русской чертѣ—искать въ человѣкѣ прежде всего дурныхъ качествъ и даже навязывать ихъ ему, Алексѣя Толстого упрекаютъ еще въ консерватизмѣ, «царедворствѣ» и т. п. и все это на гадкой подкладкѣ будто бы какихъ-то корыстныхъ расчетовъ. Но на самомъ дѣлѣ, все это очень несправедливо. «Консерваторъ» и «царедворецъ», подобно Пушкину, Толстой былъ, несомнѣнно, одинъ изъ искреннѣйшихъ людей своего времени,—не безъ недостатковъ, не безъ заблужденій, конечно,—но человѣкъ съ истинно-рыцарскими наклонностями и ужъ вовсе не холопъ. Ему все было дано для праздной и безпечной жизни, но дано было и «больше»: чуткое сердце, которое тотчасъ и обрекло его на страданія.

Да, вопреки ходячему мнѣнію, великосвѣтскій поэтъ, окаявается, былъ «первъ великаго народа», былъ «пораженъ»—да еще какъ!—со всею жгучестью страстной, въ своемъ родѣ «толстовской» души—не даромъ же онъ назывался графомъ Толстымъ. Эти писательскія страданія графа сквозятъ изъ всѣхъ его крупныхъ вещей, въ его мощной лирикѣ и исторической прозѣ. Болѣе опредѣленно подчеркиваютъ эти страданія его частныя письма.

Кому адресованы письма—неизвѣстно, даже одному ли лицу. Но они писаны по-французски, часть ихъ адресована чрезъ Государственный Совѣтъ, и есть глухіе намеки на высокое положеніе нѣкоторыхъ изъ читавшихъ эти письма. Чтобы понять тягостное настроеніе этихъ писемъ, надо вспомнить, что всю свою юность А. Толстой провелъ при дворѣ, пробовалъ служить при самыхъ блестящихъ условіяхъ, ему открывалась самая широкая карьера—и все-таки онъ отъ всего отрекся, «бѣжалъ», какъ говорится, чтобы «прозябать въ деревнѣ»... Уже весною 1860 года черезъ m-lle Тютчеву Ал. Толстому было сдѣлано какое-то новое предложеніе, которое причиняетъ ему видимыя страданія. «Вотъ что я имѣю сказать въ отвѣтъ m-lle Тютчевой»,—пишетъ Алексѣй Толстой:—«... я готовъ преклониться передъ тѣмъ, который сумѣетъ приспособиться къ какой-нибудь роли, чтобы дойти до благородной цѣли... но для этого необходимы «особенныя дарованія», которыхъ у меня нѣтъ. Интересно было бы на меня посмотрѣть въ мундирѣ III отдѣленія! Развѣ есть у меня необходимая для этого ловкость? Я только себя запачкаю безъ всякой пользы для кого-либо! Но это лишь примѣръ! Есть положенія, которыя, не будучи нечистыми, также невозможны для меня, такъ какъ пришлось бы постоянно лгать. Я не говорю это, чтобы похвастаться—совсѣмъ нѣтъ! Я бы хотѣлъ быть «способнымъ лгать», чтобы убить ложь, но этихъ «дарованій» у меня нѣтъ!»

II.

Повидимому, въ нѣкоторыхъ сферахъ дѣлались энергическія усилія привлечь поэта къ какой-то службѣ, почетной, по общему мнѣнію, можетъ-быть, административной, но которая угрожала Алексѣю Толстому потерей независимости—

а онъ былъ гордъ и свободенъ до послѣдней клѣточки мозга! Уродиться такимъ «дикимъ» въ средѣ самыхъ высокихъ связей и самыхъ тонкихъ подчиненій—большое несчастье. «Я вамъ говорю,—съ отчаяніемъ продолжаетъ Толстой,—что я въ этой средѣ задыхаюсь, въ полномъ смыслѣ слова задыхаюсь! Предложите Тамберлику пѣтъ по уши въ водѣ. Этотъ элементъ не по мнѣ, я въ немъ никогда не могъ бы жить. Если я въ чемъ виноватъ, то лишь въ томъ, что я раньше категорично не объяснился,—и повѣрьте мнѣ, что если бы я высказалъ свое *scredo* отъ начала до конца, то не только бы не захотѣли меня удерживать, но пожали бы плечами отъ жалости. У меня другія «дарованія», и большая моя вина въ томъ, что я не отдался имъ вполне. Но лучше поздно, чѣмъ никогда. Если компромиссъ былъ возможенъ, то это тотъ, который есть, и я его принялъ изъ уваженія, изъ почтительности, изъ привязанности... Если этотъ компромиссъ мнѣ удастся,—я останусь; если нѣтъ,—я сдѣлаю иначе, но не такъ, какъ думаетъ *malle* Тютчева. Если бы я могъ довести мой образъ мыслей и чувствъ выше, я бы сдѣлалъ это съ радостью».

Похожъ ли этотъ Толстой, несомнѣнный «консерваторъ», на «лукаваго царедворца», какимъ его считали въ литературѣ? Приводимое письмо предназначено, повидимому, для очень высокаго вниманія, и оно дышитъ самою рѣшительною неговорчивостью, терзаніями между чувствомъ «привязанности» и нравственнымъ долгомъ.

«Мои силы,—пишетъ Толстой въ томъ же письмѣ,—совершенно парализованы по отношенію къ средѣ, о которой рѣчь. Что она мнѣ говоритъ про мою искренность, которую якобы цѣнятъ?! Ее, можетъ-быть, терпѣли иногда, но всегда безъ всякаго результата. Могутъ ли двѣ линіи, одна изъ которыхъ идетъ на востокъ, другая на западъ, когда-нибудь соединиться? Два человѣка, изъ которыхъ одинъ не понимаетъ языка, на которомъ говоритъ другой, могутъ ли когда-нибудь столковаться? Можно ли разсуждать объ отвлеченныхъ матеріяхъ, когда не сговорились насчетъ азбуки? Можно ли достигнуть общаго результата, когда не только исходныя точки, но и цѣли совершенно различны? Можно ли прійти къ соглашенію, когда, напримѣръ, одинъ изъ собесѣдниковъ говоритъ:—вотъ скала посреди дороги, мѣшающая проходу, и потому необходимо удалить скалу; а другой отвѣчаетъ:—вотъ дорога, которая можетъ повести

къ устраненію скалы, и потому необходимо закрыть эту дорогу?—Вотъ какія отношенія между мной и моимъ «собесѣдникомъ», но я иду слишкомъ далеко, такъ какъ мой собесѣдникъ «никогда» не входилъ со мною въ обсужденіе какихъ-нибудь «мыслей», — никогда! Въ его собственныхъ мысляхъ есть благородство, но «его система невѣрная, фальшивая». Его система не выдерживаетъ разсужденія, — и если я буду дѣйствовать по его системѣ, я буду невѣренъ самому себѣ».

Похоже ли это на лукаваго царедворца?

Черезъ годъ, въ 1861 году, въ одномъ его письмѣ есть такая приписка: «...До свиданія, дорогой другъ. Доброта и память обо мнѣ императрицы меня трогаютъ, лишь бы только эта доброта не была для меня причиною рабства. Цѣпи— всегда цѣпи, даже когда они изъ цвѣтовъ!»

III.

Такова была одна изъ печалей души поэта. Вольнолюбивый, могучій, гордый, онъ родился въ мірѣ для него чуждомъ. Вся молодость его прошла при дворѣ Николая I, въ вихрѣ свѣтской жизни, не лишенной обаянія, какъ онъ признается, но отъ которой онъ «часто убѣгалъ, чтобы по цѣлымъ недѣлямъ пропадать въ лѣсахъ», стрѣляя лосей и медвѣдей. Его тревожилъ даръ поэзіи, опьяняющая красота природы, умъ сильный и своеобразный, влекущій къ какимъ-то страннымъ для того времени идеаламъ. Алексѣю Толстому открывалась, очевидно, самая «блестящая карьера», императоръ Александръ II дѣлалъ всѣ усилія, чтобы привлечь своего любимца на службу—сначала военную, сдѣлавъ поэта даже флигель-адъютантомъ, но Алексѣй Толстой все отказывался:

О, государь, внемли: мой санъ,
Величье, пышность, власть и сила—
Все мнѣ несносно, все постыло!
Инымъ призваніемъ влекомъ,
Я не могу народомъ править:
Простымъ рожденъ я былъ пѣвцомъ,
Глаголомъ вольнымъ Бога славить.
Въ толпѣ вельможъ всегда одинъ,
Мученья полонъ я и скуки...

О, отпусти меня, калифъ,
Дозволь дышать и пѣть на волѣ!

Эта мольба Іоанна Дамаскина (изъ поэмы А. Толстого того же названія) имѣетъ, какъ мнѣ кажется, автобіографическое значеніе. То самое смутное влеченіе, что заставило Іоанна промѣнять чертоги калифа дамасскаго на пустыню, неудержимо влекло Толстого изъ столичной жизни въ деревню, въ Красный-Рогъ, на грудь природы:

Благословляю васъ, лѣса,
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю, я свободу
И голубыя небеса!

Въ этомъ (какъ и во многомъ другомъ) нашъ поэтъ напоминаетъ своего великаго однофамильца, бѣжавшаго рано въ ясную жизнь своей деревни. Но оба они не успокоились на волѣ и успокоиться не могли. Оба черезчуръ гордые, чтобы нести цѣпи, свитыя даже изъ розъ, были одержимы самую страстную влюбленностью въ свободу, хотя оба же очень долго (а многими и до сихъ поръ) считаются за «отсталыхъ консерваторовъ». Но отношеніе обоихъ Толстыхъ къ консерватизму было совсѣмъ особое, чрезвычайно характерное и не дававшее имъ ничего, кромѣ страданій.

Вотъ что пишетъ Алексѣй Толстой въ 1868 году: «Перехожу къ литературѣ, которая и есть *Ding an und für sich*, такъ какъ все остальное есть лишь явленія и... Вы мнѣ говорите, что Теофилъ—это салонныхъ консерваторовъ... Я вамъ скажу съ грубою откровенностью... что такое эти консерваторы... ваши салонные консерваторы. Вы знаете, насколько я ненавижу все красное, и чортъ меня возьми, если я въ той или другой изъ моихъ трагедій хотѣлъ что-либо доказать. Я презираю всякую тенденцію въ литературномъ трудѣ, я ее презираю какъ пустой патронъ... Я это говорилъ, и повторялъ, и переувсказывалъ! Но не моя вина, если изъ написаннаго мною ради любви къ искусству само-собою вытекаетъ, что деспотизмъ никуда не годится. Тѣмъ хуже для деспотизма! Оно вездѣ выскажется, во всякомъ художественномъ трудѣ; оно выскажется даже въ бетховенской симфоніи. Я ненавижу деспотизмъ такъ же, какъ я ненавижу Сенъ-Жюста и Робеспьера и т. д...

«Я это не скрываю и провозглашаю это громко, да, м-г... V., да, я провозглашаю, не посѣтуйте, м-г Т... Я го-

товъ кричать это съ крышъ, но я слишкомъ художникъ, чтобы втискивать это въ художественную работу, и я слишкомъ монархистъ, да, m-g M..., я слишкомъ монархистъ, чтобы нападать на монархію. Я даже скажу, я слишкомъ художникъ, чтобы нападать на монархію. Но развѣ монархія и то или другое лицо, носящее корону — одно и то же? Развѣ Шекспиръ былъ республиканецъ, потому что онъ написалъ «Макбета» или «Ричарда III»? Шекспиръ при Елизаветѣ поставилъ на сцену своего «Генриха VIII», и Англія отъ этого не рухнула!»

Надо замѣтить, что гр. А. Толстой — личный другъ императора, егермейстеръ двора — не миновалъ участи быть обвиненнымъ въ «попріясненіи основъ». Его историческія драмы — Смерть Іоанна Грознаго, Ѳеодоръ Іоанновичъ и пр. были сочтены памфлетами противъ монархіи и строго запрещены въ провинціи. Въ письмѣ отъ 16-го дек. 1868 года А. Толстой съ горькою ироніей разсуждаетъ объ участи своихъ пьесъ. «Смерть Іоанна, — пишетъ онъ, — запрещена безъ всякихъ церемоній, но «Василиса Мелентьева» и «Опричникъ» позволены съ условіемъ, что губернаторъ дастъ имъ аттестатъ. Лонгиновъ (бывшій въ то время курскимъ губернаторомъ) очень озадаченъ циркуляромъ, который ему приказываетъ преслѣдовать всѣ пьесы, которыя не были разрѣшены для провинціи, тогда какъ онъ не имѣетъ никакого способа узнать ихъ. Пьесы раздѣлены на нѣсколько категорій: однѣ разрѣшены лишь въ столицахъ, другія — въ столицахъ и провинціяхъ; другія же — въ провинціяхъ, но съ аттестатомъ отъ губернатора. Это очень напоминаетъ парадную форму: праздничную, полную праздничную, полную парадную и парадную походную. Многіе изъ нашихъ лучшихъ генераловъ сошли съ ума отъ этихъ осложнений. Нѣкоторые впали въ младенчество, вслѣдствіе постояннаго застегиванія и разстегиванія; двое застрѣлились. Я очень боюсь, что то же самое случится и съ тѣми и что они начнутъ ржать и ходить на четверенькахъ...» Даже Князя Серебрянаго Толстой писалъ со страхомъ и трепетомъ, хотя и «старался забыть, что цензура существуетъ...»

IV.

Но зачѣмъ было трепетать Толстому? Онъ могъ бы писать рутинныя «патріотическія» пьесы, спокойно выводить

въ нихъ отцовъ-благодѣтелей въ лицѣ Іоанновъ и Теодоровъ, и никто бы не причинилъ ему ни малѣйшей непріятности. Вѣдь, дѣлали же это многіе другіе писатели и дѣлаютъ до сихъ поръ. Да, «другіе», но не «онъ». Другіе — пишущая челядь, а онъ былъ истинный аристократъ, не только по титулу, а по благородной душѣ своей, не терпѣвшей ни малѣйшаго покушенія на ея свободу:

Надъ вольной мыслью Богу не угодны
Насиліе и гнѣтъ,
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умретъ...

Это вдохновенное, страстное убѣжденіе А. Толстого, которое онъ проповѣдывалъ всю жизнь, онъ вложилъ въ уста Іоанна Дамаскина. Можно подумать, что сладость свободы была подсказана поэту этими личными его страданіями? Въ самомъ дѣлѣ, чувствовать себя одареннымъ свыше и не смѣть обнаружить этотъ даръ — это обидно; быть убѣжденнымъ другомъ порядка и быть заподозреннымъ въ измѣнѣ ему — это обидно; быть русскимъ до глубины сердца и чувствовать себя безправнымъ въ Россіи, какъ бы вѣчнымъ гостемъ у какихъ-то хозяевъ, засѣдающихъ въ департаментѣ — это обидно... «Другіе» не обижались, но онъ — съ душою рыцаря... Да, онъ страдалъ глубоко и за себя, но не только за себя, и, можетъ-быть, и за себя-то страдалъ только острую болью проснушагося въ немъ стихійнаго, народнаго сознанія.

Что составляетъ отличительную черту гр. Алексѣя Толстого какъ писателя? Кромѣ честной души, которая и между писателями встрѣчается не часто, кромѣ выдающагося таланта и образованія — Алексѣй Толстой выдѣляется совершенно своеобразнымъ историческимъ міросозерпаніемъ, своими особенными общественными вкусами. Онъ не былъ ни западникъ, ни славянофилъ, ни консерваторъ, ни либераль, ни государственникъ, ни анархистъ, а нѣчто совсѣмъ особое, для чего нѣтъ еще и названія въ русской жизни. Онъ считалъ идеаломъ государственности монархію — но какую? Современную ему? Нѣтъ, хотя личная дружба и связывала его съ императоромъ-Освободителемъ. Монархію «петербургскаго» (до реформъ) періода? О, нѣтъ, хотя онъ и служилъ ей, выросши при дворѣ. Монархію стараго, московскаго періода, столь воспѣтую нѣкоторыми славянофилами? Онъ ее ненавидѣлъ. «Моя ненависть, — пишетъ онъ

(въ 1869 г.),—къ «московскому періоду» есть идиосинкразія, и я не подвинчиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что говорю. Это не тенденція,—это я самъ. Откуда взяли, что мы «антиподы» Европы? Туча прошла надъ нами, «облако монгольское», но это была лишь туча, и чортъ должень поскорѣе убрать ее... Я нѣсколько словъ сказалъ объ этомъ въ моемъ проектѣ о постановкѣ «Федора». Нашли ли вы это сомнительнымъ: русскіе — европейцы, а не монголы!»

Вотъ корень міросозерцанія А. Толстого и источникъ его страданій. «Мы европейцы, а не монголы!» съ отчаяніемъ восклицалъ онъ въ вѣкъ грубый, когда русская жизнь еще едва начинала освобождаться отъ монгольскаго духа. Это было, скажете вы, въ разгарѣ нашего либерализма. Да, либерализма «на монгольскій ладъ» — съ новыми цѣлями, но со старыми средствами борьбы. Деспотизмъ монгольскій въ тѣ либеральныя 60-е годы еще былъ живъ въ нашихъ нравахъ, какъ живетъ онъ и доселѣ. «Мы европейцы, а не монголы!» готовъ былъ кричать съ крышъ бѣдный поэтъ, видя всюду въ жизни, и вправо и влево отъ себя, монгольскія начала. Тѣ, кто слышали его, соглашались, что мы европейцы — но, какъ нѣкоторые славянофилы и лжеохранители, проповѣдывали монголизмъ, сами того, быть-можетъ, не замѣчая. Истинный русскій человѣкъ, графъ А. Толстой чувствовалъ себя, сверхъ того, и истиннымъ европейцемъ: онъ носилъ въ себѣ подлинныя инстинкты не только своего племени, но и великой расы, къ которой это племя принадлежитъ. Онъ не даромъ еще ребенкомъ сидѣлъ на колѣняхъ Гёте и чуть не молился на статую работы Микель-Анджело: Европа была его истинною второю родиной послѣ Россіи, его душа вмѣщала всѣ откровенія западныхъ цивилизацій не какъ чуждая, а какъ родная, — правда, припозабытая, но свои, какъ свои они для англичанина, нѣмца и француза.

V.

Алексѣй Толстой, «двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный», какъ онъ себя характеризуетъ, отвергаемый обоими лагерями — консерваторами и либералами — я думаю, онъ былъ невѣдомо для себя предвѣстникомъ новой и въ то же время очень старой эры русскаго сознанія. Какъ кон-

серваторъ, онъ былъ гораздо, такъ-сказать, древнѣе «салонныхъ консерваторовъ» и даже московскихъ патріотовъ: то, что онъ считалъ за основы жизни русской, старше не только сегодняшняго дня, съ такимъ упорствомъ отстаиваемаго охранителями, но и старше ближайшихъ вѣковъ нашей исторіи. «Москва! Какъ много въ этомъ звукѣ для сердца русскаго слилось, какъ много въ немъ отозвалось». Даже столь искренніе люди, какъ Пушкинъ, были захвачены культомъ «матушки Москвы», единственнымъ подвигомъ которой послѣ Петра было сдаться французамъ безъ боя. Памятный день для Россіи 1812 годъ, тяжелая война и тяжелая побѣда омрачили и безъ того смутное сознаніе тогдашняго общества: изъ пепла Москвы возникла не только общественная реакція послѣдующихъ сорока лѣтъ, но и романтическій культъ допетровскаго времени. Не только Карамзинъ, но даже Пушкинъ и его созвѣздіе писателей были подъ вліяніемъ этого ложно-патріотическаго культа. Алексѣй Толстой всего на 18 лѣтъ былъ моложе Пушкина — но какая колоссальная разница въ міросозерцаніи! Впрочемъ, возвратившись къ дотатарскимъ идеаламъ, Алексѣй Толстой обогналъ сразу не только Пушкина, но даже и Тургенева съ его «постепеновскими» возрѣніями. Онъ обогналъ нашъ вѣкъ; кромѣ Льва Толстого, котораго идеалъ еще шире и всемірнѣе, — люди даже нашего поколѣнія «конца вѣка» пока не въ состояніи вмѣстить мысль Алексѣя Толстого. Но я думаю, что будетъ же когда-нибудь время, когда эта мысль восторжествуетъ, когда мрачные «средніе» вѣка нашей исторіей будутъ признаны не единственнымъ и не лучшимъ выраженіемъ духа народнаго. Глубокъ еще сонъ русскаго общества, но когда онъ пройдетъ, возникнетъ же потребность усовершенствованія нашей жизни на началахъ дѣйствительной цивилизаціи, и вотъ тогда обнаружится, что общественное творчество — на самомъ дѣлѣ очень старое, только слишкомъ, къ сожалѣнію, забытое: это творчество первыхъ, самыхъ свѣжихъ и ясныхъ вѣковъ нашей исторіи. Самъ Алексѣй Толстой — этотъ блестящій придворный и аристократъ — что онъ такое, какъ не просыпающаяся душа великаго народа, послѣ многовѣкового гипноза? Алексѣй Толстой не отдѣлялъ себя отъ народа:

Но Потокъ говорить:—Я, вѣдь, тоже народъ,
Такъ-за что жъ для меня исключенье?..

Алексѣй Толстой былъ народенъ въ высшей, доступной его таланту степени и былъ страстно влюбленъ въ народность, но все же «катался на землѣ» отъ отчаянія, вспоминая, что судьба иногда дѣлала съ народомъ въ исторіи. Отчаяніе — одна изъ вершинъ сознанія, любовь и гнѣвъ вмѣстѣ:

Средь міра лжи, средь міра мнѣ чужого
Не навсегда моя остыла кровь:
Пришла пора, и вы воскресли снова,
Мой прежній гнѣвъ и прежняя любовь!

Въ лицѣ поэта просыпающійся народъ какъ бы припоминаетъ свои забытыя мечты, стародавніе, какъ сны юности, идеалы. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, мы не монголы, — въ самомъ дѣлѣ, мы рождены для иного, болѣе благороднаго удѣла, нежели тотъ, который навязало намъ вѣяніе Востока.

VI.

«Теорія» гр. Алексѣя Толстого въ томъ, что было когда-то время, когда нравы наши были иные, полныя достоинства и свободы, и духъ деспотизма былъ чуждъ нашимъ предкамъ, какъ душѣ поэта. Но когда же была эта эпоха и была ли? Гр. А. Толстому принадлежитъ честь ея открытія русскому обществу, хотя онъ былъ и не историкъ и хотя и ранѣе его нѣкоторые историки догадывались объ этой, въ своемъ родѣ, затопленной волнами монгольства Атлантидѣ. Гр. А. Толстой былъ только поэтъ, но и одного художественнаго чутья было мало, чтобы найти лучшую изъ эпохъ исторіи: нужно было имѣть благородную душу, нерастлѣнные народные инстинкты, ясный нравственный идеалъ. Все это нашлось у Алексѣя Толстого, и онъ безъ труда увидѣлъ единственный «европейскій періодъ нашей исторіи», какъ онъ его называетъ. Онъ его увидѣлъ не послѣ Петра, какъ принято смотрѣть, а послѣ... Рюрика. Неслыханная смѣлость, почти дерзость! Ересь противъ науки русской, противъ установившихся общественныхъ воззрѣній. Вѣдь, наука того времени утверждала, что «настоящая» русская исторія начинается только со временъ Москвы, которая одна явилась создательницей Россіи, собирательницей ея изъ хаоса удѣльнаго дробленія. Періодъ «до» Москвы считается подготовительнымъ, временнымъ; можетъ-быть, неизбѣжнымъ, но не настоящимъ.

По мнѣнію историковъ, онъ непремѣнно долженъ былъ окончиться тѣмъ, чѣмъ окончился, даже если бы и не было татаръ. Иначе, совсѣмъ иначе смотритъ гр. Алексѣй Толстой. Его можно назвать романтикомъ удѣльнаго періода,—до того привлекательною ему кажется наша древняя, вѣчевая и княжеская старина. Онъ воспѣвалъ ее въ своихъ поэмахъ, балладахъ и былинахъ, въ своихъ историческихъ драмахъ («Посадникъ»), проповѣдывалъ въ письмахъ. Изучая древнѣйшій періодъ нашей исторіи, онъ приходитъ въ восторгъ, встрѣчая несомнѣнныя доказательства живого общенія тогдашней Руси съ Западомъ. «У Ярослава были три дочери,—пишетъ онъ:—Елизавета, Анна и Анастасія. Анна вышла замужъ за Генриха I, короля Франціи, который, чтобы просить ея руки, прислалъ въ Кіевъ епископа шалонскаго Рожера, въ сопровожденіи 12 монаховъ и 60 рыцарей. Третья, Анастасія, была женой Андрея Венгерскаго, а первая, Елизавета, была сватана Гаральдомъ Норвежскимъ, тѣмъ самымъ, который сражался противъ Гаральда Англійскаго; онъ былъ бѣдный человѣкъ, и ему отказали. Огорченный своею неудачей, онъ сдѣлался пиратомъ въ Сициліи, Африкѣ и на Босфорѣ, откуда и вернулся въ Кіевъ съ большимъ богатствомъ и былъ принятъ въ зятя Ярослава». Алексѣй Толстой восхищенъ этимъ лишнимъ доказательствомъ почетнаго положенія Кіева въ семьѣ народовъ, и онъ пишетъ балладу о Гаральдѣ. «Кстати, знаете ли вы,—пишетъ онъ,—что Григорій VII, знаменитый Гильдебрантъ, былъ признанъ Изяславомъ? И что его предшественникъ, папа Климентъ, не знаю который, послалъ посольство въ Кіевъ? Что вы на это скажете? Католическій нунцій на византійскихъ улицахъ Кіева! Генрихъ IV, императоръ германскій, посылающій съ своей стороны посольство къ Изяславу; монахи свиты нунція, чокающіеся съ «печерскими иноками»! Византія и Римъ ссорятся, но ихъ ссоры не достигаютъ еще народовъ, которые, сознавая себя одинаково недавними христіанами, братаются между собою, какъ о томъ свидѣлствуютъ безчисленные браки между нашею и другими европейскими династіями. Графиня Матильда де-Бѣллоозеро? А? Что вы скажете на это? Есть въ этомъ колоритъ? А? Подходить ли это къ моей теоріи?» Написавъ балладу о Гаральдѣ, Алексѣй Толстой написалъ исторію Даніи Дальмана и, къ своему восторгу, нашелъ тамъ «подтвержденіе многимъ подробностямъ, кото-

рня написалъ по наитію». Дальманъ, между прочимъ, говоритъ, что скандинавами былъ вложенъ въ русскую почву «благородный зародышъ германской государственности, уничтоженный лишь яростью монголовъ, которые, какъ туча саранчи, напали на Россію. То время, когда говорили: «кто противъ Бога и Великаго Новгорода?», не было замѣнено ни Іоанномъ III, ни Іоанномъ IV, ни Петромъ Великимъ». Алексѣй Толстой очень радъ, что встрѣтилъ поддержку со стороны Дальмана, но горячо возражаетъ, будто скандинавы принесли въ Россію зародышъ нашей государственности. «Дальманъ,—пишетъ онъ,—ошибается, приписывая скандинавамъ наши начала свободы. Скандинавы не установили, а нашли вѣче уже совсѣмъ «установленнымъ». Ихъ заслуга въ томъ, что они его подтвердили, тогда какъ отвратительная Москва уничтожила его,—вѣчный стыдъ Москвѣ! Не было надобности уничтожать свободу, чтобы покорить татаръ. Не стоило уничтожать менѣе сильный деспотизмъ, чтобы замѣнить его «болѣе сильнымъ. Собираніе русской земли!» Собрать хорошо, но надо знать, «что собирать»? Горсточка земли лучше огромной кучи...» Вотъ до какой дерзости противъ установленныхъ взглядовъ доходилъ нашъ поэтъ. И какъ онъ одинокъ былъ въ своемъ благородномъ идеализмѣ! Сколько страданій причиняло ему торжество совсѣмъ иной, псевдо-патріотической школы.

VII.

Люди темперамента гр. А. Толстого могутъ влачить дни свои во всякую эпоху, среди всякихъ мерзостей; связанные, они могутъ молча выносить свои страданія, но не страдать они не могутъ. Примириться съ униженіемъ — никогда! Они могутъ жить потому, что, кромѣ горькихъ огорченій отъ людской глупости, остается еще красота природы и красота ихъ собственной души, такъ что жить всегда хочется. Полюбуйтесь, какою страстной жизнью горитъ 52-лѣтній поэтъ (въ 1869 году): «Теперь ночь, тепло, громъ гремитъ, дождь идетъ, но если погода разгуляется, я живо сяду верхомъ и поѣду въ лѣсъ съ докторомъ стрѣлять глухарей, что я дѣлаю каждую ночь, съ тѣхъ поръ какъ они токують... Въ часъ ночи, всякій день аккуратно я сажусь верхомъ и ѣду верстъ за десять ждать у горящаго костра восходящую зарю, чтобы

стрѣлять великолѣпныхъ глухарей... Третьяго дня я взялъ съ собою мою жену, и она была такъ восхищена всѣмъ, что видѣла и слышала, что ей жаль было уѣзжать. Луна была полная, и, прежде чѣмъ заря появилась, лѣсъ запѣлъ! — Цапли, дикія утки и особенный сортъ маленькихъ бекасовъ проснулись, и начался весь ихъ гармоническій шумъ и гамъ...» Совершенно богатырское времяпрепровождение, радость свѣжей, первобытной души. Сказать кстати, этотъ пѣвецъ богатырскихъ временъ богатырь былъ и тѣломъ, обладая огромною силой. Немудрено, что его тянуло къ мощной жизни природы. Но онъ не могъ быть счастливъ. Его сердце точитъ все та же мысль о нашемъ историческомъ горѣ, о китаизмѣ, которымъ насъ отравили монголы. Въ томъ же письмѣ, гдѣ онъ описываетъ ночи на охотѣ, Толстой посылаетъ шуточную, очень горькую «балладу». Главный мандаринъ Дху-Кинь-Дцинъ, по порученію владыки, спрашиваетъ совѣтъ мандариновъ: «Зачѣмъ у насъ, въ Китаѣ, досель порядка нѣтъ?»

Китайцы всѣ присѣли,
Задами потрясли,
Гласятъ: «Зачѣмъ досель
Порядка нѣтъ въ земли,
Что мы, вѣдь, очень млада,
Намъ тысячъ пять лишь лѣтъ,—
Зачѣмъ у насъ нѣтъ складу,
Зачѣмъ порядку нѣтъ.
Клянемся разнымъ чаемъ,
И желтымъ и простымъ,
Мы много общаемъ,
И много совершимъ!..

Константинъ Семичъ
ОГДАНОВСКИЙ

Мандарину отвѣтъ этотъ понравился, но на всякій случай

... Приказалъ онъ высѣчь
Немедля весь совѣтъ.

Живя въ черниговской глуши, стрѣляя глухарей, А. Толстой не могъ превратиться, какъ большинство помѣщиковъ, самъ въ глухаря, совершенно равнодушнаго къ судьбѣ своего народа. «Лукавый царедворецъ» и «консерваторъ», онъ болѣлъ вопросами времени не меньше, чѣмъ другой прославленный поэтъ, издатель передового журнала, жившій въ Петербургѣ. Если Некрасову нельзя отказать въ искренности душевныхъ мученій, то нельзя въ ней отказать и Алексѣю

Толстому, который составлялъ во многомъ антиподъ Некрасова. Пусть Некрасовъ провелъ молодость въ петербургскихъ трущобахъ, а Толстой въ придворныхъ сферахъ—оба поэта были истерзаны современной жизнью, каждый на свой образецъ. Некрасову, съ преобладаніемъ у него ума надъ чувствомъ, гнетъ тогдашняго настроенія, пожалуй, былъ даже легче, чѣмъ пылкому и страстному Алексѣю Толстому. Одно изъ писемъ, помѣченное 20-мъ апрѣля 1869 года, отражаетъ душевное волненіе поэта совсѣмъ не деревенскаго характера:

«Какой русскій не желалъ бы сліянія польскаго элемента съ русскимъ? Но не запрещеніемъ говорить по-польски на улицахъ, въ кофейняхъ и въ аптекахъ этого достигаютъ... Вы имѣете грустную храбрость порицать мой тостъ за всѣхъ подданныхъ Государя Императора, какова бы ни была ихъ нація. Но знаете ли, что вы и ваши... тѣмъ самымъ утверждаете польскую національность гораздо болѣе меня, ставя ее внѣ закона. Вы говорите: «Нѣтъ болѣе поляковъ», и нападаете съ кулаками на все польское! Вы называете себя русскими, а ваши упреки за мой тостъ — это однѣ нѣмецкія придирки. Вы вмѣстѣ съ бѣднымъ Щербиной *) говорите, что нельзя допустить разныя національности въ могущественномъ государствѣ. Милыя дѣти, посмотрите въ лексиконъ! Что такое національность? Вы смѣшиваете государство съ національностями; нельзя допустить разныя государства; но не отъ васъ зависитъ допустить или не допустить національности. Армяне, подвластные Россіи, будутъ армянами; татары — татарами; нѣмцы — нѣмцами; поляки — поляками... Старайтесь — я буду очень радъ — рядомъ искусныхъ мѣръ обрусить различныя національности вашего государства. Но главное — будьте искусны и не будьте глупы и грубы... Возвращенныя губерніи должны быть русскими, — кто въ этомъ сомнѣвается? Но какъ? Дѣлая то, что Пруссія сдѣлала для Познани, а не отрицая польскую національность, которая тѣмъ или другимъ способомъ установилась. Фактъ существуетъ, цифры не при чемъ. Напротивъ, чѣмъ меньше цифръ, тѣмъ менѣе вамъ извинительно употреблять мѣры насилія и топтать ногами соціальныя законы...

*) Известный статистикъ, этнографъ и знатокъ быта русскаго народа.

Еще одно слово: наша глупость, запрещающая католикамъ молиться по-русски, не оправдываетъ глупости въ противномъ смыслѣ. Это — исторія пьяницы, который не можетъ влѣзть на лошадь, но все или перескочить. или не доскочить... И когда я вспомню о красотѣ нашего языка, когда я думаю о красотѣ нашей исторіи до проклятыхъ монголовъ и отвратительной Москвы, которая болѣе позорна, чѣмъ они, мнѣ хочется броситься и кататься по землѣ отъ отчаянія: что мы сдѣлали съ дарами, которые далъ намъ Богъ?!»

VIII.

Вы видите, какъ близко къ сердцу принималъ поэтъ даже такіе отдаленные отъ поэзіи вопросы, какъ положеніе русскихъ инородцевъ. Нынѣшніе разнѣженные, изнеможенные поэты сочли бы ужасомъ дотронуться до столь прозаической вещи: что для нихъ исторія, историческая справедливость, народное достоинство? Что для нихъ страданія народныя? Совсѣмъ что-то ненужное, неинтересное, «пошлое»...

Но поэты шестидесятыхъ годовъ были иного склада: они — даже такими аристократами, какъ А. Толстой, даже въ придворномъ званіи, способны были «броситься и кататься по землѣ отъ отчаянія» при видѣ торжества грубости нашей, нашей все еще монгольской жестокости въ отношеніи къ ближайшимъ братьямъ и даже къ самимъ себѣ...

Любовь къ «народному» достоинству составляетъ самую рельефную черту поэзіи гр. А. Толстого. Онъ не демагогъ, онъ ненавидитъ «красныхъ», онъ монархистъ — и ужъ, конечно, честный монархистъ, не торгующій, какъ иные наши «исты» (обоихъ лагерей), своими политическими убѣжденіями, — но онъ въ то же время народолюбецъ, да еще какой! Одна мысль о народномъ рабствѣ жалитъ его и заставляетъ взвиваться на дыбы, какъ стрѣла нубійца — дикаго льва. Лучшіе звуки сердца онъ посвятилъ когда-то бывшей, легендарной, но общенародной вольности на зарѣ нашей исторіи, оплакивая гибель ея въ послѣдующія эпохи. Вспомните быliny о Змѣѣ Тугаринѣ, Потокѣ-Богатырѣ и пр. На пиру Владимира, окруженнаго богатырями, является татаринъ-пѣвецъ и предсказываетъ, что внуки князя, столь великаго и славнаго, будутъ держать золоченое стремя его,

бѣднаго нищаго, внукамъ. Богатыри волнуются, но дерзкій пѣвецъ продолжаетъ:

И честь, государи, замѣнить вамъ кнутъ,
А вѣче — каганская воля...

Обычай вы нашъ переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вотъ, наготовившись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И съ честной поссоритесь вы стариной,
И предкамъ великимъ на соромъ,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: станемъ къ варягамъ спиной,
Лицомъ повернемся къ обдорамъ!

Добрыня узналъ злодѣя-Тугарина и схватилъ свой богатырскій лукъ. Пѣвецъ, какъ вы помните, перекинулся въ змѣя и уплылъ по Днѣпру. Поэтъ заставляетъ хохотать и князя, и богатырей, и весь народъ русскій надъ предсказаніями змѣя:

— Чтобы мы отъ Тугарина приняли срамъ!
Чтобъ спины подставили мы батогамъ!
Чтобъ мы повернулись къ обдорамъ!

Нѣтъ, шутить! Живетъ наша русская Русь,
Татарской намъ Руси не надо!

Такъ восклицаетъ Владимиръ-Солнце и приказываетъ принести большую чару, добытую въ сѣчѣ съ хозарскимъ ханомъ:

— За русскій обычай до дна ее пью,
За древнее русское вѣче!
За вольный, за честный славянскій народъ,
За колоколъ пью Новаграда,
И если онъ даже и въ прахъ упадетъ,
Пусть звонъ его въ сердцахъ потомковъ живетъ!..

Пьетъ Владимиръ за варяговъ, своихъ могучихъ дѣдовъ, «къмъ русская сила подъята», — и на этотъ тостъ въ былинѣ отвѣчаетъ тостомъ же весь народъ кievскій:

— За князя мы пьемъ.
Да править по-русски онъ русскій народъ,
А хана намъ даромъ не надо!

Въ этой былинѣ вылилось все историческое міросозерцаніе Алексѣя Толстого, все его изболѣвшее скорбью за Россію сердце.

Другая, шуточная былина: Потокъ-Богатырь пляшетъ всю ночь на пиру у Владимира и засыпаетъ на полтысячи лѣтъ. Спать и видить чудные сны, — сначала изъ своего времени, какъ между сѣчами «князь съ боярами судить на вѣчѣ», — видить вѣжливый, культурный дворъ Владимира, который, однако, «въ совѣтѣ настойчиво спорить». Потомъ сонъ переноситъ его на Москву-рѣку, къ терему царевны: та обливаетъ его, кievскаго кавалера, самой площадною бранью. Дальше видить Потокъ:

Ѣдетъ царь на конѣ, въ зипунѣ изъ парчи,
А кругомъ съ топорами идутъ палачи,
Его милость собираются тѣшить:
Тамъ кого-то рубить или вѣшать.

И во гнѣвѣ за мечъ ухватился Потокъ:
«Что за ханъ на Руси своеволить?»
Но вдругъ слышитъ слова: «То земной ѣдетъ богъ;
То отецъ нашъ казнить насъ изводитъ!»
И на улицѣ, сколько тамъ было толпы,
Воеводы, бояре, монахи, попы,
Мужики, старики и старухи—
Всѣ предъ нимъ повалились на брюхи.

Вотъ картина, которая преслѣдовала благороднаго нашего поэта, какъ кошмаръ, и который онъ не могъ простить нашей исторіи до конца дней! Потокъ-Богатырь, какъ и Алексѣй Толстой, былъ пораженъ московскою низостью:

— Если князь онъ или царь напоследокъ,
Что жъ метутъ они землю предъ нимъ бородой?
Мы честили князей, да не этакъ!
Да и полно, ужъ вправду ли я на Руси?
Отъ земноко насъ бога Господь упаси!
Намъ Писаніемъ велѣно строго
Признавать лишь небснаго Бога!

Вы, конечно, помните, какъ Потокъ-Богатырь попалъ затѣмъ въ слѣдующую, петербургскую эпоху и даже въ 60-е годы, къ тогдашнимъ народникамъ, ученымъ барышнямъ и прогрессистамъ, — помните также его забавныя столкновенія съ ними. Эти столкновенія — несомнѣнно автобіографическаго характера. Къ тогдашнимъ народолюбцамъ Алексѣй Толстой чувствовалъ отвращеніе, и, къ сожалѣнію, нельзя сказать, чтобы оно было вовсе не заслужено. Искреннихъ, умныхъ, сердечныхъ друзей народа и тогда было очень мало, зато было очень много полуинтеллигентной черни, которая во вся-

кое, самое возвышенное движеніе всегда вносить свои грубые инстинкты, эгоизмъ и скудоуміе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что либерализмъ благородныхъ представителей этого движенія погубленъ либерализмомъ низкихъ, низведшихъ его до пошлой и даже гадкой карикатуры. Движеніе самое высокое изъ всѣхъ возможныхъ, истинный либерализмъ лишь тогда имѣетъ смыслъ и силу, когда онъ нравственно безупреченъ, когда онъ возвышенъ религіозно. Либерализмъ, вѣдь, есть не только свобода, но и братство, и братство прежде всего. Но тогдашніе либералы (кромѣ немногихъ идеалистовъ) были чужды братства: ими двигалъ личный эгоизмъ; ненависть къ злу у нихъ переходила въ ненависть къ стдѣльнымъ людямъ и выражалась въ тѣхъ же недостойныхъ формахъ борьбы, какія практиковалъ и противоположный лагерь. Либералы, носители высшей правды, дробились на мелкія секты, дравшіяся другъ съ другомъ на ножахъ и топтавшія въ грязь знамена одна другой, при чемъ не было формулы свободы, которая не была бы осмѣяна, поругана и проклята друзьями же свободы. Дѣло доходило до отрицанія нравственнаго закона, до отрицанія самой свободы! Во имя прогресса проповѣдывались дѣянія въ родѣ тѣхъ, о которыхъ въ средней Азіи свидѣлствуютъ пирамиды изъ человѣческихъ череповъ, оставшіяся послѣ Тамерлана. Естественно, что отъ этого содома, будто бы либеральнаго, тошнило не только честныхъ консерваторовъ (нечестные рукоплескали ему), но и честныхъ либераловъ, въ родѣ Тургенева. А гр. Алексѣй Толстой — съ рыцарской стремительностью натуры — особенно не скрывалъ своего презрѣнія къ «такому» прогрессу. Кіевскій богатырь съ удивленіемъ слушаетъ (во снѣ), что

... молъ, нѣту души, а одна только плоть,
И что если и впрямь существуетъ Господь,
То Онъ есть только видъ кислорода,
Вся же суть въ безначальѣ народа.

Тѣ же самые люди, что отрицали душу и Бога, требовали отъ Потока поклоненія мужику и даже рабства передъ нимъ:

Знай, что только въ народѣ спасенье!
Но Потокъ говорить: «Я, вѣдь, тоже народъ,
Такъ за что жъ для меня исключенье?»
Но къ нему патриотъ: «Ты народъ, да не тотъ,

Править Русью призванъ только черный народъ;
 То по старой системѣ всякъ равенъ,
 А по нашей лишь онъ полноправенъ!»

Подивился еще разъ богатырь кievскій и подумалъ:

— Вѣдь, вчера еще, лежа на брюхѣ, они
 Обожали московскаго хана;
 А сегодня велятъ мужика обожать.
 Миѣ сдается, такая потребность лежать
 То предъ тѣмъ, то предъ этимъ на брюхѣ
 На вчерашнемъ основана духъ.

Этотъ «вчерашній», московскій, монгольскій духъ, духъ крайняго рабства предъ какою-угодно теоріей, отравлялъ дыханіе нашему поэту одинаково — шелъ ли онъ изъ кухни ретроградовъ или радикаловъ. Богатырь признается, что онъ не знаетъ, «что значить какой-то прогрессъ»,

Но до здраваго русскаго вѣча
 Вамъ еще, государи, далече!

Я напомнилъ здѣсь эти двѣ извѣстныя былины Алексѣя Толстого потому, что онѣ особенно характеризуютъ его заветные идеалы. Обнародованныя письма бросаютъ на нихъ особый свѣтъ. Въ рядѣ другихъ балладъ и историческихъ драмъ звучить та же мысль: о прекрасномъ началѣ нашей исторіи и напрасной гибели древней народной культуры. Ненавидя татарскую и московскую эпоху, Алексѣй Толстой отрицательно относится и къ петровской реформѣ (см. «Государь ты нашъ, батюшка» и пр.). Послѣдній царь московскій «палкою» заваривалъ свою кашу, и вышла она «крутенька». Въ сущности, петербургскій періодъ (до императора Александра II) явился не отрицаніемъ Москвы, а ея — хоть и не прямымъ — продолженіемъ, какъ Москва — своего рода продолженіемъ Золотой Орды. Вспомните въ петербургскомъ періодѣ времена Бирона и Аракчеева. Послѣдняго Алексѣй Толстой могъ еще хорошо помнить. Даже сравнительно гуманное время его царственнаго друга дѣтства, какъ видно изъ перваго приведеннаго письма, не вызывало въ поэтѣ полного сочувствія — иначе, нѣтъ сомнѣнія, онъ, какъ кievскій богатырь, отдалъ бы всѣ свои огромныя силы на службу новому Владимиру. Нѣтъ, онъ чувствовалъ, что «поворотъ къ обдорамъ» все еще не совсѣмъ кончился и (въ «Потоки-Богатырь») предсказываетъ еще лѣтъ двѣсти его господства.

Онъ это чувствовалъ и страдалъ до охоты «броситься и кататься по землѣ отъ отчаянія».

IX.

Глубокій интересъ къ русской исторіи — отличительная черта поэзіи гр. Алексѣя Толстого. Ни одинъ изъ второстепенныхъ нашихъ поэтовъ не тяготѣлъ такъ страстно въ туманную даль нашей старины, не волновался роковою загадкой о судьбѣ родины. Второстепенные поэты наши (Фетъ, Некрасовъ) отличались или безпечною своего настроенія или ужъ крайнею односторонностью его. О третьестепенныхъ и говорить нечего, — это грубѣйшіе эгоисты, вниманіе которыхъ не выходитъ изъ границъ собственной персоны. Только у Пушкина и Лермонтова замѣтно настоящее чувство народности, искренній интересъ къ старинѣ и исторіи. По «Пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ», по «Борису Годунову» можно судить, что дали бы эти могучіе таланты, проживи они дольше. Пушкинъ все-таки успѣлъ оставить и образцовый историческій романъ, и образцовую (въ отдѣльныхъ сценахъ) историческую драму, и рядъ чудесныхъ, хотя и не изъ русской жизни набросковъ историческихъ балладъ, и рядъ превосходныхъ народныхъ сказокъ. Менѣе удачны его историческія поэмы, написанныя въ чуждомъ для Пушкина родѣ. Гр. Алексѣй Толстой примыкаетъ въ этомъ отношеніи къ великимъ нашимъ поэтамъ: не равняясь, конечно, съ ними талантомъ, онъ почти не уступаетъ имъ въ чувствѣ народности и, можетъ-быть, даже превосходитъ ихъ въ высотѣ настроенія. Пушкинъ любилъ исторію какъ художникъ, насыщая свое воображеніе богатствомъ и разнообразіемъ формъ жизни, скопленныхъ въ вѣкахъ; онъ любовался ими и срисовывалъ ихъ съ тѣмъ же удовольствіемъ, какъ и чужую, иностранную старину. Великимъ поэтомъ двигало любопытство, и читатель выноситъ изъ его твореній удовлетворенное историческое любопытство. Не то Алексѣй Толстой: онъ къ старинѣ относился какъ къ живой современности, съ пылкою заинтересованностью, съ осужденіемъ или восторгомъ. Это не тенденція, отъ которой онъ отрецивался, — это нравственная впечатлительность. Ему не все равно, тиранъ былъ Грозный, или нѣтъ, благородны были нравы бояръ, или низки. Алексѣй Толстой самъ признается (въ предисловіи

къ «Князю Серебряному»), что при чтеніи источниковъ о царствованіи Ивана Грознаго «книга не разъ выпадала у него изъ рукъ, и онъ бросалъ перо въ негодованіи, — не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія». «Это тяжелое чувство, — говоритъ Алексѣй Толстой, — постоянно мѣшало необходимой объективности его труда и было причиной того, что романъ писался болѣе десяти лѣтъ». Видите, какъ горячо къ сердцу онъ принималъ всѣ эти стародавніе ужасы. Свой страшный романъ онъ не можетъ, при всемъ стараніи, кончить «эпически»: онъ заканчиваетъ его молитвой, «чтобы Богъ помогъ намъ изгладить изъ сердецъ нашихъ послѣдніе слѣды того страшнаго времени, вліяніе котораго, какъ наслѣдственная болѣзнь, еще долго потомъ переходило въ жизнь нашу отъ поколѣнія къ поколѣнію!» Великодушный поэтъ приглашаетъ простить грѣшную тѣнь царя Іоанна, «ибо не онъ одинъ создалъ свой произволь, и пытки, и казни, и наупничество, вопедшее въ обязанность и въ обычай...» Сама «земля, упавшая такъ низко, что могла смотрѣть на нихъ безъ негодованія, создала и усовершенствовала Іоанна, подобно тому, какъ раболѣпные римляне временъ упадка создавали Тиверіевъ, Нероновъ и Калигулъ». Съ высокимъ пафосомъ поэтъ благословляетъ тѣхъ немногихъ, которые, подобно Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, имѣли мужество отстаивать правду предъ лицомъ Грознаго. «Ибо тяжело, — пишетъ онъ, — не упасть въ такое время, когда всѣ понятія извращаются, когда низость называется добродѣтелью, предательство входитъ въ законъ, а самая честь и человѣческое достоинство почитаются преступнымъ нарушеніемъ долга!»

Конецъ этотъ въ художественномъ отношеніи — совершенный кляксъ: подвести мораль къ роману съ тою же наивностью, какъ подводили ее къ своимъ баснямъ прежніе баснописцы — значить, испортить впечатлѣніе всего разсказа. И ужъ, конечно, какъ художникъ, Алексѣй Толстой зналъ, что это не эпическій пріемъ, но не выдержалъ, не могъ выдержать: не успѣлъ замолкнуть въ немъ художникъ, какъ закричалъ человѣкъ, взволнованный и негодующій. Поэтъ приглашаетъ читателей «простить грѣшную тѣнь Ивана Васильевича», но самъ, очевидно, не можетъ ей простить: это

свыше его человѣческихъ силъ! Въ посвященіи романа императрицѣ Маріи Александровнѣ, Алексѣй Толстой опять волнуется и со всею страстностью подчеркиваетъ для Высочайшаго вниманія то, что двигало его въ работѣ. Все посвященіе состоитъ изъ четырехъ строкъ: «Имя Вашего Величества,—пишетъ онъ,—которое Вы позволили мнѣ поставить во главѣ повѣсти временъ Іоанна Грознаго, есть лучшее ручательство, что непроходимая бездна отдѣляетъ темныя явленія нашего минувшаго отъ духа свѣтлаго настоящей поры». Замѣьте, какая гипербола — «непроходимая бездна». Вы чувствуете, что бѣдный поэтъ не совсѣмъ вѣрить въ «непроходимую бездну», хотя и жаждетъ ея всѣми силами изстрадавшейся души. Вы ясно видите, какъ, покатавшись по землѣ съ отчаянія, онъ вскакиваетъ на крыши и готовъ кричать противъ всякой татарщины всенародно, на весь міръ! Но татарщина, однако, вѣдь, исчезла: всѣ эти ужасы и низости были три вѣка тому назадъ. Чего же волноваться? Пушкинъ не волнуется. Онъ только художникъ, какъ Гёте, — Алексѣй же Толстой не только художникъ, а и проповѣдникъ. Онъ нравственно «оскорбленъ» исторіей и мучится этимъ оскорбленіемъ. Онъ болѣе сродни Лермонтову, въ «Степанъ Калашниковъ» котораго чувствуется это, хотя крайне затаенное, но жгучее чувство нравственного оскорбленія (въ отвѣтъ купца опричнику и въ драмѣ всего событія). Пушкинъ не былъ оскорбленъ; напротивъ: московская старина ему въ общемъ нравилась; онъ очень гордился, что его предки участвовали въ эпохѣ Іоанновъ; Ивана Грознаго онъ называетъ съ чувствомъ нѣкотораго любованія имъ — «гнѣвъ вѣнчанный». Пушкинъ очень высоко ставилъ исторію Карамзина, т.-е. панегирикъ московской Руси. Отношеніе къ нашей исторіи у Пушкина было политическое, у Алексѣя Толстого — нравственное.

Для Пушкина (какъ и Карамзина) высшимъ критеріемъ въ исторіи была внѣшняя «сила» государства, грубая, побѣждающая сила: отсюда преклоненіе его предъ Петромъ Великимъ и даже Наполеономъ, благоговѣніе у гробницы Кутузова и т. д. Гр. Алексѣй Толстой ближе къ нашему времени: у него историческій критерій — сила не внѣшняя, а внутренняя — «правда», человѣческое достоинство, гражданскій духъ. Этотъ нравственный критерій — явленіе совершенно новое и весьма еще непрочное въ нашемъ обще-

ствѣ. Алексѣй Толстой, современникъ поэтовъ-славянофиловъ, первый изъ нихъ выдвинулъ нравственный взглядъ на исторію — чѣмъ всего рѣзче онъ отъ нихъ и отличается. Тѣ были заражены подчасъ крайне эгоистическимъ патріотизмомъ и ради невѣрныхъ соображеній о внѣшней силѣ и величіи государства охотно жертвовали народною свободой, человѣческимъ достоинствомъ, благородствомъ жизни, лишь бы только «наша взяла». Они — хорошіе московскіе бояре, онъ — рыцарь въ душѣ и преисполненъ чести. Онъ не носитъ насилія съ одной стороны и холопства съ другой; нечестная побѣда ему противна. Нѣтъ сомнѣнія, что живи онъ при дворѣ Ивана Грознаго, онъ кончилъ бы какъ князь Михайла Репнинъ: ни за что въ свѣтѣ онъ не унизился бы, не надѣлъ бы маски, чтобы быть шутомъ у свирѣпаго царя. А можетъ-быть, какъ Курбскій, онъ повелъ бы даже литовскіе полки противъ своего же отечества. По рыцарскимъ понятіямъ, оскорбленіе достоинства снимало долгъ вѣрности сюзерену. До эпохи Грознаго, пока еще тлѣла искра рыцарства среди дружинниковъ и бояръ, практиковалось право «отъѣзда», но уже въ XV вѣкѣ, съ освобожденіемъ отъ татаръ, нравы дотого испортились, что русское рыцарство почти сплошь превратилось въ челядь московскихъ «хановъ», какъ звалъ ихъ Алексѣй Толстой.

Х.

Нравственное отношеніе къ исторіи и судьбѣ народной заставило нашего поэта отречься и отъ прошлаго и отъ современнаго ему настоящаго, которое во многомъ еще было омрачено вліяніями прошлаго. Онъ остался внѣ прямого участія въ жизни, въ роли простого поэта, подающаго голосъ изъ черниговскаго захолустья. Большой соблазнъ для него было примкнуть къ тогдашнимъ отрицателямъ-революціонерамъ, — нѣкоторые вожди послѣднихъ тоже вышли изъ аристократіи, — но гр. Алексѣй Толстой былъ слишкомъ оригиналенъ и свободолюбивъ, чтобы отдаться чужой и притомъ насильственной теоріи. Радикализмъ казался ему новымъ рабствомъ; въ стремленіи «похерить все, что нельзя ни взвѣсить ни смѣрить», онъ чувствовалъ московскую, ненавистную ему жестокость. Подобно Льву Толстому, Алексѣй Толстой самостоятельно искалъ своего идеала свободы. Онъ нашелъ

его, для многихъ неожиданно — не впереди исторіи, а позади ея, въ удѣльно-вѣчевомъ складѣ жизни. Новгородская и Кіевская Русь, монархія, основанная на вѣчѣ, казалась ему верхомъ мудрости, достоинства и справедливости, естественною системою, обезпечивавшею и порядокъ и счастье. Въ каждомъ большомъ городѣ свой колоколъ и свой князь, и затѣмъ объединяющая связь независимыхъ и свободныхъ клѣточекъ одного и того же огромнаго племени, въ случаѣ нужды помогавшихъ другъ-другу, какъ Псковъ своему «старшему брату» Новгороду. Алексѣй Толстой не признавалъ, какъ многіе, что этотъ типъ государственной жизни — зародышевый и что онъ непригоденъ для высшей культуры. Онъ считалъ его, повидимому, такимъ же законченнымъ и жизнеспособнымъ, какъ и всякій иной типъ, только менѣе грубымъ и потому болѣе хрупкимъ. Ему казалось, что только въ мелкихъ областныхъ единицахъ народъ можетъ быть дѣйствительно свободенъ и только въ нихъ можетъ проявить все свое культурное творчество. Доказательство этого ему могла дать древняя раздробленная Эллада, давшая столь высокую культуру, раздробленная Италія эпохи Возрожденія, разъединенная Германія временъ Шиллера и Гёте или существующія доселѣ федеративныя государства. Не найди на насъ туча монгольская, — по мнѣнію Толстого, Москва не возобладала бы, не было бы внутренней тирании XV—XVII вѣковъ, восторжествовали бы начала кіевскія и новгородскія. Правъ ли въ этомъ идиллическомъ взглядѣ Алексѣй Толстой — мы разсматривать не будемъ; романтизмъ его не шелъ, конечно, далѣе одной теоріи, и онъ едва ли мечталъ о дѣйствительномъ возстановленіи когда-нибудь древнихъ порядковъ. Но о чемъ онъ страстно мечталъ и проповѣдывалъ — это о возстановленіи благородства отношеній между государствомъ и личностью. Для этого было еще недостаточно освобожденія крестьянъ изъ рабства, необходимъ былъ рядъ дальнѣйшихъ возстановленій вчерашняго раба на степень гражданина.

XI.

Алексѣй Толстой, мнѣ кажется, изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ можетъ быть названъ художникомъ русскаго возрожденія. Русское Возрожденіе! Была ли у насъ такая эпоха? Несомнѣнно, и даже болѣе того: она еще продолжается.

На призывъ Петра Россія, говорить одинъ мыслитель нашъ, «отвѣтила огромнымъ явленіемъ Пушкина». Въ самомъ дѣлѣ: послѣ скудныхъ зародышей культуры въ эпоху Екатерины, стремительный, почти внезапный расцвѣтъ русскаго генія въ эпоху Николая I — что это, какъ не возрожденіе послѣ безпросвѣтныхъ нашихъ «среднихъ вѣковъ»?—Но, скажутъ, на русской почвѣ не было античной цивилизаціи, какъ въ Италіи XV вѣка, такъ что и возрождаться было нечему. На это я замѣчу, что, вѣдь, и въ Англіи и въ Германіи не было античной культуры, а эпоха Возрожденія была. Мы съ нашею неудачной исторіей и столь же неудачною географіей стояли всегда въ сторонѣ отъ міровыхъ движеній и подошли къ эпохѣ Возрожденія «съ опозданіемъ» на два вѣка... Но все-таки подошли къ ней, этого отрицать нельзя. Кромѣ античной цивилизаціи, для нашего Возрожденія явилась и новѣйшая европейская, заслонившая первую: эта европейская цивилизація, какъ современная намъ, отнимаетъ у нашего расцвѣта видъ возрожденія, но, въ сущности, мы переживаемъ именно тотъ культурный процессъ, какой пережили западные народы въ XV—XVI столѣтіи, хотя — увь, — съ меньшею пылкостью, чѣмъ они, съ меньшею яркостью генія.

Нынѣшнее время есть эпоха «русскаго Возрожденія» не только по внутреннему процессу раскрытія народнаго духа. Она во многомъ есть дѣйствительное «возрожденіе», восстановленіе древней, античной нашей культуры. Честь указать на эту культуру принадлежитъ болѣе всѣхъ гр. Алексѣю Толстому. Романтикъ древне-русской, удѣльно-вѣчевой Руси, онъ одушевленнѣе всѣхъ провозгласилъ, что у насъ была своя античная культура — не въ наукахъ, не въ философіи, не въ искусствахъ, но въ формахъ общественной жизни, въ сравнительно высокомъ достоинствѣ народномъ, въ благообразіи нравовъ, въ свободѣ и гуманности. Все это, какъ хотите, плоды культуры и не менѣе цѣнные, чѣмъ физика Аристотеля и торсы Праксителя. Алексѣй Толстой провозгласилъ, что эта наша собственная античная культура подобно греко-римской, смытой переселеніемъ варваровъ, была затоплена татарскимъ нашествіемъ и смѣнилась мрачнымъ, жестокимъ средневѣковымъ московскаго царства. Тогда древніе идеалы наши были забыты, утонченныя приобрѣтенія духовной культуры были утрачены, вмѣсто свободы граждан-

ской водворилась самая грубая тиранія, какая извѣстна на европейскомъ материкѣ, и жизнь народная погрузилась въ дремучее варварство. Алексѣй Толстой, наконецъ, если не раньше всѣхъ, то вдохновеннѣе всѣхъ провозгласилъ, что это темное время заслуживаетъ ужаса и омерзѣнія, что необходимо отречься отъ всѣхъ его доселѣ дѣйствующихъ мрачныхъ вліяній, что пора восстанавливать утраченные драгоценные дары нашей древней культуры. Все это, какъ мнѣ кажется, очень ясно и громко высказано и въ лирикѣ, и эпосѣ, и драмѣ Толстого. Что такое самъ онъ, какъ не возрожденный въ условіяхъ современности древній богатырь времени Владимира? Что бы оставалось Потоку-Богатырю дѣлать среди насъ, явись онъ теперь, какъ не напоминать о дѣлахъ давно минувшихъ дней, преданьяхъ старины глубокой?

Къ сожалѣнію, литературный талантъ Алексѣя Толстого не достигалъ гениальности: это былъ проповѣдникъ прекрасныхъ истинъ, но безъ дара чудесъ: мертвыхъ онъ не воскрешалъ, слѣпымъ не давалъ зрѣнія. Но все же это былъ талантъ мощный и сродни пророкамъ, все же онъ останется звучать въ русской жизни, пока жива будетъ русская литература. И не его вина, если его призывъ къ возрожденію не былъ принятъ въ обществѣ съ тѣмъ же одушевленіемъ, съ какимъ былъ сдѣланъ: вѣдь, это не первый голосъ вопіющаго въ пустынѣ! Но если въ этой пустынѣ появятся, наконецъ, люди, имѣющіе уши,—они услышатъ этотъ въ своемъ родѣ трубный, «мажорный» (по собственному опредѣленію А. Толстого) призывъ, и онъ скажетъ душѣ ихъ то, что, можетъ-быть, не дастъ иной и гений. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не великая это задача жизни — восстановление истинныхъ основъ ея? Развѣ не нуждаемся мы — стомилліонная народная масса — въ возвращеніи намъ самосознанія, достойнаго великаго народа? Этого самосознанія у насъ теперь нѣтъ въ сколько-нибудь опредѣленной степени. Еще горсточка интеллигенціи вкривъ и вкось разсуждаетъ «объ общественныхъ вопросахъ» (называя этимъ словомъ даже такія вещи, какъ дешевый кредитъ, желѣзнодорожные тарифы и пр.); вся же толща націи, переберите ее по одному человѣку, не думаетъ ни о судьбѣ родины, ни о высшемъ законѣ, который долженъ быть у cadaго народа, какъ и у отдѣльной личности, ни объ историческомъ призваніи своемъ, ни объ осуществленіи правды въ жизни — единственной цѣли, оправды-

вающей народное существованіе. Народъ, слишкомъ приниженный, обо всѣхъ этихъ вещахъ не думаетъ уже многіе вѣка, и потому правды и нѣтъ въ жизни, а она — утверждаетъ А. Толстой — была, когда народъ думалъ о ней, была въ несравненно большей степени, чѣмъ въ послѣдующіе вѣка.

ХІІ.

Всякое возрожденіе начинается съ самосознанія. «Кто мы? Гдѣ мы? Откуда мы? Для чего мы?» — рядомъ такихъ торжественныхъ вопросовъ начиналъ, какъ говорятъ, Погодинъ свой курсъ русской исторіи, — и слушатели тотчасъ же приподнимались на высоту серьезнаго и важнаго настроенія. Раздробленная на безконечныя мелочи будней душа собирается и устремляетъ вниманіе на до того не замѣчаемое великое общее, не замѣчаемое именно по великости своей. Бродя постоянно среди отдѣльныхъ людей, мы очень рѣдко воспринимаемъ идею общества, чего-то огромнаго, всѣхъ насъ охватывающаго, живущаго и пользующагося нами, какъ матеріаломъ для своей жизни. Мы обыкновенно смутно догадываемся объ истинномъ существѣ государства и человечества, ежемгновенно направляющаго нашу маленькую особь къ какимъ-то цѣлямъ, спасительнымъ или гибельнымъ для насъ. Указать на это необъятное цѣлое и связать съ нимъ мысль слушателя — крайне важное дѣло, и въ инныя времена даже самое важное изъ всѣхъ. «Кто мы? Для чего мы?» — эти вопросы мучили до отчаянія Алексѣя Толстого — и не напрасно. Великій ли мы народъ или простая орда, принадлежимъ ли мы къ благородной европейской расѣ, одарены ли мы вмѣстѣ съ нею задатками истинной, гуманной цивилизаціи, или мы племя рабовъ, обреченное «на подстилку» для великихъ племенъ? Нашъ рыцарственный поэтъ, носившій въ сердцѣ какъ бы всю совѣсть своего народа, стыдившійся за него предъ человечествомъ, не напрасно отчаивался надъ этими вопросами. «Мы не монголы!» — кричалъ онъ неистово изъ своей черниговской деревни, но этотъ крикъ не могъ же заглушить, на примѣръ, свиста розогъ, ложившихся на тѣло окружавшихъ его «арійцевъ»... Какой позоръ! Отъ него, по взгляду А. Толстого, должны бы переворачиваться всѣ славянскія кости въ гробу. Да, и — сказать кстати — прошло уже двадцать лѣтъ со смерти поэта, а этотъ

взятый у татаръ обычай не только еще не вышелъ у насъ изъ употребленія, но даже находить ревностныхъ защитниковъ, и даже среди писателей, даже среди аристократовъ (по плоти, конечно, а не по духу)! Вы видите, какъ еще нужна до сихъ поръ проповѣдь о человѣческомъ достоинствѣ и какъ недалеко еще мы ушли въ своемъ возрожденіи! Если считать со временъ гр. Алексѣя Толстого, то мы, пожалуй, отступили даже назадъ.

Отступили — но я увѣренъ, что скоро намъ неизбежно придется наверстывать упущенное. Жизнь не стоитъ на мѣстѣ — особенно жизнь Запада. Она движется съ небывалою быстротой и побѣждаетъ не только нашу инерцію, но даже косность языческихъ, азіатскихъ странъ. Россія — и Европа, наводняющая собою міръ, вышедшая изъ береговъ; Россія — и Азія, застоявшееся, гніющее болото. Куда примкнуть? Мы — 100-милліонное славяно-русское племя — стоимъ между 400-милліоннымъ высоко-культурнымъ христіанствомъ Запада (считая и Америку) и 400-милліоннымъ высоко-культурнымъ же, но остановившимся язычествомъ. Чья судьба намъ больше по душѣ? Гдѣ больше достоинства и красоты жизни?

Наше возрожденіе, мнѣ кажется, фактъ неотвратимый. Противъ воли своей, какъ и другія страны Востока, мы уже увлечены всемірнымъ потокомъ цивилизаціи и двинуты въ общее теченіе ея. Посмотрите, какъ Европа охватываетъ насъ со всѣхъ сторонъ, подбираясь неожиданно къ нашей косности изъ тѣхъ странъ, гдѣ мы считали себя навѣки обезпеченными: изъ-за Камчатки (черезъ вооруженную европейскою наукой Японію), изъ-за песчаныхъ пустынь Средней Азіи (черезъ Афганистанъ). Форпосты цивилизаціи надвигаются на насъ со всѣхъ сторонъ, и изъ простого чувства самосохраненія мы должны усвоить то же оружіе. Я говорю, конечно, не о военномъ оружіи: кромѣ кровавой борьбы, существуетъ менѣе изнурительная мирная борьба экономическая, — наконецъ, борьба нравственная. Въ самомъ дѣлѣ, обидно быть вѣчными данниками Запада въ матеріальномъ отношеніи, расплачиваться народною энергіей за недостатокъ просвѣщенія. Обидно быть работниками Европы, — но еще обиднѣе чувствовать себя и «нравственно» слабѣе ея, уступать ей въ справедливости и достоинствѣ жизни. Это сознаніе парализуетъ духовное творчество нашего общества, лишаетъ его

радости существованія. Пока мы искренно не повернемся «лицомъ къ варягамъ», пока не признаемъ себя, какъ мечталъ Алексѣй Толстой, кровными европейцами, пока не почувствуемъ, что начала гуманности — наши родныя начала, до тѣхъ поръ и матеріально и духовно мы будемъ въ подчиненіи у Запада, въ роли варваровъ, которыхъ боятся, но презираютъ. Хорошо не знать этого презрѣнія, но знать его и чувствовать, какъ Алексѣй Толстой, что оно заслужено... это тяжелое страданіе.

М. О: Меньшиковъ:

«Князь Серебряный».

*Повѣсть времянъ Іоанна Грознаго. Соч. гр. А. К. Толстого.
2 тома. С.-Петербургъ. 1863 г. 1).*

*) Византійское это сочиненіе составляетъ какъ по внѣшней своей формѣ, такъ и по внутреннему содержанію явленіе столь отличное въ кругу современныхъ литературныхъ произведеній, что редакція не нашла въ числѣ постоянныхъ своихъ сотрудниковъ ни одного, который взялся бы написать на него рецензію. Между тѣмъ, сочиненіе произвело въ публикѣ нѣкоторое впечатлѣніе, такъ что игнорированіе его могло бы быть сочтено за злонамѣренность. Поэтому редакція вынуждена была обратиться за помощію къ одному отставному учителю, нѣкогда преподававшему русскій языкъ въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ. Къ сожалѣнію, почтенный педагогъ, столь обязательно принявшій наше предложеніе, не могъ выполнить его до конца: ужасный параличъ преждевременно прекратилъ дни его въ самомъ началѣ труда. Тѣмъ не менѣе, мы печатаемъ его рецензію такъ, какъ она намъ доставлена, и думаемъ, что и въ этомъ видѣ она могла бы служить украшеніемъ любой книжки «Сѣверныхъ Цвѣтовъ», точно такъ же какъ самъ Князь Серебряный былъ бы весьма пріятнымъ явленіемъ въ «Аонидахъ» 2).

1) «Современникъ», 1863 г., № 4.

2) «Аониды»—заглавіе перваго русскаго альманаха, изданнаго подъ редакціей Карамзина (1796—1799 гг.).

Н. Д.

*) Эта статья, помѣщенная безъ подписи, принадлежитъ перу нашего знаменитаго сатирика. Причины ироническаго отношенія Щедрина къ роману гр. Толстого выяснены у Пыпина въ его статьѣ «Журнальная дѣятельность Салтыкова» («Вѣстникъ Европы», 1889 г.).

«Русскій историческій романъ»,—говоритъ Пыпинъ,—есть, безъ сомнѣнія, одна изъ труднѣйшихъ, хотя очень популярная между читателями лите-

Я помолодѣлъ, читаю и не вѣрю глазамъ. Любезный графъ! волшебную вашу кисть вы окунули въ живую воду фантази и заставили меня, старика, присутствовать при «дѣлахъ давно минувшихъ дней»; исполать вамъ! Но еще больше вамъ исполать за то, что вы воскресили для меня мою юность, напомнили мнѣ появленіе «Юрія Милославскаго», «Рославлева», напомнили первыя попытки робкаго еще тогда Лажечникова. Это было счастливое время, любезный графъ; это было время, когда писатели умѣли

Истину царямъ съ улыбкой говорить...

Когда всякій, не скрывая своего сердца, заявлялъ о чувствахъ преданности (да и рачѣмъ это скрывать?)... Но, конечно, никто еще не высказывалъ такой истины, какую вы высказали Іоанну Грозному! Да, вы воскресили для меня доброе старое время, которое я считалъ давно погибшимъ! Но довольно о себѣ.

ратурная форма. Произведенія этого рода очень у насъ многочисленны, но нельзя сказать, чтобы огромное большинство ихъ было удачно. Самая форма была заимствованная. Успѣхъ Вальтеръ-Скотта распространилъ историческій романъ во всей европейской литературѣ, между прочимъ, и у насъ; но когда Вальтеръ-Скоттъ имѣлъ обильный матеріалъ въ старыхъ хроникахъ, живыхъ преданіяхъ, вещественныхъ остаткахъ старины, напримѣръ, въ видѣ древнихъ замковъ съ ихъ сохранившеюся средневѣковою обстановкой, когда, кромѣ того, въ самомъ бытѣ и нравахъ онъ встрѣчалъ извѣстную крѣпость стараго обычая, расположеніе къ старинѣ, доходящее даже до мелочей и крайностей,—совершенно въ иномъ положеніи оказывался русскій историческій романистъ. У насъ нѣтъ такой хроники, которая раскрыла бы подробности стараго общественнаго быта и мелкія черты домашней жизни, характеровъ и т. п.; личныя свойства даже крупнѣйшихъ историческихъ дѣятелей, положимъ, XVI-го и XVII-го вѣковъ, очень часто составляютъ если не совершенную загадку, то спорный вопросъ, или являются передъ нами только въ общихъ неопредѣленныхъ очертаніяхъ; памятники вещественнаго быта почти исчезли (кромѣ старыхъ церквей)—архитектура наша была деревянная и частью сгнила, частью сторѣла; преданія стариннаго быта были/заслонены и истреблены въ высшемъ классѣ петровскою реформой и остались только въ томъ видоизмѣненіи, какое представляютъ они въ народной массѣ, и т. д. Такимъ образомъ, матеріалъ невеликъ; что же касается до освѣщенія, оно давалось не живымъ преданіемъ старины, а тѣми изслѣдованіями, которыя были уже дѣломъ кабинетныхъ ученыхъ и археологовъ. Въ эпоху первыхъ непосредственныхъ вліяній Вальтеръ-Скотта такимъ ученымъ авторитетомъ былъ Карамзинъ, у котораго къ большому, по его времени, фактическому знанію присоединилась новѣйшая политическая теорія и сентиментальная окраска всей его литературной дѣятельности, заимствованная у французскихъ и нѣмецкихъ пи-

Внѣшнее построеніе романа графа А. К. Толстого вполне соотвѣтствуетъ правиламъ, на предметъ составленія таковыхъ упражненій преподааннымъ. Въ немъ имѣется завязка (и даже, какъ увидимъ ниже, не одна, а нѣсколько завязокъ, что дѣлаетъ интересъ романа почти нестерпимымъ), изъ которой дѣйствіе развивается, постепенно возвышаясь, покуда, наконецъ, не достигаетъ своего зенита; по достиженіи сего, дѣйствіе развивается уже понижаясь и незамѣтно утопаетъ въ развязкѣ. Многіе нынѣшніе писатели правилами сими пренебрегаютъ, думая, что завязка и развязка не составляютъ еще существеннаго условія литературнаго упражненія, но доказать неосновательность подобнаго воззрѣнія очень нетрудно: стоитъ только вспомнить о томъ, что всякая вещь имѣетъ свое начало и свой конецъ. Нынѣшніе писатели думаютъ, что обязанность ихъ заключается лишь въ томъ, чтобы поставить героевъ своихъ въ критическое положеніе, и что, по исполненіи сего, можно ихъ бросить. «Сказавъ это, они вздохнули и разошлись» — вотъ фраза, которою модные

сателей конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Живое преданіе старины замѣнялось нѣсколькими старинными документами, извлеченными изъ архивовъ, но слишкомъ скучными, чтобы по нимъ можно было сдѣлать достаточно ясную и рельефную реставрацію... На подобномъ матеріалѣ основанъ былъ первый романъ, съ котораго начинается у насъ эта отрасль литературы. Известно, что «Юрій Милославскій», который перешелъ теперь въ непріязательную область юношескаго чтенія, при первомъ появленіи произвелъ сильное впечатлѣніе въ литературныхъ кругахъ и увлекалъ даже самого Пушкина. За нимъ потянулся длинный рядъ подражаній... Возможность болѣе совершенной формы начинается только для такихъ эпохъ, до которыхъ достигаютъ преданія: таковы, напримѣръ, историко-романическіе рассказы Пушкина о XVIII вѣкѣ, который былъ еще недалекъ и о которомъ Пушкинъ собиралъ и имѣлъ много живыхъ преданій, или таковъ романъ гр. Л. Н. Толстого: «Война и миръ». Гр. А. К. Толстой попробовалъ обратиться къ XVI-му вѣку и оказался въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ Загоскинъ: недостатокъ живого ощущенія исторіи и непосредственныхъ преданій и памятниковъ старины пришлось дополнять извлеченіями изъ сухихъ документовъ (таковъ, напримѣръ, счетъ блюдъ за царскимъ столомъ) или чистою фантазіей, настроенною опять на прежній сентиментальный тонъ карамзинской исторіографіи. Это и хотѣлъ указать Салтыковъ, предоставляя писать разборъ «Князя Серебрянаго» старому учителю риторики, восхищавшемуся въ юности «Юріемъ Милославскимъ». Какъ трудна у насъ реставрація старины, можно судить и по другимъ произведеніямъ А. К. Толстого: къ числу наиболѣе слабыхъ его пьесъ принадлежитъ, безъ сомнѣнія, его реставрація древнихъ былинъ».

современные повѣствователи позволяютъ себѣ заканчивать недозрѣлыя свои произведенія. Но читатель любопытенъ: онъ хочетъ знать, куда разошлись герои, куда пошелъ «онъ», куда направила путь «она»; что они дѣлали, что въ тотъ день обѣдали, сколько времени жили и какъ умерли. Все это графомъ Толстымъ исполнено. Исполнено имъ и другое требованіе теоріи, касающееся характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ семъ отношеніи теорія неумолима; она требуетъ, чтобы дѣйствующія лица имѣли характеры разнообразныя, и даже указываетъ, какіе должны быть эти характеры. Впереди всѣхъ, разумѣется, идетъ герой; герой долженъ быть изъ хорошаго семейства, благороденъ, но твердъ, чувствителенъ, но не лишенъ разсудка; правдивъ, но не безъ надежды, что авторъ, въ сомнительномъ случаѣ, найдетъ возможность вытащить его изъ бѣды; великодушенъ до безразсудства, но знающъ, что великодушныя поступки никогда не пропадаютъ даромъ; сверхъ сего, не худо, если герой—человѣкъ съ деньгами. Героинею можетъ быть всякая хорошая женщина, которой наружность представляетъ въ себѣ что-либо для мужчины привлекательное; нужно только, чтобы она была: или мужнею женой (это необходимо для завязки), или же хотя и дѣвицею, но неодинаковаго съ героемъ званія или состоянія (это также необходимо для той же надобности). Засимъ лица, окружающія героя и героиню, должны раздѣляться на друзей и враговъ. Друзья могутъ быть слѣдующихъ сортовъ: а) добродушный, веселый и вѣрный (обыкновенно слуга); б) другъ глупый, но тоже веселый (также изъ низшаго званія); в) другъ заблудшійся, но вѣрный и умный (тоже изъ низшаго званія, обыкновенно разбойникъ), и, наконецъ, г) другъ изъ высшаго званія. Враги могутъ быть трехъ сортовъ: а) врагъ честный, но неумышленно обиженный (обыкновенно мужъ героини или крестовый ея братъ); б) врагъ жестокий, враждующій самъ не зная почему, и в) врагъ коварный. Затѣмъ слѣдуютъ князіе міра воздушнаго, ихъ угодники, юродивые и колдуны, въ отношеніи которыхъ оставляется авторамъ полная свобода дѣйствія, съ тѣмъ, однакожъ, ограниченіемъ, чтобы и сіи лица непременно являли силу характера. Это второе требованіе теоріи также графомъ А. К. Толстымъ соблюдено, равно какъ и третье относительно слога. Слогъ этотъ можно назвать жемчужнымъ (*style perlé*). Одно лишь условіе (четвертое) не

соблюдено любезнымъ сочинителемъ: обычай требоваль, чтобы романъ былъ раздѣленъ на четыре части, а не на двѣ, какъ это сдѣлано въ настоящемъ случаѣ; но и этому читатель легко можетъ помочь, умственно раздѣливъ каждую часть на двѣ половины.

Что же касается до внутренняго содержанія романа, до его основной идеи, то, кажется, я не ошибусь, если отыщу, оную въ слѣдующихъ заключительныхъ словахъ 9-й главы части 1-й.

«Молятся царь и кладетъ земные поклоны. Смотрятъ на него звѣзды въ окно косячатое, смотрятъ свѣтлыя, притуманившись,—притуманившись, будто думая: ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ! Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ насъ не спрашаючи: не расти двумъ колосьямъ въ уровень, не сравнять крутыхъ горъ съ пригорками, не бывать на землѣ безбоярщины!»

Надо сознаться, что въ государствѣ, въ коемъ еще недавно существовали такъ-называемыя «Редакціонныя Комиссіи», высказать подобную мысль есть дѣло довольно смѣлое... Умолкаю, дабы не навлечь автору непріятности.

Но довольно объ общихъ чертахъ романа; буду разбирать по главамъ, какъ дѣлывалось въ наше доброе, старое время и какъ невозможно дѣлать нынче, ибо нынѣшнія литературныя упражненія нельзя понимать иначе, какъ прочитавши всѣ главы въ совокупности. Разобравши сочиненіе по главамъ, приступлю къ разбору характеровъ дѣйствующихъ лицъ.

Первая глава начинается тѣмъ, что къ деревнѣ Медвѣдевкѣ, верстъ за тридцать отъ Москвы, подъѣзжаетъ двадцатипятилѣтній князь Никита Романовичъ Серебряный, возвращающійся изъ Литвы, куда онъ былъ посланъ царемъ Иваномъ Васильевичемъ для подписанія мира. Удачное начало! Героя своего талантливый графъ описываетъ простодушнымъ, вспыльчивымъ, правдивымъ и имѣющимъ соотвѣтственную симъ качествамъ наружность. Наружность сія простосердечна и откровенна; роста онъ средняго, широкъ въ плечахъ, тонокъ въ поясѣ. Вообще, описаніе сіе можно бы назвать мастерскимъ, если бы не вкралась въ оное нѣкоторая непослѣдовательность, а именно, на стр. 12-й есть указаніе на нѣкоторую косую складку, находившуюся между бровями и означающую, по мнѣнію автора (весьма остроумному), безпорядочность и непослѣдовательность въ мысляхъ,

и вслѣдъ за тѣмъ говорится, что ротъ героя выражалъ ничѣмъ непоколебимую твердость. Изъ этого выходитъ, что ротъ, въ соединеніи со складкою, выражалъ твердость непослѣдовательную и беспорядочную, или же твердую беспорядочность, что, всеконечно, не входило въ расчеты дѣписателя; но зато все прочее въ сей главѣ превосходно. Князь возвращается на родину, не зная, что царь Иванъ Васильевичъ, въ отсутствіе его, испортилъ свое поведеніе и завелъ опричину. Объ этомъ онъ узнаетъ отъ поселянъ деревни Медвѣдевки, и вслѣдъ же за симъ неожиданнымъ образомъ знакомится и съ самими опричниками.

Извѣстно всякому, сколь пагубно было для Россіи сіе заведеніе... Но, между тѣмъ какъ князь добродушно присутствуетъ при забавахъ поселянъ, вбѣгаетъ окровавленный двѣнадцатилѣтній мальчикъ, и вслѣдъ за нимъ врываются опричники, подъ предводительствомъ Хомяка, стремяннаго Григорія Лукьяновича Скуратова-Бѣльскаго. Неистовства, которыя производятъ опричники, описаны весьма естественно и въ совершенствѣ напоминаютъ изображаемые обличительною литературой наѣзды земской полиціи. Само-собою разумѣется, что благодушный князь принимаетъ сторону угнетенныхъ и съ помощью своихъ людей не только посрамляетъ опричниковъ, но и освобождаетъ отъ нихъ еще двоихъ полоненныхъ ими неизвѣстныхъ людей. Сначала, слѣдуя лишь внушеніямъ своего благороднаго характера, князь намѣревается перевѣшать опричниковъ, но потомъ, однакожь, уступаетъ резонамъ неизвѣстныхъ людей и ограничиваетъ кару тѣмъ, что допускаетъ своего стремяннаго Михеича «влѣпить опричникамъ по полсотенкѣ нагайками». Сцена эта исполнена истинно-національнаго юмора; въ ней чрезвычайно тонко выражень простодушный взглядъ русскаго человѣка на нагайки, которыя, пройдя сквозь горнило народнаго представленія, утрачиваютъ истязательный свой характеръ и представляются уму безпристрастнаго наблюдателя лишь простымъ и незлобивымъ времяпрепровожденіемъ. Здѣсь кончается эта замѣчательная глава, которая съ тѣмъ вмѣстѣ составляетъ и завязку романа. Въ самомъ дѣлѣ, не влѣпи Михеичъ опричникамъ по полсотенкѣ, и романа бы не было! Слогъ въ этой главѣ представляетъ смѣсь высокаго (sublime) съ низкимъ (burlesque), смотря по тому, кто говоритъ и о чемъ идетъ рѣчь.

Во второй главѣ, князь ѣдетъ къ Москвѣ, сопровождаемый стреманнымъ Михеичемъ и двумя спасенными незнакомцами. Ёдутъ лѣсомъ, и одинъ изъ незнакомыхъ затягиваетъ пѣсню; эта пѣсня наводитъ автора на размышленія о русской пѣснѣ вообще, поражающія тою самой оригинальностью, которая извлекаетъ изъ учителя російской словесности полный баллъ въ пользу отличившагося ею ученика. Вдругъ раздается подозрительный свистъ, и путешественниковъ окружаютъ станичники (разбойники); очевидно, что князю предстоитъ опасность, но не бойся, читатель, его не убьютъ! И въ самомъ дѣлѣ, открывается, что спасенные незнакомцы суть тоже разбойники, и даже одинъ изъ нихъ, Ванюха Перстень, оказывается атаманомъ. Дѣло объясняется само собой, и путники благополучно пріѣзжаютъ на мельницу, въ которой обитаетъ колдунъ-мельникъ. Спасенные незнакомцы возвращаются во-свояси, а князь съ Михеичемъ остаются ночевать на мельницѣ и вскорѣ засыпаютъ. И въ этой главѣ слогъ представляетъ смѣсь высокаго съ низкимъ, но болѣе преобладаетъ низкій элементъ, ибо дѣйствуютъ преимущественно простолюдины.

Въ третьей главѣ мы знакомимся съ княземъ Аванасьемъ Ивановичемъ Вяземскимъ, однимъ изъ опричниковъ Грознаго. Онъ пріѣхалъ къ мельнику, чтобы воспользоваться его наукой и приворожить къ себѣ ту, которую онъ любилъ.

До чего можетъ довести любовь человѣка самаго безнравственнаго и до какой высоты можетъ дойти слогъ уже самъ по себѣ высокій, это явствуетъ изъ слѣдующей рѣчи кн. Вяземскаго.

— Колдунъ,—продолжалъ князь, смягчая свой голосъ,—помоги мнѣ! Одолѣла меня любовь, змѣя лютая! Ужъ чего я ни дѣлалъ! Цѣлыя ночи передъ иконами молился! Не вымолилъ себѣ покою. Бросилъ молиться, сталъ скакать и рыскать по полямъ съ утра до ночи,—не одного добраго коня заморилъ, а покоя не выѣздилъ! Сталъ гулять по ночамъ, выпивать цѣлыя ковши вина крѣпкаго,—не запилъ тоски, не нашелъ себѣ покоя въ похмельѣ! Махнулъ на все рукой и пошелъ въ опричники. Сталъ гулять за царскимъ столомъ вмѣстѣ со страдниками,—съ Грязными, съ Васмановыми! Самъ хуже ихъ злодѣйствовалъ, разорялъ села и слободы, увозилъ женъ и дѣвокъ, а не залилъ кровью тоски моей! Боятся меня и земскіе и опричники, жалуется царь за молодечество, проклинаетъ народъ православный. Имя князя Аванася Вяземскаго стало такъ же страшно, какъ имя Малюты Скуратова! Вотъ до чего довела меня любовь: погубилъ я душу мою! Да что мнѣ до нея! Во днѣ адовомъ не будетъ хуже здѣшняго! Ну, старикъ, что смотришь мнѣ въ глаза? Али думаешь,

я помѣшался? Не помѣшался Аѳанасій Ивановичъ; крѣпка голова, крѣпко тѣло его! Тѣмъ-то и ужасна моя мука, что не можетъ извести меня!

Князь требуетъ отъ мельника такой травы, чтобы «молодушка полюбила постылаго», или же такой, чтобы свою любовь перемочь, но мельникъ отзывается, что онъ такихъ травъ не знаетъ, а знаетъ: колюку-траву, тирличъ-траву, плакунъ-траву, адамову голову, голубецъ болотный, ревенку-траву, кочадыжникъ, Иванъ-да-Марью, разрывъ-траву. Однако, свойства сихъ травъ не таковы, чтобы потушить жаръ, пламенѣющій въ груди свирѣпаго князя, и потому онъ начинаетъ трясти мельника за воротъ. Эта сцена дышитъ такою правдой, что я не смѣю не привести ее цѣликомъ.

— Старикъ!—вскричалъ вдругъ Вяземскій, хватая его за воротъ:—подавай мнѣ ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, лѣшій! Сейчасъ подавай!

И онъ трясъ мельника за воротъ обѣими руками.

Мельникъ подумалъ, что насталъ послѣдній часъ его.

Вдругъ Вяземскій выпустилъ старика и повалился ему въ ноги.

— Сжался надо мной!—зарыдалъ онъ:—излѣчи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду въ кабалу къ тебѣ! Сжался надо мной, старикъ!

Мельникъ еще болѣе испугался.

— Князь, бояринъ! Что съ тобой? Опомнись! Это я, Давыдычъ, мельникъ!.. Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излѣчишь!

— Князь! князь!—сказалъ дрожащимъ голосомъ мельникъ:—пора за дѣло. Время уходитъ, вставай! Теперь темно: не видалъ я тебя, не знаю, гдѣ ты! Скорѣй, скорѣй за дѣло!

Князь всталъ.

— Начинай,—сказалъ онъ:—я готовъ.

Какъ хотите, а такой быстрый переходъ отъ трясенія за воротъ къ валянію въ ногахъ положительно доказываетъ, что авторъ добросовѣстно изучилъ науку словосочиненія, которою подобные внезапные переходы не только не возбраняются, но даже поощряются, вопреки притязаніямъ другой науки, называемой психологіею (извѣстно, что въ нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ науки, преподаваемые различными учителями, постоянно состоятъ во взаимной другъ съ другомъ враждѣ).

Затѣмъ мельникъ начинаетъ колдовать и заставляетъ князя смотрѣть подъ колесо. Князь смотритъ и видитъ будущую судьбу свою, т.-е. свою собственную казнь, но это его интересуетъ мало; онъ хочетъ знать—такова ужъ сила любви!—любить ли «она» другого. Съ этою цѣлью онъ опять

смотреть подь колесо и, разумѣется, видить «ее» не одну, а съ русымъ молодцемъ въ кармазинномъ кафтанѣ.

«Анаема!—восклицаетъ онъ:—они цѣлуются! Анаема! Будь ты проклять, колдунъ, будь проклять, проклять!»

Разумѣется, бросаетъ мельнику горсть денегъ, всакиваетъ въ сѣдло и уѣзжаетъ.

Это — вторая завязка романа. Читатель предчувствуетъ героиню и знаетъ, что есть нѣкоторый русый молодецъ въ кармазинномъ кафтанѣ. Сказать ли болѣе? Кажется, что читатель начинаетъ также подозрѣвать, что русый молодецъ въ кармазинномъ кафтанѣ есть не кто иной, какъ самъ князь Серебряный.

Глава сія написана языкомъ правильнымъ и вообще ведена старательно. Но возникаетъ вопросъ: вѣрить ли любезный графъ въ колдовство мельника, или не вѣрить? Если принять въ соображеніе состояніе отечественнаго просвѣщенія, то, конечно, надо будетъ дать отвѣтъ отрицательный; если же принять въ соображеніе, что, невзирая на просвѣщеніе, въ природѣ все-таки скрывается много таинственнаго, и что нельзя же предположить, чтобы князь Вяземскій могъ столь вѣрно усмотрѣть ожидающую его участь, если бъ она не была ему показана въ водѣ искуснымъ мельникомъ, то отвѣтъ будетъ едва ли не положительный.

Главы 4, 5 и 6-ю слѣдуетъ разбирать въ совокупности. Онѣ застаютъ насъ сначала въ саду, а потомъ въ домѣ боярина Дружина Андреевича Морозова, къ которому прѣзжаетъ князь Серебряный съ грамотою отъ князя Пронскаго. Въ саду боярыня Елена утѣшается съ сѣнными дѣвухами, въ домѣ сидитъ старый бояринъ Дружина Андреевичъ и собо-лѣзнуетъ о томъ, что находится подь опалой и не видить свѣтлыхъ очей царскихъ, за то что на царскомъ пирѣ не захотѣлъ уступить свое мѣсто Годунову. Замѣчательная черта боярскаго самолюбія, подмѣченная еще Карамзинымъ. Бояринъ и боярыня живутъ, какъ братъ съ сестрой, ибо Дружина Андреевичъ, по преклонности своихъ лѣтъ, иначе и жить уже не можетъ — это третья завязка романа. Является князь Серебряный и, еще не войдя въ домъ къ Морозовымъ, черезъ частоколъ видить въ саду боярыню Елену, видить и не вѣрить глазамъ своимъ. Прозорливость читателя оказывается вознагражденною: русый молодецъ въ кармазинномъ кафтанѣ есть именно князь Серебряный, а

боярыня Елена есть именно та самая боярыня Елена, которая до замужества еще любила Серебрянаго, но въ послѣдствіи, чтобы избавиться отъ преслѣдованій князя Вяземскаго, вынуждена была выйти замужъ за Морозова. Сцена свиданія черезъ частоколъ написана рукою искуснаго мастера. Сначала князь негодуетъ и даже «не хочетъ тратить понапрасну рѣчей», но подъ конецъ дѣло все-таки приходитъ къ тому, что «они бросились другъ къ другу, и уста ихъ соединились...» Чтобы достигнуть этого, не поломавъ раздѣляющій ихъ частоколъ, князь поднимается на стремянахъ, а боярыня становится на скамью. Опять дивный переходъ отъ негодованія къ нѣжности, послѣ котораго герой романа уже отправляется къ Морозову въ домъ. Тамъ они бесѣдуютъ объ опричникахъ, о перемѣнѣ, происшедшей въ характерѣ царя Ивана Васильевича, и рядомъ логическихъ умозаключеній, приходятъ къ мысли, что все сіе происходитъ по волѣ Божіей, карающей Россіянъ, для очищенія отъ грѣховъ.

Сія политическая теорія столь достопримѣчательна, что нахожу не излишнимъ на ней остановиться.

Если народъ погрязаетъ въ грѣхахъ и черезъ то оскорбляетъ Промыслъ, то какой наилучшій способъ имѣетъ сей послѣдній, чтобы напомнить о себѣ и заставить народъ восчувствовать? Тяжело сознаться, но совершенно достоверно, что наилучшими въ семъ случаѣ орудіями всегда почитались вожди народные. Посредствомъ ихъ Промыслъ еще древле наказывалъ израиля, да и въ новѣйшее время, по свидѣтельству П. И. Мельникова, Розенгейма и другихъ опытныхъ обличителей, продолжаетъ слѣдовать той же системѣ. Такъ, на примѣръ, если градъ начнетъ утопать въ роскоши и богатствѣ, то Промыслъ посылаетъ въ оный градоначальника, который въ скорости доказываетъ гражданамъ, что существенными интересами человѣческой жизни должны быть не столько земные интересы, сколько небесные. Что цѣлыя страны такимъ способомъ очищаются отъ грѣховъ, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, однакожь, нельзя не сознаться, что и въ этой теоріи имѣется своя слабая сторона. Она заключается въ томъ, что теорія сія съ превеликою, какъ мнѣ кажется, строгостью относится къ самымъ орудіямъ, посредствомъ коихъ производится очищеніе отъ грѣховъ. Положимъ, что народъ, погрязшій въ грѣхахъ, не мѣшаетъ по временамъ очищать, но чѣмъ же ви-

новаты правители, кои, будучи сами по себѣ людьми невинными, именно для этой цѣли надѣляются самыми звѣрскими качествами и черезъ это погубляютъ свои души и въ послѣдствіи наслѣдуютъ геенну огненную? Народъ поражается казнью временною, правители — казнью вѣчною: неравенство передъ закономъ очевидное. Не наказывать же правителей тоже невозможно, ибо въ такомъ случаѣ всякій охотнѣе предпочтетъ ремеслу правителя ремеслу управляемаго (это и бываетъ въ эпохи затмѣнія человѣческаго разума, называемыя революціями, когда человѣкъ лѣзетъ на высоту, совершенно забывая, что за сіе положена геенна огненная). И потому, дабы устранить всякія сомнѣнія въ столь важномъ дѣлѣ, я полагалъ бы возможнымъ, чтобы Промыслъ въ такихъ случаяхъ употреблялъ орудіями не дѣйствительныхъ людей, а такъ-сказать, подобія ихъ, или лучше сказать, такія сомнительныя существа, которыя имѣли бы наружный человѣческій обликъ, но внутренняго человѣческаго естества не имѣли бы. Думаю, что сочетаніе фотографіи, метакромотипіи и гальванопластики можетъ легко привести къ составленію такого рода людей.

Но довольно съ проектами, возвращусь къ роману. Побесѣдовавши довольно, бояринъ заставляетъ князя обѣдать; за обѣдомъ подаютъ разнаго рода студень, кулебяки, жаркія, похлебки и буженину. Жаль, что любезный сочинитель подробнѣе не распространился объ этомъ предметѣ, но этотъ недостатокъ онъ выполняетъ далѣе, при описаніи царскаго стола. Послѣ обѣда Морозовъ наливаетъ себѣ и князю мальвазіи и, откинувъ назадъ свои опалѣнные волосы, произноситъ:

— Во здравіе великаго государя нашего, царя Ивана Васильевича!

— Просвѣти его Богъ! Открой ему очи! — отвѣчалъ Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Сія политическая теорія также весьма достопримѣчательна, но я не считаю долгомъ распространяться о ней, потому что сущность ея по прямой линіи выходитъ изъ той же теоріи очищенія грѣховъ, о которой говорено мною выше. Не могу, однакожъ, не сказать, что въ этой теоріи замѣчается четвертая завязка романа; не будь ея, князь Серебряный не поѣхалъ бы въ Александрову слободу, и не было бы пятой завязки романа. Пятая завязка происходитъ въ Александровой слободѣ и занимаетъ главы: 7, 8 и 9-ю. Князь

Серебряный прибылъ туда благополучно. Слѣдуетъ великолѣпное описаніе слободы и дворца царскаго. Въѣхавши во дворъ, князь Серебряный видитъ оживленную сцену опричниковъ, играющихъ въ «зернь» и въ свайку, но картина сія едва не кончилась для него печально, такъ какъ опричники, немедленно возненавидѣвъ Серебрянаго, чуть-чуть не за-травили его медвѣдемъ. Избавленный благополучно отъ этой опасности, въ самую критическую для себя минуту, сыномъ злѣйшаго изъ всѣхъ опричниковъ, Малюты Скуратова (шестая завязка романа), князь находится теперь въ раздумьѣ, знаетъ ли царь Иванъ Васильевичъ о томъ, что онъ влѣпилъ его оприщикамъ по молсотенкѣ, или не знаетъ (седьмая завязка романа). Но покуда онъ размышляетъ, къ нему подходитъ стольникъ и приглашаетъ къ царскому столу. Описаніе царскаго стола составляетъ верхъ совершенства. Читая, я не вѣрилъ глазамъ своимъ и даже чувствовалъ невольный голодъ. Надѣясь, что и читатель испытываетъ то же ощущеніе, я не могу воздержаться, чтобы не привести здѣсь нѣсколько отрывковъ изъ этого описанія.

Въ огромной двусвѣтной палатѣ, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинны столы въ три ряда. Въ каждомъ ряду было по десяти столовъ, на каждомъ столѣ по двадцати приборовъ. Для царя, царицы и ближайшихъ любимцевъ стояли особые столы въ концѣ палаты. Гостямъ были приготовлены длинныя скамьи, покрытыя парчею и бархатомъ, государю — высокія рѣзные кресла, убранныя жемчужными и алмазными кистями. Два льва замѣняли ножки креселъ, а спинку образовалъ двуглавый орелъ съ поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. Въ серединѣ палаты стоялъ огромный четырехугольный столъ, съ поставомъ изъ дубовыхъ досокъ.³ Крѣпки были толстыя доски, крѣпки точеные столбы, на коихъ покоился столъ: имъ надлежало поддерживать цѣлую гору, серебряной и золотой посуды. Тутъ были и тазы литые, которые четыре человѣка съ трудомъ подняли бы за узорчатыя ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугомъ, и блюда разныхъ величинъ съ чеканными узорами. Тутъ были и чары сердоликовые, и кружки изъ строфоамиловыхъ яицъ, и турьи рога, оправленные въ золото. А между блюдами и ковшами стояли золотыя кубки, страннаго вида, представлявшіе медвѣдей, львовъ, пѣтуховъ, павлиновъ, журавлей, единороговъ и строфоамиловъ. И всѣ эти тяжелыя блюда, суды, ковши, чары, черпала, звѣри и птицы громоздились кверху клинообразнымъ зданіемъ, котораго конецъ упирался почти въ самый потолокъ.

Чинно вошла въ палату блестящая толпа царедворцевъ и размѣстилась по скамьямъ. На столахъ, въ это время, кромѣ солоновокъ, перечницъ и уксусницъ, не было никакой посуды, а изъ яствъ стояли только блюда холоднаго мяса на постномъ маслѣ, соленые огурцы, сливы и кислое молоко въ деревянныхъ чашахъ.

Далѣе:

Слуги, бывшіе въ бархатной одеждѣ, явились теперь всѣ въ парчевыхъ доломанахъ. Эта перемѣна платья составляла одну изъ роскошей царскихъ обѣдовъ. На столы поставили сперва разные студени, потомъ журавлей съ прянымъ зельемъ, рассолныхъ пѣтуховъ съ инбиремъ, безкостныхъ курицъ и утокъ съ огурцами. Потомъ принесли разные похлебки и трехъ родовъ уху: курячью бѣлую, курячью черную и курячью шафранную. За ухую подали рабчиковъ со сливами, гусей съ пшеномъ и тетерекъ съ шафраномъ.

Тутъ наступилъ прогулъ, въ продолженіе котораго разносили гостямъ меды: смородиновый, княжій и боярскій, а изъ винъ: аликантъ, бастръ и мальвазію.

Еще далѣе:

Уже болѣе четырехъ часовъ продолжалось веселье, а столъ былъ только въ полу-столѣ. Отличились въ этотъ день царскіе повара. Никогда такъ не удавались имъ лимонныя кальи, верченныя почки и караси съ бараниной. Особенное удивленіе возбуждали исполнскія рыбы, пойманныя въ Студеномъ морѣ и присланныя въ слободу изъ Соловецкаго монастыря. Ихъ привезли живыхъ, въ огромныхъ бочкахъ; путешествіе продолжалось нѣсколько недѣль. Рыбы эти едва умѣщались на серебряныхъ и золотыхъ тазахъ, которые вносили въ столовую нѣсколько человѣкъ разомъ. Затѣйливое искусство поваровъ выказывалось тутъ въ полномъ блескѣ. Осетры и шеврюги были такъ надрѣзаны, такъ посажены на блюда, что походили на пѣтуховъ съ простертыми крыльями, на крылатыхъ змѣевъ съ разверстыми пастью. Хороши и вкусны были также зайцы въ лапшѣ, и гости, какъ уже ни нагузились, но не пропустили ни перепеловъ съ чесночною подливкой, ни жаворонковъ съ лукомъ и шафраномъ. Но вотъ, по знаку стольниковъ, убрали со столовъ соль, перецъ и уксусъ и сняли всѣ мясныя и рыбныя яства. Слуги вышли по два въ рядъ и возвратились въ новомъ убранствѣ. Они замѣнили парчевые доломаны лѣтними кунтушами изъ бѣлаго аксамита съ серебрянымъ шитьемъ и собольей опушкой. Эта одежда была еще красивѣе и богаче двухъ первыхъ. Убранные такимъ образомъ, они внесли въ палату сахарный кремль, въ пять пудовъ вѣсу, и поставили его на царскій столъ. Кремль этотъ былъ вылитъ очень искусно. Зубчатая стѣна и башни, и даже пѣшіе и конные люди были тщательно отдѣланы. Подобные кремли, но только поменьше, пуда въ три, не болѣе, украсили другіе столы. Вслѣдъ за кремлями внесли около сотни золоченыхъ и крашеныхъ деревьевъ, на которыхъ, вмѣсто плодовъ, висѣли пряники, коврижки и сладкіе пирожки. Въ то же время явились на столахъ львы, орлы и всякія птицы, литые изъ сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоковъ, ягодъ и волошскихъ орѣховъ. Но плодовъ никто уже не трогалъ, всѣ были сыты. Иные допивали кубки романей, болѣе изъ приличія, чѣмъ отъ жажды; другіе дремали, облокотясь на столъ; многіе лежали подъ лавками, всѣ безъ исключенія распоясались и разстегнули кафтаны. Нравъ каждого обрисовался яснѣе.

Признаюсь, я не утерпѣлъ, чтобъ не показать это описаніе своему коллегѣ, учителю латинскаго языка, который имѣетъ весьма основательныя свѣдѣнія о томъ объяденіи, которому, въ древности, предавались римляне. Но и онъ пришелъ въ восторгъ и наотрѣзъ мнѣ сказалъ, что римляне никогда ничего подобнаго не ѣдали.

Нѣчто подобное обжорному московскому великолѣпію видимъ мы лишь въ древнемъ Карфагенѣ, какъ о томъ свидѣтельствуется французскій писатель Густавъ Флоберъ, издавшій въ прошломъ году знаменитый романъ «Salammbô».

Содержаніе сихъ романовъ («Князь Серебряный» и «Salammbô») во многомъ до такой степени сходствуетъ, что нелишне было бы провести между ними нѣкоторую параллель, дабы видѣть, что и кто у кого предвосхитилъ.

Мѣсто дѣйствія «Князя Серебрянаго» происходитъ въ древней Москвѣ; мѣсто дѣйствія «Salammbô» происходитъ въ древнемъ Карфагенѣ. Повидимому, тутъ сходства нѣтъ, но это лишь повидимому, и это-то именно я беруь дока...

(«На этомъ мѣстѣ рукопись прервана несчастною смертию рецензента».)

М. Е. Салтыковъ-Щедринъ.

«Князь Серебряный».

*Повесть временъ Иоанна Грознаго. Соч. графа Алексѣя Толстого.
(Русскій Вѣстникъ, 1862 г., августъ, сентябрь, октябрь) ¹⁾.*

Возможно ли для насъ воссозданіе нашего стараго быта? Вотъ первый вопросъ, который постоянно представляется при появленіи каждаго новаго произведенія, будетъ ли это романъ, драма, поэма, имѣющая эту задачу.

Первое чувство, съ которымъ всѣ мы, мыслящіе читатели или критики, приступаемъ къ подобнаго рода явленію, есть, безъ всякаго сомнѣнія,—недовѣріе. На это недовѣріе есть нѣсколько причинъ, и причинъ очень важныхъ, заключающихся какъ, вообще въ нашихъ умственныхъ и нравственныхъ требованіяхъ, такъ и въ частныхъ, историческихъ или даже чисто-случайныхъ обстоятельствахъ. Съ другой стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія,—объ этомъ свидѣлствуютъ факты,—что всякое подобнаго рода произведеніе возбуждаетъ при появленіи своемъ и большой интересъ и значительныя ожиданія: какъ-будто все ждемъ мы, что вотъ-вотъ кто-нибудь разрѣшитъ намъ мудреную загадку, разсѣчетъ намъ запутанный узелъ нашихъ отношеній къ нашему старому быту...

Ожиданія большею частью до сихъ поръ не оправдывались: интересъ, сначала сильно возбужденный, съ изумляющею быстротой слабѣлъ...

Вотъ, напримѣръ, новый и добросовѣстный трудъ чело-вѣка съ несомнѣннымъ талантомъ, приступавшаго къ дѣлу съ любовью и съ умомъ, изучившаго избранную имъ эпоху, подложившаго даже душевную мысль подъ свои изученія... На него, на этотъ прекрасный трудъ, многіе, можно сказать, большинство даже, бросились съ жадностью, но и его, увы! ждетъ въ скоромъ времени неминуемое забвеніе, постигаетъ общая участь.

¹⁾ «Время», 1862 г., № 14.

Немного всплыло доселѣ и осталось изъ нашихъ попытокъ возсоздать старый бытъ: пушкинскіе «Борисъ» да «Русалка», лермонтовскій «Калашниковъ», частями—остались капиталами—блестящія попытки Вельмана въ изображеніи старины почти миеической, частями же романы Лажечникова. Остальное, по бывалому выраженію, кануло въ Лету.

Современные наши читатели едва ли помнятъ эпоху свирѣпствованія въ литературѣ историческаго рода съ легкой руки покойнаго Загоскина, а эпоха эта прелюбопытная по своей наивной вѣрѣ. Несмотря на то, что изъ кружка пушкинскаго вышелъ ей едва ли не съ самаго же начала такой приговоръ, что наши тогдашніе романисты снимали изображенія предковъ съ кучеровъ ихъ потомковъ, и что этотъ нѣсколько аристократическій приговоръ, въ сущности, оказался справедливымъ: многочисленность фактовъ, выражавшихъ одно и то же стремленіе, была такова, что самъ Бѣлинскій назвалъ этотъ періодъ — романтически-народнымъ.

И Бѣлинскій былъ даже правъ. Романтическая струя въ той эпохѣ — несомнѣнна. Несомнѣнна же и народная струя, только она бѣжала вовсе не по тому руслу, по которому шли загоскинскіе романы и кукольниковскія драмы... Тихо и ровно, но широко открыла она свое теченіе въ «Борисѣ», «Русланѣ», «Капитанской дочкѣ», «Арапѣ Петра Великаго», «Дубровскомъ», сверкнула водопадомъ въ лермонтовской поэмѣ «о купцѣ Калашниковѣ», бросивши нѣсколько разливовъ вдаль въ «Кащеѣ» и «Святославичѣ» Вельмана, пожалуй, въ великолѣпной языковской сказкѣ о «Сѣромъ волкѣ и жарь-птицѣ», смѣшала свои чистыя воды съ мутными водами другого русла въ романахъ Лажечникова, затаилась потомъ, загороженная отрицательною литературой сороковыхъ годовъ, и потомъ потекла себѣ, какъ Волга отъ Костромы, въ дѣятельности Островскаго, принявши въ себя на пути нѣчто въ родѣ Камы — «Семейную хронику» покойнаго Аксакова...

Разница между этими двумя струями—въ приѣмѣ, въ точкѣ отправленія.

Для людей, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Островскій, отчасти Вельманъ, Лажечниковъ, Аксаковъ, какъ для художниковъ, творчество невозможно безъ натуры, безъ опредѣленныхъ типовъ. Въ «развитіе» души человѣческой, т.е. въ то, чтобы люди когда-либо были звѣрями, а потомъ сдѣ-

лались людьми, они плохо вѣрятъ. Душу человѣка они мѣрятъ во всѣ времена и вѣка на одинъ аршинъ; душевныя явленія объясняютъ одними и тѣми же законами. Погодина, ревностнаго и рьянаго защитника памяти Бориса, выставившаго поспѣшность и нелѣпость слѣдствія по дѣлу убіенія царевича Дмитрія за одно изъ доказательствъ невинности Бориса, который сумѣлъ бы ловчѣе и умнѣе схоронить концы, Пушкинъ поразилъ простымъ возраженіемъ, что какой-угодно наинумнѣйшій человѣкъ торопится отдалить отъ себя слѣды страшнаго дѣла и до тѣхъ поръ, пока отъ представленія о немъ какъ-нибудь не отдѣляется, теряетъ всякое самообладаніе... Понятно, что, несмотря на карамзинское вліяніе, представленіе стараго быта въ Борисѣ вышло несравнимо выше всей исторіи Карамзина, и съ карамзинскою школою ничего не имѣетъ общаго въ приѣмѣ; что сценой въ корчмѣ—пушкинское творчество закидываетъ сѣти въ далекое отъ него будущее, въ дѣятельность Островскаго, и что нѣкоторые наброски, какъ Пугачевъ въ «Капитанской дочкѣ», закинуты еще дальше...

Геніальный юношескій взрывъ Лермонтова въ поэмѣ о купцѣ Калашниковѣ точно такъ же простъ по своему приѣму, а между тѣмъ таковъ, что въ изображеніи Грознаго-вѣнценосца мы не пошли дальше ни въ высокоталантливыхъ драмахъ Мея ни въ новомъ романѣ графа А. Толстого, а элементъ земскаго протеста, сосредоточеннаго съ великою поэтической силой въ другомъ героѣ великой поэмы, въ Калашниковѣ—до сихъ поръ еще никому не пригрезился.

Приѣмъ Островскаго въ Мининѣ въ этомъ отношеніи дотого простъ, что академія не удостоила его даже преміи, а г. Омега объявилъ его вовсе негоднымъ, но, вѣдь, академіи испоконъ вѣка браковали «Сидовъ» (на то онѣ и академіи), а пушкинскій Борисъ возбудилъ неудовольствіе даже не въ г. Омега, а въ первомъ русскомъ критикѣ той эпохи, въ Полевомъ, и понятъ былъ только грубымъ семинаристомъ Некодимомъ Надоумкой.

Такъ же просты приѣмы другихъ менѣе цѣнныхъ художниковъ, каковы: Вельтманъ, Лажечниковъ, Мей — тамъ, гдѣ они являются истинными художниками. Передъ ними стоитъ натура, какая-нибудь да натура. Вельтманъ въ своемъ «Кашеѣ» и «Святославичѣ», правильно ли нѣтъ ли, но взялъ натуру южныхъ славянскихъ племенъ, и вышли образы за-

правскіе, а не сочиненныя. Лажечниковъ въ изображеніи Ивана III и русскаго быта той эпохи руководствуется общею натурой русскаго человѣка—и это-то руководство помогаетъ ему создать Волынскаго, невѣрнаго, можетъ-быть, исторически, но лицо народно-типическое.

Другая струя вела свое начало отъ Загоскина, Загоскинъ же велъ свое начало отъ Шишкова по духу и отъ внѣшняго импульса, отъ Вальтеръ-Скотта по нормѣ. Извѣстно, что такое шишковское славянофильство. Оно было направленіе очень почтенное, но, во-первыхъ, его крайніе логическіе предѣлы—гг. Бурачекъ, А. Муравьевъ и г. Аскоченскій,—во-вторыхъ, самый ярый изъ западниковъ ближе, въ сущности, къ народу, чѣмъ писатели шишковской школы... Загоскинъ, единственно даровитый человѣкъ этого направленія, смотрѣлъ на русскій бытъ сквозь византійско-татарскую призму, замѣнявшую до Петра Великаго призму византійско-казарменную. Единственною натурой, которую онъ зналъ въ русскомъ быту, была натура стародворянская да натура двороваго человѣка: первую, которую бичевалъ Грибоѣдовъ въ Фамусовѣ и Хлестовой и изображалъ со всею строгостью простоты Пушкинъ въ Кириллѣ Троекуровѣ,—онъ поэтизировалъ въ умиленіи; у второй—онъ заимствовалъ для изображеній своихъ языкъ и формы.

За нимъ пошла цѣлая вереница историческихъ романовъ, о которыхъ мы когда-нибудь поговоримъ поподробнѣе. Всѣ они писались на одинъ манеръ.

Всего страннѣе то, что человѣкъ народа, Полевой, идеями своими далеко опережавшій всю эту школу—какъ драматургъ попалъ въ ту же манеру, противъ которой самъ ратовалъ и протестовалъ въ критикахъ и романахъ.

Къ какой же струѣ принадлежитъ Князь Серебряный графа Алексѣя Толстого?

Авторъ предпослалъ своей повѣсти предисловіе.

«Представляемый здѣсь разсказъ,—говоритъ онъ,—имѣетъ цѣлью не столько описаніе какихъ-либо событій, сколько изображеніе общаго характера цѣлой эпохи и воспроизведеніе понятій, вѣрованій, нравовъ и степени образованности русскаго общества во вторую половину XVI столѣтія.

Оставаясь вѣрнымъ исторіи въ общихъ ея чертахъ, авторъ позволилъ себѣ нѣкоторые отступленія въ подробностяхъ, не имѣющихъ исторической важности. Такъ, между прочимъ, казнъ Вяземскаго и обоихъ Басмановыхъ, случившаяся на дѣлѣ въ 1570 году, помѣщена, для сжатости разсказа, въ 1565 годъ. Этотъ умышленный анахронизмъ едва ли навлечетъ на себя стро-

гое порицаніе, если принять въ соображеніе, что безчисленныя казни, послѣдовавшія за низверженіемъ Сильвестра и Адашева, хотя много служатъ къ личной характеристикѣ Іоанна, но не имѣютъ вліянія на общій ходъ событій.

Въ отношеніи къ ужасамъ того времени, авторъ оставался постоянно ниже исторіи. Изъ уваженія къ искусству и къ нравственному чувству читателя, онъ набросилъ на нихъ тѣнь и показалъ ихъ по возможности въ отдаленіи. Тѣмъ не менѣе, онъ сознается, что при чтеніи историковъ книга не разъ выпадала у него изъ рукъ, и онъ бросалъ перо отъ негодованія, не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія. Это тяжелое чувство постоянно мѣшало необходимой въ вѣщескомъ сочиненіи объективности и было отчасти причиной, что романъ, начатый болѣе десяти лѣтъ тому назадъ, оконченъ только въ настоящемъ году. Послѣднее обстоятельство послужить, быть-можетъ, нѣкоторымъ извиненіемъ для тѣхъ неровностей слога, которыя, вѣроятно, не ускользнутъ отъ читателя.

Въ заключеніе авторъ полагаетъ нелишнимъ сказать, что чѣмъ больше онъ обращался со второстепенными историческими происшествіями, тѣмъ строже онъ старался наблюдать истину и точность въ описаніи характеровъ и всего, что касается до народнаго быта и до археологіи.

Если удалось ему воскресить наглядно фیزیомію очерченной имъ эпохи, онъ не будетъ сожалѣть о своемъ трудѣ и почтетъ себя достигшимъ желанной цѣли.

Мы нарочно выписали все предисловіе, чтобы выставить на видъ тѣ вполне серьезныя задачи, которыя имѣлъ въ виду авторъ новаго историческаго романа. Онъ взялся, шутка сказать! изобразить характеръ цѣлой эпохи, воспроизвести понятія, вѣрованія, нравы и степень образованности тогдашняго русскаго общества.

Почему же за «все» тогдашнее общество онъ счелъ Грознаго и его опричника, земскихъ бояръ и станичниковъ, т.-е. разбойниковъ? Это первый вопросъ, который представляется при чтеніи его произведенія всякому мало-мальски мыслящему читателю.

Давно уже было намекаемо, если не подробно развиваемо многими нашими изслѣдователями, что быть боярѣ, хотя бы даже и земскихъ, а тѣмъ болѣе быть придворнымъ не могутъ быть исключительнымъ мѣриломъ всей общественной жизни той эпохи. Не безъ основанія полагали также нѣкоторые, что и такъ-называемая патріархальность, т.-е. не семейное, а родовое начало съ его разными послѣдствіями, т.-е. деспотизмомъ и угнетеніемъ женщины, развившееся въ этомъ показномъ быту, обязано своимъ крайнимъ развитіемъ преобладанію наносныхъ элементовъ, татарскому влія-

нію, которому показной быть подвергся по преимуществу, и которое онъ, въ свою очередь, старался распространить въ быту истинно-земскомъ, уходившемъ все-таки такъ или иначе изъ-подъ его вліянія.

Графу Толстому заблагоразсудилось твердо держаться старыхъ, такъ-сказать, казенныхъ точекъ зрѣнія: онъ занялся только изученіемъ наказного быта, и поэтому онъ, читая лѣтописи, только дивился тому, что было общество, которое выносило Іоанна IV.

А простой вопросъ о томъ, почему оппозиція «земскихъ» бояръ тирану встрѣчала въ земщинѣ мало сочувствія или вовсе не находила дѣятельнаго сочувствія, вовсе не пришелъ ему въ голову.

Мы далеки отъ мысли видѣть въ Грозномъ Ивана-благодѣтеля русской земли, какого видитъ въ немъ школа гг. Соловьева и Кавелина; мы, разбирая разъ произведеніе, несравненно высшее романа графа Толстого, «Псковитянку» Мея, упрекнули покойнаго поэта въ изображеніи Ивана по этой теоріи въ сладкихъ изліяніяхъ души передъ Борисомъ и сыномъ, но не можемъ раздѣлять и другого односторонняго воззрѣнія, подъ вліяніемъ котораго написанъ романъ графа Толстого.

«Да поможетъ Богъ и намъ,—заключаетъ авторъ свою повѣсть,—изгладить изъ сердецъ нашихъ послѣдніе слѣды того страшнаго времени, вліяніе котораго, какъ наслѣдственная болѣзнь, еще долго потомъ переходило въ жизнь нашу отъ поколѣнія къ поколѣнію! Простимъ грѣшной тѣни царя Іоанна, ибо не онъ одинъ несетъ отвѣтственность за свое царствованіе; не онъ одинъ создалъ свой произволъ и пытки, и казни, и наущничество, вошедшее въ обязанность и въ обычай. Эти возмутительныя явленія были подготовлены предыдущими временами, и народъ, упавшій такъ низко, что могъ смотрѣть на нихъ безъ негодованія, самъ создалъ и усовершенствовалъ Іоанна, какъ рабодѣльные римляне временъ упадка создавали Тиверіевъ, Нероновъ и Калигулъ».

Едва ли послѣ всего того, что раскрываетъ передъ нашими глазами дѣятельность г. Щапова и что возсоздаетъ творчество Островскаго, стоитъ «серьезно» опровергать эти—позвольте ужъ такъ выразиться—«вздорныя» слова. Какой это «народъ» разумѣетъ графъ Толстой? Этотъ народъ умѣлъ стоять за себя, когда дѣло касалось его интересовъ. Если онъ молчалъ, если Грозный становился все грознѣе и грознѣе, то потому, что народъ не сочувствовалъ оппозиціи земскихъ бояръ по той простой причинѣ, что солонны ему самому

были эти земскіе бояре, которыхъ хочетъ нашъ романистъ выставить защитниками его правъ противъ опричины.

Если опричина Ивана случайно задѣвала его, хотя до него она вообще не касалась, онъ умѣлъ постоять за себя, что гениально угадано Лермонтовымъ въ его великой поэмѣ о купцѣ Калашниковѣ и Лажечниковымъ въ одной сценѣ его неудачной драмы «Опричникъ», въ сценѣ столкновенія рядскихъ съ опричниками...

Этого народа не видѣлъ или не хотѣлъ видѣть графъ А. Толстой и, несмотря на то, что онъ изучалъ добросовѣстно одну сторону эпохи, романъ его кажется написаннымъ «нарочно» — такъ же точно нарочно, какъ нарочно написанъ имъ недавно «Донъ-Жуанъ».

Разбирать его въ подробности мы не станемъ, — даромъ что онъ въ трехъ частяхъ и даромъ что онъ многими читается съ интересомъ, особенно, какъ говорятъ, барынями. Въ немъ все — сочиненіе перѣдко и искусное, но чаще всего искусственное; все, даже статистическое, за исключеніемъ одного полуидиота Митьки съ его оглоблей. Авторъ говоритъ, что въ изображеніяхъ ужасовъ эпохи, онъ постоянно ниже исторіи. Это неправда. Лучшее, наиболѣе удавшееся ему, это изображеніе женоподобнаго Оедьки Басманова, рѣзкое до содомской наглости...

Замѣчательно странно, что все завоеванное въ изображеніи чертъ народа Островскимъ, прошло какъ-будто мимо нашего романиста; еще страннѣе, можетъ-быть, то, что романъ, писанный въ 1852—1862 годахъ, не можетъ итти въ какое-либо сравненіе съ романами Лажечникова, писанными въ половинѣ и концѣ сороковыхъ годовъ. Тамъ — сила творчества, страстнаго иногда до излишества, чутье народныхъ типовъ подчасъ изумляющее, поэзія несомнѣнная, хоть и пополамъ съ фальшью и ходульностью; здѣсь — бесплодная, хоть и добросовѣстная усилія да казенщина почти загоскинская, безъ загоскинской наивности.

Многіе будутъ на насъ негодовать за рѣзкость нашего приговора, но время, и очень недалекое, насъ совершенно оправдаетъ. Князь Серебряный весьма скоро будетъ забытъ, а «Басурманъ», «Ледяной домъ» и «Новикъ» будутъ всегда читаться, несмотря на ихъ недостатки.

«Князь Серебряный».

*Повѣсть временъ Иоанна Грознаго. Графа А. К. Толстого *)*.

Историческій романъ, собственно говоря, получилъ права гражданства въ нашей литературѣ со временъ Загоскина и Лажечникова. Превжнія попытки возсозданія нашего прошедшаго быта въ видѣ повѣстей прошли совершенно незамѣченными, между тѣмъ какъ произведенія этихъ писателей имѣли огромный успѣхъ. Сочувствіе публики къ подобнаго рода произведеніямъ въ первое время приняло характеръ какой-то мании и вызвало цѣлый рядъ подражателей, которые ревностно начали подвизаться на этой мало обработанной почвѣ. Съ легкой руки «Юрія Милославскаго», русская литература наводнилась стрѣльцами, выжигинами, самозванцами и тому подобными продуктами, заранѣе обезпечивавшими себѣ извѣстную долю вниманія своимъ историческимъ содержаніемъ. То было славное время для романистовъ подобнаго разряда! Отечественную исторію, вообще, мы знаемъ плохо, а тогда знали еще меньше; поэтому задумываться объ исторической вѣрности идеи извѣстной эпохи и характеровъ героевъ было нечего: стоило только взять любой матеріалъ изъ непочатаго угла русской исторіи и втиснуть его въ казенный трафаретъ нашихъ тогдашнихъ романовъ. Припомнимъ теперь, къ случаю, этотъ трафаретъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ примѣнялся къ историческому роману.

Основаніемъ служило общее понятіе о борьбѣ officialнаго добра съ officialнымъ зломъ; потому героями историческихъ романовъ выбирались какъ добродѣтельные, такъ и порочные люди. Впрочемъ, историческіе злодѣи рѣже допускались къ разыгрыванію первыхъ ролей. Оба разряда героевъ представляли изъ себя цѣльные характеры, безъ малѣйшихъ противорѣчій: или съ ногъ до головы добродѣтельный, или ужъ отъявленный негодяй. Герой, если онъ только былъ добродѣтельный, долженъ былъ непременно любить, съ одной стороны, отечество, съ другой — женщину. Правда,

*) «Голосъ», 1863 г., № 48.

эти качества дозволялось имѣть и не первымъ лицамъ романа; но герой долженъ былъ любить и больше и крѣпче. Въ первомъ случаѣ препятствіемъ ему являлись внѣшніе враги Россіи—иноземцы, съ которыми онъ, въ качествѣ гражданина, долженъ былъ сражаться на полѣ брани; во второмъ—злые люди и, вообще, несчастныя обстоятельства, или разрывавшія окончательно союзъ двухъ любящихъ сердець, или отлагавшія свадьбу къ концу романа. Героямъ-злѣдѣямъ, большею частью, отказывалось въ правѣ любить Россію; они любятъ больше крамолу. Имъ позволялось также любить женщину, но, большею частью, нечистою страстью, безъ мысли о законномъ супружествѣ, какъ и подобаетъ злѣдѣямъ. Главная героиня романа должна была быть непремѣнно красавица и притомъ представлять изъ себя идеальную официальную добродѣтели, т.-е. быть умною, скромной, набожной, трудолюбивой, нѣжной и т. п. Дѣятельность же свою она обнаруживала, большею частью, безцвѣтною, пассивной покорностью судьбѣ, ожиданіемъ сладкаго свиданія, горячими молитвами, а иногда и гаданіемъ о суженомъ. У героевъ и героинь должны были существовать наперсники и наперсницы. Борьба, возникавшая между главными лицами, ознаменовывалась тысячею оригинальныхъ приключеній, въ которыхъ, съ одной стороны, наилучшимъ образомъ выказывалась доблесть добродѣтельнаго героя, и съ другой—низость его противника. Какъ побочныя лица, въ этой борьбѣ являлись юродивые, нищіе, колдуны и иногда разбойники. Между послѣдними всегда находилось двое-трое добродѣтельныхъ, которые обязаны были, наравнѣ съ избранными наперсниками (большею частью, заслуженными лакеями), являться на помощь къ герою, какъ *deus ex machina*, въ наитруднѣйшую минуту его жизни. Нищіе, юродивые и колдуны, какъ одаренные способностью провидѣть, изрекали героямъ неизмѣнный приговоръ судьбы, утѣшительный для добродѣтельныхъ и невыгодный для злѣдѣевъ. Пророчества ихъ составляли неизбѣжный фантастическій элементъ историческаго романа. Конецъ былъ двоякій: или погибали злѣдѣи, и добродѣтельные герои отправлялись на свадьбу, или же наоборотъ—подъ вліяніемъ несчастныхъ обстоятельствъ добродѣтельные умирали или уходили въ монастырь. Но въ обоихъ случаяхъ злѣдѣи не достигали цѣли: ему, несмотря на видимую удачу, не удавалось ни повредить Россіи, ни

насладиться любовью добродѣтельной женщины. Такимъ образомъ, полагали достигать основной цѣли романа—насадить мораль въ сердцахъ читателей, которые, прочитавъ подобное произведение, ужъ, конечно, должны были убѣждаться, что лучше быть добродѣтельнымъ, чѣмъ порочнымъ.

Таковъ былъ рецептъ, по которому писались историческіе романы въ наше недавнее, но уже старое время. Изъ сказаннаго нами видно, что нашъ историческій романъ отличался отъ обыкновеннаго только заглавіемъ, историческими именами героевъ да еще извѣстнымъ историческимъ событіемъ, какъ бы пришитымъ съ боку къ казенной общей интригѣ. Но миновала эта пора увлеченія; подъ вліяніемъ иныхъ обстоятельствъ, явились иные требованія, истаскался трафаретъ нашихъ романистовъ и пересталъ тѣшить вкусъ публики, уставшей уже смотрѣть на отечественную исторію глазами Карамзина и Устрялова. Съ одной стороны, самостоятельное изученіе фактовъ нашего прошедшаго быта, съ другой—болѣе глубокое изслѣдованіе явленій настоящаго времени отвлекли вниманіе публики отъ историческаго романа; самая мысль о немъ какъ бы была забыта. Какъ хорошее воспоминаніе, осталось намъ нѣсколько талантливыхъ страницъ изъ романовъ Загоскина и Лажечникова, которыя заставляли насъ вѣрить въ возможность будущаго возрожденія русскаго историческаго романа.

Дѣйствительно, мысль о немъ въ нашемъ обществѣ никогда не умирала, а только отодвинулась подъ вліяніемъ различныхъ обстоятельствъ на второй планъ и выжидала удобнаго случая, чтобы высказаться. Въ послѣднее время она обнаружилась замѣтнымъ образомъ въ томъ нетерпѣніи, съ какимъ читающая публика ожидала обѣщаннаго появленія драматической хроники г. Островскаго, и въ той поспѣшности, съ которою была прочитана ею историческая повѣсть графа Толстого. Но если, съ одной стороны, въ энтузіазмѣ ожиданія сказалась любовь публики къ литературному возсозданію нашего прошедшаго историческаго быта, то, съ другой стороны, по холоднымъ и неудовлетворительнымъ для авторовъ отзывамъ объ этихъ двухъ произведеніяхъ можно ясно видѣть, что измѣнились условія, при которыхъ подобныя литературныя явленія могли рассчитывать на вѣрный успѣхъ. Только имени автора обязанъ былъ «Мининъ-Сухорукъ» своимъ появленіемъ на страницахъ журнала, и только одинъ

г. Анненковъ возсталъ на защиту автора отъ обвиненій въ неполномъ и невѣрномъ представленіи извѣстной эпохи. Самый способъ оправданія драматической хроники величіемъ избраннаго сюжета служить доказательствомъ того, что это литературное произведеніе само-по-себѣ не въ состояніи выдержать критики.

Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» появился Князь Серебряный, сочиненіе графа А. К. Толстого, сочинившаго еще прежде, на страницахъ того же журнала, своего собственнаго «Донъ-Жуана», и впечатлѣніе, произведенное тою новою попыткой возсоздать наше прошлое, далеко не удовлетворительно. Историческую повѣсть время Грознаго читаютъ; но похвалы, расточаемыя ей, не идутъ дальше внѣшняго интереса разсказа. Намъ могутъ возразить, что истинно-великія произведенія искусства никогда не производятъ эффекта на первый взглядъ, что они недоступны массѣ, что успѣхъ ихъ обезпечивается будущимъ. Едва ли. Мы сильно сомнѣваемся, чтобы подобнаго рода капитальныя произведенія могли перейти въ отдаленное потомство, именно потому, что въ нихъ нѣтъ того существеннаго элемента, который одинъ можетъ ручаться за безсмертіе, именно—свободнаго творчества. Дѣло въ томъ, что, при современномъ развитіи нашей литературы, въ историческомъ романѣ мы желаемъ видѣть полную, живую картину русской жизни и извѣстную эпоху, дѣйствительное возсозданіе историческихъ характеровъ, а не казенныхъ героевъ и героинь, машинально пляшущихъ по внѣшней программѣ лѣтописи. Графъ Толстой, повидимому, понимаетъ, въ чемъ заключаются современныя требованія отъ историческаго романа; по крайней мѣрѣ, въ предисловіи онъ высказывается на этотъ счетъ довольно ясно: «Представляемый здѣсь разсказъ (говоритъ онъ) имѣетъ цѣлью не столько описаніе какихъ-либо событій, сколько изображеніе общаго характера цѣлой эпохи и воспроизведеніе понятій, вѣрованій, нравовъ и степени образованности русскаго общества во вторую половину XVI столѣтія».

Программа, какъ видите, вѣрная, широко задуманная. Но самое выполненіе ея, несмотря на добросовѣстное, прилежное изученіе историческихъ матеріаловъ, далеко не соответствуетъ предполагаемой цѣли: въ романѣ есть все, что обезпечило бы, навѣрно, его славу во времена Загоскина, и нѣтъ ничего, что могло бы спасти его въ настоящее время.

Не рассказывая содержанія романа, вѣроятно, уже извѣстнаго читателямъ, познакомимся со взглядомъ автора на ту интересную эпоху, въ которую жилъ князь Серебряный.

Основная идея романа—представить нагляднымъ образомъ личность Іоанна Грознаго и тѣ отношенія, въ которыхъ являлся онъ къ народу въ послѣдній періодъ своего царствованія. Съ этою цѣлью авторъ вводитъ читателя во внутренность Александровской слободы, съ мелочными подробностями выставляетъ на видъ всю обстановку царскаго быта и выводитъ на сцену самого царя, окруженнаго опричниками, стараясь, при этомъ, показать какъ можно больше сторонъ его характера и дѣятельности. Слѣдя за рассказомъ, вы находите, что авторъ въ представляемомъ имъ портретѣ Іоанна IV, собралъ, повидимому, всѣ данныя, которыми лѣтопись охарактеризовала этого грознаго царя; тѣмъ не менѣе, полной и вѣрной характеристики этой замѣчательной личности мы не видимъ. Авторъ не разрѣшаетъ положительнымъ образомъ тѣхъ рѣзкихъ противорѣчій, которыя составляютъ отличительную черту характера Грознаго, и, склоняясь къ тому же убѣжденію, что Іоаннъ IV, былъ классическій тиранъ, наивно удивляется тому, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на его тиранію безъ негодованія. По односторонности этого взгляда, мы въ правѣ заключить, что авторъ, въ массѣ собранныхъ имъ матеріаловъ, не отдалъ настоящаго значенія ни личности Іоанна Грознаго ни описываемой имъ эпохи. Исторія говоритъ намъ, что побѣдитель Казани запятналъ послѣдніе годы своего славнаго царствованія страшными казнями, обогрилъ землю русскую цѣлыми потоками крови. Но изъ этой же исторіи мы узнаемъ, что этотъ безконечный рядъ убійствъ не былъ въ Іоаннѣ одною животною жаждой крови: въ выборѣ жертвъ, въ самомъ способѣ казней постоянно проглядываетъ одна основная мысль, придававшая кровопролитію характеръ не личнаго произвола, а извѣстной политической мѣры; эта мысль была искорененіе измѣны и крамолы въ государствѣ. Мысль эта, сдѣлавшаяся, въ послѣдствіи, маніею, была не безъ основанія: корень ея—дѣтство Іоанна. Всѣмъ извѣстно, при какихъ обстоятельствахъ и условіяхъ выработался характеръ Грознаго, кому обязанъ онъ былъ своимъ воспитаніемъ, подъ вліяніемъ какихъ причинъ состоялось его обѣщаніе «быть царемъ правды», данное народу, и, наконецъ, что побудило

его освободиться изъ-подъ опеки Сильвестра и Адашева. Онъ хорошо понималъ, что не въ боярахъ, окружавшихъ его престолъ, заключаются интересы и силы Россіи, что не въ народѣ, бунтовавшемъ во время пожара, кроется настоящая причина государственныхъ неустройствъ, что не изъ среды народной массы можетъ онъ опасаться измѣны... Отсюда понятно, на какой классъ тогдашняго общества долженъ былъ по преимуществу обрушиться гнѣвъ Іоанна въ то время, когда эта сильная натура разорвала оковывавшія ее путы адашевскаго благоразумія. Не земщину, а боярство, отравившее его дѣтство, ненавидѣлъ царь всѣми силами души своей; боярщину казнилъ онъ; ее думалъ стереть съ лица земли заведеніемъ опричины. Царствованіе его было тяжелою расплатой бояръ за прошедшія грѣхи свои относительно Россіи и его собственной личности. Авторъ удивляется тому, что могло существовать общество, терпѣвшее тиранію Іоанна. Но что понимаетъ онъ подъ словомъ «общество»? Всю массу русскаго народа брать въ этомъ случаѣ нельзя, потому что въ ней слишкомъ рѣзко обозначилось различіе въ интересахъ боярщины и земщины: одни хлопотали о власти, другіе о хлѣбѣ. При различіи взглядовъ на значеніе государственной власти, общаго народнаго протеста противъ Іоанна Грознаго и быть не могло; могли быть честные, или со-стороны бояръ или со-стороны простого народа. Въ первомъ случаѣ протестъ могъ существовать; если бы въ самомъ этомъ сословіи скрывались задатки чего-нибудь лучшаго, если бы оно въ состояніи было стать выше своихъ личныхъ интересовъ и соединиться въ одну извѣстную партію, одушевленную извѣстною политическою идеей. Но стоитъ повнимательнѣе взглянуть на тѣхъ, которые окружали престолъ царскій, чтобъ убѣдиться, что каждый изъ нихъ былъ или деспотъ съ связанными руками, или рабъ, всегда готовый пресмыкаться передъ дѣйствительною силой. Въ Іоаннѣ IV была настоящая сила; деспотизмъ былъ возведенъ имъ на степень опредѣленной идеи, и потому онъ могъ безнаказанно давить мелкихъ деспотовъ своимъ желѣзнымъ скипетромъ. Остается простой народъ. Но онъ и не хотѣлъ протестовать. Природный инстинктъ говорилъ ему, что за тяжелымъ жезломъ грознаго царя ему быть все-таки лучше и безопаснѣе, нежели подъ владычествомъ бояръ; что въ открытомъ, хотя и кровавомъ способѣ царскаго управленія есть что-то похожее на любовь

къ Россіи; между тѣмъ какъ ничего, кромѣ личнаго произвола, не видѣлъ онъ въ тайныхъ интригахъ боярскихъ смуть предшествовавшаго періода. Народъ боялся Іоанна IV; но эта боязнь была неразлучна съ уваженіемъ къ его личности и не допустила народъ до образованія политической оппозиціи. Кому невтерпѣжь приходились московскіе порядки, тотъ уходилъ въ лѣсъ: тамъ жили вольные люди — станичники. Но и эти люди ратовали не противъ личности Іоанна: изъ среды ихъ вышли завоеватели Сибири. Послѣдствія доказали, что тутъ дѣло было не въ одномъ пассивномъ терпѣніи, вслѣдствіе безсилія. Народъ, не протестовавшій противъ царя, открыто губившаго тысячи, массою возсталъ противъ Годунова, осыпавшаго его благодареніями. Ясно, что въ первомъ былъ демократическій элементъ, совмѣщавшій въ себѣ интересы Россіи, во второмъ — аристократическій, боярский, опиравшійся на одномъ личномъ честолюбіи.

Отчего же авторъ, повидимому, хорошо знакомый съ исторіей, не замѣтилъ всего этого и нарядилъ своего Іоанна IV въ изношенную одежду карамзинскаго взгляда? Намъ кажется, что мы отрадали причину. Она, если можно такъ выразиться, заключается въ наклонности къ аристократизму. На эту мысль навелъ насъ самъ авторъ слѣдующимъ мѣстомъ, проскочившимъ, какъ бы невольно, въ его романъ. Представляя Іоанна IV молящимся о томъ, чтобы Богъ помогъ ему «сравнять сильныхъ со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы всѣ были въ равенствѣ», авторъ прибавляетъ: «Молитесь царь и кладете земные поклоны. Смотрятъ на него звѣзды въ окно косящатое, смотрятъ свѣтлыя, притуманившись, — притуманившись, будто думая: ахъ, ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ! Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ насъ не спрашаючи: не расти двумъ колосьямъ въ уровень, не сравнять крутыхъ горъ съ пригорками, не бывать на землѣ безбоярщинѣ!»

Что рисуетъ намъ эта картина, кромѣ личнаго взгляда автора? Не есть ли это косвенная апологія за отдѣльное существованіе того сословія, которое стараніями правительства уже сдѣлало первый шагъ къ сближенію съ народомъ? Неужели это дѣло окончательно невозможное?.. Затѣмъ, повѣряя нашу мысль на самомъ произведеніи графа Толстого, мы приходимъ къ заключенію, что именно этотъ аристократическій взглядъ на исторію помѣшалъ ему взглянуть поглубже

на описываемую имъ эпоху, посмотрѣть на личность Іоанна Грознаго не съ его односторонней точки зрѣнія, наконецъ, заставилъ его, въ изображеніи жизни всего тогдашняго общества, ограничиться почти исключительно представленіемъ одного боярскаго сословія. Всякому, конечно, свое; но литературное возсозданіе жизни народа извѣстной эпохи требуетъ не сословнаго, а болѣе широкаго, народнаго взгляда.

Итакъ, въ односторонности взгляда заключается, по нашему мнѣнію, главный недостатокъ романа графа Толстого, относительно основной его идеи. Что же касается до плана, по которому авторъ проводитъ жизнь героевъ своей исторической повѣсти, то, въ сущности, онъ сильно напоминаетъ тѣ пружины, которыми пользовались наши прошедшіе романисты. Читая Князя Серебрянаго, мы невольно припоминаемъ ту казенную рамку историческаго романа, о которой говорили выше. Авторъ представляетъ намъ и князя Серебрянаго и боярина Морозова въ такихъ доблестныхъ чертахъ, что мы, не задумываясь, можемъ отнести ихъ къ официальному разряду добродѣтельныхъ героевъ. Оба любятъ отечество, за которое князь сражается въ Литвѣ, а бояринъ попадаетъ въ опалу. Въ то же время оба они любятъ безцвѣтную русскую женщину, Елену: князь—въ качествѣ перваго любовника, бояринъ—въ качествѣ идеальнаго мужа. Здѣсь графъ позволилъ себѣ, какъ-будто, маленькую поэтическую вольность: по теоріи, князь, какъ добродѣтельный герой, не долженъ бы любить жены другого; но что дѣлать—это бываетъ. Впрочемъ, любовь этихъ отвлеченныхъ существъ чистая, дальше поцѣлуя дѣло нейдетъ. Зато бояринъ Морозовъ—истинный рыцарь: онъ и прежде спрашивалъ Елену, согласна ли она выйти за него, за старика, а потомъ, заставъ ее на свиданіи съ княземъ Серебрянымъ, молчитъ и до послѣдней минуты не подаетъ вида, что онъ знаетъ объ интригѣ. Елена ведетъ себя, какъ слѣдуетъ добродѣтельной героинѣ стараго русскаго романа: рядится, поетъ съ дѣвушками пѣсни, мечтаетъ и груститъ. Затѣмъ авторъ выводитъ передъ нами злодѣевъ. Первымъ изъ нихъ, вступающимъ въ интригу, является князь Вяземскій, отечества не любящій, но нечистою страстью пылающій къ Еленѣ и насильственнымъ образомъ ее похищающій. Успѣха, разумѣется, онъ не имѣетъ, потому что ее отъ обольщенія спасаютъ разбойники. Потомъ въ ряду злодѣевъ стоятъ послѣдовательно Малюта Скуратовъ,

затѣмъ сынъ Іоанна Грознаго и, наконецъ, самъ царь Иванъ Васильевичъ, замыкающій своими повальными казнями звено интриги. Побочныя пружины также всѣ въ порядкѣ: есть наперсники: у князя Серебрянаго—стреманный Михеичъ, у Елены—Пашенька, у Малюты Скуратова—опричникъ Хомякъ, у царя Грознаго—Малюта Скуратовъ да еще старая нянька Онуфріевна. Всѣ они являются во-время или въ случаѣ крайней опасности, для помощи добродѣтельнымъ, или потому, что неприлично быть герою одному. Кромѣ того, въ романѣ есть разбойники, нищіе, юродивый и колдунъ. Всѣ они аккуратно, на память исполняютъ свои роли: разбойники разбойничаютъ (изъ нихъ: Перстень и Кольцо настоящіе герои), нищіе поютъ, юродивый обличаетъ царя, колдунъ-мельникъ гадаетъ на воду, при чемъ, путемъ нечистой силы, вѣроятно, пророчествуетъ о будущемъ съ необыкновенною точностью. Развязка интриги выдержана также по правилу: князь Вяземскій умираетъ въ пыткѣ, Морозова казнятъ, Елена поступаетъ въ монастырь, а князь Серебряный отправляется противъ татаръ, которые и убиваютъ его. Вмѣсто эпилога, разбойники завоевываютъ Сибирь и получаютъ прощенье.

Отсюда мы видимъ, что въ романѣ графа Толстого собраны всѣ официальныя внѣшнія черты нашей прошедшей національности, которыя, какъ готовые принципы, выработанные исторіей, уже съ давняго времени служили нормою и руководствомъ для нашихъ историческихъ романистовъ. Графу Толстому, наравнѣ съ его предшественниками, не удалось подмѣтить ту тайную сторону народнаго духа, которая скрывается за всѣмъ извѣстными казенными формами нашего прошедшаго быта, и его произведеніе вышло добросовѣстнымъ, кропотливымъ, пожалуй, занимательнымъ сочиненіемъ на заданную тему, а не художественно-литературнымъ возсозданіемъ эпохи Іоанна Грознаго. Прочитавъ его трудъ, не лишенный нѣкоторыхъ частныхъ достоинствъ, мы приходимъ къ слѣдующему заключенію: историческое возсозданіе народнаго быта есть такая трудная задача, что надъ нею съ успѣхомъ трудиться можетъ не всякій талантъ: нельзя также забывать при этомъ, что былъ нѣкогда на свѣтѣ Вальтеръ-Скоттъ.

Очерки литературы *).

Памяти графа А. К. Толстого. — „Драконъ“, первое посмертное произведение А. К. Толстого.

На русской литературѣ лежитъ какая-то печать несчастій. Одинъ за другимъ сходятъ до срока лучшіе ея представители. Умеръ и графъ А. К. Толстой. Извѣстіе о смерти вышло едва не наканунѣ выхода октябрьской книжки «Вѣстника Европы», въ которой напечатана его поэма «Драконъ», рассказъ XII вѣка, переведенный имъ съ итальянскаго. Пока это первое посмертное его произведение. Графъ А. К. Толстой, какъ извѣстно, долгое время былъ боленъ и лѣчился за границей, но, тѣмъ не менѣе, въ его бумагахъ найдется много законченныхъ вещей, которыя почему-нибудь еще не попали въ печать. Слѣдуетъ надѣяться, что вскорѣ мы познакомимся со всѣми посмертными произведеніями нашего поэта, и не только посмертными... Полное собраніе сочиненій А. К. Толстого настоятельно необходимо; первое собраніе его стихотвореній вышло въ 1867 году; съ тѣхъ поръ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ, и особенно въ «Вѣстникѣ Европы», появилось много новыхъ его произведеній, въ томъ числѣ и драмы изъ русской исторіи. Все это разбросано, не приведено въ порядокъ, и, конечно, для характеристики графа А. К. Толстого, какъ поэта, полное собраніе его стихотвореній рѣшительно необходимо.

Послѣдняя его поэма «Драконъ» написана въ формѣ легенды и, во всякомъ случаѣ, не принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ его пера, хотя энергическій и правильный стихъ, счастливыя и мѣткія выраженія, строго величавый тонъ поэмы и превосходныя отдѣльныя мѣста ясно указываютъ, что талантъ графа А. К. Толстого не утратилъ

*) «Голосъ», 1875 г., № 279.

ни своей свѣжести ни своей силы. Содержаніе поэмы взято изъ войнъ гвельфовъ и гибеллиновъ. Разсказъ ведется отъ лица гвельфа Арнольфо. Арнольфо съ гвельфомъ Гвидо отправляются по ущельямъ въ Кьявенну, чтобы предупредить своихъ друзей о движеніи гибеллиновъ. Они сбиваются съ пути и тутъ, среди ущелья, видятъ огромное чудовище—дракона, видятъ, какъ безобразное чудовище, потревоженное въ своемъ снѣ, поднимается, спускается со скалы на поляну, гдѣ наканунѣ происходило сраженіе:

Разбросаны внизу, еще лежали
Тѣла друзей и кони между нихъ
Убитые. Мѣстами отблескъ стали
Отсвѣчивалъ межъ злаковъ полевыхъ,
И сытыя сидѣли птицы праздно
На кучкахъ тѣлъ и броняхъ боевыхъ.

Драконъ спустился на поляну и, спугивая птицъ, сталъ пожирать тѣла мертвыхъ гвельфовъ.

Въ насъ съ ужасомъ мѣшалось омерзѣнье,
Когда надъ кровью скорчившійся змѣй,
Жуя тѣла, кривился въ наслажденьи;
И съ чавканьемъ зубастыхъ челюстей
Въ безвѣтрій къ намъ часто долетали
Доспѣховъ звякъ и хрупанье костей...

Потомъ онъ исчезъ во мракѣ. Когда, съ разсвѣтомъ, гвельфы рѣшились продолжать путь и достигли, наконецъ, желанной цѣли, то, къ ужасу, увидѣли, что Кьявенна была занята гибеллинами. Арнольфо и Гвидо своимъ присутствіемъ и патріотизмомъ воодушевили павшій духъ гвельфовъ и повели ихъ на Миланъ. Но никакія усилія не помогли, насталъ послѣдній часъ Италіи: Миланъ былъ взятъ, Брешья безъ обороны сдалась германцамъ, и поняли тогда они, зачѣмъ предъ ними

Явился тотъ прожорливый драконъ,
Когда мы шли Кьявеннскими горами:
Ужасное былъ знаменіе онъ;
Рядъ страшныхъ бѣдъ съ нимъ предвѣщала встрѣча,
Начало долгихъ горестныхъ временъ!
Тотъ змѣй, что, все глотая иль увѣча,
Отъ нашей крови самъ жирѣлъ и ростъ,
Былъ Кесаря свирѣпаго предтеча!

Окончивъ свой разсказъ, Арнольфо обращается къ слушателямъ:

«Проклятыя жъ вамъ, поддѣльные друзья,
 Что языкомъ клялись служить свободѣ,
 Внутри сердецъ измѣну ей тая!
 Изъ вѣка въ вѣкъ васъ да клянуть въ народѣ,
 И да звучать позоромъ вѣковымъ
 Названья ваши: Асти, Реджи, Лади!
 Вы, чрезъ кого во прахѣ мы лежимъ,
 Пьяченца, Коли, Мантуа, Кремона!
 Вы, чьи уста, изъ злобы ко своимъ,
 Призвали въ край германскаго Дракона!»

Эта нота мрачнаго и страстнаго патріотизма Италіи среднихъ вѣковъ великолѣпно сохранена въ поэмѣ и еще рельефнѣе выдается вслѣдствіе формы дантовскихъ терцетовъ, употребленной графомъ А. К. Толстымъ. Сверхъ того, поэтъ умѣлъ выдвинуть въ патріотическомъ разсказѣ особенности страстной натуры итальянца, которая сильнѣе всего проявляется въ политическихъ движеніяхъ Италіи и которая, сохранившись неприкосновенною до послѣдняго времени, привела къ освобожденію Италіи. Въ этомъ отношеніи поэма графа А. К. Толстого замѣчательное произведеніе; мы не знаемъ, насколько она переводъ, но, во всякомъ случаѣ, русскій поэтъ умѣлъ выдержать торжественно-страстный тонъ подлинника и выдѣлить особенности итальянской природы и времени.

Эта способность чутко отзываться на требованія времени и умѣніе объективно относиться къ поэтическому матеріалу можетъ, до извѣстной степени, характеризовать всю литературную дѣятельность покойнаго графа А. К. Толстого. Онъ вполне обладалъ этой чуткостью, и всякое новое произведеніе его было какъ бы отвѣтомъ на новый вопросъ времени; а если въ этомъ отношеніи и встрѣчались у него уклоненія, то это обнаруживаетъ только разладъ, весьма естественный и легко объясняемый условіями нашей общественной и политической жизни. Разладъ этотъ — явленіе, весьма характерное въ Россіи. Нигдѣ онъ не проявляется такъ рѣзко, нигдѣ онъ не приводитъ къ такимъ печальнымъ результатамъ, нигдѣ онъ не ведетъ за собою такой вражды, нигдѣ не является такимъ тормозомъ общественной жизни. Кажется, точно умственная преемственность внезапно оборвана, а между предшествовавшимъ звеномъ и послѣдующимъ лежитъ цѣлая пропасть непримиримыхъ антипатій... Въ Западной Европѣ эта преемственность является нормой умственной жизни и,

обновляя старыя силы, поддерживаетъ новыя. Въ Россіи же общественныя теченія такъ быстро и внезапно мѣняются, что умственная преемственность утрачиваетъ свою силу, и между новыми направленіями и прежними представителями является почти непримиримый теоретическій разладъ. Что вчера еще казалось истиной, то сегодня представляется ложью или, по крайней мѣрѣ, ошибкой. Умственная жизнь, какъ-будто, круто и рѣзко сворачиваетъ на новую дорогу, покидая пройденный путь, забывая результаты, уже добытые, не пользуясь опытомъ прежняго... Конечно, на это существуютъ причины, лежащія въ особенномъ складѣ нашей общественной жизни, въ недостаткѣ исторической традиціи, на который такъ жаловались московскіе славянофилы; но не слѣдуетъ ли также искать причинъ этого разлада, по крайней мѣрѣ — отчасти, въ самомъ складѣ русскаго національнаго характера, не выработавшаго себѣ до сихъ поръ общей психической нормы и вначалѣ необыкновенно легко поддающагося общимъ явленіямъ, а позже чрезвычайно склоннаго къ умственной неподвижности?

Графъ А. К. Толстой, ни по характеру своего таланта ни по особенностямъ своей натуры, не принадлежитъ ни къ упорнымъ поклонникамъ старыхъ идеаловъ, ни къ легковѣрнымъ поклонникамъ новыхъ порядковъ. Онъ стоитъ какъ бы на рубежѣ двухъ умственныхъ эпохъ Россіи, примиряя обѣ эпохи и внушая довѣріе обѣимъ. Что въ немъ существовали противорѣчія, которыя онъ не въ состояніи былъ примирить, въ этомъ, конечно, не можетъ быть никакого сомнѣнія. Стоитъ только вспомнить извѣстное стихотвореніе «Пантелей-цѣлитель» и сопоставить его рядомъ со многими другими стихотвореніями совершенно другого направленія. Къ тому же, графъ А. К. Толстой былъ юмористъ, и это — вторая особенность его таланта, выражавшаяся въ концѣ его литературной дѣтельности ѣдкой и злою сатирой, какъ вначалѣ она обнаруживалась безобидною шуткой...

Х. У. З.

Литература и жизнь *).

Графъ А. К. Толстой. Полное собраніе его стихотвореній. Спб. 1876 г., два тома, съ портретомъ и fac-simile автора. Его же. Драматическая трилогія: „Смерть Іоанна Грознаго“, „Царь Ѳедоръ Іоанновичъ“, „Царь Борисъ“. Спб. 1876 года. Его же. „Князь Серебряный“, повѣсть временъ Іоанна Грознаго. Спб. 1869 г.

Есть на свѣтѣ цѣлый и даже многочисленный классъ ходячихъ приговоровъ, ходячихъ общихъ мѣстъ, Богъ знаетъ кѣмъ выдуманныхъ и пущенныхъ въ обращеніе, Богъ знаетъ почему нашедшихъ себѣ пріютъ въ умахъ людей и авторитетъ неоспоримой истины, а между тѣмъ, лишенныхъ равно и разумнаго основанія и фактической подкладки. Къ такимъ общимъ мѣстамъ принадлежатъ фразы: «нашъ матеріальный вѣкъ», или «нашъ прозаическій вѣкъ», или «нашъ вѣкъ, поклоняющійся исключительно деньгамъ» — фразы, нерѣдко встрѣчаемыя въ печати и еще болѣе употребительныя въ устной формѣ. Приговоръ надъ сѣтованіями этого рода давно уже сдѣланъ графомъ Львомъ Толстымъ, который вложилъ ихъ въ уста самаго тупоумнаго изъ дѣйствующихъ лицъ «Войны и мира» — Берга, и при этомъ знаменательно прибавилъ отъ себя, что Бергъ говорилъ по обыкновенію ограниченныхъ людей, которые воображаютъ, что они разгадали свое время и стали выше его (цитирую на память и, вѣроятно, не совсѣмъ точно).

Нѣтъ, вѣкъ нашъ, слава Богу, изобилуетъ родниками поэтическаго вдохновенія, не терпитъ недостатка въ поэтахъ, не казнитъ ни равнодушіемъ ни пренебреженіемъ. Недавно умеръ одинъ изъ самыхъ блестящихъ поэтовъ современной Россіи, — ему посвященъ настоящій очеркъ, — и смерть его была встрѣчена, какъ общее горе, какъ личная утрата для

*) «Голосъ», 1876 г., №№ 131 и 132.

каждаго изъ читающихъ русскихъ. Графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой можетъ служить живымъ примѣромъ, что публика умѣетъ сочувственно относиться не только къ тенденціозной беллетристикѣ, но и къ чистой поэзіи, отрѣшенной отъ всякой «злобы дня». Въ его произведеніяхъ, за весьма немногими, хотя и весьма рѣзкими и вѣскими исключеніями (о которыхъ рѣчь впереди), нѣтъ и слѣда того, что у насъ принято называть то «гражданскимъ мотивомъ», то «общественнымъ содержаніемъ», то, наконецъ, просто «содержательностью». Вопреки избранному имъ роду литературы, графъ Алексѣй Толстой постоянно имѣлъ успѣхъ, даже громкій успѣхъ. Достигнуть той ступени славы, на которой онъ стоялъ, и во время восхожденія не прибѣгать ни къ какимъ постороннимъ искусству приманкамъ, ни къ какому «знамени» консервативной или либеральной партіи — это доступно только истинному таланту. Дѣйствительно, талантливость рѣдкая, блестящая талантливость — вотъ что прежде всего бросается въ глаза при чтеніи Толстого. Я люблю употреблять слово талантъ въ смыслѣ противоположномъ «генію». Геній обладаетъ содержаніемъ: его признакъ — сильная и глубокая мысль, смѣлость, широкій размахъ, полная самобытность. Талантъ владѣетъ формой: его признакъ — подкупающая внѣшность, умѣніе отгадывать то, что другіе понимаютъ лишь послѣ долгихъ объясненій, находчивость, легкость и непринужденность работы, иногда также (но не всегда) быстрота работы и плодovitость. Геній немислимъ безъ таланта, но онъ встрѣчается при относительно низкой степени таланта; наоборотъ, талантъ безъ генія бываетъ очень часто. Итакъ, въ графѣ Алексѣѣ Толстомъ поражаетъ, прежде всего, именно щегольская внѣшность, обиліе средствъ, оборотовъ, формъ, находчивость при разрѣшеніи самыхъ разнообразныхъ задачъ, непримѣтность усилія и, въ связи съ этимъ, постоянная грація и изящество. Такимъ представляется онъ мнѣ; такимъ же, большею частью, рисовала его критика и при жизни. Самъ онъ, вѣроятно, сознавалъ эту особенность своей натуры, вслѣдствіе чего широко пользовался ею для подражаній и переодѣваній, облакаясь, поочередно, то въ доспѣхи русскаго богатыря, то въ черную рясу схимника, то, наконецъ (и рѣже всего), въ шюртукъ современнаго публициста. Оказалось, что всѣ костюмы Толстому къ-лицу; что во всякомъ изъ нихъ его красивая, по-

родистая, изящная фигура не только является привлекательною, но и производит полную иллюзію. Дотого доходила иллюзія, что, убѣдившись въ своей силѣ, поэтъ подъ конецъ жизни началъ съ самымъ серьезнымъ видомъ шутить надъ читателемъ шутки. Подобно Пушкину, переведшему одну изъ своихъ поэмъ съ несуществующаго англичанина Ченстона, графъ Алексѣй Толстой создалъ итальянскаго анонима XII столѣтія и съ него перевелъ своего Дракона — рассказъ, въ которомъ дантовскій тонъ скопированъ съ такою виртуозностью и точностью деталей, что многіе читатели попались въ ловушку и увѣровали въ существованіе анонима XII столѣтія. Такая неограниченная способность къ подражанію невольно вызываетъ обладателя на поэтическія шалости, на пародіи: извѣстно, что Толстой, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, былъ постояннымъ вкладчикомъ въ товарищество пародистовъ, принявшихъ общій псевдонимъ Кузьмы Пруtkова. Будущій библіографъ, будущій историкъ литературы, быть-можетъ, найдетъ возможнымъ опредѣлить, какія именно комедіи, оперы, басни, эпиграммы и другія безсмертныя произведенія Кузьмы Пруtkова принадлежатъ перу Толстого; авторъ настоящихъ строкъ не имѣетъ для этого никакихъ данныхъ, но считалъ необходимымъ заявить о фактѣ, прибавляющемъ ко всѣмъ составнымъ частямъ литературной фізіономіи творца Дамаскина еще такую, о которой нельзя себѣ составить и приближительнаго понятія по серьезнымъ произведеніямъ, подписаннымъ полною фамиліей автора.

Какая же внутренняя жизнь кроется подъ этою протеевски-измѣнчивою одеждою? Какая же собственная, постоянная нота звучить и прорывается сквозь это разнообразное попури чужихъ, мастерски-усвоенныхъ мотивовъ?

Нерѣдко могло казаться, что этой своей ноты на лирѣ Толстого не было вовсе. Онъ представляетъ явленіе, возможное какъ со своими достоинствами, такъ и со своими недостатками, только въ вѣкъ высоко-цивилизованный. Рѣдкій русскій писатель обладалъ такимъ обширнымъ, прекрасно законченнымъ образованіемъ, какое виднѣется въ каждой строкѣ, написанной Толстымъ; но онъ, какъ многіе люди нашего вѣка, постоянно находился подъ бременемъ своей собственной начитанности. Онъ былъ полонъ того, что музыкальные композиторы называютъ «воспоминаніями», т.-е.

обломковъ и лоскутовъ чужихъ мыслей, эффектовъ, пружинъ, поразившихъ его воображеніе и сохранившихся въ его памяти. Само-собою, что при меньшей податливости и неустойчивости натуры, при такомъ самобытномъ складѣ таланта, какимъ обладаетъ, напримѣръ, знаменитый однофамилецъ графа Алексѣя Толстого, эти чужіе обломки, продолжая жить въ памяти поэта, не врывались бы въ его собственное творчество, не подавляли бы собою продуктовъ его собственного изобрѣтенія. Но у графа Алексѣя Толстого съ огромною воспримчивостью воображенія соединялась именно неустойчивость, если можно такъ выразиться, женственность творчества, при которой онъ рождалъ легко, но въ творческомъ актѣ, все-таки, занималъ положеніе пассивное. Примѣрами того, что я здѣсь утверждаю, могутъ служить: Серебряный и Донъ-Жуанъ: Донъ-Жуанъ — отчасти Серебряный же — отъ доски до доски. Вся техника историческаго романа, какъ мы ее видимъ въ Серебряномъ, взята у Вальтеръ-Скотта (за исключеніемъ узла завязки, который у шотландскаго романиста всегда завязывается необычайно ловко и искусно, такъ что любопытство читателя, вначалѣ ничтожное, растетъ съ каждою главой; у русскаго же писателя этотъ узелъ не существуетъ вовсе; въ этомъ отношеніи Серебряный скорѣе походитъ или на Лесажева «Жиль-Блаза», или на первую часть «Мертвыхъ душъ», т.-е., составляетъ рядъ разрозненныхъ приключеній, связанныхъ только единствомъ лицъ). То же безукоризненное соблюденіе костюма, то же щеголяніе археологіей, та же хронологическая *licentia poetica*, то же извиненіе за нее въ предисловіи, тотъ же герой, молодой и доблестный, смазливый и ограниченный, джентльменъ съ головы до пятъ, способный скорѣе дать себя изрубить, нежели нарушить свое рыцарское слово; то же изобиліе ѣды и питья; тотъ же умеренно употребленный элементъ сверхъестественнаго съ колдовствомъ и ворожбою. Фотографическое сходство доходитъ дотого, что на первой страницѣ первой главы мы видимъ молодого героя въ дорогѣ, какъ Квентина Дёрварда, и притомъ верхомъ на конѣ, какъ Гай — Меннеринга. «Ни одинъ характеръ, — справедливо замѣтилъ недавно критикъ «Дѣла г. Языковъ, — не представляется живымъ и законченнымъ, и даже главный герой романа, князь Серебряный, похожъ на ярко-расписанную куклу». Вполнѣ соглашаясь съ этимъ

мнѣніемъ, я только, вмѣсто «и даже», предпочелъ бы сказать «болѣе всѣхъ». Въ результатѣ Князь Серебряный, на котораго поэтъ потратилъ много чтенія, много изысканій, вышелъ произведеніемъ грубымъ и тривиальнымъ, и Толстой, со своимъ европейскимъ образованіемъ, отъ природы тонкимъ и строгимъ вкусомъ, не могъ не почувствовать этого самъ. «Романъ мой очень любимъ низшими классами», пишетъ онъ презрительно де-Губернатису. Можно любить простолюдина, можно сочувствовать его суровой долѣ, но едва ли можно видѣть въ немъ литературнаго судью.

Еще болѣе Серебрянаго любимъ «Милославскій», а еще болѣе «Милославскаго» — «Аглицкій милордъ». Толстой былъ аристократомъ еще болѣе по душевному складу, чѣмъ по крови, и потому вышеприведенный отзывъ его о своемъ романѣ свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ неудовольствіи на себя.

Нигдѣ нельзя отыскать слѣдовъ такой же нелюбви его къ своему Донъ-Жуану, который содержитъ яркія поэтическія красоты; но, въ отношеніи «воспоминаній» чужихъ мотивовъ и ситуаций, здѣсь повторяется опять то же. Начать съ того, что по всей концепціи Донъ-Жуанъ — прямой потомокъ Гётева «Фауста»: такъ же вмѣшиваются въ дѣла людскіе олицетворенные принципы добра и зла; такъ же спорять о спасеніи души героя вначалѣ и оставляютъ вопросъ открытымъ; такъ же сражаются въ концѣ, при чемъ такъ же торжествуетъ добро. Но, что всего важнѣе, самъ Донъ-Жуанъ—Гётевъ Фаустъ, или, если хотите, самъ Гёте въ молодости; его женолюбіе, кокетство, сладострастіе, талантъ къ побѣдамъ — словомъ то, что извѣстно подъ техническимъ терминомъ «донжуанства» и чѣмъ онъ, повидимому, походить на героев Мольера, да-Понте и Пушкина—только форма, въ которую у него облечено ненасытное, чисто-фаустовское стремленіе къ познанію, къ власти, къ идеалу. Скабрезное содержаніе, которое въ другихъ «Донъ-Жуанахъ» такъ сильно (у Байрона дотого, что превозмогло самый сюжетъ, уничтожило легенду и претворило Донъ-Жуана въ Фобласа), у Толстого является только въ качествѣ символа, въ качествѣ личины, маскирующей религіозную и философскую идею. Только Лепорелло, для приличія, говоритъ нѣсколько неприличныхъ острогъ: иначе ужъ совсѣмъ не было похоже. Настоящая идея «Донъ-Жуана» находится въ словахъ, ко-

торыми сатана характеризуетъ героя (въ сценѣ на кладбищѣ, въ спорѣ съ ангелами):

Онъ сердится на ложь—сердиться воленъ всякъ.
 Но съ правдой ложь срослась и къ правдѣ такъ пристала,
 Что отскоблить ее нельзя никакъ!
 А онъ скоблить съ плеча, да ужъ едва ли
 Насквозь не проскоблитъ всѣ истины скрижали.
 Не вѣрить на-слово онъ никому ни въ чемъ;
 Вѣковъ работу предпринявъ сначала,
 Онъ хочетъ все, что намъ преданье завѣщало,
 Своимъ изслѣдовать умомъ.

Кто не узнаетъ въ подчеркнутыхъ мною словахъ знаменитой характеристики Фауста Мефистофелемъ, въ «прологѣ на небѣ»?

Донъ-Жуанъ Толстого, конечно, преслѣдуетъ дону-Анну; если бъ не было и этого, то оставалось бы одно: прямо назвать его Фаустомъ. Но это донжуанство чисто индизмъ. Для сравненія возьмемъ противоположную крайность, именно героя да-Понтевской оперы *),—характеръ поверхностный, развращенный, аматеръ невзыскательный даже въ отношеніи наружности: «была бы юбка», цинически говорить Лепорелло о минимумѣ его требованій. Этого да-Понтевскаго донъ-Жуана отъ пошлости спасаетъ только одно качество: онъ несомнѣнный «дворянинъ», т.-е., въ переводѣ, онъ твердо знаетъ, когда вынимать и когда не вынимать шпагу. Мужество сообщаетъ ему поэтическій ореолъ. Дуэли и личная храбрость героя перешли отъ первообраза и въ драму Толстого; но порочность донъ-Жуана объясняется высока:

А, кажется, я понималъ любовь!
 Я въ ней искалъ не узкое то чувство,
 Которое, два сердца сѣдинивъ,
 Стѣною ихъ отъ міра отдѣляетъ.
 Она меня роднила со вселенной,
 Всѣхъ истинъ я источникъ видѣлъ въ ней,
 Всѣхъ дѣлъ великихъ первую причину.
 Черезъ нее я понималъ ужъ смутно
 Чудесный строй законовъ бытія,
 Явленій всѣхъ сокрытое начало.
 Я понималъ, что всѣ ея лучи,
 Раскинутые врозь по мірозданью,

*) Музыка Моцарта.

Въ другомъ я сердца вѣстѣ бѣ соединилъ,
 Сосредоточилъ бы ихъ блескъ блудящій
 И сжатымъ свѣтомъ ярко бѣ озарилъ
 Моей души неясныя стремленья!
 О, если бы то сердце я нашелъ!
 Я съ нимъ одно бы цѣлое составилъ,
 Одно звено той безконечной цѣпи,
 Которая, въ связи со всей вселенной,
 Восходитъ вѣчно выше къ Божеству
 И оттого лишь слиться съ нимъ не можетъ,
 Что путь къ нему, какъ вѣчность, безъ конца!
 О, если бы изъ тѣхъ, кого любилъ я,
 Хотя бѣ одна сдержала обѣщанье!
 Я имъ не измѣнялъ—нѣтъ, нѣтъ—онѣ,
 Онѣ меня безстыдно обманули,
 Мой идеалъ онѣ мнѣ подмѣнили,
 Подставили чужую личность мнѣ,
 И ихъ любить, на мѣсто совершенства—
 Вотъ гдѣ бѣ измѣна низкая была!
 Нѣтъ, самъ себѣ я оставался вѣренъ:
 Я продолжалъ носить въ себѣ ту мысль,
 Которая являлась въ нихъ сначала...
 И далѣ шелъ, и всюду находилъ
 Одни и тѣ же пошлыя явленья!
 И въ ярости тогда я поклялся
 Любви не вѣрить, ничему не вѣрить...

Есть между лирическими стихотвореніями Толстого одно небольшое—«Слеза горитъ въ твоёмъ ревнивомъ взорѣ», гдѣ, въ нѣсколько другихъ выраженійхъ, невѣрность въ любви, измѣна и «донжуанство» оправдываются тою же пантѳеистическою идеей. Совершенно независимо отъ этой идеи, я замѣчу, что въ приведенномъ сейчасъ отрывкѣ монолога называется необыкновенная жестокость и сухость сердца—нѣчто совершенно противоположное характеру чувственныхъ, но благодушныхъ героевъ Байрона. Здѣсь, какъ уже предчувствуется, характеръ Іоанна Грознаго, предчувствуется именно потому, что и Іоаннъ, дѣлая всѣхъ кругомъ себя несчастными, постоянно витійствуетъ объ обидахъ, которыя онѣ-де отъ нихъ терпитъ, постоянно хвалить и оправдываетъ себя и къ ужасу, возбуждаемому злодѣемъ, такимъ образомъ, прибавляетъ антипатическое впечатлѣніе человѣка, неспособнаго сознать свою неправоту. Но эта злость и сухость сердца, какъ извѣстно, точно такъ же свойственны и Фаусту второй части, которая, вообще, на толстовскаго «Донъ-Жуана» имѣла большое вліяніе. Возвращаясь къ сказанному,

мною объ основной идеѣ поэмы, скажу, что, очевидно, для такого донъ-Жуана несущественно, въ какомъ именно символѣ изъ конкретнаго міра онъ станетъ искать «всѣхъ дѣлъ великихъ первую причину». Если онъ, вмѣсто обольщенія невинныхъ дѣвушекъ, займется собираніемъ раковинъ или столоверченіемъ съ «матеріализаціей»—сущность останется та же.

Но сходство съ «Фаустомъ» Гёте не ограничивается общою идеей: оно простирается и на частности. Личность сатаны — буквальный и весьма удачный сколокъ съ Гётева Мефистофеля; это не удивительно, но гораздо любопытнѣе, что въ характеръ донны-Анны перешло кое-что изъ Гретхенъ. «Мнѣ говорили также про тебя, что ты не уважаешь ни законовъ, ни церкви, ни святыни», робко говоритъ донъ-Жуану влюбленная дѣвушка, очевидно, забывая свою роль и вспомнивъ, какъ Гретхенъ въ саду исповѣдывала Фауста. Пусть мнѣ говорятъ, что для строгой католички нѣтъ ничего естественнѣе подобнаго вопроса; что, любя человѣка, она не можетъ не подумать о спасеніи его души. Все это, можетъ-быть, и такъ; но мотивъ для даннаго момента былъ готовъ въ той же драмѣ, изъ которой Толстой почерпнулъ вдохновеніе для общаго плана своей пьесы; для меня важно только то, что, въ данномъ случаѣ, русскій поэтъ не замѣнилъ Гётева мотива своимъ, остался вѣренъ своему нѣмецкому образцу.

Есть такія же воспоминанія и въ Трилогіи. Предсказаніе волхвовъ Годунову, имѣющее рѣшительное вліяніе на его послѣдующую карьеру, дѣлающее изъ него не только честолюбца, но и убійцу,—очевидно, навѣяно Шекспиромъ: точно такую же роль играетъ предсказаніе вѣдьмъ въ «Макбетѣ». И тамъ и тутъ одинаковый фатализмъ и одинаковый драматическій эффектъ. Кстати, напомнимъ о видѣніи въ Князѣ Серебряномъ, когда казенные Іоанномъ бояре являются къ нему, одинъ за другимъ, ночью: эффектъ потрясающій, но цѣликомъ заимствованный изъ «Ричарда III». Считаю, однако, долгомъ оговориться, что, говоря о вѣдьмахъ Шекспира, я ни на минуту не думалъ распространять аналогію дальше: нѣтъ ничего противоположнѣе, какъ смѣлый, простоватый Макбетъ, всегда дѣйствующій подъ чужимъ вліяніемъ, и осторожный, коварный Борисъ, никому неоткрывающійся и для всѣхъ равно непроницаемый. Объ этомъ

характеръ Бориса я буду еще говорить, когда поведу рѣчь о Трилогіи, составляющей, если не самое капитальное, то самое прославленное изъ произведеній Толстого. Чтобы закончить съ «воспоминаніями», укажу еще на тѣ, которыя встрѣчаются въ лирическихъ стихотвореніяхъ Толстого и, притомъ, отличаются такимъ же несомнѣннымъ характеромъ воспоминаній, какъ и приведенныя до сихъ поръ. Мотивъ, особенно часто занимавшій Толстого, особенно часто возвращавшійся въ его стихахъ и притомъ почти всегда выражаемый имъ съ необыкновеннымъ одушевленіемъ, блескомъ и богатствомъ красокъ, это — мотивъ шиллеровскаго *Macht des Gesanges* или «Графа Габсбургскаго». (Мотивъ этотъ сроденъ извѣстной балладѣ Гёте «Пѣвецъ» — *Ich singe, wie der Vogel singt* и т. д.) Мотивъ этотъ — культъ поэзіи, культъ свободы искусства, культъ прекраснаго, какъ высшей силы, призванной вносить свѣтъ и теплоту въ жизнь человѣчества, безъ нея скудную, тусклую и пошлую. Знаменательно, что самый мотивъ этотъ (хотя въ его законности и благодарности для искусства не можетъ быть сомнѣнія) предполагаетъ поэзію, сознающую себя, осматривающуюся на себя; знаменательно, что онъ происхожденія чисто литературнаго и немислимъ въ поэзіи, сохранившей непосредственное творчество и первобытную свѣжесть. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ лира, бряцающая хвалу самой себѣ, развѣ поэзія, трактующая о томъ, что поэзія есть нѣчто высокое, — не представляютъ явленія ультра-новѣйшаго, ультра-современнаго. Развѣ здѣсь не высказалась вновь одна изъ самыхъ характерныхъ чертъ вдохновенія Толстого, которое онъ столько же черпалъ изъ книгъ, сколько и изъ природы? (То же, конечно, слѣдуетъ примѣнить и къ Шиллеру, въ которомъ кабинетный чловѣкъ и литераторъ имѣлъ огромное вліяніе на поэта.)

Эта идея разрослась въ цѣлую поэму Іоаннъ Дамаскинъ, въ которую Толстой вложилъ своего рода «авторскую исповѣдь», проникнутую рѣдкою горячностью, почти страстностью. Съ разныхъ сторонъ поэта оскорбляютъ требованіями, идущими въ разрѣзъ съ его призваніемъ: сначала хотятъ, чтобъ онъ былъ царедворцемъ, потомъ молчаливымъ траппистомъ; на обѣтъ молчанія онъ, насилуя свою природу, рѣшается изъ христіанскаго смиренія. Но чудесная помощь свыше опять разрѣшаетъ ему уста. Видно, что Толстой необыкновенно принималъ эту свободу. Въ менѣ пыш-

ныхъ и торжественныхъ стихахъ, чѣмъ въ «Дамаскинѣ», но, можетъ-быть, еще съ болѣе порывистымъ увлеченіемъ, не-отразимо охватывающимъ читателя, идея «Macht des Gesanges» сказалась въ Слѣпомъ, этомъ удивительномъ памятникѣ русской лирики, можетъ-быть, самомъ сильномъ изъ всего, сказаннаго Толстымъ. Князь Владимиръ Красное-Солнышко на охотѣ сдѣлалъ привалъ и послалъ за слѣпымъ гусли-ромъ. Слѣпой оцупью побрелъ къ названному ему мѣсту въ лѣсу и въ сильномъ приливѣ вдохновенія началъ пѣть, остановившись, какъ онъ думалъ, передъ самимъ княземъ. Но Владимиръ, не дождавшись гуслира, поднялся и оставилъ поляну, на которой гуслирь поетъ совершенно одинъ. Наконецъ, дубрава прерываетъ его и открываетъ ему горькую шутку, которую сыграли надъ нимъ. Старикъ, вмѣсто того, чтобы оскорбиться, благодушно и величаво отвѣчаетъ:

Ты, гой еси, гой ты, дубравушка-мать,
Сдается,—ты правду сказала!
Я пѣлъ одинокъ, но тужить и роптать
Мнѣ, старому, было бѣ грѣшно и не стать,
Наградъ мое сердце не ждало.
Воистину, если бѣ очей моихъ ночь
Безлюдья отъ нихъ и не скрыла,
Я пѣсни бѣ не могъ и тогда перемочь,
Не могъ отъ себя отогнать бы я прочь,
Что душу мою охватило!
Пусть по-слѣду псы, заливаясь, бѣгутъ,
Пусть ловлею князь доволенъ!
Убогому пѣть не тяжелый былъ трудъ,
А пѣсня ему не въ хвалу и не въ судъ,
Занѣ онъ надъ нею не воленъ.
Она какъ рѣка въ половодье сильна,
Какъ рѣсная ночь благотворна,
Тепла какъ душистая въ маѣ весна,
Какъ солнце привѣтна, какъ буря грозна,
Какъ люта смерть необорна.
Охваченный ею не можетъ молчать,
Онъ рабъ ему чуждаго духа,
Вожглась ему въ грудь вдохновенья печать,
Неволей иль волей, онъ долженъ вѣщать,
Что слышитъ подвластное ухо.
Не вѣдаетъ горный источникъ, когда
Потокомъ онъ въ степи стремится,
И бѣтъ и кипитъ его, пѣнясь, вода —
Придутъ ли къ нему пастухи и стада
Струями его освѣжиться!
Я мнилъ: эти гусли для князя звучать,

Но пѣсня, по мѣрѣ, какъ пѣлась,
 Невидимо свой расширяла охватъ,
 И вольный лился безъ различія ладъ
 Для всѣхъ, кому слушать хотѣлось.
 И кто меня слушалъ, привѣтъ мой тому!
 Землѣ-государынѣ слава!
 Ручью, что ко слову журчалъ моему,
 Вамъ, звѣздамъ, мерцавшимъ сквозь синюю тьму,
 Тебѣ, мать, сырая дубрава!
 И тѣмъ, кто не слушалъ, мой также привѣтъ:
 Дай Богъ полевать имъ не даромъ!
 Дай князю безъ горя прожить много лѣтъ,
 Простому народу безъ нужды и бѣдъ,
 Безъ скорби великимъ боярамъ.

Я до сихъ поръ тщательно собиралъ только такія черты для предпринятаго мною портрета, въ которыхъ сказывается отсутствіе индивидуальнаго содержанія, отсутствіе своего слова, талантливая измѣнчивость безъ твердой субстанции. Я намѣренно не буду останавливаться на томъ, что одна уже мощь и красота приведенныхъ сейчасъ одушевленныхъ строкъ снимаютъ съ Толстого обвиненіе, которое заключается въ этомъ приговорѣ. Такъ пѣть съ чужого голоса нельзя. Но, какъ бы то ни было, Толстой, дѣйствительно, очень часто находился подъ дѣйствіемъ вдохновенія изъ вторыхъ рукъ или, какъ я позволилъ себѣ выразиться, подъ дѣйствіемъ литературы. Это подало поводъ одному изъ нашихъ судей, П. В. Анненкову, обвинить поэта въ отсутствіи русскаго элемента, исключительно въ западническомъ содержаніи и образованіи. Обвиненіе это чрезвычайно важно. Оно сдѣлано по поводу не тѣхъ произведеній, которыя меня до сихъ поръ преимущественно занимали, а знаменитой хроники Смерть Іоанна Грознаго. Такъ какъ я о Толстомъ, какъ драматургѣ, до сихъ поръ не говорилъ, то перейду къ разсмотрѣнію его драмъ вмѣстѣ съ разборомъ критики г. Анненкова.

Наше время — время историческое, по преимуществу, но не въ томъ смыслѣ, въ какомъ старые учебники географіи дѣлали перечень «историческихъ мѣстъ» во всякомъ государствѣ — не въ смыслѣ достопримѣчательности. Каковы бы ни были внутренніе перевороты, дѣлающіеся гдѣ-то далеко, глубоко, подъ гладкою наружностью политическаго мира, — нельзя отрицать, что внѣшнихъ крупныхъ событій бывало больше: бѣдствія, опасности и подвиги носили въ себѣ грандіозный характеръ. Наше время — историческое потому, что

никогда не было столько писателей, одаренныхъ чутьемъ къ прошлому, вѣрнымъ тактомъ въ его оцѣнкѣ и мастерствомъ въ его описаніи. А это пробужденіе историческихъ талантовъ, одновременное во Франціи, въ Германіи, Англіи и Сѣверной Америкѣ, въ свою очередь, объясняется почти повсемѣстнымъ расширеніемъ рамокъ общественной жизни, призывомъ общества, прежде коснаго и пассивнаго, къ самоуправленію и необходимостью для самого общества вдуматься въ свое строеніе и историческое происхожденіе.

Между всѣми частными явленіями, вызванными этимъ почти внезапнымъ расцвѣтомъ историческихъ знаній и искусства исторіографіи, быть-можетъ, наименѣе посчастливилось исторической драмѣ.

Вообще, XIX вѣкъ неблагопріятенъ драмѣ: слишкомъ великъ перевѣсъ таланта на сторонѣ лириковъ, слишкомъ великъ численный перевѣсъ романовъ, если не всегда геніальныхъ, то хорошихъ. Но если поэзія нашего времени обнаруживаетъ мало драматизма, то можно съ одинаковымъ правомъ сказать, что графъ А. Толстой, этотъ человекъ XIX вѣка *par excellence*, не былъ рожденъ драматургомъ. Истинный перлъ всей его трилогіи — лирической пассажъ, именно рассказъ датскаго королевича о впечатлѣніяхъ его дѣтства (въ «Царѣ Борисѣ»). Здѣсь нѣтъ ничего дѣланнаго, ничего сухого и разсудочнаго: здѣсь чувствуется поэтическая и здоровая атмосфера сѣдого, бурнаго сѣвернаго моря и молчаливаго, темнѣющаго сосноваго бора — та простая героическая обстановка, которую мы научились любить въ норманскихъ балладахъ графа Толстого и въ которой онъ такъ чувствуетъ себя дома.

Смерть Іоанна Грознаго была представлена на сценѣ и имѣла большой успѣхъ, несмотря на то, что самые сильные бойцы театральной арены не могли преодолѣть громадной трудности главной роли. Эта неудача, преслѣдовавшая даже такого тонкаго, умнаго художника, какъ В. В. Самойловъ, такой самородный оригинальный талантъ, какъ П. В. Васильевъ, заставила сказать покойнаго Щербину: «Талантливыхъ вашихъ актеровъ, навѣрное, тѣмъ не обижу, когда бы я правду въ глаза имъ сказалъ, что Павла Васильевича видѣлъ, Василья Васильевича вижу, Ивана жъ Васильевича я не видалъ».

Но, вопреки насмѣшкамъ и остротамъ театраловъ, Смерть Іоанна Грознаго имѣла успѣхъ и, навѣрно, знакома не одной тысячѣ людей, которые никогда не слышали и не услышатъ о «Гаральдѣ и Ярославнѣ». Успѣхъ этотъ объясняется содержаніемъ. Толпѣ было ново видѣть страшную и всѣмъ столь извѣстную фигуру царя Іоанна на сценѣ; хорошая обстановка пьесы и историческая точность самого графа Толстого довершили остальное. Его обычный талантъ не покинулъ его и при созданіи Смерти Іоанна Грознаго, но онъ выказалъ слабыя стороны, которыхъ никогда не бывало въ его лирическихъ стихотвореніяхъ. Если бы вся трилогія была выдержана въ стилѣ первой и наиболѣе извѣстной ея трети, то можно было бы сдѣлать о графѣ Толстомъ-драматургѣ очень невыгодное представленіе. Это-то преждевременно-невыгодное представленіе и сказалось въ статьѣ г. Анненкова, написанной ровно десять лѣтъ назадъ («Вѣстникъ Европы», годъ 1-й, книга 1-я), т.-е. сейчасъ же по выходѣ въ печать «Смерти». Оставляя въ сторонѣ ироническія похвалы «отвагѣ» и «удальству», съ которыми поэтъ плаваешь-де по морю исторической фантазіи, я здѣсь долженъ остановиться на упрекѣ за лицо Бориса, въ которомъ г. Анненковъ видитъ, не болѣе не менѣе, какъ картоннаго злодѣя, какъ «призракъ», который, «когда кончается драма, разсѣивается, какъ дымъ, и еще полнѣе, чѣмъ дымъ, ибо послѣдній, все-таки, не пропадаетъ въ общей экономіи природы, между тѣмъ какъ ложное созданіе уничтожается все цѣликомъ, безъ остатка». Борисъ уже потому не разсѣивается, что онъ появляется еще дважды, именно, въ Царѣ Ѳеодорѣ и въ Царѣ Борисѣ. Я этимъ разумѣю, конечно, не печатныя странички, на которыхъ имя Годунова появляется еще столько-то десятковъ разъ, а то психологическое развитіе, которое дано Борису поэтомъ въ продолженіе трилогіи и которое въ двухъ первыхъ ея драмахъ составляетъ загадку, и ключъ къ этой загадкѣ имѣется только въ Царѣ Борисѣ. На вершинѣ могущества и счастья, въ день коронаціи, Борисъ испускаетъ усталый и въ то же время довольный вздохъ человѣка, принесшаго громадныя жертвы для цѣли рискованной и отдаленной и, вопреки своимъ опасеніямъ, очутившагося, наконецъ, у самой этой цѣли, дальше которой уже почти ничего не остается желать. («Царь Борисъ», дѣйствіе первое.)

Свершилося! Въ вѣнцѣ и въ бармахъ я
Держу бразды русійскія державы!
Четырнадцать я спорилъ долгихъ лѣтъ
Со слѣпотой, со слабостью, съ упорствомъ—
И побѣдилъ! Кто можетъ осудить
Меня теперь, что не прямой дорогой
Я къ цѣли шелъ? Кто упрекнетъ меня,
Что чистотой души не усумнился
Я за Руси величье заплатить?
Кто, вспомни Русь царя Ивана, нынѣ
Проклятiе за то бы мнѣ изрекъ,
Что для ея защиты и спасенья,
Не пожалѣлъ ребенка я отдать
Единаго? Мнѣ на-душѣ не разъ
Ложилось камнемъ тѣмное то дѣло,
И думалъ я: что если не достигну,
Чего хочу? Что если грѣхъ тотъ даромъ
Я совершилъ? Но нѣтъ! судьба меня
Не выдала! Я съ совѣстію счета
Сегодня свелъ—и не боюсь поставить
Моихъ заслугъ и винностей итогъ!
Могу теперь идти стезею чистой!
Прочь отъ меня притворство и обманъ!
Черезъ пропасти и смрадные болота
Къ престолу днесъ меня приведшій мостъ
Ломаю я! Разорвана отнынѣ
Съ прошедшимъ связь! Пережита пора
Кромѣшной тьмы—сіяетъ солнце снова—
И держитъ скиптръ для правды и добра
Лишь царь Борисъ — нѣтъ болѣ Годунова!

Вы такъ и чувствуете въ этихъ поэтическихъ словахъ, какъ бывшій участникъ злѣйшаго и безсмысленнѣйшаго деспотизма, бывшее орудіе всесильнаго злодѣя, бывшій виновникъ, въ пору своей начинавшейся власти, одного изъ возмутительнѣйшихъ преступленій, память о которомъ не перестаетъ его тревожить, — вы такъ и чувствуете, какъ этотъ человѣкъ, впервые взобравшись на альпійскую высоту, жадно вбираетъ въ себя непривычный, чистый, разрѣженный воздухъ. Какъ деталь, монологъ этотъ, конечно, очень поэтиченъ и психологически вѣренъ. Какъ цѣльную постройку, я вовсе не намѣреваюсь защищать отъ г. Анненкова характеръ толстовскаго Бориса. Припомню по этому поводу чье-то очень тонкое замѣчаніе о римскомъ Суллѣ. Историки любятъ изображать знаменитаго «счастливецъ» тончайшимъ и дальновиднѣйшимъ интриганомъ, въ самой ранней молодости состав-

вившимъ себѣ планъ той изумительной карьеры, которую ему впослѣдствіи удалось сдѣлать, какъ бы назло всѣмъ римскимъ учрежденіямъ и всей предыдущей римской исторіи. «Напрасно, говоритъ мой авторъ, будемъ мы строить идеальныя фигуры людей, у которыхъ каждый шагъ жизни рассчитанъ за тридцать, за сорокъ лѣтъ впередъ; настоящая жизнь гораздо проще и не оправдываетъ такихъ головныхъ выкладокъ. Сулла былъ необыкновенно даровитый человѣкъ, игрокъ равно смѣлый и хладнокровный, притомъ безъ всякой совѣсти, безъ всякихъ нравственныхъ преградъ, обстоятельства ему не мѣшали, а въ рѣдкой степени благопріятствовали, и онъ шелъ себѣ все впередъ и впередъ, пока не очутился тамъ, гдѣ до него не былъ ни одинъ римлянинъ». Нѣчто подобное, думаю я, слѣдуетъ принять для всѣхъ выдающихся карьеристовъ исторіи, вплоть до Наполеона I: всѣ они не только кузнецы своего счастья, но счастье, въ свою очередь, ихъ «куетъ».

Разсудочность, которой почти незамѣтно въ лирическихъ стихахъ Толстого, въ его трилогіи играетъ огромную роль: онъ выдумываетъ характеры и, вслѣдствіе этого, дѣйствительно, г. Анненковъ имѣетъ право утверждать, что характеры эти—«призраки». Но при этомъ, къ счастью, въ трилогіи господствуетъ удивительная нервность. На ряду съ правдоподобно-умнымъ и невѣроятно-дальновиднымъ Борисомъ, Толстой, во второй пьесѣ трилогіи, начерталъ одинъ характеръ дотого смѣлою и могучею рукой, что передъ нимъ (и только передъ нимъ) невольно задумываешься упрекать Толстого въ неспособности лѣпить индивидуальныя фигуры. Этотъ образъ не кто иной, какъ царь Ѳеодоръ. Не могу выразиться иначе: это созданіе смѣлое дотого, что читателю страшно становится за автора. Толстой захотѣлъ, такъ-сказать, ввести Диккенса въ трагедію, сдѣлать центромъ трагической фабулы диккенсовскаго младенца, недужнаго, наивнаго, набожнаго, восторженно-добраго, евангельски-кроткаго. Онъ не побоялся откровенно сказать намъ, что герой его, хотя взрослый, но ограниченъ умомъ до младенчества; онъ не побоялся нѣсколько разъ сряду выставить его въ смѣшномъ свѣтѣ, показать намъ во всей плоскости этого царя, безъ царя въ головѣ, этого повелителя народовъ съ семью пятницами на недѣлѣ; онъ не побоялся нѣсколько разъ вызвать улыбку читателя, и улыбку самую нелестную

для героя; онъ разсчитывалъ, что, въ концѣ-концовъ, читатель обольется слезами, и, насколько меня не обманываетъ мое нравственное и эстетическое чувство, онъ былъ тысячу разъ правъ. Пусть Ѳедоръ Іоанновичъ и ограниченъ, и суетливъ, и капризенъ, и ребячески самонадѣянъ, но въ его сердцѣ такой неистощимый запасъ любви, такая дѣтская непорочность и такая чарующая кротость, что онъ имѣетъ полное право сказать Борису, чтобы тотъ предоставилъ ему, дѣла, гдѣ требуется не политика, а простая, добрая душа. Передъ этимъ лицомъ всѣ остальные, и между ними даже симпатичная, но черезчуръ идеальная царица «Аринushка», какъ зоветъ ее Ѳедоръ, блѣднѣютъ. Но драматическая способность проявилась у Толстого въ другой, согласно его натурѣ, внѣшней сторонѣ дѣла, именно въ умѣнѣ пользоваться сценой. Здѣсь даже г. Анненковъ, столь мало довольный его эстетическимъ приѣмомъ и его обращеніемъ съ исторіей, принужденъ сказать, что онъ «еще не встрѣчалъ въ русской литературѣ такого ловкаго, мастерскаго и вмѣстѣ бойкаго приложенія обычныхъ формъ западно-европейской драмы къ русскому міру, его исторіи, преданіямъ и быту.

Перехожу къ итогу, который выводитъ г. Анненковъ изъ разбора Смерти Іоанна Грознаго, такъ какъ возбужденный критикомъ вопросъ имѣетъ большой интересъ и данный имъ отвѣтъ, какъ оказывается, многими былъ принятъ на вѣру.

Г. Анненковъ пытается объяснить недостатки и достоинства, равно усматриваемые имъ въ драматической хроникѣ Толстого, тѣмъ афоризмомъ, что авторъ Іоанна Дамаскина вообще не русскій поэтъ, а писатель западный; что онъ, другими словами, не имѣетъ національности, что онъ общечеловѣкъ. Эта мысль, высказанная безъ околѣностей, имѣла большой успѣхъ и черезъ десять лѣтъ послѣ своего появленія на свѣтъ помогла г. Языкову написать большую статью въ «Дѣлѣ», не только озаглавленную «Поэтъ-космополитъ», но и исключительно наполненную амплификаціей опредѣленія, что нашъ поэтъ—космополитъ. Охотно признаю, что въ нашей современной литературѣ не много найдется экспертовъ для рѣшенія вопроса, гдѣ «русскій духъ», гдѣ «Русью пахнетъ», которые имѣли бы на это званіе болѣе права, чѣмъ біографъ великаго поэта, впервые постигшаго тайну «русскаго духа» и раскрывшаго намъ эту тайну ча-

рующими гармоніями своихъ безсмертныхъ стихотвореній. Но, тѣмъ не менѣе, способъ разрѣшенія вопроса, предлагаемый г. Анненковымъ, кажется мнѣ невѣрнымъ. Толстой—пѣвецъ цѣлаго ряда былинъ и балладъ, которыя не только по языку, но по внутреннему содержанію (свѣтлому, бодрому, мужественному духу, пластической силѣ и богатой чувственной прелести) дотого полны «русскаго» элемента, что нельзя даже указать произведеній, болѣе русскихъ, хотя бы пришлось искать народнаго «духа» у самого Островскаго. То же самое слѣдуетъ отмѣтить и о мелкихъ лирическихъ стихотвореніяхъ. Если бъ нашъ поэтъ не написалъ ничего, кромѣ тѣхъ четырнадцати строчекъ, которыя начинаются стихомъ: Ой, кабъ Волга-матушка да вспять побѣжала!, то и тогда бъ критику пришлось призадуматься, прежде чѣмъ изречь, что Алексѣй Толстой не русскій. Въ его лирическихъ стихахъ на каждомъ шагу раскинуты не только слова и обороты, показывающіе, что онъ глубоко постигъ духъ русскаго языка, но и мысли и образы, свидѣтельствующіе о самомъ несомнѣнномъ родствѣ поэта съ тою чисто-національною струей творчества, которая течетъ по прямой линіи отъ древнѣйшихъ народныхъ пѣсенъ до Пушкина.

Не лучше ли сказать, что въ графѣ Алексѣѣ Толстомъ, со всѣми его переодѣваніями, превращеніями и аватарами, сказалась одна изъ несомнѣнныхъ особенностей русскаго человека, т.-е. именно эта способность къ переодѣваніямъ, превращеніямъ и аватарамъ.

Извѣстно, что мы очень легко учимся новѣйшимъ языкамъ. Мало того, что у насъ органы рѣчи устроены какъ-то по особенному, такъ что мы можемъ отлично усваивать себѣ какое-угодно произношеніе, и у насъ равно превосходно выходятъ и гнусавые французскіе, и пѣвучіе итальянскіе, и шипящіе англійскіе звуки, но ежедневный опытъ показываетъ, что не менѣе успѣшно овладѣваемъ мы и формами, идиотизмами, наконецъ, самымъ духомъ любого языка. Тогда какъ французъ или нѣмецъ изучаетъ иностранный языкъ, большею частію, для чтенія или дѣловыхъ сношеній и нисколько не стѣсняется говорить на немъ неуклюжими и неграмматическими фразами, прямо переведенными съ его родного языка, мы, русскіе, наоборотъ, выучиваемся болтать на иностранныхъ языкахъ, и болтать не смѣсью «французскаго съ нижегородскимъ», а непринужденно и элегантно.

То же, что мы видимъ въ языкѣ, можно подмѣтить и въ «костюмѣ», разумѣя это слово не въ обыденномъ, а въ болѣе широкомъ театральномъ смыслѣ, въ смыслѣ совокупности всего внѣшняго быта, всѣхъ житейскихъ привычекъ. Русскій человѣкъ способенъ удивительно быстро онѣмечиваться, офранцуживаться, обитальяниваться и т. д. Способность эта не имѣетъ предѣловъ, кромѣ географическихъ. Если намъ неизвѣстенъ типъ русскаго оперуанившагося, то только потому, что русскіе не имѣютъ до сихъ поръ обычая проживать свои деньги въ Лимѣ. Но, вмѣстѣ съ костюмомъ, незамѣтно усваивается и самый духъ народа, совершается перерожденіе полнѣйшее, не оставляющее никакихъ слѣдовъ прежняго, такъ-сказать, геологическаго слоя.

Что для другихъ нашихъ соотечественниковъ бывало печальною дѣйствительностью и, притомъ, явленіемъ органическимъ, то для Алексѣя Толстого, какъ художника, сдѣлалось изящною игрой и, притомъ, состояніемъ временнымъ. Я хочу сказать, что офранцуженный русскій—дѣйствительный французъ, и, притомъ, остается такимъ на всю жизнь, тогда какъ опиллеровшійся или одантовшійся Толстой только ради художественнаго вымысла становился Шиллеромъ или Данте и, написавъ послѣдній стихъ баллады или легенды, снова дѣлался тѣмъ, чѣмъ онъ былъ—чисто-русскимъ человѣкомъ, получившимъ чисто-европейское, чисто-западное образованіе.

Сведемъ теперь итоги. Постараемся найти нить, связывающую единымъ міровоззрѣніемъ всѣ эти столь разнообразныя и столь ослѣпительно-блестящія проявленія богатаго таланта.

Такъ какъ поэтъ всего яснѣе и всего прямѣе можетъ высказаться въ лирикѣ, то естественно, что всѣ критики обращаются къ его лирическимъ произведеніямъ, когда хотятъ постигнуть его завѣтную мысль, его господствующую идею. Такъ критики и дѣлали по отношенію къ А. Толстому. Если смотрѣть на число повтореній, то чаще всего у него является мысль о свободѣ искусства, о преимуществѣ «насъ возвышающаго обмана» передъ «низкими истинами»—словомъ, о томъ знаменитомъ лозунгѣ, котораго русскій писатель не можетъ коснуться безъ того, чтобы сейчасъ же не упомянуть о «Поэтѣ и черни» Пушкина. Сюда, какъ мы видимъ, относится Іоаннъ Дамаскинъ, самое грандіозное

по размѣрамъ, самое богатое и торжественное воплощеніе этой любимой идеи Толстого; сюда относится болѣе сжатое его выраженіе въ «Слѣпомъ», настоящемъ *chef-d'oeuvre* всей его жизни; сюда, но въ формѣ аналогической, защитительной, относится его посланіе къ И. С. Аксакову (Судя меня довольно строго); сюда же, наконецъ, принадлежатъ чисто-полемическіе, сатирическіе стихи: Противъ теченія и Пантелей-цѣлитель. Во всемъ этомъ господствуетъ одинъ и тотъ же культъ поэзіи, преклоненіе передъ «*Macht des Gesanges*», отвращеніе къ утилитарному примѣненію этого могущества, къ «житейскому волненію», «тревогѣ» и «битвамъ». Нельзя не видѣть, что къ этой излюбленной имъ мысли Толстой возвращался то и дѣло и что онъ выказалъ рѣдкую изобрѣтательность, находя для нея каждый разъ новую форму, всегда удачную, порой граціозную, порой остроумную, иногда же (какъ въ «Слѣпомъ») поразительно могучую и вдохновенную. Но, какъ бы ни было важно вліяніе этой идеи на поэта и какъ бы ни было значительно ея присутствіе въ его стихахъ, все-таки, какъ я уже говорилъ, культъ поэзіи принадлежитъ не ему, а составляетъ весьма выдающуюся тему Гёте, Шиллера и Пушкина. Вотъ одна изъ причинъ, по которой я не желалъ бы видѣть именно въ этой темѣ центръ и двигающую силу всей дѣятельности поэта. Другая, еще важнѣйшая причина та, что эта тема, повторяю, литературна, что въ ней поэзія говоритъ о самой себѣ, и что было бы крайне прискорбно не признавать за такимъ большимъ талантомъ никакого иного содержанія. При всѣхъ красотахъ исполненія, нельзя отрицать, что подобныя темы, своею относительно бесплодностью, опасны для поэта и при частомъ употребленіи грозятъ искусству упадкомъ. Безбрачная жизнь бесплодна. Поэзія, занятая только собою, какъ миеологическій Нарциссъ, не только лишается общедоступнаго интереса и становится достояніемъ однѣхъ замкнутыхъ кликъ, но и мало-по-малу лишается соковъ, хилѣетъ и чахнетъ. Поэзія можетъ говорить о женихѣ и невѣстѣ, о любовницѣ и любовникѣ, объ отцѣ и сынѣ, о матери и сестрѣ, о царѣ и нищемъ, о воинѣ и схимникѣ, о святомъ и преступникѣ, о зеленой дубравѣ и мертвой пустынѣ, обо всемъ, скорѣе, чѣмъ о поэтѣ. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что наименѣе поэтическія задачи — вопросы литературы и эстетики. Только большой талантъ, да и то

только отчасти, можетъ превозмочь эту фальшь, которая заключается въ стихотвореніи, прославляющемъ стихотворство. Романтики думали объ этомъ иначе.

Я договорился до слова, которое мнѣ было нужно. Графъ Алексѣй Толстой былъ романтикъ — не въ смыслѣ Жуковского, но въ болѣе обширномъ и внутреннемъ смыслѣ и со всѣми тѣми преимуществами, которыя русскій писатель временъ Александра II имѣетъ передъ русскимъ же писателемъ временъ Александра I. Притомъ, Толстой несравненно болѣе поэтъ, чѣмъ Жуковский.

Романтизмъ братьевъ Шлегелей и Тика былъ также культомъ чистаго искусства; онъ также былъ отчасти поэзіей, которая занимается сама собою и не только избѣгаетъ брать себѣ героями художниковъ и артистовъ, но даже муссировать романъ и драму, въ которыхъ главное лицо поэтъ, живописецъ или архитекторъ. Но и этотъ романтизмъ стоялъ на этой узкой и коротенькой тропинкѣ. Въ немъ была другая, болѣе плодотворная сторона — изученіе народной старины, изученіе быта, преданій и исторіи своего народа.

Если мы взглянемъ на рядъ былинъ и балладъ Толстого, а также на сюжеты его драмъ, то намъ станетъ ясно, что эта сторона романтизма въ немъ, по крайней мѣрѣ, такъ же сильна, какъ и культъ «искусства для искусства». Дѣло не въ томъ, что дѣйствующими лицами являются древніе славяне или средневѣковые русскіе; дѣло, во-первыхъ, въ томъ живомъ сочувствіи, съ которымъ относится къ нимъ поэтъ, а во-вторыхъ, въ той виртуозности, съ которою воспроизводится ихъ бытъ, ихъ «костюмъ». И Александръ Петровичъ Сумароковъ бралъ сюжеты для трагедій изъ русской старины, но и не пытался ихъ воспроизводить. Искусство, какъ понимали его Ле-Баттіе, Лагарпъ, Сумароковъ, не только не должно уносить насъ въ отдаленные края и времена, но, напротивъ, обязано переносить отдаленные края и времена въ нашу современную обстановку, умѣть причесать и краснокоряго индѣйца, и напудрить и нарядить классическаго грека, прежде чѣмъ грекъ или индѣецъ могутъ выступить на подмостки, на глазахъ просвѣщенной публики. Въ этомъ условномъ смыслѣ можно, пожалуй, сказать, что псевдо-классицизмъ, вѣдрящій только въ то, что онъ собственными глазами видѣлъ, не допускаетъ никакихъ уклоненій отъ приличій нашего свѣта, отъ идей нашего просвѣщенія.

Истинный смыслъ «Димитрія» не въ Димитріи, а въ наперсникъ его Парменѣ, который въ благонамѣренныхъ виршахъ излагаетъ либеральныя мысли и гремитъ противъ того, что теперь получило названіе «ультра-монтанства». Я не напрасно заговорилъ о Сумароковѣ. Мнѣ хотѣлось поставить грань какъ можно рѣзче и замѣтнѣе. Романтизмъ, во-первыхъ, смотритъ на народную старину не свысока, а съ любовью и благоговѣніемъ; во-вторыхъ, старается, чтобъ эта старина у него говорила не нашимъ языкомъ, а своимъ собственнымъ. У нѣкоторыхъ романтиковъ это погруженіе въ прошлое достигло того, что не только слова и конструкціи, но даже мысли, обличающія современное происхожденіе, носящія печать современной культуры, были изгнаны. Мѣстный колоритъ оказался чрезвычайно пикантнымъ и наряднымъ украшеніемъ. Тогда набросились на мѣстный колоритъ: не довольствуясь своею родною стариною, стали искать всего экзотическаго, мотивовъ испанскихъ, итальянскихъ, новогреческихъ, сербскихъ, арабскихъ, персидскихъ и индійскихъ. Это виртуозная сторона романтизма, и я говорилъ въ началѣ статьи, что именно эта сторона и у Толстого играетъ очень важную роль. Нѣмецкіе и французскіе романтики, такъ же какъ и Толстой, хотя не всегда съ равною удачей, поддѣлывались подъ ладъ различныхъ временъ и народовъ и, вмѣсто классической лиры, бряцали на всевозможныхъ лютняхъ, гитарахъ, мандолинахъ, ребѣкахъ и бандурахъ.

Но за внѣшнею игрой послѣдовало внутреннее колебаніе и, отчасти, увлеченіе. Постоянное общеніе съ поэзіей полудикихъ, полудивилизованныхъ племенъ, чуждыхъ анализа, богатыхъ удалствомъ, непосредственнымъ творчествомъ и наивною вѣрой, во многихъ головахъ породило культъ непосредственнаго, культъ тѣхъ темныхъ и таинственныхъ душевныхъ силъ, которыя такъ часто бываютъ сильнѣе разума и сознанія. Отъ этой стороны романтизма Толстой остался свободенъ: по всему видно, что онъ, напротивъ, дорожилъ цивилизаціей и ея плодами, что онъ дорожилъ своимъ званіемъ современнаго и образованнаго человѣка.

Зато въ Толстомъ можно отыскать слѣды другого ученія, связь котораго съ романтизмомъ, по историческимъ причинамъ, очень слаба, хотя между ними очень легко могли бы установиться точки соприкосновенія. Это теорія необхо-

димости, ученіе, гласящее, что весь міръ находится въ органической и неразрывной связи, что ни одна частица его ни на мигъ не можетъ вырваться изъ той связи и существовать самостоятельно, внѣ общаго закона, что, поэтому, все совершающееся вокругъ насъ — неизбежное послѣдствіе неизмѣнимыхъ причинъ.

Въ прологѣ къ Донъ-Жуану одинъ изъ «духовъ» поетъ:

Всѣ явленія вселенной,
Всѣ движенія вещества,—
Все лишь отблескъ Божества,
Отраженьемъ раздробленный!
Врозь лучи его, скользя,
Раздѣлились безпредѣльно,
Міръ земной есть лучъ отдѣльный—
Не свѣтитъ ему нельзя!

Въ прелестномъ отрывкѣ «Алхимикъ», къ сожалѣнію, оставшемся отрывкомъ, герой, стоя на палубѣ корабля, который его уноситъ далеко отъ родины и возлюбленной, и вперивъ «взоръ нетерпѣливый въ пространство синее», говорить:

Вы, моря шумнаго пучины,
Ты, неба вѣчнаго просторъ,
И ты, свѣтилъ блестящій хоръ,
И вы, родной земли вершины,
Поля и пестрые цвѣты,
И съ горъ струящаяся воды,
Отдѣльно взятыя черты
Всецѣльно дышащей природы!
Какая васъ связала нить,
Одну другой свѣтлѣй и краше?
Какимъ закономъ объяснить
Родство таинственное наше?
Ты, всесторонность бытія,
Неисчерпаемость явленья;
Въ тебѣ повсюду вижу я
Того же свѣта предомленье.

Было бы натяжкой утверждать, будто Толстой прямо и опредѣленно говоритъ, что и явленія нравственнаго міра подчинены тому же закону. Напротивъ, защитники свободной воли могутъ даже прямо указать на одно мѣсто въ Донъ-Жуанѣ:

Вкругъ дѣлъ людскихъ загадочной чертой
Свободы грань очерчена отъ вѣка;

Но безъ насилья можетъ въ грани той
Вращаться вольный выборъ человѣка.
Лишь если онъ предѣлы перейдетъ,
Въ чужую область вступить святотатно,
Впадаетъ онъ въ судьбы водоворотъ
И увлеченъ теченьемъ невооротно.

Итакъ, Толстой не былъ спинозистомъ, не былъ даже и вообще пантеистомъ, но, очевидно, только по недоразумѣнью. Въ самомъ дѣлѣ, если гимнъ «Всѣ явленія вселенной, всѣ движенія вещества» имѣетъ смыслъ, а не составляетъ простаго набора благозвучныхъ стиховъ, то единственный смыслъ тотъ, что вселенная — одно цѣлое, что всѣ отдѣльныя тѣла и явленія, а слѣдовательно, и дѣйствія живыхъ существъ — только лучи одного центрального солнца. Очевидно, что это центральное солнце — Богъ и что Богъ сказывается во всякомъ явленіи, даже въ такомъ, которое мы, люди, по своей близорукости, зовемъ грѣхомъ или преступленіемъ. Допустивъ это, Толстой будетъ послѣдователенъ; но тогда онъ опять станетъ, подобно Гёте, подобно многимъ другимъ поэтамъ (изъ которыхъ, притомъ, иные и не сознались въ своей ереси ни передъ другими ни передъ собой), на почву спинозизма. На почвѣ этой философіи нѣтъ «вольнаго выбора человѣка», о которомъ такъ некстати поется въ «Донъ-Жуанѣ», вся постройка и идея котораго есть отрицаніе вольнаго выбора; на почвѣ спинозизма нѣтъ, стало-быть, ни вины ни возмездія, нѣтъ, вообще, этики, а есть только эстетика. (Я очень хорошо знаю, что главное сочиненіе Спинозы именно называется «Этикой». Однако, всякій, знакомый съ этою книгой, знаетъ, что въ ней-то именно знаменитый мыслитель разрушаетъ и уничтожаетъ этику.)

Можно не раздѣлять пантеистическихъ вѣрованій, можно находить ихъ нецензурными, опасными для нравственности, опасными даже для государства. (Опасность эта, во всякомъ случаѣ, не существуетъ въ сочиненіяхъ А. Толстого. Потому ли, что онъ былъ пантеистъ очень непослѣдовательный, по другой ли причинѣ, но самый строгій глазъ не отыщетъ ничего нравственно-предосудительнаго или политически-злонамѣреннаго въ какой бы то ни было строкѣ, имъ написанной.) Но нельзя отрицать, что духъ романтизма, стремившагося обнять всю совокупность жизни, стремившагося понять произведенія человѣческаго духа на его низ-

шихъ, растительныхъ ступеняхъ, по крайней мѣрѣ, одною своею стороною соприкасается съ пантеизмомъ. Можно было бы итти дальше и сказать, что и вообще для поэзіи ученіе, отрицающее мораль, очень удобное и благопріятное ученіе (объ этомъ предметѣ есть въ исторіи философіи Куно Фишера превосходная глава, подъ названіемъ «Спиноза и Шекспиръ»), такъ какъ поэзія, по самому существу своему, склонна признавать и возводить въ идеалъ, а не отрицать, не обличать и не читать наставленій; но я не хочу перенести анализъ на эту широкую арену, потому что еще не покончилъ съ романтизмомъ творца «Іоанна Дамаскина». Итакъ, пантеизмъ, хотя не былъ религіей романтиковъ ни въ Іенѣ, ни въ Берлинѣ, ни въ Петербургѣ, но при другихъ обстоятельствахъ — напримѣръ, если бъ они появились пятьюдесятью годами раньше — могъ бы сдѣлаться ихъ религіей. Теперь мнѣ нужно еще указать на одну, послѣднюю черту сходства между Толстымъ и романтиками шлегелевской школы. Мы видѣли, что романтизмъ есть культъ старины. Вначалѣ этотъ культъ былъ чисто-эстетическій; но такъ какъ произведенія искусства не висятъ въ пространствѣ, а стоятъ на землѣ и соприкасаются съ личною, семейною, общественною и государственною жизнью, то симпатіи поэтовъ и ученыхъ, трудившихся надъ реставраціей древнихъ легендъ, пѣсенъ, пословицъ, памятниковъ архитектуры и живописи и пр., въ скорое время перешли отъ формы къ содержанію. Это — фактъ громадной важности для исторіи человѣческой мысли, не только въ Германіи, гдѣ романтическая эволюція захватила наибольшее число умовъ и потому совершилась съ наибольшею полнотою, но и во Франціи, Англіи и Россіи. Сочувствіе къ содержанію старины перешло у нѣкоторыхъ (конечно, не у всѣхъ) въ специальное сочувствіе къ ея учрежденіямъ. Отсюда становятся понятными такія явленія, какъ Жозефъ-де-Местръ, писатель талантливыи и элегантныи, которому въ жизни среднихъ вѣковъ чуть ли не болѣе всего нравились пытки, костры и, вообще, медленныя казни и который въ своей ненависти къ либераламъ дошелъ до того, что съ наслажденіемъ лакомки описывалъ, напримѣръ, подробности колесованія.

Я договорился до одной стороны въ литературной дѣятельности Алексѣя Толстого, которая, при его жизни, многимъ изъ его почитателей казалась прискорбнымъ диссонан-

сомъ, а послѣ его смерти тщательно обходится тѣми изъ его либеральныхъ почитателей, которымъ хочется, чтобъ и волки были сыты и овцы цѣлы, т.-е., чтобъ и Толстой былъ восхваленъ и либерализмъ остался въ чести. Но, вѣрный правилу «*de mortuis aut veritas, aut nihil*» и столь же вѣрный другому правилу, что съ правдою нужно быть въ болѣе интимной дружбѣ, чѣмъ даже съ Платономъ и Сократомъ, я рѣшаюсь сорвать виноградный листокъ, прицѣпленный чопорностью либераловъ къ политическимъ мнѣніямъ Толстого и къ той формѣ, въ которой, въ послѣдніе годы жизни, онъ сталъ ихъ облекать. Ему нѣкогда мнилось, что онъ нейтраленъ въ спорахъ политическихъ правилъ и, такъ-сказать, парить надъ ними въ свободной высотѣ:

Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный,

писалъ онъ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, —

За правду я поднять бы радъ мой добрый мечъ,
 Но споръ съ обоими — досель мой жребій тайный,
 И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;
 Союза полнаго не будетъ между нами—
 Не купленный никѣмъ, подъ чье бъ ни сталъ я знамя,
 Пристрастной ревности людей не въ силахъ снести,
 Я знамени врага отстаивалъ бы честь!

Лучше нельзя было выразить объективнаго отношенія къ политикѣ свободы отъ всякаго узкаго предразсудка, отъ всякаго кумовства и ослѣпленія. Но если даже эта автохарактеристика была вѣрна въ данную минуту (въ чемъ позволительно усомниться), она оказалась вполнѣ ошибочною черезъ нѣсколько лѣтъ. Толстой разсердился на нигилистовъ. Плодомъ его негодованія, въ 1866 году, явилось очень хорошенкое шутливое стихотвореніе «Пантелей-цѣлитель», въ которомъ онъ добродушно проситъ святого хорошенечко поколотить нигилистовъ. Во всемъ этомъ стихотвореніи видна досада, нѣтъ недостатка въ остроуміи, но ничего ядовитаго, ожесточеннаго нѣтъ; надоѣли мирному поэту эти назойливые крикуны, эти Антоновичи, Писаревы, Зайцевы, Шелгуновы (имъ же имя легіонъ), поэтъ обругалъ ихъ крѣпчайшимъ словомъ и, видимо, облегченный, сейчасъ же и разсмѣялся. Замѣчу также, что по одной враждѣ къ нигилистамъ нельзя себѣ составить никакого понятія о политическихъ мнѣніяхъ писателя: съ нигилистами враждуютъ и гг. Аскоченскіе, и

г. Костомаровъ, и партія московскихъ славянофиловъ — словомъ, люди самыхъ противоположныхъ мнѣній. Толстой могъ быть прогрессистомъ, и даже весьма нецензурнымъ, и въ то же время сердиться на нигилистовъ, хотя бы, на примѣръ, за матеріализмъ. Его собственный взглядъ оказался невыясненнымъ. Совсѣмъ другое впечатлѣніе производитъ стихотвореніе, появившееся шесть лѣтъ спустя въ 1872 году (здѣсь хронологическая точность необходима) подъ заглавіемъ «Потокъ-Богатырь», въ которомъ бичуются заблужденія мнимыхъ передовыхъ людей современной Россіи. Не стану передавать полнаго содержанія этой тенденціозной баллады, написанной звонкими, порой превосходными стихами; не стану тѣмъ болѣе, что она захватываетъ не только политическій, но и историческій вопросъ, до котораго мнѣ въ настоящую минуту нѣтъ дѣла. Воздержусь также и отъ выписки того мѣста, гдѣ «какой-то аптекарь, не то патріотъ» пропагандируетъ ученіе, что нѣтъ души, что Богъ есть видъ кислорода, «вся же суть въ безначальѣ народа». Не приведу также открытія «Потокомъ» такого на Руси тайнаго общества, гдѣ проповѣдуютъ, «что править Русью призванъ лишь черный народъ, что по старой системѣ всякъ равенъ, а по нашей лишь онъ полноправенъ». Ограничусь приведеніемъ слѣдующаго пассажа, рисующаго отношеніе поэта къ вопросу о вмѣняемости, т.-е., о такомъ, на который его прямо наводили его же «Донъ-Жуанъ», его же «Алхимикъ».

Погулявъ себѣ взадъ и впередъ въ холодѣ,
Входитъ онъ (богатырь) во просторное зданье;
Видитъ: судьи сидятъ и торжественно тутъ
Надъ преступникомъ гласный свершается судъ:
Несомнѣнны и тяжки улики:
Онъ отца отравилъ, пару тетокъ убилъ,
Взялъ подлогомъ чужое имѣнье,
Да двухъ братьевъ и трехъ дочерей задушилъ—
Ожидаютъ присяжныхъ рѣшенья.
И присяжные входятъ съ довольнымъ лицомъ:
— Хоть убилъ, говорятъ, не виновенъ ни въ чемъ!
Тутъ платками имъ слѣва и справа
Машутъ барыни съ криками: bravo!
И промолвилъ Потокъ: «Со присяжными судъ
Былъ обыченъ и нашему міру,
Но когда бы такой подвернулся намъ шутъ,
Въ триста кунъ заплатилъ бы онъ виру!»
А сосѣди, косясь на него, говорятъ:
— Вишь какой затесался сюда ретроградъ!

Отсталой онъ, то видно по платью;
Притѣснять хочетъ меньшую братью!

Здѣсь вопросъ поставленъ и отвѣтъ данъ такъ точно, что никакое, сомнѣніе дальше существовать не можетъ. Автору не нравится частая снисходительность присяжныхъ.

Я сейчасъ говорилъ о графѣ Жозефѣ де-Местрѣ, болѣе охотникѣ до колесованія. Вкусы и тенденціи разнообразны до крайности, и должно радоваться, что въ нашъ вѣкъ это разнообразіе, сравнительно, высказывается на болѣе просторѣ, чѣмъ то было возможно прежде. Всякое мнѣніе имѣетъ свою *raison d'être*, а тѣмъ болѣе мнѣніе, что въ судахъ слѣдуетъ поменьше миловать, побольше казнить: представителями этого сужденія служатъ не какой-нибудь журналецъ, не какая-нибудь литературная клика, а цѣлое учрежденіе, основанное государствомъ и окруженное почетомъ, учрежденіе прокуратуры, свойственное именно гласному суду. Если поэтъ, увѣрившій нѣкогда, что онъ не стоитъ ни на той ни на другой сторонѣ, вдругъ почувствовалъ отвращеніе къ людямъ бѣдно одѣтымъ («отсталый онъ, то видно по платью»), есть иронія (прямой смыслъ которой: я одѣваюсь въ Парижѣ у Помадера и потому я порядочный человѣкъ, а вы оборвыши), если къ этому отвращенію у него присоединилась потребность выставить сочувствіе оборвышей къ отцеубійству — онъ на это имѣлъ полное право.

Не имѣлъ этого права только писатель, торжественно провозгласившій:

Всѣ явленія вселенной,
Всѣ движенія вещества,—
Все лишь отблескъ Божества,
Отраженіемъ раздробленный!
Врозь лучи его, скользя,
Раздѣлились безпредѣльно,
Міръ земной есть лучъ отдѣльный—
Не свѣтитъ ему нельзя.

Историческое значеніе поэзіи гр. А. К. Толстого ¹⁾.

I.

Наша критика въ большомъ долгу передъ Алексѣемъ Толстымъ.

Со дня его смерти времени прошло немало, и поэзія его не перестаетъ намъ нравиться. На литературныхъ вечерахъ стихи Толстого—всегда желанная приманка; ихъ декламируютъ и часто поютъ подъ музыку; его Трілогія взошла, наконецъ, полностью на подмостки, не только пересозданная артистами, но и сама создавая ихъ. Проникла его поэзія и въ начальную и въ среднюю школу и получила, такимъ образомъ, возможность вліять непосредственно на выработку нашего эстетическаго вкуса... Тайное желаніе поэта исполнено: нѣтъ среди насъ ни одного грамотнаго человѣка, которому бы нашъ писатель не помогъ при случаѣ искренно и картинно выразить ту или иную мысль, то или другое чувство — и все это, несмотря на бѣгъ времени, на быструю смѣну литературныхъ вкусовъ, въ общемъ неблагоприятныхъ для поэзіи Толстого.

Но если за поэзіей Толстого, дѣйствительно, осталась любовь читателя, то нельзя сказать, что критика отнеслась къ ней съ должной справедливостью. Имя поэта до сихъ поръ остается незанесеннымъ въ исторію нашей жизни. Историческая оцѣнка личности художника пока еще не сдѣлана, и мы, наслаждаясь его стихами, начинаемъ забывать о немъ самомъ, объ этомъ типичномъ и богато-одаренномъ человѣкѣ, который былъ свидѣтелемъ и участникомъ одного изъ самыхъ замѣчательныхъ моментовъ нашей народной жизни.

¹⁾ «Подъ знаменемъ науки», юбилейный сборникъ въ честь Н. И. Стороженки. Москва, 1902 г.

Поэзія Толстого стала для насъ теперь также предметомъ лишь эстетическаго любопытства, тогда какъ, не такъ давно, она была интересна именно какъ проявленіе цѣлаго міросозерцанія оригинальнаго и полнаго.

Такое невниманіе къ писателю, какъ къ человѣку, и къ его созданію, какъ къ чему-то стройному, цѣлому, исторически сложившемуся и имѣющему, въ свою очередь, историческую стоимость, является тѣмъ болѣе несправедливостью въ отношеніи къ Алексѣю Толстому, что все, что о немъ было написано, было — за рѣдкимъ исключеніемъ — писано людьми, которые съ нимъ спорили и которые поэтому правый судъ неизбежно должны были замѣнять полемикой, можетъ-быть, очень искреннею и честною, но всегда одностороннею. Еще болѣе несправедливостью, чѣмъ такой неполный судъ, было затѣмъ почти полное молчаніе. Только въ самое послѣднее время редакція «Вѣстника Европы» рѣшилась опубликовать интимную переписку своего сотрудника, и Владимиръ Соловьевъ предпослалъ этимъ письмамъ краткую характеристику творчества Толстого, въ которой сдѣлалъ первую попытку слить въ одно философское цѣлое мысли поэта объ окружающемъ его мірѣ и о своемъ призваніи. До этой статьи, весьма краткой и намѣчающей лишь самыя общія положенія въ міросозерцаніи нашего автора, его судили обыкновенно либо какъ выразителя извѣстныхъ литературныхъ симпатій, либо какъ художника только, либо, наконецъ, какъ автора отдѣльныхъ произведеній. Само-собою разумѣется, что при такомъ судѣ А. Толстой не могъ разсчитывать на вполне оправдательные приговоры. Полемическій задоръ навязывалъ нашему писателю иногда злободневныя стихотворенія, которыя, какъ «поэтическія» созданія, заслуживали справедливый упрекъ; внутренняя и внѣшняя художественная техника нѣкоторыхъ стихотвореній допускала также вполне основательныя возраженія; и, наконецъ, развѣ существуютъ поэты, у которыхъ не нашлось бы вообще слабыхъ произведеній?

Но поэзія Толстого озаряется совѣмъ особымъ свѣтомъ, если взять ее какъ цѣлое, какъ поэтическое воплощеніе оригинальнаго міросозерцанія, этическаго и эстетическаго, и если къ тому же вдвинуть ее въ историческую рамку, т.-е. оцѣнить ее какъ живую силу, дѣйствовавшую въ опредѣленный, весьма важный моментъ нашей общественной жизни.

II.

Задача нашей замѣтки — опредѣлить это историческое значеніе поэзіи Толстого. Въ чемъ оно заключалось?

Это была попытка охватить и изобразить въ символическихъ образахъ то настроеніе и сущность тѣхъ общихъ гуманныхъ взглядовъ, которые съ такою рѣзкой отчетливостью сказались въ нашемъ обществѣ шестидесятихъ годовъ, въ эпоху реформъ. Какъ бы строгъ ни былъ тотъ судъ, который эта символическая поэзія встрѣтила какъ разъ въ ту эпоху, судъ, отчислившій поэта чуть ли не въ лагерь ретроградовъ, но поэзія Толстого — все-таки самое законное дитя своего времени. Она, эта эпикурейская поэзія, какъ ее иногда называли, родная сестра той гражданской пѣсни, которая славилась въ тѣ годы своимъ ригоризмомъ и стоицизмомъ.

Извѣстно, что самая задорная и непримиримая ссора, это — ссора между родственниками. Такъ было и въ данномъ случаѣ, при столкновеніи нашего поэта съ передовыми людьми его поколѣнія.

Это столкновение было неизбежно, въ виду совершенно особаго склада ума и очень оригинальнаго художественнаго темперамента, которые выдѣляли Алексѣя Толстого изъ общей компактной и болѣе или менѣе солидарной группы его братьевъ — антагонистовъ. Дѣло въ томъ, что, при весьма сходной этической оцѣнкѣ міропорядка вообще и порядковъ российскихъ въ частности, Толстой совершенно расходился съ большинствомъ своихъ современниковъ въ пониманіи общихъ основныхъ философскихъ началъ жизни и, главнымъ образомъ, во взглядѣ на культурную роль искусства. Изъ этой разницы и вытекло все разногласіе, а сама эта разница получилась не потому, что люди разное думали о томъ, что для даннаго момента жизни всего болѣе на потребу, а потому, что одинъ хотѣлъ оправдать нужды этого момента общими соображеніями, а другіе думали, что такое обобщеніе въ этотъ именно моментъ только ослабляетъ сознаніе этихъ нуждъ въ человѣкѣ.

Изолированное и нѣсколько загадочное положеніе Алексѣя Толстого среди борющихся «становъ» его времени вполне объясняется, если мы обратимъ должное вниманіе на темпераментъ и на складъ ума нашего писателя. Его, дѣйствительно, нельзя причислить ни къ одному изъ тогдашнихъ

становъ. Въ эпоху практической и трезвой мысли, направленной на рѣшеніе вопросовъ государственныхъ, политическихъ и экономическихъ, въ періодъ ликующаго торжества разныхъ философскихъ теорій, основанныхъ на опытѣ, иногда, дѣйствительно, научномъ, а иногда и мнимомъ, въ годы возбужденныхъ социальныхъ страстей, нашъ поэтъ чувствовалъ себя очень неловко.

Владимиръ Соловьевъ утверждалъ, что А. Толстой былъ поэтомъ мысли «воинствующей», поэтомъ-борцомъ. Едва ли. Конечно, бывали минуты, когда онъ сердился и когда въ немъ разыгрывалось желаніе кольнуть или даже больно ударить сосѣда, неуважительно относящагося къ тому, что для него было святыней. Оскорбленный въ своихъ самыхъ глубокихъ чувствахъ, поэтъ бывалъ тогда безпощаденъ въ своей ироніи; но одинъ тотъ фактъ, что эта иронія почти никогда не доходила до степеней озлобленнаго негодованія, а была лишь игривою и злой шуткой, указываетъ на то, что для настоящей борьбы, не падающей противника, Толстой созданъ не былъ; и въ самомъ дѣлѣ, припоминая «Пантелея-цѣлителя», «Потока», «Порой веселой мая», кто скажетъ, что эти блестящіе остроумія были настоящими ударами? Но пусть они даже и были таковыми: это — легкіе удары сатирическаго бича, а не удары палки, которую такъ часто брали въ руки тогдашніе «незлюбивые» защитники мирной красоты. Толстой-боецъ высказался весь въ одномъ стихотвореніи, и оно въ своемъ спокойномъ замыслѣ и въ своемъ восторженно элегическомъ тонѣ — лучшее доказательство миролюбія автора. Плыть противъ теченія и вспоминать при этомъ о смиренныхъ ученикахъ Христовыхъ, завоевавшихъ міръ терпѣніемъ и страданіемъ, а не мечомъ — развѣ это похоже на вызовъ къ единоборству и, вообще, на призывъ къ битвѣ?

И такимъ незлюбивымъ пѣвцомъ тѣхъ самыхъ гуманныхъ идей, во имя которыхъ нѣкоторые ревнители ополчились на красоту, такимъ союзникомъ мнимо-враждебнаго передового стана являлся этотъ художникъ среди людей, которые требовали отъ всѣхъ прежде всего прямолинейности и полной отчетливости въ мысляхъ и чувствахъ. А могъ ли на эти требованія отвѣтить Толстой, онъ — одинъ изъ типичнѣйшихъ «романтиковъ», когда-либо жившихъ?

Его поэзія была для своего времени явленіемъ настолько оригинальнымъ, настолько необычнымъ, что многіе критики,

встрѣчаясь съ нею впервые, никакъ не хотѣли признать ее за самобытный продуктъ русской жизни и думали, что она — пѣснь съ чужого голоса. Они ожидали найти въ Толстомъ поэта современнаго (какимъ онъ и былъ въ своемъ смыслѣ) и стали искать въ его творествѣ ясныхъ эстетическихъ и этическихъ взглядовъ. Эти взгляды съ виду оказались со-всѣмъ непохожими на мысли и вкусы, которые въ тѣ годы преобладали. Въ поэзіи Толстого, съ одной стороны, не оказалось въ достаточной долѣ того объективнаго отношенія къ окружающей дѣйствительности, къ которому стремились тогдашніе реалисты, съ другой — того субъективнаго отчужденія отъ переживаемой минуты, которымъ тогда цѣголяли творцы разныхъ незлобивыхъ пѣсень. Въ нашемъ писателѣ обѣ эти тенденціи сочетались въ объединяющемъ ихъ романтическомъ символизмѣ.

Это подало врагамъ поэта поводъ упрекнуть его въ индифферентизмѣ общественномъ и художественномъ; а близкое духовное родство этого символизма съ прежними литературными теченіями на Западѣ натолкнуло поспѣшныхъ судей на мысль, что нашъ поэтъ вдохновляется не жизнью, а книгой, что онъ, какъ художникъ, живетъ не на счетъ своего собственнаго вдохновенія.

Такое обвиненіе казалось правдоподобнымъ только потому, что весь складъ души нашего писателя казался его современникамъ совсѣмъ неправдоподобнымъ анахронизмомъ. Передъ ними былъ дѣйствительно чистокровный романтикъ, запоздавшій рожденіемъ.

Романтическіе порывы души — явленіе довольно обычное, и если понимать ихъ въ широкомъ общемъ смыслѣ, то едва ли можно приурочить ихъ появленіе къ какому-нибудь опредѣленному времени. Романтики жили и въ древности, и въ средніе вѣка, живутъ и въ наше время, и будутъ жить, сохраняя между собой родственную связь по духу. Вотъ почему слово «романтикъ», примѣненное къ тому или иному человѣку, указываетъ только на принадлежность его къ особому общему типу, который можетъ появляться въ самыхъ различныхъ историческихъ условіяхъ и обстановкахъ. Но то же слово, взятое въ тѣсномъ смыслѣ, получаетъ болѣе опредѣленное значеніе: все зависитъ въ данномъ случаѣ отъ глубины романтической мысли и, въ особенности, отъ интенсивности романтическаго чувства, которое мы подмѣчаемъ въ

человѣкъ. Цѣльная романтическая натура, свободная отъ противорѣчій и компромиссовъ съ враждебными ей теоріей и практикой жизни, попадаетъ очень рѣдко. Ея расцвѣтъ можно наблюдать развѣ только въ средніе вѣка и въ первыя десятилѣтія XIX вѣка, въ эти вѣка рѣзкаго перевѣса идеальнаго надъ реальнымъ, религіознаго надъ земнымъ, сверхчувственнаго надъ чувственнымъ.

Поэзія Алексѣя Толстого воскрешала это сложное романтическое міросозерцаніе и настроеніе именно въ ихъ давно уже исчезнувшей цѣльности.

У насъ, на русской почвѣ, настоящій романтизмъ никогда не пускалъ глубокихъ корней. Въ древнія времена наша жизнь была слишкомъ проста и груба, наша мысль слишкомъ недисциплинирована, чтобы вызвать въ человѣкѣ такое броженіе идей и чувствъ, какое на Западѣ создало романтику средневѣковую. Къ началу XIX вѣка мы, правда, стали народомъ полувивилизованнымъ и приняли даже прямое участіе въ судьбахъ Запада, но все-таки наша духовная связь съ жизнью Запада была столь слаба, что вся требога духа, которая въ началѣ вѣка породила второе, самое пышное цвѣтеніе романтики у нашихъ сосѣдей, для насъ прошла почти совсѣмъ безслѣдно. Не переживая съ Западомъ его душевныхъ волненій, иногда просто не понимая значенія этихъ волненій, мы, прельщенные красотой того «романтическаго» искусства, въ которомъ эта тревога воплощалась, усваивали лишь внѣшнія формы загадочнаго настроенія и перекраивали его, иногда очень неумѣло, на свой собственный ладъ. У насъ въ 20-хъ, 30-хъ и 40-хъ годахъ «романтическія» натуры — если вѣрить нашимъ поэтамъ и романистамъ — попадались въ изобиліи во всѣхъ слояхъ общества, но стоило къ нимъ присмотрѣться поближе, чтобы увидать, какой это былъ поверхностный, навѣянный романтизмъ, сколь малаго требовалось, чтобы отъ него избавиться, и, главное, какъ много противорѣчій заключалъ онъ въ себѣ, какъ часто онъ не выдерживалъ своей роли. Тотъ, кто знакомъ съ исторіей нашей литературы начала XIX вѣка, знаетъ, какъ всѣ злоупотребляли этимъ словомъ «романтикъ», быть-можетъ, именно потому, что въ своей средѣ настоящаго романтика не встрѣчали.

И въ позднѣйшіе періоды нашей жизни этотъ типъ оставался такою же рѣдкостью, и развѣ одни лишь славянофилы

40-х годовъ временами къ нему приближались. Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ онъ сталъ почти невозможностью, и какъ разъ въ это время поэзія Алексѣя Толстого о немъ напомнила.

Она воссоздала этотъ типъ во всей его цѣльности и законченности. Такого типичнаго сочетанія романтическихъ настроеній, взглядовъ и образовъ, какъ у Толстого, мы ни въ одномъ изъ нашихъ писателей не встрѣтимъ. Оригинальность нашего поэта заключается не въ томъ, что онъ романтикъ при случаѣ, а въ томъ, что онъ такой чистокровный, выдержанный и свободный отъ противорѣчій романтикъ.

Эта выдержанность, столь рѣдкая въ поэтахъ, объясняется отчасти тѣмъ любопытнымъ фактомъ, что нашъ поэтъ выступилъ со своимъ почти первымъ словомъ въ такомъ возрастѣ, когда другіе поэты начинаютъ обыкновенно задумываться надъ вопросомъ, что имъ сказать дальше. Толстому было подъ сорокъ лѣтъ, когда онъ напечаталъ первое свое стихотвореніе. Онъ имѣлъ достаточно времени, чтобы внести полный порядокъ въ свое міросозерцаніе.

Но если это обстоятельство и объясняетъ отчасти бросающуюся въ глаза цѣльность и стройность его романтическаго міросозерцанія, то все-таки для своего времени это міровоззрѣніе остается загадкой, тѣмъ болѣе, что — какъ мы увидимъ ниже — нашъ романтикъ сумѣлъ включить въ сферу своего поэтическаго созерцанія цѣлый рядъ современныхъ острыхъ вопросовъ дѣйствительности, что и придавало его пѣснямъ настоящее историческое значеніе.

Вникнемъ же въ это міросозерцаніе романтика, чтобы затѣмъ опредѣлить, что оно могло дать для той эпохи трезвой мысли, среди которой ему пришлось развернуться.

III.

Первое, что бросается въ глаза каждому читателю при встрѣчѣ съ поэзіей Толстого, это — ея повышенное религіозное настроеніе. Въ этомъ постоянномъ стремленіи простираť свой поэтическій взглядъ на жизнь за ея земные предѣлы нашъ поэтъ былъ вѣренъ истинно-романтическому исповѣданію, которое обязывало своихъ адептовъ согласовать свое вдохновеніе съ живою вѣрой въ Высшее Существо. Толстой являлся у насъ продолжателемъ той тенденціи, которая въ началѣ вѣка на Западѣ выразилась въ творчествѣ раннихъ

французскихъ романтиковъ, какъ, напримѣръ, Шатобріана, Ламартина и Гюго, въ Англіи — въ сентиментальноэстетической поэзіи Лакистовъ и въ пантеизмѣ Шелли, а въ Германіи — въ этой главной теплицѣ романтизма — въ разсказахъ Вакенродера, гимнахъ и романѣ Новалиса, въ повѣстяхъ и драмахъ Тика. Такое религіозное направленіе поэзіи Толстого, на которое современники нерѣдко косились, какъ на попытку передать въ образахъ совсѣмъ неподдающіяся образному изображенію чувства, было въ нашей словесности явленіемъ очень своеобразнымъ.

Хотя у насъ и было немало поэтовъ, которые прославляли величіе Божіе, поскольку оно выражается въ жизни природы и въ судьбахъ человѣчества, но до Толстого у насъ не было ни одного пѣвца, который вносилъ бы въ свои пѣсни столь глубокое религіозное чувство и столь глубокую религіозную мысль, даже не исключая наивно-благочестиваго Жуковского. Толстой имѣетъ нѣкоторое право на названіе богослова, и онъ въ данномъ случаѣ пошелъ дальше своихъ иностранныхъ родственниковъ, которые и въ Германіи, и во Франціи, и въ Англіи пристегивали религіозную идею къ какому-нибудь опредѣленному церковному вѣроисповѣданію. Толстой бралъ эту идею въ ея всеобщности, не столько въ извѣстныхъ ея историческихъ формахъ, сколько въ ея отвлеченной сущности. Онъ понималъ эту свою религіозную задачу иначе, чѣмъ ее понимали и его соотечественники — русскіе вѣрующіе и религіозные люди, для большинства которыхъ, если не для всѣхъ, религіозная идея была лишь видоизмѣненіемъ или дополненіемъ идеи патріотической. Толстой же видѣлъ въ ней прежде всего всепоглощающую недробимую идею, парящую надъ всякимъ временнымъ или частичнымъ ея обнаруженіемъ. Онъ не любилъ навязывать Богу земныхъ чувствъ, и религіозный мотивъ звучалъ въ его произведеніяхъ всегда необычайно искренно, такъ искренно, какъ молитва, къ которой нашъ поэтъ, какъ мы знаемъ теперь изъ его писемъ, прибѣгалъ часто въ интимной своей жизни.

«Ни въ какомъ положеніи душа не пріобрѣтаетъ болѣе обширнаго развитія, какъ въ приближеніи ея къ Богу, — писалъ Толстой однажды. — Чѣмъ болѣе вы приближаетесь къ Богу, тѣмъ болѣе вы становитесь въ независимость отъ вашего тѣла, и потому ваша душа менѣе стѣснена пространствомъ и матеріей... Я почти что убѣжденъ, что два чело-
вѣка, которые бы молились въ одно время съ одинаково сильною вѣ-

рой другъ за друга, могли бы сообщаться между собой вопреки отдаленію... Душа не забыла совершенно свое первое существованіе, до ея заключенія въ то застывшее состояніе, въ которомъ она теперь находится; если бы мы не были скованы матеріей, мы бы сейчасъ вернулись въ наше нормальное состояніе, которое есть непрерывное обожаніе Бога и единственное, въ которомъ можно быть безъ страданій... Богъ дозволяетъ время отъ времени, чтобы въ этой жизни немного тепла оживило нашу душу и напомнило бы ей случайно то блаженное состояніе, въ которомъ она находилась до своего заключенія... и къ которому возвращеніе обѣщано намъ послѣ смерти. Это бываетъ, когда мы любимъ женщину, мать или ребенка...»

Я вѣрю Богу, и у меня невысокое мнѣніе о разумѣ человѣческомъ; я вѣрю больше тому, что я чувствую, чѣмъ тому, что я понимаю, такъ какъ Богъ далъ намъ чувство, чтобы идти дальше, чѣмъ разумъ. Чувство—лучшій вожакъ, чѣмъ разумъ, такъ же какъ музыка совершеннѣе слова...»

Читая такія интимныя признанія этой романтической души, начинаешь понимать многое въ самой technikѣ созданій поэта, въ особенности тѣхъ крупныхъ созданій, въ которыхъ художникъ стремился выразить не мимолетное чувство, а нѣчто болѣе глубокое и широкое. Если Толстой, дѣйствительно, стремился къ тому, чтобы душа его была какъ можно менѣе стѣснена пространствомъ и матеріей, если нормальное состояніе души онъ, дѣйствительно, понималъ какъ непрерывное обожаніе Бога, то ему надо простить многія погрѣшности противъ обычной правдоподобности, которыя онъ допускалъ въ своихъ художественныхъ созданіяхъ.

Тотъ, кто сталъ бы обвинять поэта за то, что въ Дамаскинѣ, въ Грѣшницѣ и въ Донъ-Жуанѣ онъ не выдержалъ мѣстнаго колорита, что допустилъ психологическія несообразности, слишкомъ увлекся паэсомъ и потому погрѣшилъ даже противъ минимума реальной правды, что онъ, наконецъ, не далъ цѣльныхъ законченныхъ образовъ... тотъ можетъ оказаться, какъ эстетикъ и историкъ, правымъ, но онъ будетъ неправъ въ примѣненіи къ Толстому именно этого критическаго масштаба.

Художественная стоимость религіозныхъ поэмъ Толстого измѣряется не цѣнностью выполненія деталей и законченностью главныхъ образовъ, а тѣмъ общимъ впечатлѣніемъ, которое онѣ производятъ на читателя или даже, вѣрнѣе, на зрителя. Въ этихъ поэмахъ столько красоты внѣшней, столько паэоса и блеска и, вмѣстѣ съ тѣмъ, такая въ нихъ скрыта глубокая религіозность, что читателю остается уди-

вляться, какъ можно такими эффектами, т.-е. внѣшними, на зрѣніе и слухъ дѣйствующими приѣмами, производить такое сильное впечатлѣніе на самое интимное, что есть въ сердцѣ человѣка — на его религіозное чувство. Нѣкоторые богословы рекомендовали маловѣрнымъ, какъ лучшее средство почувствовать и познать Бога, — созерцаніе величественныхъ зрѣлищъ природы и величественныхъ судебъ міра. Такія зрѣлища даны намъ и въ поэмахъ Толстого. Иной разъ, за массой эффектныхъ деталей, кажется, что вотъ-вотъ руководящая религіозная мысль потеряется или религіозное чувство начнетъ ослабѣвать; вниманіе читателя какъ-будто отъ общаго начинаетъ обращаться къ частному, но когда послѣдняя строка дочитана и когда мы стали отъ картины на нѣкоторое разстояніе, мы перестаемъ замѣчать всѣ эти погрѣшности въ деталяхъ, и всѣ отдѣльные эпизоды этихъ колоритныхъ картинъ всецѣлю покоряютъ насъ настроенію поэта. Толстой въ данномъ случаѣ чистокровный романтикъ, для котораго внѣшность явленія должна служить лишь намекомъ на затаенный въ этомъ явленіи символическій смыслъ и на настроеніе самого художника. Изобразить перерожденіе души человѣческой при ея соприкосновеніи со святынею, т.-е. изобразить своего рода чудо (хотя и не сверхъестественное), дать почувствовать психическое состояніе художника, душа котораго раздвоена между любовью къ Богу и любовью къ искусству и ищетъ примиренія этихъ двухъ страстей, изобразить все это въ пластическихъ образахъ, — задача непомѣрно-трудная, и она была рѣшена нашимъ поэтомъ въ «Грѣшницѣ» и въ «Іоаннѣ Дамаскинѣ». Критики говорили, что она рѣшена несовершенно, съ пристрастіемъ къ эффектамъ и въ ущербъ искреннему чувству. Но, вѣдь, эта задача, въ виду исключительности самаго явленія, и не допускала «совершеннаго» рѣшенія, и автору предстояло лишь дать намекъ, которымъ долженъ былъ воспользоваться уже самъ читатель, чтобы дорисовать картину въ своемъ воображеніи.

Такимъ же пѣвцомъ религіознаго чувства является нашъ поэтъ и въ своемъ любимомъ произведеніи, въ мистеріи Донъ-Жуанъ, въ этомъ мистическомъ трактатѣ, вставленномъ въ рамку ходячей испанской легенды. Этотъ запоздалый прѣтокъ романтической фантазіи вызвалъ большое недоумѣніе. Современники думали, что время символическихъ

поэмъ прошло, и въ недостаткахъ поэмы Толстого хотѣли видѣть доказательства правоты своего взгляда. Въ «Донъ-Жуанъ», дѣйствительно, недостатковъ было много, но не больше, чѣмъ въ однородныхъ произведеніяхъ, какъ, напримѣръ, въ «Фаустъ» и «Донъ-Жуанъ» Габбе или даже въ «Фаустъ» Ленау. Необыятность содержанія и широта замысла поэмы повлекли за собою многіе эстетическіе и иные промахи. Одинъ геній Гете могъ совладать, и то не вполнѣ, съ такою темой: а нашъ писатель шелъ именно послѣдамъ Гетевскаго «Фауста», стремясь пополнить идею этого мірового произведенія новыми идеями, накопившимися съ того времени, какъ Фаустъ былъ созданъ. Онъ внесъ въ свою поэму, напримѣръ, байроническій элементъ, драпируя своего Донъ-Жуана въ какого-то мрачнаго генія, мстящаго за что-то человѣчеству, а за что — неизвѣстно; онъ пересоздалъ Дону-Анну совѣмъ въ стилѣ нѣмецкой романтики, руководясь, вѣроятно, извѣстнымъ рассказомъ Гофмана, и она стала болѣе походить на святую, чѣмъ на обыкновеннаго человѣка, психологія котораго намъ родственна; онъ закончилъ драму торжественною сценой покаянія, которая если и не грѣшитъ противъ правдоподобности, то, все-таки, нарушаетъ цѣльность образа главнаго героя; онъ, наконецъ, счелъ нужнымъ теоретическую и догматическую часть своей поэмы поднять до уровня современныхъ философскихъ диспутовъ и потому сталъ въ стихахъ опровергать теорію матеріализма и детерминизма и, искусно лавируя между пантеизмомъ и дуализмомъ, славить единобожіе. Къ этимъ отвлеченнымъ богословскимъ и философскимъ взглядамъ онъ, уступая своему романтическому влеченію къ таинственности, примѣшалъ мистическіе средневѣковые взгляды на «астральное» начало, значеніе котораго ему самому, судя по его письмамъ, было не вполнѣ ясно. Такъ широко понималъ онъ свою задачу — пѣвца Божьяго суда и Божіей правды, явившей свое величіе и милосердіе законѣнному грѣшнику. Для Толстого, впрочемъ, Донъ-Жуанъ былъ не только простымъ грѣшникомъ; какъ можно догадываться изъ рѣчей безплотныхъ духовъ, такъ близко принявшихъ къ сердцу судьбу героя, и изъ туманныхъ словъ самого Донъ-Жуана, онъ долженъ былъ стать символомъ чутли не всего человѣчества — страдающаго, обремененнаго страстями и ищущаго идеала здѣсь на землѣ, идеала безконечно широкой любви, понятой вообще въ смыслѣ жизненнаго

начала. Все, и внѣшняя обстановка, и замысловатые рѣчи дѣйствующихъ лицъ въ минуты, когда имъ полагалось бы говорить совсѣмъ ясно, и мораль эпилога и фантастика пролога — все указываетъ на то, что передъ нами настоящая «мистерія», т.-е. дѣйствіе съ таинственнымъ религіознымъ смысломъ. А такъ какъ само дѣйствіе, т.-е. исторія сердечныхъ тревогъ Донъ-Жуана никакого особенно таинственнаго смысла въ себѣ не заключаетъ и есть явленіе довольно обыкновенное, то попытка нашего романтика придать необыкновенное значеніе этому простому факту и должна была повлечь за собою всякаго рода натяжки въ мотивировкѣ словъ и поступковъ дѣйствующихъ лицъ. Иное дѣло взять мудреца, познавашаго всю доступную человѣчеству науку, изъ любви къ человѣчеству стремящагося испытать здѣсь на землѣ все земное и вѣчно неудовлетвореннаго, какъ Фаустъ; иное дѣло изобразить, какъ дѣлалъ Байронъ, весь мракъ души идеалиста, разочарованнаго соціальною неурядицей нашей жизни; иное дѣло воскресить стараго Прометея и за любовь его къ людямъ подвергнуть его пыткамъ; иное дѣло, наконецъ, взвалить всю тяготу нашей жизни на плечи Агасееру — какъ это сдѣлалъ Кинэ — и увидать въ немъ символъ человѣчества, не признававшаго своего Бога и осужденнаго послѣ вѣковыхъ страданій узрѣть Его торжество при второмъ Его пришествіи на землю. Всѣ эти строгіе образы вполне соотвѣтствуютъ глубинѣ поэтическаго замысла художниковъ; про типъ Донъ-Жуана этого сказать нельзя; расширять и углублять его психическій міръ крайне трудно, въ виду установившагося традиціоннаго представленія объ этомъ типѣ. Толстой не убоился этой трудности, хотя и не осилилъ ее. Но каковы бы ни были ошибки поэмъ, для насъ любопытна сама попытка вложить религіозное содержаніе въ такой свѣтскій сюжетъ.

Въ этомъ стремленіи отыскивать во всемъ руководящій идейный принципъ, видѣть во всемъ, даже въ самыхъ земныхъ чувствахъ, религіозный символъ — ярко выразился общеромантическій характеръ міросозерцанія нашего писателя.

IV.

Совсѣмъ въ романтическомъ стилѣ созданъ Алексѣемъ Толстымъ и типъ пѣвца — служителя красоты въ мірѣ. Поэтъ возлагаетъ на него также чисто-религіозную миссію.

Мысль о тѣсномъ родствѣ идеи красоты и Божества, эта старая мысль, которая была въ такомъ ходу у нашихъ шеллингианцевъ 20-хъ годовъ, оживаетъ въ пѣсняхъ, балладахъ и поэмахъ нашего автора. Толстого принято считать самымъ смѣлымъ защитникомъ гражданскихъ и иныхъ правъ красоты въ годы, когда эти права подвергались самымъ яркимъ нападкамъ. Да, это былъ, дѣйствительно, рыцарь, выступавшій въ защиту своей царицы, которую въ тѣ годы временно низвели съ престола. Какъ голосъ Іоанна Дамаскина, раздавались его пѣсни «противу ереси безумной», которая поднялась на искусство. Вѣрнѣе, впрочемъ, будетъ, если мы скажемъ, что онъ не столько ополчился противъ «ереси», сколько пѣлъ хвалу своей богинѣ.

Онъ былъ натура артистическая, художникъ отъ рожденія. «Я родился художникомъ, но всѣ обстоятельства и вся моя жизнь до сихъ поръ противились тому, чтобы я сдѣлался вполнѣ художникомъ», — писалъ онъ въ 1851 году, когда еще самъ не зналъ, на какой художественный подвигъ былъ способенъ. «Все, что я чувствую, я чувствую художественно, — говорилъ онъ, — и рожденъ я художникомъ не только для литературы, но и для пластическихъ искусствъ». Толстой былъ правъ: въ его поэзіи, дѣйствительно, было очень много пластики. Въ юные, въ самые впечатлительные годы, судьба забросила его въ Италію, и онъ жилъ въ ней долго. «Съ жадностью и чутьемъ» набрасывался онъ на всѣ произведенія искусства. Въ очень короткое время научился онъ отличать прекрасное отъ посредственнаго и могъ соревновать со знатоками въ оцѣнкѣ картинъ и изваяній. Не зная еще никакихъ интересовъ жизни, которые впоследствии наполнили ее тревогой, онъ сосредоточилъ всѣ свои мысли и всѣ свои чувства на любви къ искусству. Это была какая-то нервная, не вполнѣ нормальная любовь, которая заставляла его плакать отъ радости, когда онъ смотрѣлъ на истинныя созданія художества, цѣлыми часами отдаваться созерцанію и чувствовать себя счастливымъ — и все это въ тѣ годы, когда обыкновенный темпераментъ всегда отдаетъ предпочтеніе самой жизни предъ ея отраженіемъ. Проходили годы, и эта экзальтація художника въ Толстомъ только крѣпла. Старикомъ онъ не терялъ этой способности плакать отъ счастья при встрѣчѣ съ красотой... Пусть это была повышенная нервность, но что было дѣлать, если, по собственному его

признанію, вся его жизнь проходила въ такой экзальтаціи?

Толстой смотрѣлъ на искусство, однако, не только глазами художника; онъ былъ философъ и искалъ въ немъ и эстетическаго наслажденія и общемірового смысла. Учителемъ его въ эстетикѣ былъ Шиллеръ и нѣмецкіе романтики. Съ идеей красоты нашъ художникъ всегда соединялъ цѣлый рядъ другихъ общихъ идей, имѣвшихъ для него такое же абсолютное и объективное значеніе.

«Если бы я видѣлъ полезное дѣло передъ собой,—говорилъ онъ, оправдываясь передъ своимъ вѣкомъ,—если бы я видѣлъ что-нибудь такое, что въ предѣлахъ моихъ дарованій, я бы не отказался отъ дѣла; но мои дарованія слишкомъ діаметрально противоположны дарованіямъ передовыхъ людей, и я могу только махнуть рукой... Остается истинное, вѣчное, абсолютное, что не зависитъ ни отъ вѣка, ни отъ моды, ни отъ вліянія, ни отъ какой-нибудь fashion, и этому я отдаюсь всецѣло. Да здравствуетъ абсолютное, т.е. человечество и поэзія!»

Развитое чувство красоты было въ глазахъ нашего поэта показателемъ общей культурности и для отдѣльной личности цѣлыхъ народовъ.

«Тотъ народъ, въ которомъ это чувство развито сильно и полно,—говорилъ онъ,—въ комъ оно составляетъ потребность жизни, не можетъ не имѣть вмѣстѣ съ нимъ и чувства законности и чувства свободы. Онъ уже готовъ къ жизни гражданской, и законодательству остается только освятить и облечь въ форму уже существующіе элементы гражданства». «Мнѣ больно отъ всѣхъ диссонансовъ жизни,—писалъ онъ однажды—и оттого я и люблю искусство, которое есть ступень къ лучшему міру».

Понятно, что въ минуты особаго раздумья онъ могъ сказать, какъ онъ говорилъ за нѣсколько дней до смерти, что нѣтъ другой такой вещи, для которой стоило бы жить, кромѣ искусства! Эту эгоистическую фразу ему можно простить въ виду того, что онъ влагалъ въ нее тайный смыслъ, совѣмъ не эгоистическій, тотъ самый, который онъ вложилъ и въ другое свое извѣстное изреченіе, когда утверждалъ, что его аристократическія влеченія существуютъ гораздо больше для другихъ, чѣмъ для него лично.

Понятіе о свободной красотѣ, какъ о самостоятельномъ двигателѣ общественнаго прогресса, эта завѣтная мысль всѣхъ романтиковъ начала XIX вѣка, проводится въ поэзіи Толстого какъ нельзя болѣе послѣдовательно, вопреки другому господствовавшему тогда взгляду на красоту, какъ на прямое отраженіе этого прогресса и какъ на служебное ору-

діе въ его интересахъ. Пѣвецъ — какъ его понимаетъ нашъ художникъ — прежде всего служитель Божій, проводникъ религіознаго чувства на землѣ; онъ затѣмъ жрецъ своего искусства, одинокій, нелюдимый жрецъ, самъ себѣ довлѣющій. Богатство, сила, честь и слава — все, чѣмъ дорожатъ люди, въ избыткѣ заключено въ незримомъ мірѣ его души. Вся природа — одно лишь отраженіе, лишь тѣнь, таинственныхъ красотъ, которыхъ вѣчное видѣніе живетъ въ душѣ избранника. Господь дозволяетъ художнику заглянуть въ то сокровенное горнило, гдѣ кипятъ первообразы и трепещутъ творческія силы. Вотъ почему и не кажется дерзостью, если поэтъ присвоиваетъ себѣ Божью власть и «благословляетъ» всю природу и небеса и звѣзды... И, дѣйствительно, поэтъ принадлежитъ не себѣ и еще меньше принадлежитъ онъ той средѣ, которая его окружаетъ. Не Гёте создалъ великаго Фауста и не Бетховенъ создалъ свои мелодіи. Всѣ эти слова и звуки всегда существовали въ безпредѣльномъ пространствѣ, и художникамъ оставалось только уловить ихъ. Итакъ, окружи себя мракомъ, поэтъ, окружи молчаніемъ, будь одинокъ и слѣпъ, какъ Гомеръ, и глухъ, какъ Бетховенъ, и только напрягай свой душевный слухъ и душевное зрѣніе, внимай, гляди, притаивши дыханіе, и помни мимолетное видѣніе! Не все ли равно поэту, слушаютъ ли его люди, или нѣтъ? Вспомнимъ того слѣплаго пѣвца, который думалъ, что онъ поетъ передъ княземъ и его боярами, который грознымъ пророческимъ словомъ вступался за правду и узналъ, что онъ пѣлъ въ полномъ одиночествѣ и что никто не слышалъ его пѣсни. Съ какою спокойною гордостью отвѣчаетъ за него Толстой тѣмъ, кто вздумалъ бы надъ пѣвцомъ посмѣяться: не воленъ пѣвецъ въ своей пѣснѣ; какъ горный источникъ стремится онъ потокомъ по степи, бьетъ, кипитъ и пѣнится, и не хочетъ онъ знать, придутъ ли къ нему пастухи и стада, чтобъ освѣжиться его струями.

Такой романтическій взглядъ на красоту нашъ писатель высказывалъ всегда, когда разсуждалъ объ искусствѣ теоретически; но на практикѣ онъ никакъ не могъ устоять на этой точкѣ зрѣнія. Витая въ своихъ мечтахъ надъ землею, поэтъ не терялъ ее изъ вида и вводилъ въ кругъ своего поэтическаго міросозерцанія самыя разнообразныя жизненныя вопросы, не измѣняя, однако, своего романтическаго отношенія къ нимъ.

Толстому вообще не легко давалось это соприкосновеніе съ житейскою суетой; легко давалась ему только шутка надъ нею, юмористическое ея изображеніе, при помощи котораго онъ любилъ иногда обходить трудность вопроса. Это была всегда необычайно остроумная и граціозная шутка, которая показывала именно своею граціей, какъ, въ сущности, далеко былъ поэтъ отъ тѣхъ частныхъ явленій и знаменій времени, которыя онъ выпучивалъ.

V.

Его тянуло къ совсѣмъ иному міру, міру таинственнаго и сокровеннаго. Дѣйствительность отъ малыхъ лѣтъ была ему противна и несносна. Искатель небывалыхъ міровъ, онъ, какъ истинный романтикъ, слышалъ звонъ, не видя колоколенъ. Все чудился ему какой-то неопредѣленный и неуловимый идеалъ жизни, отблескъ котораго и остался на всей его поэзіи.

Эта поэзія, быть-можетъ, потому и заслужила такіе упреки, что очень туманно было очертаніе этого идеала. Въ самомъ дѣлѣ, не всѣмъ была понятна и дорогá страна лучей, незримая нашимъ взорамъ, гдѣ вокругъ міровъ вращаются міры, гдѣ сонмы душъ немолчные дары своихъ молитвъ возносятъ стройнымъ хоромъ, гдѣ сіяющіе блаженствомъ лики отвращены отъ міра суеты, гдѣ не слышно земной печали и земной нищеты не видно. Не всякій хотѣлъ вслѣдъ за поетомъ вознестись въ отчизну пламени и слова, не всякій хотѣлъ вѣрить, что міръ незримый можетъ стать ему виденъ и что ухо его услышитъ то, что для другихъ неуловимо. Нашему поэту всѣ эти ощущенія были доступны и понятны; его мечты были всегда полны надеждъ; и журчаніе водъ, дыханіе цвѣтовъ, — все звучало ему, какъ обѣщаніе другой, далекой красоты...

Эта другая красота и другой міръ, о которомъ поэтъ такъ грустилъ въ своихъ стихахъ, могъ въ тѣ трезвые годы вызвать у читателей иногда насмѣшку, а иногда сожалѣніе. Поэзія Толстого могла показаться старымъ напѣвомъ временъ прошлыхъ, временъ блаженнаго мечтательнаго романтизма, навсегда, какъ казалось, схороненнаго. И никто не станетъ отрицать, что эта поэзія, дѣйствительно, обладала ароматомъ старины. Но для Россіи она была явленіемъ совсѣмъ origi-

нальнымъ и новымъ, и ея романтическій спиритуализмъ, если можно такъ выразиться, въ русской литературѣ не имѣлъ аналогій.

И что всего важнѣе, такъ это то, что романтическое міросозерцаніе нашего автора, ссоря его съ современниками, отнюдь не порывало его связи съ современностью; Толстой съ его нелюбовью къ повседневной дѣйствительности оставался пѣвцомъ тѣхъ самыхъ общихъ идей и чувствъ, которыя придавали этой дѣйствительности ея историческій смыслъ и цѣнность. Уловить эту связь поэта съ его настоящимъ было тѣмъ болѣе трудно, что нашъ писатель всегда подчеркивалъ свою любовь къ прошедшему, къ старинѣ во всѣхъ ея видахъ: и въ формѣ народнаго преданія и мѣа, и въ формѣ исторической легенды и были. Онъ и въ данномъ случаѣ оставался правовѣрнымъ романтикомъ, совсѣмъ въ духѣ своихъ западныхъ предшественниковъ, которые въ началѣ вѣка, увлеченные идеей народности, искали въ туманномъ прошломъ кладезя всяческой мудрости и всяческой красоты:

Эта любовь Толстого къ прошлому могла иногда натолкнуть не вполне внимательнаго критика на поспѣшное сравненіе. Могло казаться, что это пристрастіе къ народной старинѣ есть лишь повтореніе стараго мотива, нѣкогда очень распространеннаго и въ русской литературѣ, а именно мотива фальшивой «народности», той самой, которая погибла подъ лучами поэзіи Пушкина и Гоголя и подъ ударами критика Бѣлинскаго. На самомъ дѣлѣ, однако, никто не былъ такъ далекъ отъ этой фальшивой народности, какъ нашъ поэтъ. Славянскій мѣъ, преданіе и исторія, которыми наши старые романисты и поэты пользовались въ интересахъ довольно узкой патріотической тенденціи, для восхваленія религіозности, семейной нравственности и государственной мудрости росіянъ, — эти мѣны и преданія Толстой хотѣлъ воскресить въ интересахъ, преимущественно, художественныхъ. Онъ искалъ въ нашей мѣологіи и старинѣ благодарнаго матеріала для поэмъ и балладъ въ стилѣ западно-европейской романтики. Ему хотѣлось доказать, что и славянское племя внесло нѣчто свое въ общую сокровищницу красоты, которую нѣмецкіе, французскіе и англійскіе писатели открыли въ преданіяхъ языческой древности и средневѣковья. Задача была трудна и обязывала Толстого не столько подчеркивать въ старыхъ преданіяхъ бытовыя особенности славянскаго племени,

сколько въ этихъ славянскихъ мѣсахъ выискивать общечеловѣческое, родящее нашу народную поэзію съ поэзіей нашихъ сосѣдей.

Съ этой западной поэзіей Толстой освоился еще съ юныхъ лѣтъ, и она была ему совсѣмъ родная: стоить, напримѣръ, только вспомнить, съ какою художественной виртуозностью онъ поддѣлался въ своемъ «Драконѣ» подъ стиль старопитавьянской романтики. Естественно, что подгоняя нашу славянскую старину подъ общій типъ западной романтики, поэтъ долженъ былъ слегка ее подкрасить. Алексѣй Толстой такъ и поступалъ съ нашими мѣсами и преданіями. Искать въ нихъ настоящей народности, народнаго духа, если такъ можно выразиться, — напрасно. Въ нихъ много этнографическихъ и археологическихъ вѣрныхъ деталей, но въ цѣломъ компановка этихъ деталей и общій тонъ значительно отступаютъ отъ старой народной наивности. Во всемъ чувствуется рука мастера, прошедшаго хорошую литературную школу. Только благодаря этой школѣ, поэту удалось, напримѣръ, изъ избитаго разсказа объ оборотнѣ сдѣлать такую цѣльную и страшную балладу, какъ его «Волки»; та же литературная опытность помогла ему въ хороводѣ стрекозъ подслушать слова и уловить настроеніе, которыя Гёте далъ въ своемъ «Тѣсномъ царѣ»; и, наконецъ, вся великолѣпная поэма о Садкѣ, въ которой такъ много чисторусскихъ словъ и оборотовъ, — развѣ въ ней сохранилась хоть капля наивности стараго преданія и развѣ вся ея удивительная красота не обязана своимъ блескомъ литературному вкусу и образованію автора?

Это стремленіе жертвовать наивнымъ старымъ реализмомъ въ пользу романтической красоты композиціи еще яснѣе выступаетъ наружу въ историческихъ балладахъ и былинахъ нашего поэта. Всѣ эти русскіе богатыри очень смахиваютъ на средневѣковыхъ рыцарей и невольно вызываютъ въ читателѣ литературныя воспоминанія. Князь Ростиславъ, уснувшій тяжелымъ сномъ на рѣчномъ днѣ, какъ-то невольно заставляетъ думать о Рейнскихъ ниссахъ²⁾. Алеппа Поповичъ вызываетъ въ памяти пѣсни Прованса; читая Бѣри воя, думаешь о сѣверныхъ скандинавскихъ ле-

²⁾ Водяные духи, являющіеся то въ видѣ жестокихъ, хитрыхъ старцевъ, то въ образѣ прекрасныхъ русалокъ.

гендахъ... Гаконъ слѣпой и Гаральдъ напоминають Роланда и пѣсни трубадуровъ. Три побойща могутъ показаться переложеніемъ изъ Вальтеръ-Скотта, а описаніе двора Владимира Краснаго-Солнышка — страницей изъ рыцарскаго романа.

Среди балладъ Толстого встрѣчаются, конечно, и такія, въ которыхъ чисто-народный колоритъ болѣе или менѣе удержанъ; есть у него пѣсни въ старо-русскомъ стилѣ, которыя своимъ славянскимъ духомъ даже подкупили славянофиловъ, какъ, напримѣръ, Хомякова и Аксакова. Но славянофилы не долго считали Алексѣя Толстого своимъ, и были правы. Если въ поэзіи Толстого не было фальшивой народности, то не было и настоящей. Народность въ его стихотвореніяхъ своеобразная, субъективная и романтическая, родственная западной, но не списанная съ нея. Самъ поэтъ никому не подражалъ, но по духу онъ былъ ближайшій родственникъ романтиковъ Запада. Стремленіе отыскать особую красоту въ старой народной мистикѣ и въ произведеніяхъ доисторической фантазіи — было у нихъ общее. Общими явились поэтому и художественные приемы. А такъ какъ, кромѣ того, въ самыхъ мотивахъ народной фантазіи русской было много сходнаго съ мотивами обще-европейскими, то естественно, что наши богатыри стали нѣсколько походить на паладиновъ, и наши мнѣстическіе образы на своихъ европейскихъ родственниковъ. Произошло это не потому, что нашъ поэтъ навязывалъ русскому образу нерусскую мысль, чувство или поступокъ, а потому, что онъ навязывалъ имъ свое собственное міросозерцаніе и свои чувства, какъ это вообще дѣлали всѣ романтики въ мірѣ, для которыхъ объективное интересно лишь постольку, поскольку въ него можно вложить субъективное содержаніе.

На такія же соображенія наводятъ насъ и чисто-личныя лирическія стихотворенія Толстого. Лирическое стихотвореніе, положимъ, всегда субъективно; но въ самомъ способѣ выраженія лирическихъ чувствъ, лирикъ-романтикъ все-таки отличается отъ лирика-реалиста. Одинъ стремится къ простотѣ, отчетливости и ясности въ передачѣ своихъ ощущеній и тѣхъ впечатлѣній, которыя ихъ вызвали. Другой любитъ намеки и неохотно позволяетъ читателю заглянуть въ самую глубь своего сердца. Онъ предпочитаетъ говорить о своихъ чувствахъ иносказательно, и всего охотнѣе поясняетъ ихъ

какимъ-нибудь поэтическимъ сравненіемъ, заимствованнымъ изъ жизни природы внѣшней: У Толстого, за немногими исключеніями, почти всѣ лирическія стихотворенія — такія картинки природы, слегка набросанныя или болѣе детально вырисованныя. Вездѣ чувствуешь это стремленіе — не быть слишкомъ яснымъ и увѣрить читателя, что въ каждомъ чувствѣ, самомъ простомъ, таится что-то безконечное и невыразимое.

VI.

Если свести къ одному всѣ эти разрозненные впечатлѣнія, которыя мы выносимъ изъ знакомства съ поэзіей Толстого, то и романтическое содержаніе его творчества и всѣ романтическіе приемы исполненія выступать ярко наружу.

Весь внѣшній міръ — въ его прошломъ и настоящемъ, а также міръ внутренній, міръ мысли и психическихъ движеній, былъ въ глазахъ поэта лишь символомъ чего-то, внѣ этихъ міровъ лежащаго. Къ этому таинственному началу Толстой относился съ глубокимъ религіознымъ чувствомъ. Въ красотѣ онъ видѣлъ одну изъ эманаций этого Божества, которая обладаетъ способностью земного воплощенія и проникаетъ собою всю земную жизнь, какъ проникаютъ ее и другія эманации Бога — лучи Его добра и истины. Всѣ эти силы совершаютъ свое предназначеніе лишь въ тѣснѣйшемъ союзѣ и между собой и съ людьми, жизнь которыхъ есть великая религіозная мистерія, — исторія постепеннаго восхожденія человѣчества къ Божеству, — стремленіе въ иной міръ идеала. Въ этотъ міръ идеала человѣкъ можетъ войти, однако, не путемъ добровольнаго отреченія отъ земли, ея судебъ и ея страстей, а лишь послѣ добровольной борьбы съ этими страстями.

Такой мистическій взглядъ на міропорядокъ, взглядъ, раздробленно высказанный въ стихахъ нашего писателя, долженъ былъ, конечно, отозваться и на всемъ ходѣ его личной жизни. Ожидать отъ этого романтика большой привязанности къ переживаемому имъ историческому моменту нельзя. Для людей съ такой идеалистическою вѣрой въ связь земного и небеснаго, реальнаго и идеальнаго — жизнь минуты имѣетъ малую цѣнность, и если что въ этой минутѣ останавливаетъ на себѣ вниманіе и любовь такого идеалиста, такъ развѣ только ея самый общій философскій смыслъ.

Изъ интимной переписки нашего поэта мы, дѣйствительно, узнаемъ о томъ, какъ мало онъ любилъ самый процессъ будничной жизни, которая для него могла быть, если бы онъ только захотѣлъ, сплошнымъ праздникомъ. Судьба поставила его въ такія условія, что, захоти онъ, и эта жизнь дала бы ему всѣ наслажденія, за которыми такъ гонятся люди, все, что называется житейскимъ благомъ. Толстой не воспользовался этими преимуществами своего положенія и прожилъ свою жизнь, насколько могъ, скромно, внѣ колеи официальной дѣятельности.

И, между тѣмъ, никто не скажетъ, что этотъ человѣкъ стоялъ внѣ интересовъ переживаемой имъ эпохи и былъ лишь скучающимъ зрителемъ того, что вокругъ него творилось. Наоборотъ, весь общій прогрессивный идейный смыслъ того знаменательнаго историческаго момента, свидѣтелемъ котораго онъ былъ, нашелъ себѣ откликъ въ его поэзіи, и только этимъ его поэзія приобрѣла значеніе историческое рядомъ съ тѣмъ значеніемъ художественнымъ, которое она сохраняетъ, какъ плодъ истинно-поэтическаго вдохновенія.

VII.

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, что общаго между этою романтикой, столь законченной въ своей внѣшней и внутренней цѣльности, и этимъ прогрессивнымъ движеніемъ, столь трезвымъ и положительнымъ во всѣхъ своихъ помыслахъ и дѣянiяхъ?

Поэзія Толстого въ основныхъ своихъ чертахъ, какъ мы видѣли, была поэзіей религіозною; передовое поколѣніе тѣхъ лѣтъ относилось къ религіозному чувству и идеѣ болѣе, чѣмъ скептически; поэтическая мысль нашего писателя всегда витала надъ землею и искала небесной отчизны; мысли его либеральныхъ современниковъ (по крайней мѣрѣ, руководящаго большинства изъ нихъ) сосредоточивались почти исключительно на интересахъ земныхъ и ко всякому спиритуализму въ мысляхъ и чувствахъ относились равнодушно, чтобы не сказать враждебно. Поэтъ нашъ былъ влюбленъ въ красоту, какъ въ идею, и въ искусство, какъ въ ея земное воплощеніе; онъ искалъ въ ней смысла жизни — его слушатели иной разъ даже насильно оберегали себя отъ ея вліянія, боясь, какъ бы она не отвлекла ихъ отъ прямыхъ жи-

тейскихъ и, главнымъ образомъ, гражданскихъ обязанностей; красота была имъ подозрительна, и въ своемъ подозрѣніи они доходили часто до очень несправедливыхъ упрековъ. Всѣ они были большіе политики и политиканы, люди борьбы насущной за извѣстную социальную программу; Алексѣй Толстой ни для какой борьбы не былъ годенъ и всякое практическое дѣло, какъ бы онъ самъ ему ни симпатизировалъ, тяготило его однимъ своимъ процессомъ. Наконецъ, и аристократизмъ поэта не гармонировалъ съ общою демократической тенденціей его эпохи.

Можно было бы эту параллель и продолжить, и сопоставленіе поэта съ окружающими его передовыми людьми говорило бы только объ ихъ несходствѣ. Тѣмъ не менѣе, въ исторіи идейнаго движенія шестидесятыхъ годовъ имя Толстого стоитъ въ ряду именно этихъ передовыхъ двигателей, а не ихъ противниковъ.

VIII.

Прогрессивный образъ мыслей Толстого не принималъ, правда, никогда рѣзкаго направленія, — что въполнѣ объясняется темпераментомъ нашего писателя — но во всякомъ случаѣ программа реформъ Александра II нашла себѣ въ его близкомъ другѣ самаго искренняго союзника. Толстой не только стоялъ за новое, но и былъ противъ стараго, какъ видно изъ весьма многихъ его стихотвореній юмористическаго и обличительнаго характера, которыя такъ и не попали въ печать при его жизни.

Противникъ дореформенной Россіи, несмотря на романтическую идеализацію ея старины — поэтъ требовалъ отъ настоящихъ сыновъ своей родины живого дѣла. Еще въ крѣпостную эпоху, въ 1851 году, онъ указывалъ и «праздношатающимся» и «вольнодумцамъ» изъ своего круга на ихъ прямую обязанность — на заботу объ участи тѣхъ, судьба которыхъ ввѣрена имъ Богомъ; и въ себѣ самомъ онъ чувствовалъ много силы для такого нравственнаго воздѣйствія на крѣпостную массу. Эта готовность служить народу не поколебалась въ немъ и тогда, когда реформа изъ области сентиментальныхъ чаяній перешла въ область фактовъ. Онъ былъ убѣжденъ, что если бы его употребили на дѣло освобожденія крестьянъ, онъ шелъ бы своею дорогой съ чистою и ясною со-

вѣстью, даже если бы пришлось идти противъ всѣхъ. Та же ясная совѣсть тяготила его при рѣшеніи дѣла о сектантахъ, которое противъ его воли было на него возложено. Онъ былъ настолько чутокъ къ переживаемой минутѣ, что иногда расположеніе его духа изъ мрачнаго становилось свѣтлымъ, если ему удавалось сообщить государю что-нибудь такое, что царю необходимо было знать и чего онъ не узналъ бы отъ другого. «Когда это мнѣ случается, — говорилъ нашъ поэтъ, — я оживаю...»

И какой онъ былъ просвѣщенный патріотъ!

«Вы говорите, — пишетъ онъ въ одномъ частномъ письмѣ, — что нельзя допустить разныя національности въ могущественномъ государствѣ. Милыя дѣти, посмотрите въ лексиконъ, что такое національность? Вы смѣшиваете государства съ національностями. Нельзя допустить разныя государства, но не отъ васъ зависитъ допустить или не допустить національности... Ваше мнѣніе можно выразить слѣдующими словами: навязать русскую національность всѣми средствами. А моя мысль сводится къ слѣдующему: сдѣлать такъ, чтобы эта національность была желательна. Вы говорите: уравниемъ все, понижая уровень чужихъ народностей. Я же говорю: уравниемъ все, возвышая русскій уровень... Катковецъ съ ногъ до головы, когда дѣло касается классицизма... я дѣлаюсь непріателемъ Каткова, когда онъ поднимаетъ знамя крестоваго похода противъ балтійскихъ провинцій...»

Много можно найти въ письмахъ Толстого строкъ, которыя продиктованы самымъ прогрессивнымъ духомъ его эпохи. Говорить ли онъ объ общихъ вопросахъ или о тѣлесномъ наказаніи — онъ человѣкъ новыхъ взглядовъ и, главное, даже къ рѣзкостямъ этихъ новыхъ взглядовъ онъ готовъ отнестись съ терпѣливою справедливостію. Много ли было лицъ его положенія, круга и образа мыслей, которыя рѣшились бы сказать, какъ онъ говорилъ: «Съ неожиданнымъ удовольствіемъ читаю «Отцы и дѣти». Какіе звѣри тѣ, которые обидѣлись на Базарова! Они должны были бы поставить свѣчку Тургеневу за то, что онъ выставилъ ихъ въ такомъ прекрасномъ видѣ. Если бы я встрѣтился съ Базаровымъ, я увѣренъ, что мы стали бы друзьями, несмотря на то, что мы продолжали бы спорить»...

Оставимъ, однако, Толстого какъ человѣка. Надо надѣяться, что близкіе поэту люди когда-нибудь да рѣшатся вспомнить о немъ и подробно расскажутъ его жизнь, и тогда, конечно, связь поэта съ его временемъ, какъ гражданина и человѣка, вполне разъяснится. Вернемся къ его поэзіи.

IX.

Въ каждой эпохѣ, болѣе или менѣе знаменательной по своему идейному или практическому значенію, необходимо отличать общее направленіе, въ какомъ работаютъ человѣческія мысль и чувство, отъ повседневныхъ, исторической необходимостью или случайностью вызванныхъ, частныхъ проявленій этихъ духовныхъ силъ человѣка. Всякое сильное движеніе вызываетъ далеко не равномерное напряженіе силъ.

Такимъ неровнымъ ходомъ шло и наше общественное движеніе въ шестидесятыхъ годахъ. Сколько было увлеченій, крайностей, противорѣчій, сколько было недосказаннаго или неясно сказаннаго во всѣхъ убѣжденіяхъ и направленіяхъ, разъединявшихъ тогда наше передовое общество!

Но все-таки всѣ эти повседневныя, необходимостью или случайностью вызванныя теченія мыслей и настроеній имѣли у всѣхъ лицъ передового лагеря одну объединяющую ихъ общую тенденцію, одинъ общій историческій смыслъ. Прогрессивное движеніе шестидесятыхъ годовъ при всѣхъ его крайностяхъ и ошибкахъ было въ его цѣломъ — моментомъ укрѣпленія и расцвѣта въ нашемъ обществѣ нѣкоторыхъ идей и чувствъ, имѣющихъ не историческое, временное, а общеміровое и вѣчное значеніе. Къ числу такихъ идей относится идея о социальной солидарности между отдѣльными классами общества — демократическая тенденція уравнивать всѣхъ людей передъ закономъ и способствовать ихъ дальнѣйшему духовному уравниванію путемъ поднятія общаго уровня образовательнаго и нравственнаго. Къ числу такихъ идей относится признаніе свободы мысли, не преклоняющейся ни передъ какимъ авторитетомъ, мысли, иногда несправедливой въ низверженіи этихъ авторитетовъ, но зато безусловно враждебной всякой умственной косности. Къ числу такихъ идей относится и понятіе о власти, которая опирается не на грубую силу, а на добровольное признаніе ея превосходства со стороны тѣхъ, надъ кѣмъ эта власть поставлена, т.-е. идея власти разумной и гуманной. Къ числу такихъ чувствъ относится и чувство человѣческаго достоинства, на признаніи котораго за всѣми людьми такъ настаивала обличительная литература шестидесятыхъ годовъ. Наконецъ, къ числу отличительныхъ чертъ этой знаменательной эпохи относится и

вообще повышенное чувство альтруизма, готовое на великія жертвы и страданія.

Этотъ общій смыслъ цѣлой исторической эпохи передовые люди того времени стремились выразить и осуществить на дѣлѣ весьма разными программами. Борьба между этими людьми была неизбежна въ виду разницы въ пониманіи религіозныхъ, философскихъ, національныхъ, политическихъ и иныхъ вопросовъ жизни. Но всѣ они, — и сторонники реформы наверху, и славянофилы, и почвенники, и умѣренные либералы 40-хъ годовъ, и рьяная радикальная молодежь шестидесятыхъ — въ сущности трудились надъ однимъ дѣломъ и имѣли одного врага — людей, не признававшихъ необходимости новизны и противниковъ того общаго смысла эпохи, на который указано.

Поэзія Алексѣя Толстого заняла среди этихъ споровъ совершенно особое мѣсто, именно въ виду своего романтическаго міропониманія и настроенія, которыя держали ее всегда на нѣкоторомъ разстояніи отъ волненій и споровъ минуты. Среди этихъ споровъ поэтъ занималъ позицію нейтральную и рѣдко покидалъ ее, но зато ему и удалось схватить и выразить въ своихъ стихахъ весь общій гуманный смыслъ развернушагося передъ нимъ общественнаго теченія. Самый общій смыслъ, разумѣется.

Религіозное чувство, живое и глубокое, не осложненное никакими національными или обрядовыми симпатіями, и чувство эстетическое, отъ развитія котораго въ человѣческомъ обществѣ поэтъ ожидалъ прямого улучшенія социальной этики, — были для Толстого двумя главными духовными двигателями нашей жизни. При ихъ помощи надѣялся онъ достигнуть повышенія общаго культурнаго уровня; въ нихъ видѣлъ онъ уравнивающую людей духовную силу, съ которою вполне могли ужиться и свобода мысли и свобода совѣсти; отъ нихъ ожидалъ онъ установленія на землѣ социального мира. Въ интересахъ этого же мира должна была дѣйствовать и власть, данная Богомъ человѣку надъ его ближними. Надъ призваніемъ и назначеніемъ этой власти Толстой думалъ много, и вся его знаменитая Трилогія была косвеннымъ наставленіемъ властителю, своего рода *école des rois*, какъ назывались въ старину такія драмы. Нашъ поэтъ былъ рѣшительный противникъ деспотизма, все-равно какого — единоличнаго или массоваго; онъ былъ сторонникъ

просвѣтительной и гуманной монархіи. Вотъ почему онъ такъ не любилъ московскій періодъ нашей исторіи, осуждая его съ этической точки зрѣнія и не всегда считаясь съ точкою зрѣнія исторической. «Моя ненависть къ московскому періоду, — говорилъ онъ, — есть идіосинкразія, и я не подвигиваю себя, чтобы говорить о немъ то, что говорю». А говорилъ онъ иногда о Москвѣ очень жестоко, называя ее «отвратительной и болѣе позорной, чѣмъ монголы». Онъ былъ противникомъ, какъ онъ выражался, и «эгалитарности» — внѣшней, государственной, социалистической. Онъ не любилъ ее за то, что она, какъ, на примѣръ, «проклятая» община, враждебна принципу индивидуальности — единственному принципу, въ лонѣ котораго можетъ развиваться цивилизація вообще и искусство въ особенности. Отъ власти нашъ поэтъ требовалъ самой либеральной опеки, признающей и уважающей человѣческое достоинство въ опекаемыхъ, и исполнѣ искрененъ былъ онъ, когда, восхваляя свой вѣкъ, говорилъ:

«Я ненавижу деспотизмъ такъ же, какъ я ненавижу Сенъ-Жюста и Робеспьера и т. д. Я готовъ кричать это съ крышъ, но я слишкомъ художникъ, чтобы втискивать это въ художественную работу, и я слишкомъ монархистъ, чтобы нападать на монархію. Но развѣ монархія и то или другое лицо, носящее корону, одно и то же? Нужно быть черезчуръ глупымъ, чтобы на императора Александра II сваливать дѣла и поступки Іоанна IV или Федора».

При такомъ взглядѣ на власть, разумную, благую, опирающуюся не на силу, а на свой нравственный авторитетъ, признанный тѣми, надъ кѣмъ эта власть поставлена, — нашъ поэтъ, монархистъ самъ убѣжденный, могъ себѣ позволить помечтать о далекихъ временахъ нашей жизни, когда властитель былъ патриархальнымъ опекуномъ своей широкой семьи, почти-что первый среди равныхъ, и когда онъ цѣнилъ въ своей власти, главнымъ образомъ, то довѣріе, которое ему оказывали его подчиненные. И Толстой, какъ мы знаемъ, любилъ поминать въ своихъ стихахъ блаженные полумиеи-ческія времена кievскаго эпоса или идилліи и героическія времена новгородской вольницы. Въ этихъ его симпатіяхъ повинна не одна только романтика; и въ своихъ новгородскихъ балладахъ и драмъ нашъ поэтъ прикрывалъ романтическимъ вымысломъ современную мысль, почему и патриотизмъ его казался нѣсколько подозрительнымъ черезчуръ яримъ ревнителямъ національной идеи.

Какъ онъ самъ понималъ эту идею, мы уже знаемъ. Онъ былъ одинъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ патріотовъ, который чувство національнаго достоинства тѣснѣйшимъ образомъ связывалъ съ признаніемъ человѣческаго достоинства за каждымъ человѣкомъ.

Х.

Поэзія Толстого — вполне искреннее отраженіе его гуманной личности.

Эту личность поэта можетъ, конечно, игнорировать тотъ, кто опѣиваетъ его творчество, но если ужъ говорить о связи Толстого, какъ человѣка и писателя, съ его эпохой, то нельзя умолчать объ этой искренности въ стихахъ, которая была отзвукомъ искренности въ чувствахъ и которую почему-то нѣкоторые критики просмотрѣли, когда утверждали, что въ поэзіи Толстого много аффектаціи. Если она гдѣ была, то никакъ не въ той симпатіи къ униженнымъ и оскорбленнымъ, гонимымъ, мучимымъ и грѣшнымъ, примѣровъ которой такъ много въ его поэзіи.

Положимъ, что всякая поэзія гуманна уже сама-по-себѣ, — но есть художники, которые эту общую гуманность понимаютъ въ нѣсколько болѣе узкомъ смыслѣ, въ смыслѣ возбужденія въ себѣ и въ другихъ чувствъ чисто-альтруистическихъ. Такихъ поэтовъ въ эпоху, когда жилъ Толстой, было много, и ихъ поэзія, какъ таковая, нерѣдко страдала отъ избытка тенденціознаго гуманизма. Алексѣй Толстой не совершалъ насилія надъ своею поэзіей и въ своихъ созданіяхъ былъ прежде всего художникъ, а затѣмъ уже гуманистъ и, притомъ, не умышленный, а невольный, т.-е. наиболѣе убѣдительный.

ХІ.

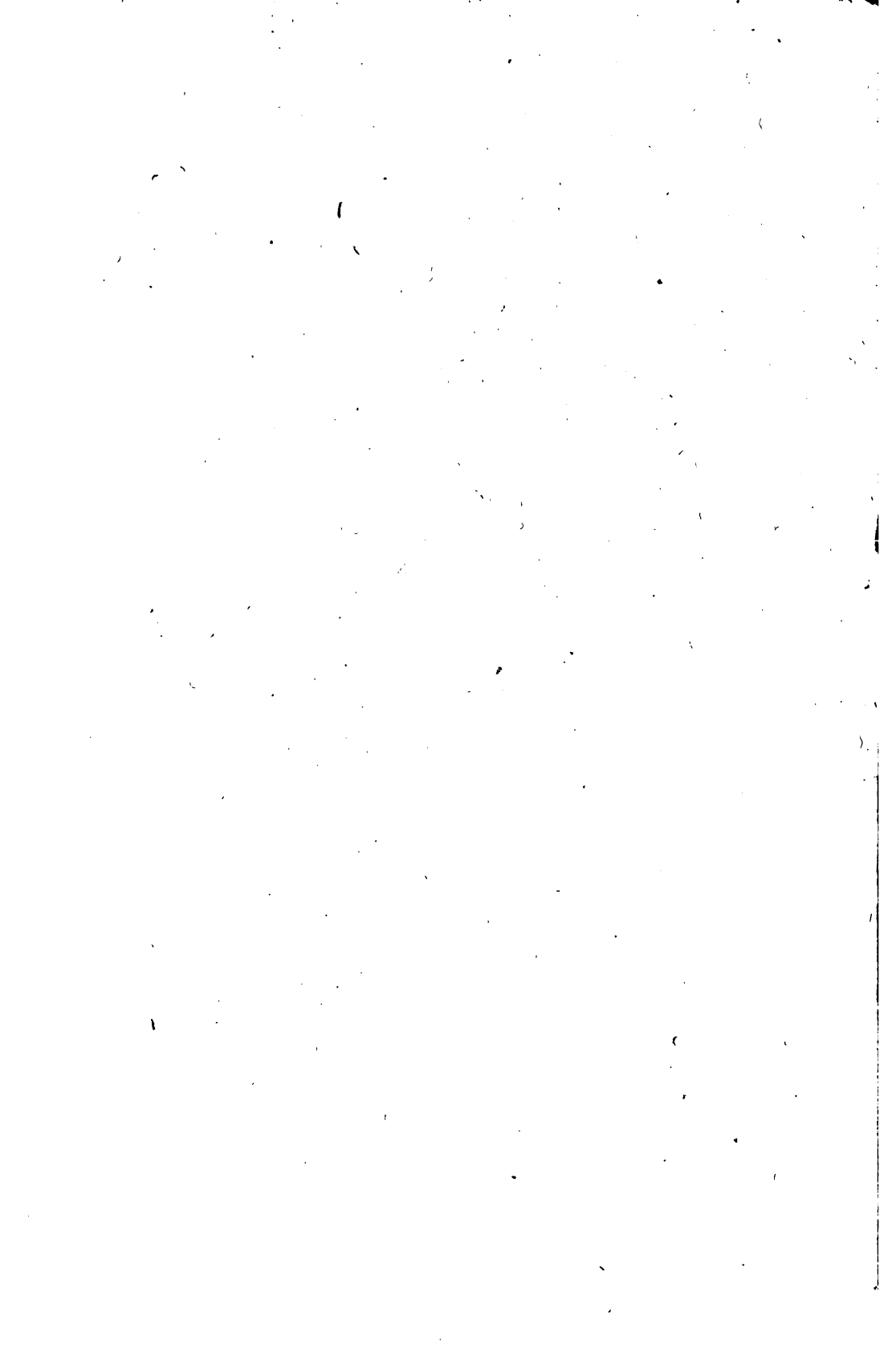
Итакъ, если взять все творчество нашего художника въ его цѣломъ, сопоставить поэтическое міросозерпаніе Толстого съ общимъ направленіемъ прогрессивной мысли въ эпоху, когда онъ дѣйствовалъ, то получится очень оригинальный примѣръ сочетанія старыхъ приемовъ художественнаго творчества съ новымъ содержаніемъ. Поэзія Толстого — романтическая поэзія очень строгаго стиля. Все въ ней полно символовъ и намековъ; все отвлекаетъ отъ жизни дѣйствительной; все

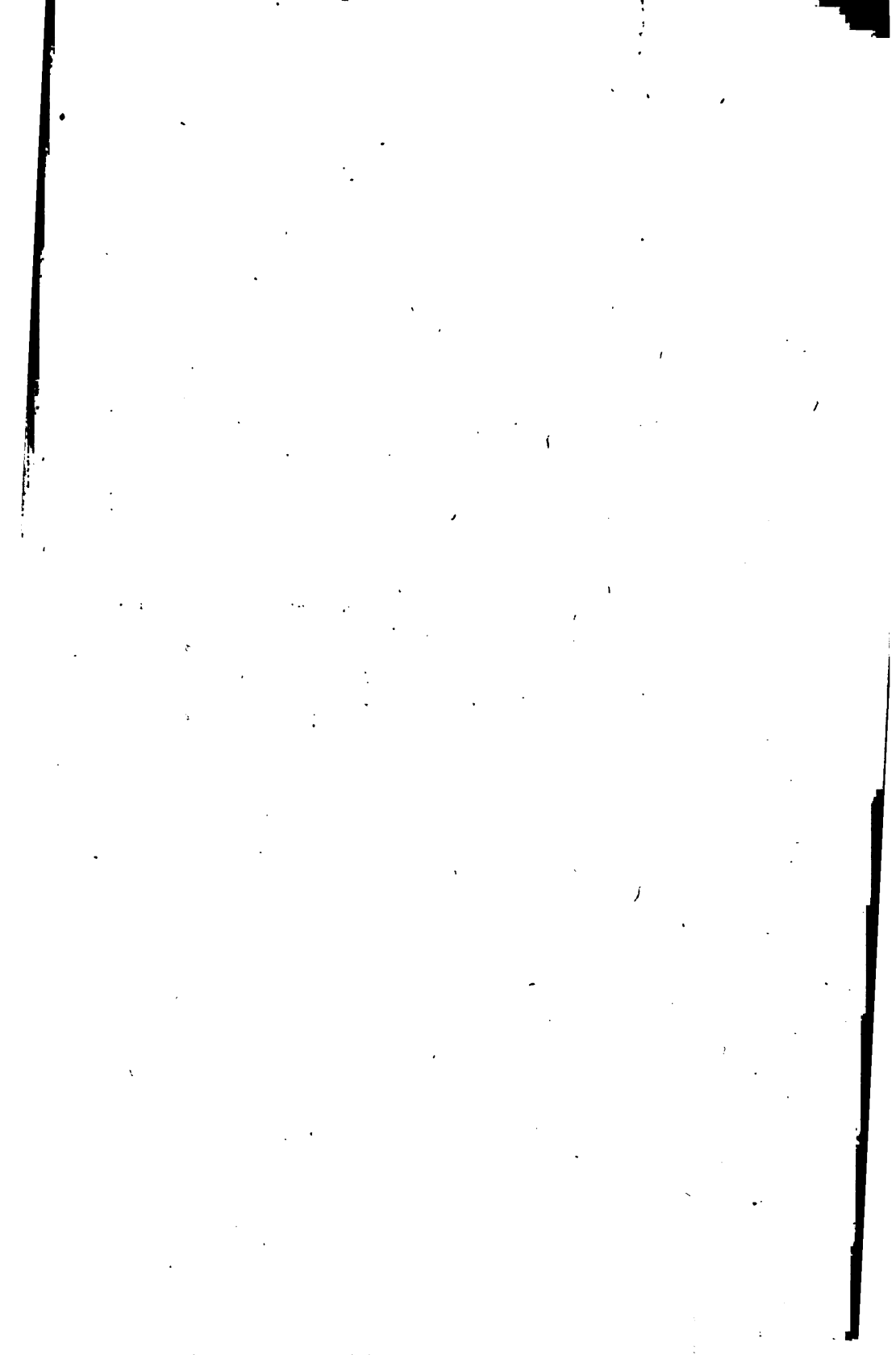
говорить о будущемъ и прошедшемъ, почти не касаясь настоящаго. А между тѣмъ, общій смыслъ и главныя общія духовныя стремленія этого настоящаго проникаютъ собой эту поэзію и придаютъ ей историческое значеніе. Она — старый романтическій узоръ, но вышитый по новой канвѣ. И въ этомъ ея оригинальность.

Бывали у насъ въ тѣ годы и новыя пѣсни на новыя темы и старыя пѣсни на старыя, но такого оригинальнаго сочетанія стараго съ новымъ не встрѣчалось. Гончаровъ былъ правъ, когда говорилъ, что Толстой стоитъ совершенно особнякомъ въ русской литературѣ, что онъ внесъ въ нее новый элементъ и что онъ ни въ чемъ на другихъ не похожъ.

Эта мысль заслуживала бы подробнаго развитія, и она дополнила бы исторію нашего передового, общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ новою очень красивою страницей. Некрасовъ не оставался бы столь одинокимъ, и мы бы лишній разъ убѣдились, какой поэтическій смыслъ и какую поэтическую внѣшность имѣла правда того времени, о трезвости, прозаичности и антихудожественной грубости которой такъ часто въ наше время приходится слышать.

Н. Котляревскій.







3 2044 014 641 401

THE BORROWER WILL BE CHARGED
AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON
OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED
BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE
NOTICES DOES NOT EXEMPT THE
BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413

